

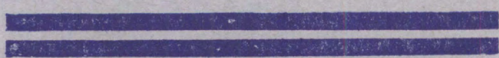
НОВЫЙ МИР

4

НОВЫЙ МИР

1980

4



1980



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1980 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ — Степан Щипачев, Йордан Милев (перевел с болгарского В. Шленский), Хасан Туфан (перевел с татарского Р. Бухараев), Михаил Шанбатуев, Зорий Яхнин, Софья Петренко	3
САВВА ДАНГУЛОВ — Заутреня в Рацалло, роман	7
ЮРИЙ НАГИБИН — Итальянская тетрадь	110
ВЛАДИМИР ОРЛОВ — Альтист Данилов, роман. Окончание	126
ОТЧИЙ ДОМ — Михаил Ласков, Новелла Матвеева, Владимир Гришин. Владимир Осиния, Виктор Яковенко, Блага Димитрова (перевел с болгарского В. Солоухин), Игорь Бехтерев, Павел Кондрашев	164

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР КАРЦЕВ — «Начало самой счастливой эпохи»	173
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

АНДРЕЙ НИКИТИН — Восхождение к человеку	187
---	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ — Зерно лотоса. Судьбы йоги в XX веке	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ — Свет ленинских идей	228
---	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Стр.

Литература и искусство

242

В. Косолапов. Герои эпохи.— **Владимир Амлинский.** Грани единого опыта.— **Владимир Кочетов.** Беспокойство.— **А. Зисъ.** Актуальные проблемы искусствознания.

Политика и наука

252

Тимур Гайдар. Взгляд сквозь годы.— **Владимир Краспльщиков.** Творческая отдача содружества.— **Ю. Каграманов.** «Групповой портрет» буржуазии Франции.— **Георгий Степавидия.** Книга о «красном директоре».— **В. Ильин.** Страницы космической летописи.

КОРОТКО О КНИГАХ: Владимир Буданиян.— Воспоминания о Г. И.

Петровском. ♦ Д. Биленкин. — А. М. Вейн. Три трети жизни. ♦ Лев Озеров.— Петр Семенин. Разгадывая жизни смысл. Стихи. ♦ Владимир Шленский.— Ритмы. Африканская лирика XX века в переводах Михаила Курганцева. ♦ Ст. Золотцев.— Николай Шумаков. Дальний гром. Стихи. ♦ И. Дубашинский.— Н. Анастасьев. Разочарования и надежды. Заметки о западной литературе сегодня. ♦ Сергей Львов.— Е. Кузьмина. О том, что помню. ♦ Татьяна Кохман.— В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. ♦ Л. Антопольский.— Повесть о Петре и Февронии. ♦ Н. Шафер.— Э. Медведкин. Звонок самому себе. Юмористические рассказы

264

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

*В кремлевских палатах**

Есть люстры в кремлевских палатах
с хрустальным своим холодком.
Легко мне. Опять, как когда-то,
по этим державным палатам
брожу неторопким шажком.

Тут сонмы прошли поколений.
Не раз проходил тут и Ленин.

ЙОРДАН МИЛЕВ

С болгарского

Ленин

Отрывок из поэмы «Апрельский день»

Знаю, вечность не каждого метит.
Над планетой и над судьбой
это имя высоко светит
самой яркой звездой —
Ленин.
Имена над столетьем реют.
Ряд имен — ряд минувших лет.
Но, как солнце, нас в жизни греет
этот необъяснимый свет —
Ленин.
Голоса грозных лет не стихли.
Благодарен всем существом,
что рожден под зеленым вихрем
тем же самым апрельским днем.
Звон кремлевских курантов слышу...

* Это одно из последних стихотворений С. П. Щипачева, которое он написал по просьбе нашего журнала.

Ветер Балтики мнет волну.
 Миллионы свободой дышат.
 Этот воздух в себя вдохну.
 И за гением мысли и дела,
 как за светлой своей судьбой,
 миллионы шагают смело
 в не умолкший доныне бой.

Перевел В. ШЛЕНСКИЙ.

ХАСАН ТУФАН

На земле — весна!

С татарского

Запах вербы... В небе снова
 жаворонок висит, звеня...
 Ленин...

Помню это слово
 с незапамятного дня.

Мама ли над колыбелью
 назвала его?
 Капель?

Или вешней птичьей трелью
 мне наваял сам апрель?

Ты ли, ласковое солнце,
 грея травку во дворе,
 вестью истины оконце
 озарило на заре
 и лучами золотыми,
 как привет грядущих дней,
 начертало это имя
 в глубине души моей?

Всем теплом отцовской речи
 на родимой стороне
 это имя с первой встречи
 согревает сердце мне.

Ленин...

Помню это слово
 с незапамятного дня...
 Расцветают вербы снова.
 Ручейки бегут, звеня...

Звуком языка родного
 проникая сквозь года,
 в каждом сердце это слово
 поселилось навсегда.

Перевел Р. БУХАРАЕВ.

МИХАИЛ ШАНБАТУЕВ

* * *

В тихом зимнем селенье таежном
Свет окошек вонзился во тьму,
Ходит Ленин в раздумье тревожном,
До рассвета не спится ему.
Далеко — от Оби и до Лены
Сосны, хмурые дети тайги,
Каждой веткою, словно антенны,
Чутко слушают эти шаги.
...Зря метели следы заносили —
Сквозь замерзшие окна в ночи
Ленин видел иную Россию
И сегодняшней жизни лучи.

Шушенское.

ЗОРИЙ ЯХНИН

В Шушенском

И снова Шушенское. Вот он, лиственничный
Тот дом, — оконце в пожелтевший сад.
И сумрак вдумчивый и до того привычный,
Как будто здесь я жил когда-то сам.

Я снова здесь. Ступаю осторожно
В шуршащий, легкий, золотой настил.
Я снова здесь. В душе моей тревожно:
А так ли я и чувствовал и жил?

А был ли я к делам людским причастен?
Добавил ли на малый миллиграмм
Своей земле и теплоты и счастья?
Или хотя бы был ли счастлив сам?

Умел ли думать празднично и вольно,
Для трудной правды доставало ль сил?
И листья отрываются невольно
От раскаленных докрасна осин.

Виски уже седы у поколения.
Но, сердце милое, прошу я, не старей.
Я снова здесь, но не для поклонения,
А чтобы видеть дальше и острей.

И мы еще не обнищали силами,
У правды неприступны рубежи.
И хочется отнять слова красивые
У ханжества, у глупости, у лжи.

Красноярск.

СОФЬЯ ПЕТРЕНКО

* *

В двадцать пятом году
В Оренбурге поставили памятник Ленину.
Постамент старомодный, а Ленин — живой.
Вкруг кусты разрослись,
От сирени лилово и зелено,
Рядом город шумит,
Только здесь микроклимат иной.
Вижу в плотном каре батальоны, отряды рабочих.
И шинель не у всех и не каждый с винтовкой в строю.
Тут парнишка в опорках, и штык к пояску приторочен.
Но ружье он себе непременно добудет в бою.
Его Ленин приметил, сощурился — вот улыбнется,
Отвечая на преданный смелый мальчишеский взгляд.
«Верь, Владимир Ильич, что Юденич в крови захлебнется.
Не пропустим врага в наш родной Петроград».
Перед строем Ильич, в кулаке его кепка зажата.
Если б там я была с оседлавшей забор ребятней!
Он бы помнился мне вот такой — на трибунке дощатой,
С тяжелой складкой у рта
Провожал он товарищей в бой.



САВВА ДАНГУЛОВ



ЗАУТРЕНЯ В РАПАЛЛО

Роман

Был тот час, когда дневного света уже не хватает, а вечерний еще не включен,— в неярких мартовских сумерках белораморная лестница, казалось, отдает свет, который она накопила за день. Не будь этого света, можно было бы и разминуться — он ходил по мрамору, как по ворсистой ткани, нога точно утопала в камне, шага не слышно. Он остановился, опершись о перила лестницы, его борода, в последнее время буйно завившаяся, была устремлена в меня:

— Это вы, Воропаев?

— Я, Георгий Васильевич.

Он пошел на меня.

— Почему так поздно?

Этот вопрос мог задать ему и я, но пощадил.

— Собираюсь на дачу...

— А не ветрено?

— Нет, хорошо — я люблю мартовский снег с солнцем пополам.

— Ах да... сегодня же суббота,— засмеялся он: мысль о субботе застала его врасплох, ему стало весело.— Не в Петровский ли парк?

Это и для меня было неожиданно — откуда он знает про Петровский?

— В Петровский... — протянул я растерянно.

Он ткнул кулаком в бороду и точно свернул ее набок.

— Некогда в Петровском парке была и чичеринская дача!

— На вашей памяти, Георгий Васильевич?

— Пожалуй, и на моей.

Про дядю Бориса не было сказано ни слова, хотя нам было ясно: в Петровском парке жил он.

— А нет ли у вас желания побывать в Петровском, Георгий Васильевич?.. Как некогда?

Он рассмеялся — ему было приятно мое приглашение.

— Не воспротивлюсь...

Я торжествовал — наверно, это отразил мой голос:

— Седельный, сорок два — в любое время...

Он будто смешался — только сейчас понял, что разговор чреват обязательствами, которые могли и не входить в его планы.

— Благодарю.

Мы сейчас стояли у двери моего кабинета.

— А видели вы новый труд о венской опере, который мне привез Воронский? — спросил я и открыл дверь; он вошел не без колебаний, обычно он входил ко мне охотнее, видно, у него было дело, оно его торопило. Я предложил сесть, но он отказался — осторожно вынес книгу к свету, переложил лист, другой.

— Вот и тут эта не новая ересь: «Моцарт — век восемнадцатый». Ну, что можно сказать?.. Голословно! Нельзя человека вот так на-мертво прикреплять, нет, не только ко дню и году — даже к веку! Есть люди, в лике которых как в зеркале глядит завтра... Смотри на человека и понимай будущее. Мне скажут: простите, но Моцарт все-таки родился в веке восемнадцатом. Да, в восемнадцатом, но это в данном случае не самое главное!..

Он сделал шаг к двери.

— А как насчет Петровского парка, Георгий Васильевич?

— Благодарю, благодарю...

По правде говоря, мне казалось его «благодарю» больше прото-кольным. Я даже готов был обидеться: да воспринял ли он мой адрес? Если же воспринял, то почему не извлек свой блокнот со спичечный коробок, не чиркнул карандашом-спичечкой, а всего лишь вымолвил почтительно-покорно «благодарю» и ушел, как несколько минут назад, вминая подошвы штиблет в мрамор, который все еще казался податливым? Признаться, в своей обиде я не учел, что его память обладает качеством цейсовского чуда — в нужный момент заветный лучик, усиленный линзой, откладывается на матовой поверхности не-гатива.

Но прежде чем закончился этот день, я стал свидетелем разгово-ра, который, как мне померещилось, мог иметь отношение к завтраш-нему визиту Чичерина в Петровский парк.

Разговор произошел в большой комнате отдела печати, где раз-биралась пресса. Наркоминдельских полиглотов, читающих на не-скольких языках, сама судьба влекла в эту комнату — сегодня здесь пересеклись тропы Воровского и Красина, да и моя смятенная тропа.

Воровский (он даже не успел сесть — отставил палку и привалил-ся плечом к книжному шкафу: после брюшного тифа, которым Во-ровский жестоко переболел, он ходит с палкой). Воропаич, ты чего сбрасываешь окуляры, когда читаешь газету, а не наоборот? (Он про-износит все это, не отрывая глаз от листа, произносит так, чтобы слы-шал Красин, — ему надо затравить иронический разговор.)

Красин (не отстраняя газету). Всеми готов доверить Николай Андреевич, не доверяет глазам своим...

— Наоборот, именно глазам и доверяю, потому и сбрасываю стек-ла, — пытаюсь отбиться я.

Воровский. Однако хорош Воропаич! (Вполголоса, но так, чтобы слышал Красин.) Есть идея, друг Воропаич: да не увлекла бы тебя Италия — Геную не обещаю, а вот Рим подам как на тарелке...

Красин (оторвал глаза от газеты — разговор заинтересовал и его). Таким щедрым я Вацлава еще не видел — я бы согласился, а? (Это «а» было прямо адресовано мне.)

— Значит, Рим? — спросил я и надел очки: очень хотелось уви-деть в эту минуту Воровского. — А Геную?

Красин. Не пренебрег все-таки окулярами, Воропаич! (К Во-ровскому.) Он не доверяет не только себе, но и тебе, Вацлав!

Воровский. Нет, я готов повторить: подам Рим как на тарелке!

Но я был упрям, настаивая:

— А Геную?

Воровский (мне показалось, что он подмигнул Красину). А вот Геную не обещаю...

Занялся разговор и погас, а в памяти остался след зримый — ну, разумеется, ироничный Воровский мог заговорить об Италии ради слова красного, да похоже ли это было на него — он пошел дальше в этом разговоре, чем обычно позволяла его ирония. С тем я и отбыл в Петровский, обрекая на неведение долгое — завтра воскресенье.

Суть человека — в его мыслях. Увидеть Чичерина значит прикос-нуться к его разуму.

— Вот вам задача для раздумий, Николай Андреевич: что есть универсальность человеческого дарования? Да, в одном лице: живописец, автор бессмертных шедевров, и ученый, положивший начало заглавным страницам целых наук, крупный поэт и столь же крупный ученый... Говорят, что универсалы намертво прикреплены к заре человечества, время их безвозвратно ушло... Как утверждают, время их безвозвратно ушло по той причине, что сами науки так разветвились и обрели столь глобальные размеры, что для их постижения даже всей человеческой жизни недостает: если и удастся сделать нечто иное, то в сфере смежной. Неверно: Леонардо жил в шестнадцатом веке, а наш Бородин в девятнадцатом — несмотря на разницу в триста лет, никто не будет возражать, что в сути Бородина было и нечто Леонардово... К тому же тот же Бородин явил себя в сфере отнюдь не смежной: где его «Князь Игорь» и где его химия? Это же не случайно, что человек науки стремится прикоснуться к живописи или музыке, а муж искусства пробует свои силы в точных науках. Смею утверждать: чем дальше твоя вторая профессия лежит от профессии первой, тем больше эта первая профессия выигрывает. Тут есть законы, в которые надо еще проникнуть. Я вижу, вы улыбаетесь, Николай Андреевич? Улыбаетесь не без иронии? Где, мол, у Чичерина кончается дипломатия и начинается Моцарт, не так ли? Подумали так, верно? Если пришла вам такая шальная мысль, готов заверить: я говорю не о себе...

Я был у себя в Петровском, едва занялись сумерки, и вновь пришел на память разговор с Чичериным: а вдруг прикатит? Вот и Борис Николаевич, как я помню, любил сверканье пиротехнического огня. Его конные прогулки по аллеям Петровского парка воспринимались как зрелище, у которого была своя публика. А может, дело не в пиротехнике? Деловой разговор на синих снегах Петровского парка? Чем черт не шутит! Нет, теперь не легкое беспокойство, а нечто похожее на тревогу обуяло меня: в самом деле, чего ради ему пришлось на ум ехать на чичеринское пепелище? Не мокрые луга Караула или скользкий камень питерской Дворцовой набережной привлекли его, а многоветвистые аллеи старого московского парка, который чичеринским можно назвать весьма условно.

Я застал Машу за писанием этой ее византийской премудрости — чем более смутно состояние ее души, тем сильнее ее увлекают миниатюры. Я заметил: цельность ее характера сказывается и в том, что все ее увлечения обращены к Востоку. Наверно, миниатюры интересны и сами по себе, но для меня они тем интереснее, чем больше объясняют Машу.

А погода истинно подладилась под состояние ее души — наш старый сруб точно помещен в трубе Жуковского и всеисильные струи сотрясают домишко: неистово скрипят половицы, сажа летит из поддувала, и пакля, вышибленная из пазов, носится в воздухе, точно паутина на прохладном солнце бабьего лета. Неровен час закричишь: «Эй, вы там, хозяева больших сквозняков, повергшие все живое в дрожь, дайте солнцу объять землю!» Неровен час возопишь, взывая к ветру, но я молчу, вместе с Машей склонившись над тусклым квадратом ватмана. Кажется, что ветер, который обдувает наш старый дом, все еще вздымает Машины волосы, рассыпая их.

— Ты не успеешь закончить свой рисунок сегодня? — спрашиваю я, следя за движением острой кисти — как только она не произит ватман.

Она взглянула на меня; сейчас были видны крапинки в ее глазах, светло-кофейных, не просвечивающихся.

— Ты ждешь?.. Кого?

Я сказал ей.

Она пошла по комнате: подобно своей матери, Маша была не-людиной.

— Я боюсь, что не успею закончить,— произнесла она, остановившись у окна и точно говоря с кем-то, кто был на заснеженной тропке под окном.— Может, я уйду на это время?

— Нет, будь дома и работай — я все сделаю сам...

— Хорошо,— сказала она, но, обернувшись ко мне, не успела отвести глаз, и я заметил: глаза еще берегли боязнь — видно, я ее переполошил насмерть. В ее жизнь, подчиненную скучным ритмам, когда едва ли не суточные вахты в бюро переводов Наркомпроса перемежались многочасовой сряду работой над миниатюрами, работой до лиловых кругов в подглазье, до голодных колик, ворвалась буря: подумать страшно — Чичерин!.. — Что надоумило его? — спросила она, возвращаясь на свое место, однако, проходя мимо зеркала, взглянула в него и, как мне привиделось, осталась собой довольна: да не готовила ли она себя к завтрашней встрече? — Что надоумило!..

— Он не был здесь еще с той поры, когда был жив Борис Николаевич...— произнес я, стараясь утишить ее сердечко: я вижу, как оно встревожилось.— Помнишь... щербатовский особняк у старых берез? — был мой вопрос. Я рассказывал ей о доме с мезонином, обнесенном белым штaketником, — он сберег название щербатовского и после того, как отошел к Чичериным. Там до сих пор можно разглядеть эти березы, под которыми, как говорят, стоял стол, врытый в землю, просторный стол, срубленный специально для братьев Чичериных, Бориса и Василия, — в погожие дни соседи видели братьев, тогда студентов Московского университета, под березами: с прилежностью, быть может характерной для провинциалов, явившихся завоевывать столицу; они трудились на зависть.— Помнишь этот флигель с тремя березами?

— Помню...

Она теперь склонилась над рисунком так низко, что ее красноватый локон, не успевший потускнеть за длинную московскую зиму, распластался на ватмане. Однако не померещилось ли мне, что я в ней поселил беспокойство, от которого не так просто избавиться? — вон с какой энергией пошла гулять ее кисть. Нет, это развевалась не она, это ее двадцать шесть лет буйствуют — нет ничего страшнее этих двадцати шести девичьих лет. Боже мой, какой же красивой она мне сейчас кажется! Да, вот эта ее золотистость кожи, чуть красноватая, как у бабки-болгарки, вот эта копна пепельно-русых волос, с которыми она постоянно единоборствует, так они обильны и так непокорны, вот этот разлет ее бровей — одно слово, болгарская бабка... Но у той еще была огнишка, стойкая при всех ненастьях жизни,— она, эта огнишка, повлекла вслед за нею полк женихов пеших и конных, именно и конных: по слухам, один такой молодой оболтус оседлал своего каурого красавца и пытался въехать в дом к девчонке. А у Маши есть эта заветная огнишка, сводящая с ума? Наверно, есть, но упрятана так далеко, что будто ее и нет вовсе. Наверно, и печаль в глазах неразмываемая от этого; даже странно, Маша смеется, а глаза печальны...

— Чем мы приветим гостя?

— Чем богаты...

Нелегко сказать весной двадцать второго «чем богаты».

Я открыл кладовку, и разнотравье, пестрое, обильное, замешанное на знойном дыхании таврической степи, объяло меня. Точно взял на ладонь листья зацветающего сада, по листу с яблоньки-зимовки, вишни да абрикоса — жерделы, — растер покрепче и храбро вдохнул, задержав дыхание, — в этих запахах и хмельное веселье, и бездумное лихо, и тоска бездонная. В иные времена наша скромная кладовка была побогаче, а сейчас только пустые банки, выстроенные по ранжиру, да аккуратные квадраты наклеек: «Айва», «Персики», «Абрикос»,

«Вишня», — да, пожалуй, запах вишневого варенья, сладко-тоскливый, очень юный... Но я плохо знал свои припасы. Отыскалась и банка с красным перцем, крупным, болгарским, и баклажанами, залитыми подсолнечным маслом, и, разумеется, квадратный пузырек с вишневой, что, не скрою, вызвало у меня радость превеликую — с такими припасами мне было ничего не страшно.

— Что ты улыбаешься? — спросила меня Маша, когда я вернулся из кладовой. — Не обнаружился ли там копченый окорок?

— Почти... — сказал я.

Она повела головой, не скрыв скептической ухмылки, всеильной, — в этой ее ухмылке и прежде было ее преимущество, так кажется мне, превосходство ума, опыта, даже возраста: со своих двадцати шести она смотрит на меня сверху вниз.

— А не думаешь, что чичеринский флигелек имеет к завтрашнему визиту косвенное отношение? — спросила она.

— Не думаю, — сказал я, отдавая себя во власть духу противоречия — в ее вопросе был резон.

— А вот посмотрим, — улыбнулась не без злорадства Маша.

— А вот посмотрим, — возразил я; она, конечно, поняла, что в моей интонации не было уверенности, и это должно было ее воодушевить.

На этом день отошел, а жаль: он только что набрал скорость.

А память обратила меня к Чичерину вновь.

— Нет, вы только вдумайтесь, Николай Андреевич: эта загадочность, не поддающаяся исчерпанию и скрывающая глубины неодолимые, — как все это возникает в искусстве? Поверьте, здесь не все так просто, как может показаться, и к свету надо пробиваться с киркой... Вот Леонардова Джоконда — ее улыбка, которую улыбкой не назовешь, но в которой есть сила озарения, способная светить людям вечно, — что это? Леонардо сделал несколько Джоконд, каждая из них была отмечена своим состоянием: смеющаяся, плачущая, ласковая, любовно-страстная, а потом точно пчела прикоснулась к каждой и собрала свой взятки воедино... Леонардо писал не бездумно, тут была цель. То, что можно было бы назвать достижением загадочности, непостижимости, глубины, было обретено осознанно... Но, может быть, это не только привилегия Леонардо? Помните этот случай с двумя канонами, элегическим и комическим, которые сочинил Моцарт на прощание с семейством кантора Долеца? Ну конечно, каждый из этих канонов нес свой смысл и, наверно, звучал, когда его исполняли самостоятельно, однако это не шло в сравнение с тем впечатлением, когда каноны как бы соединили, исполнив одновременно. Получилось нечто такое, что способно было действительно потрясти слушателей, — одновременно и странное, и поразительное, и истинно глубокое... Вот она, Моцартова Джоконда, однако она требовала своего постижения — истинно навстречу ей надо было пробиваться с киркой! Тут есть своя диалектика многосложная, Николай Андреевич, в наших силах постичь ее и вывести закон...

В русской зиме люблю не столько январь, сколько конец февраля, а может быть, март, если его можно назвать зимой, когда поубавились ветры, а солнце начало набирать силу, — ярко-бирюзовое небо, лиловые тени, сияющий, слепящий, вышибающий веселую слезу снег... Ничего не знаю прекраснее московского марта.

— Николай Андреевич, по-моему, это вы?

— Не ошиблись — я, Георгий Васильевич, заходите...

Но он стоит недвижимо, сомкнув рукой воротник — боится застудить горло.

— У меня... пассажир: Хвостов Иван Иванович.

Он сказал: Хвостов. Да не тот ли, из отдела печати, желто беле-
сый, с розовой плешинкой?

— Все заходите.

Уже в доме Чичерин не без труда отводит тяжелый воротник
своего зимнего пальто, а потом долго разматывает кашне — пуще
всех напастей боится простудить горло.

— Вижу, Николай Андреевич, вы как станционный смотритель:
изба посреди бела поля и дочь-красавица?

Он рассчитывал на великодушие моей строгой Марии, но она
стояла перед ним гроза грозой — неровен час изречет одну из своих
иронических прописей. Самый раз мне подать голос:

— Прошу вас, Георгий Васильевич...

Он не торопится сесть. Воспользовавшись тем, что дверь из гости-
ной в кабинет открыта, пошел вдоль стены, увешанной фотогра-
фиями.

— Ба, да тут весь Московский университет!.. И Нахимов, и Гра-
новский, и старший Чичерин... — Он взглянул на книжный шкаф, где
в строгом ряду, ряду царственном, стояли Машины словари, святая
святых нашего дома. — А откуда этот ваш цветок языков восточных?..
Эти ваши арабский, турецкий, персидский, афганский и, по слухам,
совсем экзотический хинди?.. — Он точно пересчитал словари на Ма-
шиной полке, они, эти словари, дали ему представление о языках, ко-
торые полонили Машу, — не Италия же тут виной? — Откуда хинди
в Италии? — спросил он Машу и мельком остановил взгляд на Хво-
стове, очевидно полагая, что этот вопрос интересен и ему.

— В хинди Италия не повинна, а вот в арабском повинна, — по-
спешил ответить я: мне надо было спешить, так как Маша молчала,
грозно молчала. — Не вам же говорить, Георгий Васильевич, что Генуя
всегда была большими воротами не только для русских, но и для ара-
бов... В том, что зовется в Италии генуэзским языком, есть арабский
элемент...

— Значит, Генуя?

Он еще не обрел уверенности — это Маша внушила ему робость.
Она продолжала стоять на том месте, где он впервые ее застал.

— Вот тут у нас... чем бог послал — по чарке... — пригласил я его
к столу, пригласил, заметно выражая нетерпение: не поторопишься —
того глядя придется пожар тушить, Маша все еще была непонятно
грозна. — Дочка, приглашай гостей...

Были пододвинуты стулья — гости сели. Маша принесла из со-
седней комнаты хлебницу, устроилась поодаль от стола.

— Нет, это не дело — с нами, с нами, — произнес Георгий Ва-
сильевич и положил ладонь на стул рядом с собой — Мария пересе-
ла, пораздумав.

Из рук в руки пошел квадратный сосуд с вишнежкой, наполнили
рюмки.

— За приход гостей в наш дом, — сказал я, чувствуя, что ничего
более путного произнести не могу. — За ваше здоровье, дорогие гости.

Не выпили, а причастились — неловкость все еще не удалось рас-
ковать.

— Мария Николаевна, у вас был Московский университет? —
спросил Чичерин.

— Московский, — ответила она.

— Будете учить ребят языкам? — спросил он почти весело.

— По идее... — ответила она, не скрыв усмешки.

— Почему «по идее»?

Она молчала — в ней уже копился бесовский пламень, того гля-
ди полыхнет.

— Почему? — настаивал он — ему хотелось завязать разговор.

— Больно время для языков твердое, — произнесла она, спрятав
глаза. — Было бы помягче, дело б пошло побойчее...

— В каком смысле?

— До языков ли нынче? — Она обратила взгляд на окно, там воевала пурга. — Вон как ненастно...

— Ненастье не постоянно... — произнес он и скосил взгляд на соседний стол, на котором все еще лежали Машины миниатюры, карандаш и резинка прямо указывали, что миниатюры были в работе. — Это вы делали? — посмотрел он на миниатюры.

— Да.

— Дань Востоку?

— Пожалуй. — Она была в своих ответах сдержанна.

— Однако вы бережливы к тому, чем одарила вас природа, — засмеялся Чичерин — мне было интересно, как развивалась его мысль. — Немалое умение сберечь это...

— Не столько сберечь, сколько устоять на ногах! — произнесла Мария, не восприняв веселой интонации Чичерина.

Нет, пламень уже объел наш дом: пакля, что порох, вспыхнула в пазах и огонь ударил в потолок, затрещала крашенная сосна.

— Ну вот, пошла писать! — расхохотался я как можно громче — спасение было в хохоте. — Надо знать мою Марию: сам бес противоречия свил в ней свое гнездо.

Маша вышла из комнаты, тихо вышла.

— Тут не все так просто, Николай Андреевич, — сказал Чичерин мягко, — молодых людей надо вызывать на разговор, именно вызывать...

Он сказал это без того, чтобы Маша, которую его слова застигли в соседней комнате, слышала, но ее, мне почудилось, его слова не минули. Маша указала на это безошибочно: когда мы собрались с гостями в дальний конец Петровского парка, где находилась чичеринская дача, моя девочка вдруг вышла к гостям — во всех иных случаях она этого не сделала бы, я-то знаю, что не сделала бы.

А между тем пурга утихла, глянуло солнце, и мы пошли к вожделенной Башиловке пешком — Чичерин, Хвостов, я. В нескольких домах от нас жила большая семья авиаторов — отец и два сына. Всем забавам они предпочитали верховую езду. Даже странно — авиаторы, а привязаны к этакой архаике: конь... Еще недавно из решетчатых ворот, за которыми жили авиаторы, появлялись три коня, по нынешним же нелегким временам остался один. Авиаторы по очереди гарцевали на нем, не сменив своей марсианской одежды. Вот и сейчас: мы шли парковой аллеей, по-мартовски графленной фиолетовыми тенями, предводимые всадником в квадратных очках.

— Человек кажется сам себе красивее, если знает, что на него смотрит кто-то, — указал Георгий Васильевич на всадника и пошел тише: его начинал смущать всадник. — Николай Андреевич, а ведь мы к вам по делу. — Мой гость вдруг остановился. — Решитесь на поездку в Геную? Я спрашиваю: решитесь составить нам компанию в поездке в Геную?.. Да не обескуражил я вас?

Чичерин прибавил шагу, оставив меня с Хвостовым наедине.

— Вы представить себе не можете, как много доброго сделал мне Георгий Васильевич! — вдруг воскликнул Хвостов, как мне казалось, вне связи с предыдущим, а может быть, в связи с этим.

— Если и не знаю, то догадываюсь...

Хвостов моложе Чичерина года на два. Если тому сейчас без малого пятьдесят, то Хвостову сорок семь. Хвостов как бы всю жизнь шел за Чичериным, стараясь его настичь. Их своеобразное приятие началось на благословенной Тамбовщине, где у Хвостовых было небольшое имение, а потом было продолжено в Петербурге, вначале на университетской стезе, а вслед за этим на чиновничьей: Чичерин служил по иностранному ведомству, Хвостов по ведомству военному. Они были соседями. Их разделяли даже не дома, а подъезды: и министерство иностранных дел и генеральный штаб находились в

одном доме и глядели окнами на Дворцовую. Нельзя сказать, чтобы Иван Иванович тяготился положением в военном ведомстве, но он не без тайного смущения следил за службой тамбовского земляка, задавшись целью при первой же возможности перебраться из генштабского парадного в министерское. Ему удалось это году в седьмом, удалось в полной мере, ибо он сразу получил ранг младшего секретаря, а вместе с этим свой стол персидский, ибо порядочно поднатерел в знании языка. Если иметь в виду, что дипломат он был начинающий, то это было удачей неслыханной, кстати неслыханной и в сравнении с тем, куда занесла к этому времени судьба тамбовского друга... Могучая рука этой судьбы связала Чичерина с революцией и кинула так далеко, что о дипломатической карьере, казалось бы, надо было забыть, именно казалось... Но произошла революция, и персидский стол Хвостова пустило бы вплавь по Неве, а если быть точным, то по Мойке, до которой было ближе, чем до Невы, вместе со столами афганским, греческим, сербским и иже с ними, будь на то добрая воля Чичерина. Он приметил стол Хвостова, терпящий бедствие, и явил доброту, сделав старого коллегу, если пользоваться прежними категориями, едва ли не вице-директором департамента. Как же тут не возрадуешься, как не возблаговаришь всевышнего. Была бы жива матушка, сбегала бы в Смольнинский собор и поставила бы свечку за здоровье. Минуло четыре года, и вице-директорский пост был Хвостовым обретен, если, разумеется, мерить положения прежними мерками. Нет, что ни говорите, но судьба — штука серьезная: соединит незримой ниточкой двух людей и не отпускает годы... Благо что один может сказать о другом: «Нет, что ни говорите, а добрая душа у Георгия Васильевича: вон сколько добра он мне сделал!»

— А знаете, что есть в этой чичеринской доброте примечательного?

— Что, Иван Иванович?

— Творит добро и... не замечает. Бескорыстен, как бог.

— Не требует, так сказать, вознаграждения, Иван Иванович.

— Не требует. — Хвостов задумался. — Вы полагаете, что это хорошо?

— Да неужто плохо?

— Плохо, — неожиданно ответил Хвостов. — Добро требует благодарности, иначе оно что дым из трубы... Люди должны понимать, что добро не падает с неба. Оно должно человека обязывать. Если не обязывает, то не выполняет, так сказать, функций добра, — уточнил он.

Однако Чичерин замедлил шаг, дав понять, что намерен продолжить начатый разговор. Нет, предчувствие меня не подвело, как не подвело оно Машу: его приезд в Петровский парк был вызван отнюдь не только желанием видеть щербатовский особняк.

— Ну что ж, скажете вы, Иван Иванович, или, может быть, сказать мне?

— Говорите вы, Георгий Васильевич...

Чичерин взглянул в пролет аллеи, точно стараясь измерить расстояние до всадника, который сейчас маячил в морозной полумгле.

— Как вы знаете, Николай Андреевич, мы готовимся к отъезду в Геную... — произнес он с расстановкой, а я подумал: уже три недели Наркоминдел жил вестями о Генуе, жил в такой мере полно, что на дверях наркомовского кабинета появился транспарант: «С наркомом запрещено говорить о Генуе!» — Хотим призвать на помощь ваш итальянский и, разумеется, Сестри Леванте...

Ну, вот это знает, наверно, только Георгий Васильевич: Сестри Леванте... Да, в трех шагах от Генуи, почти бок о бок с Санта-Маргеритой и Рапалло, раскинула свои сады Сестри Леванте, которую в Ита-

лии принято было называть островом русской свободы. В своем рде старостой русского посада был Герман Лопатин — его светло-русую бороду тут помнят до сих пор. Сюда, в тенистые заросли эвкалиптовых рош, он укрылся, спасаясь от царского сыска, отсюда он выступил (именно выступил!) в свой сибирский поход, у которого была отчаянно дерзкая цель — побег Чернышевского!.. Но я застал в Сестри Леванте лишь воспоминание о Лопатине, неясно-туманное, похожее на светящийся сполох, оставшийся после того, как раскаленный камень располосовал ночной свод. Впрочем, было и нечто более существенное, что можно было взять в руки: странички Марковского труда, переведенного Германом Александровичем и тщательно перебеленного его крупным мягко-округлым почерком, хранились в русских домах Сестри Леванте и показывались как некая бесценная реликвия, как след славных лет, минувших, но не исчезнувших. Кажется, что и сейчас вижу этот наш домик за квадратным камнем, оплетенным виноградной лозой, диковинным камнем, который мог тут оказаться, если только в этом участвовало море.

— Сестри Леванте?.. Как давно это было и было ли это!.. — вымолвил я: эвкалиптовые рощи и квадратный камень, поросший виноградной лозой, точно вынырнули из забвения. — Нет, нет... было это, Георгий Васильевич?

— Да, видно, было, коли явилась возможность убедиться в этом...

— Это каким образом... убедиться?

Он взглянул в даль аллеи — всадник в квадратных очках растушевался в морозной дымке.

— Но вернемся к Генуе. — Чичерин поднес ладонь ко рту: он все еще боялся застудить горло. — Поедет большая делегация, и, по всей вероятности, недели на три, на четыре — предстоит немалая работа... — Он взглянул на дерево перед собой и вышел из его тени: хотя день был теплый, его и такая малость тревожила, на солнце он чувствовал себя безопаснее. — Одним словом, вот идея, которая показалась стоящей: вы становитесь во главе секретариата делегации и выезжаете в Геную. Задача: организовать досье, наладить информацию, не в последнюю очередь устную, войти в курс текущей жизни... — Он заулыбался, поднял бровь. — Не правда ли, мы молодцы, ведь ловко же придумали, Николай Андреевич?..

Итак, Генуя... Четыре весенних недели в Генуе, да к тому же в самом водовороте конференции — есть ли предложение более заманчивое? Да какое там, к чертовой матери, сердце? Побокую его! Однако побокую ли?

— Это как же понять... вселенский собор?

Он просиял:

— Пожалуй, вселенский... Вы о чем задумались, Николай Андреевич?.. Вас что-то тревожит?

Я попробовал возобновить движение по заснеженной тропке, увлекая за собой спутников; скрипел снег, как казалось мне, располагая к неспешной мысли.

— Да вот мое сердце... совладаю ли я с ним?

— Погодите, Николай Андреевич; но ведь тут удаётся вам с ним... совладать?

— Тут моя Мария, Георгий Васильевич...

Хвостов, которому быстрые ноги помогли обскákat нас, обернулся мигом:

— А кто вам препятствует взять ее с собой?

Чичерин на минуту пришел в замешательство, всего лишь на минуту.

— Вот именно, кто? — Он задумался. — К тому же этот ее цветок восточных языков не противопоказан нашей итальянской экспедиции...

— Вы полагаете, что турки не обойдут Генуи, Георгий Васильевич?

— Убежден.

У меня все пошло кругом: разом встал в памяти Игорь Рерберг, его лицо в белесых пятнах и это его обращение как присказка, которую он повторял кстати и некстати: «Сударь мой!»

— Я должен подумать, Георгий Васильевич...

— Ну, думайте себе на здоровье... Сколько вам надо для вашей думы трудной? Минуту, две?

— Нет, больше: день...

— Ну что ж, пусть будет день.

Увлеченные беседой, мы прошли лишнюю версту. Повернули обратно; то, что было нами опознано в первозданной чашобе Петровского парка, можно было принять за щербатовский особняк очень условно, но нам хотелось, чтобы то было доброе обиталище, некогда приютившее братьев Чичериных, Бориса и Василия.

— По-моему, я вижу три березы, под которыми дядя Борис учил отца почитать Канта... Ничего не скажешь: мотор наш дядя Борис...

Я не сдержал улыбки:

— Чичеринским мотором был Борис Николаевич?

— Можно сказать и так...

Как иногда бывает, разговор, возникший неожиданно, дал возможность коснуться самой сути.

— Согласитесь, Николай Андреевич: чем необычнее совпадение обстоятельств, тем в большей мере оно обезоруживает и некая пауза тут неизбежна. Поистине усмотришь перст судьбы, когда вдруг окажешься лицом к лицу с таким фактом. Отец и дядя Борис явились к смертному одру своей матери в ту самую минуту, когда дядя, читающий заупокойную, произнес: «Се что добро и что красно, но еже жити братия вкупе...» Сама молитва взывала к ладу между братьями. Это было так неожиданно и в такой мере отвечало существу, что готово было стать знаком жизни. По-моему, у них был лад, хотя они были очень разными, какими люди одного корня бывают редко разными... Я не скажу ничего нового, если замечу: Чичерины опознавались по дяде Борису. Дело, разумеется, не в том, что Борис Николаевич был московским городским головой и профессором университета, — дело в немалой степени в личных его качествах. Когда говорят «один из просвещенных людей своего времени», это не пустые слова. Наверно, немногие могли сказать Толстому... Погодите, сейчас припомню... Одним словом, смысл совета, который он дал Толстому: не зарывайся в деревню, там, мол, ты не выйдешь из ограниченной сферы понятий и предметов, а скопи деньжонок, вытребуешь заграничный паспорт и отправляйся в Италию. «Ты художник, и тебе нужно образование художественное», — счел возможным сказать он Толстому. Формула, как все у Бориса Николаевича, была излишне категорической, но своя доля правоты, наверно, в ней была. А коли речь зашла о живописи, то тут советы Бориса Николаевича обретали резвость завидную, живопись издавна была его коньком. Предупредив Толстого, что тот галереи не может осматривать четыре часа сряду, ибо, мол, у него выйдет чепуха, Борис Николаевич резюмировал, нисколько не смущаясь тем, что адресуется к Толстому: «К этому приучаются по-маленьку, и настоящее понимание приходит поздно». Надо отдать должное дяде Борису, знания он накапливал подвижнически — пришли в движение все его достоинства: и трудолюбие, и своя система постижения, и богатство интеллекта, который у него образовался не сразу. И все-таки мы были людьми разными, совершенно разными — в своих эстетических воззрениях он остановился где-то в сороковых годах...

— Ну что ж, можно считать, что щербатовский особняк нами обнаружен и есть смысл повернуть к дому, — улыбнулся Георгий Васильевич не без иронии — он не обманывался насчет результатов нашего похода.

Мы возвращались, и единственно о чем я молил сейчас всевышнего — чтобы Федор не оказался у нас дома. Если говорить искренне, то меня тревожил не столько Федор, сколько моя Маша. Федор был многоопытен и обладал достаточным тактом, чтобы не затевать ненужных разговоров, а вот о дочери моей этого не скажешь — на нее находил некий стих и она вдруг обретала красноречие, не очень свойственное ее характеру. Но, как это часто бывает, случилось как раз то, чего я опасался: Федор был тут как тут.

Но, к счастью, Георгий Васильевич, приметив нового гостя, не решился войти в дом.

— Значит, завтра я жду вашего ответа, — сказал Георгий Васильевич, открывая дверцу автомобиля и пропуская своего спутника вперед, чтобы поместиться с ним рядом. — Я говорю «вашего», а это значит и Марии Николаевны... — Он заметно акцентировал последнюю фразу, точно желая дать понять мне, что разговор, которому он был свидетель час назад, не изменил его мнения.

Я стоял посреди двора, полоненный вечерней тенью, и три окна, ярко освещенные, делали видимым все происходящее в доме. Гость сидел в кресле с плюшевыми подлокотниками, в котором он пребывал обычно во время посещения нашего дома, а Маша, успевшая сменить свою вельветовую куртку на белый свитер, стояла у кафельной стены, раскрыв руки и припав ладонями к кафелю. От меня до Маши было шагов пять, но она была хорошо видна, а я нет — тьма уплотнилась и скрыла меня. Нет, не только электричество, но и голубоватый кафель, к которому она припала сейчас спиной, делал ее видимой — что-то в ней явилось последнее время даже не девичье, а женское, свидетельствующее, что во времена оны святогорский феодал согрешил с мужичкой: вот эта сивость ресниц и картошистость носа, вот эта хрупкость плеч и могучесть бедер, вот этот изгиб шеи и неженская твердость рук, которая явится только в том случае, если бабка тербила лен, а прабабка вязала снопы... Но все это было доступно только моему зрению, а иной мог опознать и не это: если не красавица писаная, то хороша статью гордой, приглядной...

Вспомнилось давнее, лежащее, казалось, за дальними далями: когда чахотка сожгла на знойном итальянском берегу Магдалину, Машину маму, и старая Фелица, наша душепастительница и хозяйка, предсказала мне быть отныне в едином лице и отцом и матерью, я понял, что жизнь моя теперь повернулась круто весьма... Но все пошло не совсем так, как я полагал: Маше шел восьмой год, а это значит — она была способна постичь случившееся. Вот эта ее способность внять горю и была моим великим подспорьем: все, что она делала, делалось ею с пониманием происшедшего — мама ушла и уже не вернется. И если говорить о том, кто занял место Магдалины, то это был не я, а Мария. Страшно сказать: была бы Магдалина жива, Маша не явила бы всех черт своего характера...

Но тут, наверно, пришло время объяснить все с азов.

Не осудите меня, если я это сделаю не очень коротко — когда надо воссоздать жизнь, все тебе кажется важным. Чужбина — это такой берег, на веки веков пустынный, что его не способны обратить в землю обетованную даже кущи райские. Нечто подобное я испытал, когда жестокой волной однажды был выброшен на лазурное Средиземноморье. Даже странно: рай, а на сердце жестокая стужа. Рай не стал раем и тогда, когда полтора годами позже в лигурийскую благодать удалось вызволить Магдалину с Марией, и я мог впервые пораскинуть мозгами: что же со мной произошло?

Что же со мной стряслось, каким образом я, российский житель,

абориген исконной Твери, стал генуэзцем? Наверно, немалая привилегия для студента Петербургского университета, без пяти минут приносящего доверенного, стать экспроприатором, тем более имеющим отношение к столь деликатному делу, как налет на банк в питерском Фонарном. Могу сказать как на духу, что вихревая операция — дело и моих рук. Однако легче было накрыть казенные деньги, труднее — унести ноги. Уже очутившись в неправдоподобно синей лигурийской тиши, я слышал топот мчащихся за мной полицейских стай. Полицейская служба у русского царя была так отлажена, что погоня продолжалась и тогда, когда сыскной кортеж был остановлен на границе: по эстафете российские фараоны передали соответствующие данные французам, которые, не покрываю душой, чувствовали себя в Италии как дома. В Сестри Леванте, которую издавна избрали своим прибежищем гонимые россияне и где не обитал, как мне хорошо известно, ни один француз, вдруг возникло отделение французской тайной полиции. Короче: произошло чрезвычайное — республика, похваляющаяся своим свободолобием, стала сторожевым псом монархии.

Разумеется, это была угроза, и угроза действенная, но после пережитого на российской земле мы были уже не столь пугливы. В тех семьях, где были дети, чужбина казалась не такой постылой — дети помогали обжить чужбину, они, как я заметил, свыкались с нею легче. У нас была Мария, и она многое определила в образе нашей жизни в Сестри Леванте. Много, в том числе и круг друзей. Через дорогу от нас жили Рерберги. Зосиме тогда было уже под семьдесят, и он уже начал побаливать. Если он был прикован к своему ложу, наши беседы переносились в сад. По-моему, он происходил из тверских дворян, сумевших не только избежать разорения, но приумноживших капитал, чему в немалой степени способствовала близость Питера — Рерберговы мужики не знали отхожего промысла, знаменитая Рербергова мебель изготавливалась в здешних Заломах. Рербергова мебель? Новый модерн, явившийся в Россию в конце века, прежде всего заявил о себе в Питере на Каменноостровском. Многоэтажные дома с зауженными окнами, точно инкрустированные цветным камнем, парадные входы, оплетенные кованым железом, живописные и лепные фрески по фасаду, мраморные лестницы; не столько подсвеченные, сколько затемненные лиловым сумраком витражей, музыка линий, мягко изогнутых, симметричных, стремительно разбегающихся... Новая архитектура требовала новой мебели, эта новая мебель призвана была своеобразно воспринять новый стиль, не столько повторить, сколько развить его, и Петр Рерберг, по всему натура художественная, внял этому едва ли не первым. До сих пор владетельный Каменноостровский заказывал мебель в Варшаве, Рерберг решительно заявил, что его Заломы готовы соперничать с польскими краснодеревщиками. Так или иначе, а деятельный Петр Рерберг был организатором. Со смертью Петра то, что можно было назвать Рерберговым кораблем, поставили на прикол. Все, что способно было быть проданным, Зосима продал, а вырученные деньги положил в цюрихские сейфы, переписав их до последнего гроша на революцию. До последнего гроша? Так и не иначе, а когда я впервые переборол булыжную дорогу в Сестри Леванте и явился к Зосиме Петровичу под старый абрикос, на маленьком столике рядом с его койкой стояла его утренняя трапеза, как я потом установил, для него обычная, — кусочек овечьего сыра и яблоко, здешнее, лигурийское, ярко-зеленое: годы страдного житья на чужбине научили его обходиться такой малостью, что даже здешним русским, чья бедность вошла в пословицу, это казалось диковинным. Но то, к чему Зосима привык, его Агния приохотить себя было трудно, как, впрочем, и Игорю, которому шел тогда, как и моей Марии, двенадцатый год. И Агния пошла на хитрость. В Специи жила тетка Зосимы по отцу Клара Филипповна, тетя Клара, существо одинокое, по всему не вредное, прикованное самой судьбой к своему со-

стоянницу в виде загородного дома с яблоневым садом, в глубине которого был расположен кирпичный дом с мастерскими в первом этаже, но о них рассказ впереди.

...Итак, Рербергова тетка — Зосима разглядел в ней некий «осколок разбитого вдребезги» и не хотел знать, но Агния, жена Зосимы и мать Игоря, думала по-иному: втайне от мужа она сплавляла туда на неделю-другую Игоря и тот, по всему, приворожил к себе тетку, как прикипел к ней и сам; говорю об этом столь подробно потому, что эта история, незначительная сама по себе, имела свое продолжение. Зосиму легко было вводить в заблуждение — он безгранично верил Агнии, да к тому же жил в ином мире. Это был тип идеалиста в том высочайшем значении слова, которое оно обрело только в начале века — никогда прежде таких людей не было, как, допускаю, их не может быть и впредь. Он любил Россию и желал ей счастья — если он способен был мечтать о чем-либо, то только о будущем России. «Знаете, о чем я думал сегодня? — мог вдруг сказать он. — Зачатки русской свободы были и в нашей древности: в новгородском вече была гласность, которая воодушевляла немало... Гласность — это уже свобода... Главное, не зависть и идти по грешной земле так, как надлежит идти по грешной земле...» Он точно понимал, какая опасность подстерегает его, и повторял, имея в виду свое, Рербергово: «По грешной земле». Он вернулся в Россию и, пренебрегая недугами, пошел на работу, требующую железного здоровья. Короче: он стал одним из сподвижников деятельного Цюрупы — он знал его по Туле и Харькову. И судьба, которую он избрал, во многом напоминала судьбу Цюрупы: был хозяином всего хлеба республики и голод валил его с ног. Он жил неподалеку от нас в Петровском, и я был тому свидетель. Но случилось неожиданное: Агния сдала первой — ее просто не хватило на это жестокое житье-бытье. Быть может, он прожил бы дольше, но горе это было для него ужасно своей внезапностью — всего мог ожидать, но только не этого. И вот тогда явился брат Федор, по-моему двоюродный брат, и протянул руку помощи Игорю, тому было уже двадцать три и у него было две поездки к крымским раскопкам.

В том, как Игорь определил свое призвание в жизни, чувствовался расчет. Именно расчет, ничего более. Нет, дядя Федя, как мне кажется, в этом не виноват, как не виновата бедная Агния, тут все сложнее. Игоря сотворила обида, которую он затаил на бедного Зосиму. Он как-то сказал об отце в сердцах: «Не от великого же ума он пустил всех по миру, и меня первого...» Такое не возникает в человеке вдруг — видно, обида эта наслаивалась много лет, а наслаившись, сотворила характер: «Пустил по миру...» Допускаю, что Зосима был так захвачен идеей новой России, что ему было не до Игоря, а человек скороспел — еще не сказали «ах», а он уже готов. Одним словом, когда явился дядя Федя, жизнь уже достаточно оснастила Игоря. Правда, он не пал так низко, чтобы поносить отца на людях, но тому же дяде Феде мог бросить в сердцах, имея в виду отца: «Таким не нужна семья и тем более дети, они женаты на идее». Бросил и точно дал вексель — остальное уже было делом времени. Надо отдать должное дяде Феде, он умело, с нерусской сноровистостью воспользовался этим векселем, чтобы перебазировать Игоря в Специю, там ведь жила тетка Зосимы. Федор Иванович работал по внешнеторговому ведомству, и его вояжи по европейским городам и весям были не эпизодичны. Человек общительный, не пренебрегающий черной работой, умеющий ладить, что в его положении бесценно, и к тому же хорошо знающий английский и французский, Федор Рерберг был поистине незаменимым в своем внешнеторговом ведомстве — никто лучше его не мог проникнуть к высокопоставленному иностранцу, организовать приватный ужин с деловым человеком, подготовить встречу лиц влиятельных. Не беда, что он был далек от политики и система его политических взглядов своим многоцветьем и экзотичностью напоминала

павлиний хвост,— он нашел свое место в жизни. Вот задача: человек, чей политический идеал был за семью печатями, пользовался доверием безграничным. Видно, почтенный муж был так искусен в отношениях с окружающими его людьми, с каждым в отдельности и со всеми вместе, что вопрос о политической благонадежности не возникал — вот это и была тайна, пожалуй даже тайна тайн. Все свершилось мгновенно: дядя Федя уехал во Францию и чудом оказался в Специи, возвратившись с вестью почти счастливой: тетка Клара почилла в бозе, однако не забыв переписать свои купчие на Игоря,— все завертелось с силой необыкновенной. Был один Игорь и мигом стал другой — перемена, что произошла в нем в несколько дней, ошеломила. А быть может, никакой перемены не было и все уже было в нем уготовано, все было в нем? Смотрел я на Игоря и думал: а все-таки ничего не понимаю я в людях, прожил на свете столько лет и, казалось, все постиг, а остался едва ли не зеленее зеленого; какова же цена всему накопленному в жизни, если я профан в главном: человека не знаю? А человека я, видно, не знал, не знал напрочь: Игорь мне всегда казался стоящим парнем. Мне и теперь трудно о нем думать плохо. Одним словом, Игорь уехал в Специю получать наследство, которое оставила ему преподобная тетя Клара. Игорь уехал, и отъезд его, подобно подземному толчку, потряс наш дом — нет, взрыва не было, наоборот, была тишина: Мария, которая и прежде была малоречива, замкнулась в немоте. Только и отрада была что дядя Федя — он радовал ее вестями от Игоря, скупыми, но вестями. Все-таки то, что принято называть генами, непобедимо: всесильный Петр Рерберг пробудился во внуке. Как сказывают, Игорь отважился сотворить в знойной Лигурии слепок Рерберговых Заломов: поставил часовенку над колодцем и посадил сосенок...

Я вошел в дом и застал ее у той же кафельной стены с раскрытыми руками.

— Вот я говорю Федору Ивановичу: все, что человеку дано от природы, непобедимо на веки вечные — он способен нести это, как будто бы не было набатных событий века, наперекор войнам, вопреки революциям...

— И ты была не голословна — назвала имя?

— Да, конечно: Чичерин. Кем бы был он в старой России? Министром иностранных дел. Кем он стал в России новой? Министром иностранных дел. Главное — в нем самом, революция не в счет...

— И Федор Иванович с тобой согласен?

— Не совсем: он не убежден насчет старой России...

Гость пил свой чай, давно остывший; когда он подносил стакан ко рту, ложка в стакане позванивала — тайная мысль гостя, по всему, была лишена покоя.

— А по мне, действует старое правило дипломата карьерного: надо отыскать свою лошадь и не мешкая поставить на нее — остальное совершится само собой...

— Чичерин отыскал, на ваш взгляд?

— Отыскал, разумеется.

— И вы полагаете, что это на него похоже?

— А почему бы и нет?

Я посмотрел на Машу — она уловила этот мой взгляд, требующий ответа.

— Что ты так смотришь на меня, Воропаев? Я согласна с Федором Ивановичем: похоже, похоже!.. Вот эта его усмешка скептическая. Ты заметил: есть люди, которые смеются только голосом?

Федор Иванович откликнулся из прихожей:

— Именно: одним голосом...

Он будто нарочно приурочил эти свои слова к уходу: хлопнул дверью и оборвал разговор — поминай как звали.

Уход знатного гостя не заставил ее отойти от кафельной стены: она точно вросла в нее.

— Не осчастливил он тебя перспективой встречи с Игорем Рербергом? — спросил я и пошел к дивану, что стоял у дальней стены, — между ею и мною была вся наша гостиная.

— Нет, разумеется, — вымолвила она. — А что? — Ей мог показаться мой вопрос странным, она на всякий случай произнесла: «А что?»

Я снял ботинки и забрался на диван; она следила за каждым моим движением неотрывно — она учуяла, что разговор предстоит необычный.

— Ты знаешь, зачем приезжал Чичерин?

— Зачем?

Я слышал сейчас ее дыхание — оно, как у нашего Рекса, становилось у нее заметнее в минуту волнения.

— Предстоит поездка в Геную, и он просил меня быть с ним...

— А я?

— Ты поедешь со мной...

— Не шути так...

— А я и не шучу — честное слово.

Она будто оттолкнула от себя кафельную стену — устремилась ко мне:

— Вот тебе, вот тебе, тиран мой... — Ее кулаки добрались и до моего загривка — она развевалась не на шутку, ее левая бровь изогнулась, того гляди преломится.

— Верно говорю: не шучу.

— А, вижу, что ты не шутишь.

Я потянулся рукой к ее плечу и вдруг увидел, что моя рука приплясывает — ее колотил озноб, нет, это был не студеной ветер, который вдруг она учуяла всем телом в теплом доме, это, пожалуй, был страх.

— Тебе... боязно, Мария?

Я схватил ее плечо — толчки были твердыми, она едва сдерживала их.

— Нет.

Но я знал: ей боязно и у этой боязни было свое объяснение — Рерберг. Одному богу известно, как он себя там поведет, в лигурийских Заломах, если узнает о поездке в Геную. А он узнает наверняка. Мое имя ему на это укажет. Невелика птаха — Воропаев, но двух Воропаевых в Наркоминделе нет, как нет в Москве двух Остоженок или двух Марьиных Рош. Да, само имя укажет, а коли так, то ее встречи с Рербергом не предотвратить, встречи, у которой могут быть последствия превеликие... Страшно подумать: последствия, последствия...

— Ты дал ему согласие?

— Нет.

— Обещал дать?

— Все зависит от тебя, Мария...

— От меня?

Всю ночь я слышу, как она ходит по дому. Все зависит от нее, все зависит от нее... Вздыхают половицы — в этих вздохах и тревога и Машино сомнение. Даже как-то непохоже на нее: куда девалась ее гордыня, ее неуступчивость? Я слышу, как она стоит посреди большой комнаты затаившись, а потом опять идет, и вздыхают, неудержимо вздыхают сосновые доски нашего рассохшегося пола. Вот оно сшиблось, коренное: сберечь любовь и столкнуть отца с обрыва, охранить святое и не осквернить седой родительской гордыни, а заодно и своей, той, что держит имя твое, что дает возможность и в кругу недругов не отвести глаз, не упрятать лица... Она идет по дому, и вслед за нею незримо сеются звуки: скрип половиц, урчание нашего старого примуса, который Маша зажгла (в часы бессонницы она греет молоко), гудение ветра в гостиной — выходя из нее, она открывает фор-

точку. Краем глаза я вижу, как дочь моя возникла в раме окна, выходящего на улицу: луна на вызреве и дымная лунность мягко объяла Машу, кажется, что ее волосы в холодном пламени луны... Этот огонь, подпаливший ее волосы и точно сделавший их светящимися, мнится мне и тогда, когда она выходит из поля света...

Поутру я провожаю Машу до трамвайной остановки. Она больше обычного сутулится — верный признак, что не выпалась, ей солнце не в радость, знобит с недосыпу.

— Ночь-то прошла не зря — что надумала?

Она зажмурилась — белки заметно за тило краснотой, тоже с недосыпу.

— Я, пожалуй, не поеду.

— Что ты, Мария!

— Не поеду.

— Веры в себя нет, да?

Ее губы вздрогнули и, казалось, побелели: худой признак. Сейчас она выдаст мне одну из своих тирад, от которых небу станет жарко.

— Не я боюсь, а ты...

— Почему мне бояться надо, Мария?

— Сказать?

— Да.

Она вобрала губы и точно сцепила их зубами — мне стало жаль ее.

— Все-таки в Специи Игорь Рерберг...

— Я верю тебе, дочка.

Она дотянулась до моей щеки рукой, задержала — рука была ледяной.

— Спасибо.

Она увидела трамвай и побежала — от разговора, что я затеял, побежала.

Я стоял посреди площади, укрытой темным городским снегом. Где-то рядом пролегла канава, и тишину рыла проточная вода — потеплело с утра, началось таяние. Пахло весенней прелью, мокрой корой — мартовские запахи. Что же я скажу ему сегодня? Мое решение в ее руках. Но тогда почему она так встревожилась? Бойтись потерять голову? Да похоже ли это на нее? Не теряла же она ее до сих пор. Я ловлю себя на мысли, что берегу звук удаляющегося трамвая, впрочем, и он стихает. Я открываю глаза — трамвай еще виден, его темная полоска прочертила снег. Маша стоит у трамвайного окна и не может отнять глаз от площади с темным городским снегом. Она видит меня. Видит, как единым словом остановила меня посреди площади.

Подожел трамвай, на этот раз мой. Вот и мне бы побегать, как это сделала только что она, да сердце не пускает. Уперлось в загрудине и не дает сделать шагу. Идут трамваи: Машин и мой, Машин и мой. Идут нескончаемой чередой, а я все стою. Только вода в канаве расшумелась не на шутку да явственнее стали запахи весенней прели и мокрой коры — мартовские, мартовские...

— Вам удавалось когда-нибудь прикоснуться к толстовским дневникам, Николай Андреевич? Да, день за днем проследить, как он наблюдает себя, наблюдает жестоко, не щадя себя... Особенно на пределе переломного двадцатилетия, когда складываются главные качества человека. Помните, какие слова он адресует себе? Вроде того, что, мол, сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня и разочаровался я в вещах важных в жизни... Согласитесь, чтобы сказать о себе такое, надо верить, что ты сумеешь с этим совладать, не так ли? Или что значит вот такое признание — я его записал... «Слишком долго был морально молод и только теперь, в двадцать пять лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи, который другие приобретают гораздо раньше меня»? Необыкновенна

в нем эта способность заглянуть в душу свою, подсмотреть нечто такое, чем обычно человек пренебрегает. Я это заметил, еще когда читал его повести о Николеньке: там этот самоанализ очень точен. А вы знаете, что меня поразило? Вот эта страсть к самоедству, страсть, казалось бы, к разрушению себя, на самом деле страсть глубоко творческая, больше того — созидательная: собственно, она и сотворила Толстого. Те, кто был чужд этой страсти, довольствуясь и даже восторгаясь всеми прелестями своего «я», остались посредственностями... Кстати, эта мысль у Толстого тоже есть — вот она: «У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и одной сотой того...» Да, да, одной сотой того, что обрел Толстой, — я так понимаю это место в дневниках! Наверно, тут самое трудное — внушить себе, что ты неким образом полновластный хозяин своей судьбы, а значит, все в тебе: и суд, и защита, и суровый укор обвинения. И пусть тебя не покидает во веки веков самоирония, ибо только иронический глаз, обращенный внутрь, явит тебе ясность видения... Во всех иных случаях есть опасность, что слишком большой властью завладеет гордыня, дама державная, которая, сколько помнит себя человек, была родительницей всех его слабостей...

..Генуя — одно слово, одно-единственное слово, которое ты услышал, способно сделать тебя зрячим — ты все видишь иными глазами. Я добрался до Кузнецкого и, внимательно оглядевшись, поймал себя на мысли: как будто бы я не был здесь не день, а месяц. Точно Генуя, всемогущая Генуя незримо коснулась своей десницей всего вокруг, сообщив иную меру озабоченности и деятельной энергии всему, что меня окружало.

Наркома вызвали в Кремль, и за большим столом зала заседаний, примыкающего к его кабинету, я застал Литвинова и Красина — эта комната с большими просветами и просторным столом была любима Максимом Максимычем. Редактировался документ — как это любил делать Литвинов, редактировался с голоса. Литвинов читал вслух, как бы оценивая смысловую и стилистическую наполненность фразы; чтобы строка не дай бог не напрыглась и не выхватилась, Максим Максимыч придерживал ее указательным пальцем.

Литвинов (не снимая пальца со строки). Как ответ, Николай Андреевич?

По всему, недоумение изобразилось на моем лице: о чем это он?

Красин (сострадавая мне). Простите, Максим Максимыч, а вы уверены, что Воропаев знает, чего вы от него ждете?

Литвинов. Разумеется, знает.

Красин. А вы спросите его.

Литвинов. Николай Андреевич, с вами говорил Чичерин о Генуе?

Я подтвердил: да, вчера пополудни, но ответа я еще не дал.

Литвинов. В каком смысле не дали ответа? (Не в силах скрыть изумления.) Не согласны? Николай Андреевич, как можно не согласиться?

Красин. Можно не согласиться, Максим Максимыч: Воропаев жил в Италии и знает ее — дай бог каждому...

Литвинов (заметно смешавшись). Именно потому, что он ее знает, новая поездка в Италию ему показана. Итак, Николай Андреевич, как Генуя, поедете?

Не думал, что вот так, невзначай, я напорюсь на этот разговор.

— Не знаю. Честное слово, не знаю...

Литвинов. Простите, Николай Андреевич, а кто знает? (Пауза.) Не понимаю, отказываюсь понимать.

Признаться, происшедшее не прибавило мне сил — мне бы надо было дождаться Чичерина, но сердце устало меня, и я уехал. **Непобедим** запах валерьянового корня — от холодной воды, которой

я запиваю корень, запах его, как дым, распространяется по всему дому, напивая своим дыханием, казалось, кирпич и стекло. Представляю, как он встревожит Машу, когда она вернется домой. Встать бы и распахнуть двери. Но встать сил нет — сердце действительно окаменело, привалив меня к пружинам старой тахты, привалив надежно, так, что пружина, вставшая поперек, уперлась мне в подреберье, — чтобы встать, надо сбросить с себя этот камень, однако нет сил сделать это.

Наверно, в чичеринском секретариате уже хватились: «Да есть ли у Воропаева телефон? Нет телефона? Нет? Может, отрядить мотоциклиста? Да, того, что возит пакеты в Малый Совнарком...» Кто-то молвил ненароком: «Не подвело ли Воропаева сердце, часом? Оно ведь, сердце, у него на ниточке...»

Этому золотоусому юноше из Специи не страшно расстояние — он шутя и играя преодолел его, чтобы достать меня в моем Петровском парке... Но есть ли тут вина его?.. Сколько помню его, он и в самом деле был малым добрым. Помнится, он не был белоручкой. Даже не подумаешь, что его дед вторгся со своей стильной мебелью в питерский Каменноостровский. Игорь все умел: и ковать, и строгать, и лудить, и чуть-чуть конструировать. Не смейтесь: тогда входили в моду граммофоны. Как по сигналу машины приводились в действие с наступлением вечерних сумерек. Под купы Петровского парка нельзя было войти, чтобы тебя не остановил стонущий голос: «Ты сидишь у камина-а...» Когда граммофоны теряли голос, а это происходило часто, его, этот голос, возвращал охрипшей машине Рерберг. Да что граммофоны! Он был магом-волшебником, этот мальчишка с золотыми усищами, казалось, он ходит на высоченных ходулях: шаг — и миновал площадь, еще шаг — и парк остался позади, еще шаг — и далеко за спину отодвинулась улица... Его привыкли видеть там, куда обычно люди добираются редко: на верхушке телеграфного столба, на крыше дома, на маковке колокольни. Оплетенный проводами, он творил свое волшебство: ладил электричество, телеграф, телефон... А пока он волшебствовал, моя Маша сидела, устремив глаза к небу, и ждала его возвращения на землю. Впрочем, иногда они действовали заодно. В двух шагах от нас начинается кривцовский сад, снабжающий саженцами яблонь этот край Москвы. Те, кому принадлежал сад, все чаще Москве предпочитали тверские гнезда — видно, брал свое возраст. Холодная рука запустения уже коснулась кривцовского поместья — сад глож.

Да, этот сад, буйно разросшийся, закрывший могучими кронами небо, сад, где днем и ночью властвовали тьма и холод, так сад был девствен и непроходим, влек к себе и чуть-чуть страшил Машу. Она кричала: «Мне страшно — сбегу!» — и неодолимо шла вслед за ним, зная, что никогда не сбежит. Почему не сбежит? Боялась за него или за себя — не просто остаться один на один с этой холодной тьмой. Боялась до смерти, но шла вслед за ним, а возвратившись домой, казалась какой-то просветленной — ей было и страшно и радостно.

У них был необычный вид. Точно листва, через которую они продрались, была железной — их одежда была изодрана в клочья. Вооружившись цыганской иглой, Рерберг с заметной сноровкой сшивал свое изодранное платье, свое и Машино. Если в доме оказывалась краюха чернятки и бутылка молока, работа ладилась особенно споро.

«Что человеку надо для полного счастья? — говорила Маша, не без восторга глядя на молодого человека, уплетавшего молоко. — Нет, я не шучу: как будто бы не Рерберг...» «Он носит свои лохмотья не так, как бы их носил бедный человек», — говорил я Маше, когда Рерберг оставлял нас одних. «Чуть-чуть... напоказ?» — спрашивала она, насторожившись. «Да, как можно носить доспехи или почетное оружие... похвываясь». «Не знаю, — тут же реагировала она. — Не знаю, не знаю...»

Она не знала, но я знал: возможно, всему виной было то, что это его рваное платье вступало в спор с его царственным телом, да, именно царственным: рваная одежда давала возможность обнажать его. Но надо отдать должное Рербергу: праздность была чужда ему. Молодой человек не пренебрегал работой, наоборот, он искал ее — ничто, казалось, ему не доставляло такого удовольствия, как взять в руки наш колун и не без умения, вбив по колышку в топорище, которое от долгого лежания разболталось и готово было выхватиться вон, наколоть гору дров. «Кем ты хочешь быть, Игорь?» — спрашивал я. «Если бы не мешал дядя Федя, то рабочим, слесарем или лучше токарем, нет большей радости, чем радость человека, который все делает своими руками». О генуэзских колониях в Северном Причерноморье, изучению которых Рерберг решил посвятить себя и куда он увлек Машу, Игорь предпочитал не говорить. Он не очень-то распространялся на этот счет, хотя трудился там, как утверждали, в три горба, вскопав вместе со своими сподвижниками обширный выгон и точно из утробы земли вызвав на свет нечто, похожее на средневековый посад с улицами и площадями, с мудреным жилищем резидента и городским тиром, с кварталом ремесленников, в котором угадывались лудильня, шорная и гончарная, с рынком и, конечно, баней, пол которой был выложен мозаикой такой негасимой яркости и чистоты, какую может сберечь только камень. Он точно был не очень заинтересован в том, чтобы я знал о его ученых доблестях, — для меня он был веселым мастеровым, умеющим все делать своими руками, и это его вполне устраивало — казалось, большей славы ему не надо. На том и договорились: не более как веселый мастеровой.

Но тут произошло неожиданное: явился Федор Рерберг и объявил о наследстве в Специи. Веселый нищий, только что похвалившийся своим рубищем, становился едва ли не принцем. Человек подвергался самому серьезному испытанию, которому может быть подвергнут человек, — испытанию собственностью. Игорь заторопился в свою Специю. Заторопился так, будто бы все это было для него не неожиданно. Девять дней, которые оставались до отъезда, были отданы мирским заботам: из старой бекеши дяди Феди соорудили для Игоря куртку, а из шевиотовой пары деда, казалось погребенной на веки вечные на дне сундука под мощными напластованиями нафталина, нечто подобное костюму. Все это совершилось столь мгновенно, что моя девочка онемела в своей трудной думе. Отъезд был назначен на воскресенье, а в субботний вечер мое бедное сердце погнало меня домой раньше, чем я того хотел, и я застал у нас Игоря. Был июль, сухой и знойный. Мне не хотелось мешать их разговору, и я ушел в наш дровяной сарай, где была у меня нехитрая лежанка. То ли раскрытые окна были тому причиной, то ли сквозняк, что гулял по дому, выдувал слова, произнесенные полупшепотом, я слышал их разговор, хотя, видит бог, не хотел слышать. Она повторяла почти односложно: «Все пошло кругом — знаю, что это сильнее меня». А у него был только один ответ: «Все вернется на свои места, и ты поймешь». Моя бедная Маша! Он отдавал ее без борьбы. С любой потерей способно совладать наше сознание, кроме потери человека. Они словно догадывались, что ветер выдувает из дому слова, которые принадлежат только им, — они закрыли окна и как бы замуrowались в своей тайне. Когда поздно вечером я вошел в дом, молодой Рерберг ушел, и в свете июльских сумерек дочь моя показалась мне серо-синей, будто минувший день выпил у нее всю кровь.

С тех пор будто утекла вечность, хотя и прошло меньше года. Рерберг в воду канул: не хотел сказать о себе или, быть может, хотел, да не мог. Вряд ли в его поведении мне было все понятно. Он уехал в Специю без Ксаны — его пятнадцатилетняя сестренка, которую призрел Федор, не без тревоги ждала встречи с братом здесь или в Специи, ждала и не могла дожидаться. Единственное, что проливалось

некий свет на его жизнь в далекой Специи, это появление в нашем доме Федора Ивановича. Но смысл этих визитов, у которых, как я заметил, возникли свои циклы, был ясен только Маше, от меня он был скрыт — вот где способность моей дочери замкнуться сказалась в полной мере. Федор появлялся в нашем доме раз на неделе, обычно это было в субботу вечером. Зная об этом, я не обременял дом своим присутствием, однако, возвратившись, устанавливал, что наш гость и в этот раз не обошел нас: пепельница хранила окурки папиросы с заметно длинным стерженьком пепла, непотревоженным — видно, разговор, который был у Федора с моей дочерью, не оставлял времени для папиросы. Вот, пожалуй, все, что я знал о существовании бесед, происходивших в моем доме, впрочем за одним исключением. Однажды Маша сказала будто невзначай, что Игорь отважился воссоздать на золотом лигурийском берегу тверские Заломы, заметив: «Так уж хитро устроен человек: и беда и радость — все впрок!» Ее замечание о беде и радости показалось мне темным. Казалось, проще простого спросить ее об этом, но наши отношения научили меня одному: больше того, что она сказала, она не скажет, если даже спросить ее без обиняков. Итак, к ней вернулось ее прежнее состояние: она замкнулась. Очевидно, ожидание не самый короткий путь к цели, но путь единственный — я решил ждать.

— Папа, папа, ты здесь? Почему нет света? И почему этот запах вадерьянки? Тебе плохо?

Она сидит у моих ног, как-то вдруг потерявшая себя — эта ее печаль завладела ею до того, как она вошла, или это с ней стряслось только что?

— Сегодня там, у трамвая, я ничего не слышал, понимаешь, ничего... — говорю я, желая возобновить разговор, но ее молчание нерасторжимо: я знаю, что теперь она ушла в свой панцирь и никакая сила не прошибет его. — Ничего не слышал... Завтра я поеду на Кузнецкий и буду говорить так, как будто бы ты мне не сказала это свое «нет»...

Ночь еще более лунная, чем накануне, и вздыхают, неудержимо вздыхают сухие доски нашего пола под ее осторожными шагами.

Чую: в происшедшем в эти дни есть нечто такое, что сплит. Поэтому надо закрыть глаза и отстраниться. Отстраниться и сосредоточиться, пробудив память... Главное в событиях, которые меня ожидают, — Чичерин... Что хранит память?..

Не только у меня личность Чичерина вызывала глубокий и необычайный интерес. Мне даже трудно объяснить, чем это вызвано. Быть может, происхождением Георгия Васильевича — среди профессиональных революционеров было немало выходцев из дворянских семей, однако то были дворяне всего лишь по метрическим выпискам, их имущественное положение было весьма скромным. Чичерин принадлежал к родовитому дворянству, все еще владевшему значительным состоянием. Известно, что в Петербурге на Дворцовой, шесть, где находилось иностранное ведомство империи, Георгию Васильевичу прочили блестящую карьеру. За то недолгое время, которое он пробыл на Дворцовой, он принял участие в составлении по своему обстоятельного труда, посвященного истории министерства. Именно Чичерину была поручена наиболее значительная глава — очерк о Горчакове. Работая над очерком, Георгий Васильевич обратился к частным архивам, при этом и к архивам родственников-дипломатов. В решении оставить дипломатию была свойственная натуре Чичерина категоричность — очерк о Горчакове был сдан в банк, и Георгий Васильевич выехал за границу. Его приход в революцию был событием для той поры чрезвычайным и, естественно, не мог не обратить внимания. Но дело было даже не в этом. Вызывал интерес сам облик Чичерина, сама его личность. Человек блестящих способностей, чья многосторонняя образованность была по-своему заметной

даже в кругу русских революционеров, людей высокоинтеллектуальных, Чичерин вел образ жизни подвижника революции. Он не изменил образа жизни и после того, как состояние было переведено за границу и Георгий Васильевич стал его обладателем. Известно было о его намерениях построить санаторий для русских ссыльных, которых удалось вызволить за рубеж. Он помогал материально семьям своих русских и зарубежных друзей. Он щедро и неоднократно поддерживал партийную кассу. При всем этом он был предельно скромен. Итак, вызывала интерес сама личность Чичерина, сама его судьба, во многом необычная. И главное в этой судьбе: как этот человек пришел в революцию, посвятив себя ниспровержению строя, который если не призвала к жизни, то во многом упрочила и чичеринская семья?

Быть может, то, что я могу тут рассказать, дает неполный ответ на вопрос, поставленный мною, но какой-то дает. Как мне кажется, процесс, о котором я говорю, совершился с Чичериным в течение десяти лет, предшествовавших революции. Как раз именно в эти годы я имел возможность выезжать по делам партии в европейские столицы, где жил подолгу или временно Георгий Васильевич. У моих наблюдений было одно достоинство, во всех отношениях счастливое: я имел возможность наблюдать Георгия Васильевича в общении с людьми, которые оказали свое влияние на него.

Моя первая встреча отпечаталась в памяти так четко потому, что была соотнесена с событием знаменательным: лондонский съезд... Да, это было дождливым лондонским летом седьмого года, когда в церковке со стрельчатыми окнами собрались все, кого волной 1905 года выбросило на европейский берег. Помню непросторные лестничные площадки церковки, куда высыпали делегаты, после того как заседание заканчивалось, и картинно возвышавшуюся фигуру Плеханова, окруженного сподвижниками. Плеханов был не очень-то щедр на слово, но каждый раз, когда он заговаривал, толпа, молитвенно взиравшая на него, замолкала. Во взгляде Чичерина, обращенном на Плеханова, заметно было выражение восторга. Когда позже я узнал, что Чичерин ушел к плехановцам, объяснив при этом, что теоретически они казались ему стоящими ближе к правильному марксистскому пути, я вспомнил, что этот процесс начался с личного общения с Плехановым в церковке со стрельчатыми окнами.

Рискну высказать предположение: в поисках путей, которыми шел Чичерин, а следовательно, в выборе соратников, которые были рядом с Чичериным на этих путях, немалое значение имел для Георгия Васильевича круг интересов человека, уровень его интеллекта, диапазон его знаний, зрелость мировоззрения — последнее с годами ценилось и понималось Чичериным все больше. В один из моих приездов в Берлин я был приглашен на встречу местных социал-демократов с молодым Либкнехтом, выигравшим важный процесс в Кенигсберге, где он защитил группу активистов партии, переправлявших революционную литературу в Россию. Правда, после этого процесса прошло уже три года, но все, что относилось к нему, оживало в связи с событиями в России, за которыми следил и по мере своих сил помогал Либкнехт. Под встречу с Либкнехтом была арендована пивная, выходившая окнами на Шпрее. Когда я прибыл к месту встречи, Либкнехт уже говорил. Его речь была и воодушевленной и гневной — рассказ о процессе он связал с отповедью германским милитаристам. Мое знание немецкого было недостаточным, чтобы проникнуть в полутона того, что говорил Либкнехт, и я стал осторожно прокладывать дорогу в первые ряды, надеясь услышать и понять докладчика лучше. Оказавшись рядом с Либкнехтом, я рассмотрел тут и Чичерина. Его пригласил на доклад Либкнехт — они были знакомы не первый год, быть может даже дружны. Это я понял из беседы, которая возникла у Георгия Васильевича с Либкнехтом после доклада. Речь шла о книге

Либкнехта «Милитаризм и антимилитаризм», которая только что вышла. Насколько я помню, в своем докладе Либкнехт развивал тезис, что сохранение мира соответствует интересам пролетариата и вместе с этим культурным интересам человечества. Этот тезис особенно импонировал Чичерину, и он сказал об этом Либкнехту, заметив, что сделает все возможное, чтобы издать его книгу в России. «Я написал в Россию, чтобы книга Либкнехта была переведена. Как мне представляется, есть резон сделать это, и возможно скорее», — сказал мне тогда Георгий Васильевич. Мне показалось, что дружба с Либкнехтом оказывает благотворное влияние на формирование политического мышления Чичерина — его представление о происходящем было отмечено теперь большей зрелостью.

Моя новая встреча с Георгием Васильевичем произошла в Париже в самый канун войны, в семье русских политических, снимавших кирпичный флигелек в пригороде столицы. За скромным столом, уставленным дарами южного лета, собрались гости, все больше наши соотечественники. Внешним поводом к встрече послужила какая-то семейная дата, однако истинная причина была в ином — слишком явственными были признаки приближающейся войны. Чичерин сидел с Коллонтай, которая только что вернулась из поездки по Северной Европе, где в очередной раз выступала с лекциями. На Александре Михайловне было ярко-белое платье из легкой ткани, немыслимо модное, которое очень шло ей, — поспевая за жизнью, Александра Михайловна ухитрялась не отставать и от моды. Речь за столом шла об идее новой газеты, которую затевали русские политические, представлявшие разные точки зрения: там были Луначарский и Антонов-Овсенко, Коллонтай и Урицкий, как были там Троцкий и Мартов. «Если Франция вступит в войну, газета не может быть антивоенной», — сказала Коллонтай. «Значит, позиция определена Францией, а не нами?» — поднял строгие глаза Чичерин. «Выходит, так», — произнесла Коллонтай. Как показали события, газета была создана, при этом в самый разгар войны, и для многих, кто имел к ней отношение, явилась мостом, который соединил их с теми, кто выступил против войны. К ним принадлежал и Чичерин — видно, дал знать себя и либкнехтовский антимилитаризм, Георгий Васильевич был последователем.

Из предреволюционных встреч с Георгием Васильевичем последней было наше свидание в Лондоне. Знаю не только по своему опыту: когда русские ненадолго приезжали в Лондон, их можно было найти в библиотеке Британского музея. То, что могла предложить библиотека, не могло предложить ни одно из иных европейских книжных и рукописных собраний. Поэтому, попав в конце шестнадцатого года в Лондон, я устремился в Британский музей. Помню, что просидел над подшивкой лондонской «Колл» до вечера и, проголодавшись, пошел в буфет. Бутерброд и стакан молока не потребовали много времени, и я готовился вернуться в читальный зал, когда увидел Георгия Васильевича. Видно, годы, прошедшие со времени нашей парижской встречи, были для него нелегкими: он похудел и, пожалуй, даже осунулся, только глаза были прежними — большие, мгристо-коричневые, они все с той же печалью смотрели вокруг. «Николай Андреевич, вы знакомы с Маклином? — спросил он и указал на своего собеседника, который с пристальным вниманием рассматривал меня; человек отнял ото рта массивную трубку, как мне показалось потухшую, поклонился. — Друг Маклин приглашает в Эдинбург, а потом готов провезти по стране, обещая показать Шотландию Бёрнса... Заманчиво, но как выбраться из Лондона — время вон какое горячее!» Да, то был Маклин, знаменитый Маклин, воитель революции, борец за шотландскую свободу, которого только что вызволила из тюрьмы рабочая Великобритания. «Не теряю надежды и я пригласить друга Маклина в свободную Россию, да кстати показать ему Россию Лер-

монтова...» «О, Лермонт, Лермонт!» — воскликнул Маклин, на шотландский манер многократно повторив имя поэта и точно подчеркнув: Лермонтову не чужда Шотландия, совсем не чужда... «Маклин говорит, что нет города на островах, который бы так ожесточился против войны, как Глазго», — произнес Георгий Васильевич и вызвал восторг у Маклина. «О, Глазго, Глазго!» — возликовал шотландец. Мне показалось в этот раз, что антивоенные настроения завладели Чичериным не на шутку — своих здешних друзей он подбирал по этому признаку, Маклин был одним из них. Очевидно, влияние Маклина на Чичерина, как в свое время и влияние Либкнехта, было плодотворным, имел место и обратный процесс. У этой встречи был более чем красноречивый эпилог. Не без участия Чичерина шотландец стал другом русской свободы и доказал это делом, согласившись вскоре после Октября быть первым консулом советской России в Шотландии.

Вспоминаю Чичерина, и на память приходят его собеседники: Плеханов, Либкнехт, Коллонтай, Маклин... Наверно, воздействие их на Георгия Васильевича было неодинаковым, но в моем сознании он рос от одной встречи к другой, укрепляясь в своей вере, которая с такой силой заявила о себе в последующие годы, когда он встал рядом с Лениным как его сподвижник и народный комиссар... Вот вопрос, который я не раз задавал себе: как складывались их отношения, как возникли, развивались с самого начала? Ленин, разумеется, знал о колебаниях Чичерина, но, так мне кажется, не относил его к прочим плехановцам, заметно обособливая. Есть свидетельство убедительное, что дело обстояло именно так: «В примиренческом парижском «Нашем Слове» т. Орнатский, снискавший себе большую заслугу интернационалистской работой в Англии, высказался за немедленный раскол там», — писал Владимир Ильич. Орнатский — псевдоним Чичерина. Вспоминается и иное. Как явствует из дневников Джона Рида, относящихся к октябрьским дням, имя Чичерина было названо в Смольном едва ли не первым в качестве наркома по иностранным делам — можно допустить, что это имя назвал Ленин. Известно и то, как настоячивы были усилия правительства, требовавшего освобождения Чичерина из лондонской тюрьмы и возвращения его на родину, — эти усилия не могли быть предприняты без Ленина. Конечно, многое из того, что названо здесь, останется всего лишь предположением и может прозвучать не очень убедительно, если не взглянуть на это в свете последующих отношений Ленина и Чичерина, в основе которых было доверие и только доверие, а оно, как известно, возникает не вдруг.

Я пришел в иностранное ведомство вскоре после того, как столица переехала в Москву, и тогда же увидел Чичерина, положение которого в наркомате было еще неясно. Он назывался помощником наркома, однако мог называться и по-иному — в нем уже видели министра иностранных дел революции. Но иногда можно было услышать и просто: «Молодой Чичерин». Почему «молодой»? Наверно, потому, что он был еще молод: в восемнадцатом ему шел всего лишь сорок пятый год и это, разумеется, была еще молодость. Сказав «молодой Чичерин», наркоминдельцы могли вложить в это свой смысл: «А наш министр молод, совсем молод» — и это была сущая правда. Но, быть может, определение «молодой Чичерин» предполагало, что был и иной Чичерин. Какой? Чичеринского родителя Василия Николаевича, служившего в иностранном ведомстве во время оно, не помнили даже те немногие аборигены, которые остались в ведомстве от старых времен, — он ведь покинул Дворцовую еще при Горчакове. Зато старший брат отца Борис Николаевич, московский городской голова и ректор университета, известный историк, государствовед и коновод российского земства, мог быть известен и не понаслышке, ибо

был гражданином уже двадцатого века. Поэтому когда говорят «молодой Чичерин», незримо соотносят его с Чичериным старым, имея в виду, конечно, Бориса Николаевича.

Наркоминдел не без любопытства наблюдал за Чичериным. На тарасовском особняке остановил выбор Георгий Васильевич. Большие холодные залы особняка, который является точной копией виллы в Пизе или Болонье, не очень-то просто было приспособить под служебные помещения иностранного ведомства, но Чичерину помещение нравилось. Хотя в облике особняка угадывалось высокое Возрождение, он странным образом был отмечен и чертами нового века, что могло импонировать Георгию Васильевичу. Но тарасовский дворец, расцвеченный фресками, имеющими весьма отдаленное отношение к российской действительности, был хорош для глаза, а не для жизни.

Точно протестуя против этого великолепия, Чичерин избрал для своего житья-бытья комнатку едва ли не под стрехами, в которой по заведенному в такого рода особняках обычаю прежде жила прислуга. Попав однажды с текстом срочной депеши в комнату под стрехами, я был немало смущен: стояли койка, застланная байковым одеялом, и рогатая вешалка, на которой висело чичеринское деми с плюшевым воротником, знаменитое чичеринское деми еще по лондонской поре, исправно служившее ему там в течение всех четырех времен года. Были еще секретер, украшенный медными пластинами, тронутыми знатной зеленью, и настольная лампа на медной подставке, из которой торчала розовая, как сосок, кнопка. Как ни страден был рабочий день, к полуночи тарасовский дворец заметно пустел — в доме оставался разве только Чичерин.

Мне все казалось, что засыпает он только в предрассвете, в тот заповедный час, час тишины, когда даже звезды, казалось, перестают мигать. Его день так занят, что у него нет минуты, чтобы оглядеться. Зато в полночь его вдруг можно увидеть стоящим посреди зала и рассматривающим лепной плафон. Или медленно шествующим вдоль стены, растиснанной масляными красками. Или сидящим за роялем, что стоит на особом возвышении малого зала. Именно в этот час в рояле есть могучее звучание, ему вторит весь дом. В том, как играет Чичерин, есть некая тайна, разговор с близким человеком, которому ты можешь открыться, разговор с самим собой, нечто личное, исповедальное. Но вот кто-то незримый вторгся и сшиб исповедальный тон чичеринской игры. Это было похоже на удар волны о прибрежный камень. В силах Чичерина было удержать мелодию. Но удар возобновился. И вновь мелодия не утратила устойчивости. Теперь удары следовали один за другим, и Георгию Васильевичу стоило усилий возобладать. Завязалось единоборство — это была музыка, и, быть может, больше чем музыка. Человек, сидящий за роялем, явил качества, которые чуть-чуть диссонировали с его характером, — он показался мне тверже, упорнее, неуступчивее... Чичерин встал и медленно пошел прочь — этот час стоил ему сил...

Ему явно мерещится в этом уголке Москвы некая своеобычность, я его видел однажды на Патриарших прудах — он шел вдоль берега, время от времени сходя на лед; прибрежный припай льда был неширок и хрупок, было слышно, как лед хрустит и обламывается. Мне показалось, что Чичерин был обут в галоши, по всему даже кожаные, атрибут прошлого века, — по доброй воле такого не наденешь, он был подвержен простуде... Потом я видел его у арбатской часовенки — она была ему интересна своей необычностью и, пожалуй, затрапезностью.

А однажды, опаздывая на ночное дежурство, я вдруг увидел его в десяти минутах ходьбы от тарасовского особняка. Он стоял у кромки тротуара и с превеликой страстью рассматривал крылатую хорошину Рябушинского, что на Малой Никитской. То, что он в ряду

строений, которыми богата Малая Никитская, выбрал хорошину Рябушинского, озадачивало, и едва ли не на другой день я вернулся сюда, стараясь постичь и Чичерина. Ну, разумеется, я прежде всего выругал себя: ходил тут каждый день и не рассмотрел? А в хорошине, о которой я говорю, есть что рассмотреть, и прежде всего экономность прекрасного. Нет, нет, присмотритесь: в том, как здание соединено с парадным входом, а парадный вход с оградой, все едино, все цельно. А как хороши линии особняка, его действительно крылатый карниз, его просветы, форма его окон, сама фактура дома, в котором есть благородная неяркость. Однако что остановило внимание Чичерина, могло остановить? В самом лике дома, в его пропорциях, в характере материала, из которого он слеплен, видится наш век, а вместе с ним сегодняшний день, и это должно быть по душе человеку такого склада, как Чичерин.

Мне интересен круг людей, которые способны растревожить его воображение. Из Стокгольма приехал Вацлав Воровский, которому суждено быть первым нашим послом, самым первым, и тут же явился к Чичерину. В Москве беспокойно — вчера эсеровская Солянка пахла по Кремлю и сегодня в чичеринском кабинете наркомата, который перебрался в «Метрополь», треснуло стекло большого окна, обращенного к китайгородской стене.

Воровский сидит прямо перед окном — на улице ветрено, и каждый раз, когда порыв ветра усиливается, разбитое стекло поскрипывает, грозя высыпаться, в такую минуту новый пиджак Воровского, сшитый стокгольмским портным, собирается в плечах, и Вацлав Вацлавович становится больше обычного сутулым.

Был бы Воровский просто послом, вряд ли он вызвал такой интерес у Чичерина, а тут посол в необычном контексте: известный эрудит, в чем-то свободный художник, даже друг муз, человек, чьи максимы восприняла революционная Россия и едва ли не передавала из уст в уста. Из тех, кто пришел в дипломатию из революции, у Воровского есть общее с Чичериным — Георгий Васильевич это понимает, тем острее его интерес к Вацлаву Вацлавовичу, хотя, быть может, прежде они могли друг друга и не знать.

— Шведское королевство — и вдруг... посол красной России, только что отправившей к праотцам вместе с царем и толстосумов, посол, не исполнивший акта аккредитации, не вручивший верительных грамот королю, но вместе с тем посол, требующий всей полноты прав, которыми он должен быть облечен по праву представителя иностранной державы, державы великой, — одним словом, человек-торпеда, не так ли?

Воровский в своем шевиотовом костюме с маленькими по тогдашней моде лацканами, в жилете, стягивающем его худой живот, в темно-зеленом галстуке с разводами, скрепленном эмалевой булавкой, меньше всего напоминал торпеду.

— Убедить шведского суверена, что ты не торпеда, — наверно, в этом и есть смысл нашей дипломатии, не так ли? — улыбается Воровский: сравнение с торпедой, быть может, было и лестно, но Вацлав Вацлавович хотел большего.

— Готовность иметь дело с новой Россией — это готовность строить электростанции и продавать паровозы, не правда ли? — спросил Чичерин: он понимал, что Воровский, несомненно проникший в существо наших отношений со шведской короной, видел смысл этих отношений и в торговой сфере — да, служитель муз был еще для людей такого типа человеком уникальным: инженер и сын инженера, он явился в Швецию как представитель фирмы «Сименс и Шуккерт» и сумел проникнуть в сферу, в которую профессиональным революционером был обычно путь заказан. — Есть надежда, что шведский суверен... продаст нам паровозы?

— По-моему, есть,— был ответ чичеринского гостя, никто иной не мог бы ответить на этот вопрос столь определенно, Воровский ответил.— Говорят, весь состав Малого Совнаркома взял в руки винтовки и принял на себя охрану кремлевских подступов...

— Вы полагаете, что достаточно дать винтовки Малому Совнаркому, чтобы на Солянке перестала действовать артиллерия, Вацлав Вацлавович?

— Я в этом уверен...

— Тогда последнее препятствие к продаже паровозов шведами снимается? — улыбается Георгий Васильевич: доброжелательный Чичерин может быть и ироничным.

— Я так разумею...

Оказывается, служитель муз может быть инженером-электротехником, а инженер-электротехник — дипломатом. Кстати, дипломат — одна из немногих профессий на земле, которой все предыдущие специальности, сколько бы их ни было у дипломата, не только не противопоказаны, а идут впрок. Если же говорить о Воровском, то он избрал это амплуа не для камуфляжа — в его стокольном кабинете макет новейшей гидротурбины соседствует с картой гидроресурсов России не для того, чтобы навести доверчивых шведов на ложный след, — только что закончив статью о смятенной эстетике символистов, он мог часами слушать своих шведских коллег-инженеров о проекте транссибирских путей, идущих к берегам Берингова пролива и связывающих Старый Свет с Новым. Однако на что опиралась эта универсальность Вацлава Вацлавовича? Существует мнение, что русские большевики были людьми, далекими от грешной практики. Для них чужбина явилась едва ли не иной планетой, с которой Россия просматривалась едва-едва. В действительности все было по-иному — они стремились рассмотреть приближающуюся революцию с того далекого предела, которым был отмечен конец века минувшего, и увидеть свое место в ней. Вот этот человек с бородкой клинышком и в тонких очках, отдаленно напоминающий Чехова, как можно было думать, свое место в революции понимал так.

Чичерин пододвигает папку с телеграммами, которые пришли в наркомат ночью.

— Вы полагаете, что отношение к нам шведов лояльно, Вацлав Вацлавович?

— По крайней мере сегодня...

— А завтра, если попытаться заглянуть в завтра?

Воровский поместил бородку между большим пальцем и указательным, еще больше став похожим на Чехова.

— Не думаю, чтобы шведы порвали с нами по своей воле... — Он смежил глаза — не просто жизнелюбивого Воровского было повергнуть в столь печальное раздумье. — Но возможен нажим Антанты, и тогда...

Разговор достиг кульминации — казалось, логическим итогом разговора была мысль, к которой пришли собеседники: а как быть, если Швеция захочет порвать отношения?

— Делать все, что в наших силах, чтобы предотвратить это... — сказал Чичерин. — Все, что в наших силах...

Воровский охватил руками не столь могучую грудь, потом вдруг распростер руки, точно говоря: к несчастью, не все зависит от нас.

— Помните наш разговор о толстовских дневниках, Николай Андреевич? Как это часто бывает со мной, я продолжал этот разговор в своем сознании, стараясь отыскать в нем новые грани. И знаете, о чем я подумал? Конечно, страсть к самоанализу — благо, если ты не оборвал своих связей с людьми. Самоанализ — не изобретение нашего времени. Полагаю, что это не изобретение даже средних веков, хотя знаменитый индивидуализм человека Высокого Возрождения

опирался на понимание того, что есть самоуглубление. Все началось много раньше, но не об этом речь... Как я понимаю, самоанализ — благо, если он не поет хвалу культу человека, который сшиб свое «я» с кругом людей, в котором живет. Если может вызвать сочувствие формула, столь популярная среди моих сверстников в годы молодости, — «я рассматриваю себя безотносительно к другим и нахожу приятным, чтобы и другие обо мне не думали — я одинок в человеческом обществе и рассчитываю только на себя», — если может вызвать сочувствие эта формула, значит, тебе дорога суверенность, а значит, и свобода, хотя на самом деле ты отошел от заблуждений молодости и не так уж одинок. Не скрою, что и меня увлекал культ человека, который отважился встретить все бури жизни один на один. В том кругу, который пестовал меня, серьезно считали: человек, для которого одиночество стало землей обетованной, в большей мере открыт людям и невзгодам людей, чем остальные... Как ни привлекательна эта теория, она не увлечет ум зрелый. Одно дело внимать человеческим горестям, другое дело бороться с ними. Не ясно ли, что перед великим неустройством мира один человек ничего не в состоянии сделать. Не хочу сказать, что я понял это поздно, но мог бы понять раньше...

Звонок чичеринского секретаря настиг меня, едва я переступил порог кабинета:

— Георгий Васильевич вас ждет...

Кто-то сказал, что подходы к бисмарковским покоем были нарочито долгими и напоминали торжественную аллею, идущую в гору: кресло канцлера укреплено едва ли не на вершине этой горы. Этакая диспозиция имеет свой смысл: пока вы достигнете пика, у вас будет время поместить в своем сознании канцлера там, где ему быть надлежит — рядом с богом.

Подходы к чичеринскому кабинету меньше всего напоминают торжественную аллею — это коридор узкий и суставчатый, полуосвещенный желтым электричеством. Но у коридора достаточная длина, чтобы подготовиться к встрече с наркомом. И изломы коридора и его сумеречность явно противопоказаны шагу стремительному, да он тут и ни к чему: наоборот, если есть необходимость удлинить коридор, шаг надо не столько ускорить, сколько замедлить. Итак, у коридора достаточная длина, чтобы воссоздать предстоящую беседу в деталях и проникнуть не только в ее смысл, но и в настроение.

В какой-то мере продолжением наркоминдельского коридора является долгий железнодорожный путь от Виндавского вокзала в Москве, через Ригу, Берлин, Вену, Милан к берегам теплого Лигурийского моря, железнодорожный путь, который нам предстоит преодолеть, — у этого пути, многодневного, будет простор и для раздумий о Генуе. А сейчас, быть может, есть резон постичь главное: Лигурийское море, куда издавна плавали русские, вдруг стало для нас морем тайн. Как закончится нынешний поход к лигурийским берегам, у которого одна цель — встреча с неговорчивым Западом? Да, именно вожаемая встреча, а потом уже многосложный спор о долгах. Проблемы эти нерасторжимы: трудно выхватить стебель, не потревожив корня.

Чичерин листает нотную тетрадь, испещренную карандашными пометами, — видно, то был мягкий итальянский карандаш: письмо ярко-черное, контрастное.

— Вам приходилось бывать в усадьбе Толстых в Хамовниках? — спрашивает он, не отрывая глаз от тетради. — Танеева не доводилось видеть? — Он вдруг захлопывает тетрадь, точно желает этим показать, как велико его сожаление, что мне не удалось повидать Танеева в толстовских Хамовниках. — Танеевская тетрадь, вот принесли прямо с китагородских развалов!..

Мне кто-то говорил: он собирает библиотеку рукописей — у него

есть Скрябин, Глазунов, Кюи, даже несколько разрозненных бординских манускриптов, что является украшением коллекции.

— Не верите? Танеевская! — Он вздыхает, искоса поглядывая на тетрадь, в его взгляде гордость самозабвенная: шутка ли, сам Танеев!

Он выходит на середину кабинета и, притопнув, смотрит на ноги — его штиблеты, прикрытые гетрами из толстой ткани, имитирующей замшу, поизносились порядочно, но его это не смущает, даже забавляет — он норовит притопнуть еще раз, потом идет к письменному столу.

— Мы выедем в пятницу двадцать третьего, я просил, чтобы дочь вашу поместили неподалеку от вас — и вам спокойнее и ей без тревог... Как вы? — Его реплика предполагает, что вопрос решен и остается уточнить сущие пустяки: как далеко будет мое купе от купе Маши. — Вы сказали, что она работает в Наркомпросе у Луначарского? Есть необходимость поговорить с Анатолием Васильевичем?

— Нет, пожалуй, не надо.

— Не надо? А может, поговорить? Я готов... Итак, ваше амплуа: генуэзский бортовой журнал. Изо дня в день — если не дневник, то летопись...

— Пименово... затворничество, Георгий Васильевич?

— Пименово, но отнюдь не затворничество, наоборот, простор завидный — все видеть, все знать... — Он подносит кончики пальцев к усам, осторожно приминает, жест спокойного раздумья, чуть-чуть ироничного. — Я пригласил к одиннадцати весь наш делегатский ковчег, всю нашу, так сказать, генуэзскую знать... Если говорить о первой главе летописной скрижали, то лучшего и желать нечего, не правда ли? — Его речь пересыпана этими его вопросами «не правда ли?», «а вы как разумеете?», «не так ли?».

Входит Красин, в его манере носить пиджак есть некая щеголеватость. Он может себе позволить неожиданно остановиться посреди чичеринского кабинета, уперев кулаки в бедра, отведя назад полы пиджака, как бы выставя напоказ фигуру, отнюдь не громоздкую. Он стоит посреди кабинета, дожидаясь, когда Чичерин закончит чтение бумаги, которую Красин только что положил на стол наркома.

— Ну как, Георгий Васильевич?

Я встаю, понимая, что эта беседа может состояться и без меня, но Чичерин поднимает руку — жест в такой же мере предупредительный, сколь и остерегающий.

— Значит, настаивать на признании до того, как сядем за стол переговоров, так?

Красин идет к столу.

— Мне кажется, если этот шаг удастся, мы выиграем — Георгий Васильевич, заманчиво сесть за стол переговоров, обладая неким резервом.

— А если получим отказ? Так сказать, резерв, но иного рода? Как вы полагаете?..

Вот интересно: в словах — ирония, в тоне — никакой иронии, больше того — сочувствие.

Вошел Литвинов своей быстрой деловой походкой, устроился поодаль, раскрыв папку, а вслед за ним и Воровский, он поклонился, поправив пенсне. Точно перед нами два Воровских, молодой и старый, при этом оба здесь, оба налицо. У молодого серые глаза, стекла пенсне как бы прибавили света, и глаза хорошо видны, не карие, а именно серые, с искринкой, да и в голосе есть эта молодая сила, как и в манере говорить, в речи, исполненной неубывающей иронии. Но есть и иной Воровский, он тут же. Нет, на его седеющую бороду и посеребренные виски можно было бы и не обратить внимания, если бы не эта худоба, изменившая, кажется, и походку Вацлава Вацлавовича, заставившая его опереться на палку... Год назад, когда друзья навестили Воровского в больнице, он, показав им худые руки, произнес, смеясь:

«Голодающий индусский нищий». И по прошествии года он продолжает походить на голодающего индуса — вот что можно сделать с человеком, испытывая его тифом. Но и тот и другой Воровский существуют порознь до тех пор, пока Вацлав Вацлавович хранит молчание, — стоит ему заговорить, как сейчас, эти два Воровских будто воссоединяются, они едины — в иронии, в жизнелюбивом смехе, в потребности видеть смешное.

— А вот мы спросим Вацлава Вацлавовича: стоит ли нам настаивать на признании как обязательном условии?

Воровский рассмеялся, опершись ладонью о край стола — иначе, пожалуй, он бы не устоял.

— Нет, Леонид Борисович не успокоится, пока не услышит от британского владыки: «А как здоровье моего друга Михаила Ивановича Калинина?»

Смех, точно порыв ветра, поднял Чичерина из-за стола:

— «Слава богу, здоров, чего и вам... кхе... кхе... желает...» — так?

Они дали волю доброму настроению — смеялись громко, как, пожалуй, смеялись не часто. У этого смеха было свое объяснение. В памяти было свежо воспоминание о фельетоне Воровского, напечатанном «Правдой». Сутью фельетона была та же тема: признание де-юре, при этом речь шла именно о Красине — Воровский знал, что идея этого самого де-юре одолевала именно Красина. Фельетон действительно воссоздавал воображаемый диалог между британским монархом и московским послом, при этом был увенчан изящным пируэтом в духе Воровского. Заканчивая фельетон, автор выразил сомнение, разрешит ли британский суверен послу раскрыть наследственную табакерку английских королей и добыть из нее понюшку табака. Если и разрешит, то лучше не прикасаться к королевскому табаку, ибо державный чих посла грозит самим устоям придворного этикета. К тому же с британскими монархами дружба дружбой, а табак врозь...

В громоздком ящике телефонного аппарата, стоящего на письменном столе Чичерина, точно заклокотал кипятик — Георгий Васильевич осторожно снял трубку. Казалось, смех стих, не успев набрать силы, — Ленин.

— Нет, нет, я прочел... и не скрыл своего мнения от Леонида Борисовича. — Видно, последняя чичеринская фраза обнаруживала, что автор проекта где-то рядом, и человек, находящийся на том конце провода, установил это тут же. — Попробуем убедить его вместе, Владимир Ильич, вначале вы, а потом я — нет, не наоборот... Сейчас дам ему трубку. — Он взглянул на Красина, предлагая ему подойти к телефонному аппарату.

Красин слушал Ленина, односложно повторяя: «Да, да, разумеется»; его фигура ритмично покачивалась, в этом покачивании будто было согласие с тем, что произносилось, потом это движение стало не столь заметным и точно остановилось.

— Но ведь признание даст нам и преимущества в переговорах, Владимир Ильич... — произнес вдруг Красин. — И к тому же попытка не пытка... Вы говорите — пытка. Простите, какая? — Он вновь стал раскачиваться. — Признание, как мне кажется, усилит нашу позицию, Владимир Ильич. Оно даст нам как раз то, чего нам недостает в переговорах с Антантой: равенство... Но по какой причине? — Красин вновь затих, стараясь вникнуть в то, что столь отчетливо повторил сейчас его собеседник. — Готов подумать, Владимир Ильич. — Он вдруг улыбнулся. — Уже думаю...

Он положил трубку, и строгость вернулась к нему, печальная строгость: разговор с Лениным не воодушевил его.

— Владимир Ильич говорит: мы трезвые политики и нам надо понимать — союзники не пойдут на признание, и это поставит нас в

положение сложное в самом начале переговоров, в положение сложное...

— А не резонно ли это? — подал голос Воровский.

Легкая бледность покрыла красивое лицо Красина — он не привык сдавать свои позиции без боя, — бледность и, очевидно, испарина: он был взволнован не на шутку.

— Вы полагаете, что, отвергнув наше требование о признании, Антанта сам факт неприятия обратит в средство давления?

— Несомненно, — подтвердил Воровский. Его голос, полный иронии, когда речь шла о фамильной табакерке британского монарха, сейчас стал иным: в нем, в этом голосе, жили покой и необоримость раздумья.

— Антанта не пренебрежет, если это прибавит ей силы, — заметил Литвинов, не отрывая глаз от бумаги, в которую был погружен.

— Вы полагаете... прибавляет, Максим Максимыч?

— Конечно же. — У Литвинова было покушение ответить на этот вопрос со всей возможной категоричностью, но он щадил собеседника и вложил в свой ответ ту меру терпимости, какая тут была возможна. — Все-таки прибавляет, Леонид Борисович, все-таки...

Красин обратил взгляд на Чичерина, точно спрашивая его: так, Георгий Васильевич? Чичерин склонил голову в знак согласия. Так — точно говорил он.

Я стал невольным свидетелем диалога, который при желании мог многое объяснить. Что именно? Корректную настойчивость Чичерина. Воинственность Красина, который при всех обстоятельствах готов драться до последнего.

В чичеринском кабинете сейчас находилась едва ли не вся наша делегация... Этот звонок из Кремля определил степень готовности и меру понимания происходящего. Впрочем, этот звонок определил и иное: согласие, которое лежит в основе каждого собирания сил. Именно согласие — корректного Чичерина, строптивного Красина, деятельного Литвинова, полного иронического огня Воровского. Конечно, каждое из этих прилагательных условно, но оно тем вернее, чем точнее соотносится с фактами. Что, например, означает согласие Воровского? Тот, у кого есть память, не может не вспомнить нечто уникальное: в апреле семнадцатого (именно, в апреле семнадцатого!), за полгода до Октября, Воровский напечатал в большой шведской газете «Политикен» статью о Ленине, сказав в ней все, что мир узнал о Ленине по понятным соображениям уже после Октября. Именно поэтому эта статья звучит как некое пророчество: назвав Ленина вождем русской социал-демократии, Воровский заметил: «Он вырос из массового движения русского пролетариата и рос вместе с ним...» Но в первосути этого провидения нечто такое, о чем речь шла выше: понимание происходящего. В апреле семнадцатого, когда буржуазная пресса связывала будущее России не иначе как с победой Февраля, Воровский с завидной уверенностью предрек характер грядущей революции. Поэтому если говорить об истоках нынешнего согласия с Лениным, то у Воровского, например, оно имеет свою предысторию.

Ну что ж, пожалуй, заглавная страница генуэзского журнала открыта: возникли первые даты, отмечающие этапы подготовки, стали накапливаться документы, у всесильной темы «Конференция» появились подтемы, при этом с каждым днем их больше, как ни разборчивы мы в выборе прессы, конверты с вырезками точно белые горы обступили нас. Короче, возникал мир новый, у которого были свои тропы, в них следовало ориентироваться с той уверенностью, какая тут была необходима.

— Вы знаете английский анекдот о мистере Эйдже? — спросил меня сегодня Георгий Васильевич. — Ну, этот известный анекдот о профессоре, который варил яйцо? Не знаете? Тогда слушайте. Миссис

Эйдж, профессорская жена, попросила мужа сварить яйцо, разумеется всмятку. Четыре минуты в крутом кипятке, не больше. Профессор был человеком обстоятельным и вооружился часами.— Георгий Васильевич потянул за цепочку и шлепнул на ладонь чугунную лепешечку карманных часов, обратив и мой взгляд на эти часы.— Одним словом, когда истекли урочные четыре минуты, профессорская жена к ужасу своему обнаружила, что муж ее держит на ладони сырое яйцо, а вода в кастрюле, которая к этому времени расшумелась не на шутку, доводит до соответствующей кондиции профессорские часы...— Чичерин улыбнулся — он-то хорошо понимал бедного мистера Эйджа.— Очевидно, наше с вами призвание сводится к тому, чтобы положить в кастрюлю не часы, а яйцо...

Чичерин любил, смеясь и чуть-чуть озорничая, возвести на себя напраслину, назвав себя известным растерей. Вот и сейчас он точно говорил: я мастак по части варки часов, а как вы? Но растерей Георгия Васильевича можно было назвать, только глядя на его письменный стол, на котором возвышались кипы бумаг и газет. Надо отдать должное Чичерину: его память тут творила чудеса. В нужный момент он мог погрузить свою бледную руку в кипу бумаг и, подобно фокуснику, извлечь нужную — что ни говорите, а было впечатление чуда. Надо понять Чичерина: человек живых знаний, он был далек от того, что пахло канцелярией, хотя и понимал, что дипломат подчас должен быть и канцеляристом. Когда же стихию канцелярии отвратить было нельзя, Георгий Васильевич взывал к помощи. Ныне обращение было адресовано мне. На первый взгляд задача была не так уж и мудрена: надо было в кастрюлю с крутым кипятком положить не часы, а яйцо. На самом деле все обстояло не так просто: вопреки превратностям дальней дороги должно быть ощущение близости Кузнецкого моста. Да, ощущение того, что на расстоянии протянутой руки расположилась некая служба информации, собравшая в своих железных шкафах сокровища наркоминдельских архива и научной библиотеки — в том большом и многосложном, что завтра вызовет Генуя, нет вопроса, на который не могла бы ответить эта всемогущая служба.

Как это было в Наркоминделе прежде, человеку, которого нарком обременяет новым делом, дается одна льгота — он подбирает себе помощников сам. В это правило нарком внес поправку, в сущности мизерную: он сделал сотрудницей моего не столь уж многочисленного аппарата Машу, дав понять, что хорошо бы ей поручить досье, — я последовал его совету. В остальном я был самостоятелен в выборе своих помощников. Требования, которые я предъявлял, были не мной изобретены: знание главных европейских языков, а если говорить о Маше, и восточных, безотказность, а значит, способность выполнять любую работу в любое время.

До отплытия нашей большой каравеллы оставалось еще недели полторы, а мое новое положение уже явило некоторые из своих существенных качеств. Оказывается, я должен быть при наркоме неотлучно — ночные чичеринские вахты, заведенные задолго до Генуи, делали это правило сейчас более чем обязательным. Но у этого правила были для меня и преимущества, которые я воспринял и оценил по достоинству: работа, как сейчас, действительно вахтенная, вознаграждалась беседой, как всегда у Георгия Васильевича, на темы благодарные. Не скрою, что я действовал небескорыстно, и у меня сложился свой план, свой нехитрый замысел: то, что мог мне рассказать Чичерин, было его привилегией исключительной; однако не буду забегать далеко вперед, я еще смогу к этому вернуться.

— В Генуе нам не миновать... Ллойд-Джорджа? — спрашиваю я Георгия Васильевича где-то на ущербе ночи, дав понять, что для дел оперативных у меня уже нет сил.

Он подходит к окну и безбоязненно распахивает его створки — сегодня с вечера потеплело, и синяя проталина неба, по-весеннему чистая, возникает впереди, а вместе с нею и неторопливое мерцание неведомой звезды: рассвет скоро.

— Да, именно Ллойд-Джорджа... Как ни охоч был старик до кулачных боев, у него всегда оказывалась в кармане меховая варежка.

— Меховая варежка — это что же... спасительный компромисс, Георгий Васильевич?

— Если быть точным, спасительные реформы — нет средства действенного против революции, чем реформы...

— Современный либерал — это реформы?

— Пожалуй.

— И русский... либерал?

Чичерин улыбается: можно подумать, что я припас эти вопросы загодя — они вновь уперлись в проблему русских либералов, в ту самую проблему, которая уже возникла в наших беседах однажды, кажется, тень дяди Бориса встала над нами и сегодня.

— Прошлый раз вы разбудили во мне воспоминания, от которых не так просто освободиться... — Он замолкает, его молчание хмуро. — Кажется, Чернышевский, назвав Бориса Николаевича обскурантом, счел необходимым добавить: просвещенный обскурант. Однако хотя и просвещенный, но обскурант? — Георгий Васильевич рассмеялся, этот смех точно снял усталость. — Тут не должно быть иллюзий: то, что можно назвать системой взглядов Бориса Николаевича, не поймешь без того, чтобы не постичь главное: он был помещиком, при этом достаточно крупным, и, надо сказать, не очень-то тяготился этим своим положением, возможно даже, гордился им. Как вы понимаете, Борис Николаевич, путешествуя по Европе, смотрел не только Лувр и Ватиканский музей...

Я заметил: Георгий Васильевич, рассказывая, не минет практической стороны, с немалым желанием воссоздав все, что относится к обстоятельствам дела. Вот и сейчас: его рассказ демонстрировал внимание к фактическим подробностям. Человек деловой, близкий грешной практике, Борис Николаевич бывал на пшеничных полях и табачных плантациях, не проходил мимо оранжерей и теплиц, заглядывал в скотные дворы и птичники. Однако не преувеличиваем ли мы, когда говорим, что это был помещик крупный? После смерти отца он воспринял Караул с полутора тысячами десятин земли и немалой усадьбой. Тут были заливные луга, немало леса, хотя пашня невелика, да и земля казалась не столь плодородной. Но караульским поместьем состояние Бориса Николаевича не ограничивалось. Его земли простились далеко за пределы Тамбовщины, распространившись на Малороссию, где находились немалые наделы жены Бориса Николаевича. Одним словом, доход старших Чичериных обеспечивал семью при том образе жизни, который она вела.

По словам Георгия Васильевича, Борис Николаевич находил удовольствие в самом ведении хозяйства. Здесь он был в какой-то мере учеником своего брата Владимира, который, как свидетельствует молва, был хозяином практическим. У Бориса Николаевича тут был свой взгляд на ведение хозяйства. Он стремился улучшить пашню, заменив сошную пахоту плужной, что было для той поры вновь, улучшить овцеводство, что, как он полагал, было единственной сколько-нибудь выгодной отраслью скотоводства. Но наибольшие выгоды сулило табководство. Плантации табака занимали в Карауле значительную площадь, превысив пятьдесят десятин. Хотя Борис Николаевич не относил умение хозяйствовать к своим главным достоинствам, он сумел извлечь доходы из табачных плантаций, проявив тут сноровку. Позже он вспоминал, при этом не без гордости, что у него в имении табак обрабатывают и дети. Понимая, сколь деликатен предмет, о котором идет речь, он счел необходимым опереться на свидетельства крестьян.

«В прежнее время в голодные годы родители кормили детей, а теперь дети кормят родителей», — говорили, как свидетельствовал Борис Николаевич, караульские крестьяне. Он никогда не считал себя помещиком по призванию, оставаясь ученым, но караульское поместье давало средства к жизни, и это, надо думать, устраивало Бориса Николаевича. Если говорить о существенных чертах караульского поместья, то вряд ли оно отличалось от иных поместий средней полосы России — оно велось теми же средствами, какими велось повсюду, да и крестьяне, наверно, жили там не лучше. Но самому Борису Николаевичу его поместье казалось отличным от окружающих Караул хозяйств, как, впрочем, и караульская усадьба. Борис Николаевич полагал, что помещичий дом в Карауле призван отразить его европеизм, как этот европеизм впитала его, Бориса Николаевича, натура в памятные годы странствий по городам и весям просвещенного Запада. Отец Бориса Николаевича был человеком с немалым хозяйственным замахом, дело вел прозорливо и расчетливо, но в последние годы жизни был подвергнут постоянным недугам и многое из того, что задумал, не успел осуществить. Главные постройки удалось завершить, в частности большая усадьба была почти готова. Но задуманный с завидной фантазией зимний сад не был достроен, как не были завершены и другие работы. Получив отставку и перебравшись в Караул, Борис Николаевич прежде всего перевез туда свое собрание картин, отразившее, надо отдать ему должное, широту и изысканность его вкуса: европейцы Веласкес, Веронезе, Пальма Старший и наши соотечественники — Боровиковский, Тропинин, Кипренский, Венецианов, позже Айвазовский. Много труда потребовало устройство библиотеки, почти семь тысяч томов которой составляли русские, французские, английские, немецкие книги. Вместе с картинами и книгами в специальные фуры, шедшие из Петербурга в далекий Караул, были погружены старинная мебель, люстры, вазы, фарфор, все немалое приданое жены Бориса Николаевича, впрочем заметно увеличенное за счет приобретений, которые сделали супруги в Петербурге. С особой тщательностью был упакован и уложен в просторную фуру старинный шкаф, который, по семейному преданию, украшал дворцы польских и французских аристократов. Короче, все, что удалось увидеть Борису Николаевичу в дни своих поездок по Европе, было своеобразно воссоздано в Карауле. Несмотря на примитивный транспорт, связывающий Караул с Петербургом и Москвой, тамбовское имение Чичериных продолжало благоустраиваться, необходимые покупки делались в русских столицах, как, впрочем, и в далеком Париже, откуда удалось выписать часть мебели. По всему, Борис Николаевич не противился славе, которая шла о нем: ученый муж, в своем роде государственный вельможа, ревнитель западных порядков, которые выражала придуманная им крылатая для той поры фраза «Либеральные меры и сильная власть». Да, едва ли не лихое вольнодумство Бориса Николаевича заканчивалось на этой формуле — «...сильная власть». Иначе говоря, как ни жестока была формула Чернышевского, адресованная Чичерину, она не уходила от существа: обскурант. Надо сказать, что Борис Николаевич догадывался, что думает о нем мятежный «Современник», и старался не оставаться в долгу. Он вообще считал, что сеятелями смуты являются не столько те, кто бросает бомбы, сколько те, кто зовет к этому огненным словом. Человек просвещенный, он был близок к истине: как это многократно бывало в истории, и на этот раз у колыбели мятежного деяния действительно стояло мятежное слово.

Положение Георгия Васильевича, когда он говорит о дяде, можно понять. Дядя был добр к племяннику, это общеизвестно. Вместе с тем весь облик дяди общественный, как, впрочем, и человеческий, ~~делал~~ от того, чтобы ~~идеализировать~~ Георгию Васильевичу. Свести эти два начала воедино, назерно, и для Чичерина не просто. «Ретроград...

Известный ретроград», — казалось, готов произнести Георгий Васильевич, определив расстояние, огромность расстояния, которое отделяет его от старшего Чичерина.

Явившись поутру домой, я оказался свидетелем картины необычной. Посреди большой комнаты стояло два чемодана, наполненных доверху вещами моей дочери. Вот тут она вся: Машу раздирают сомнения до того самого момента, пока решение не принято, однако как только это решение состоялось, целеустремленность становится союзницей Марии: все побоку, есть только цель.

Она уже перенеслась в прибрежные рощи Сестри Леванте, в эту пору зацветающие. Очарование нашей поездки и во времени года. Именно в эту пору Магдалина впервые переносила нехитрую посуду из кухни зимой в летнюю, впервые накрывала стол под кроной нашей старой яблони, впервые на стол подавались к свежельвленной рыбе молодые лук и салат, что были возвращены в нашем садике меж деревьев, а к немудреному десерту если не белая черешня, что вызревала в знойную пору и в апреле, то королевская земляничка — в ветреную Геную ее привозили сицилийские крестьяне. Ну что ж, наш стол был хотя и небогат, но по всем своим признакам выглядел веселым. Какой-то будет встреча с благословенной Сестри в эту весну? По нынешним временам пять лет равны пяти столетиям — нет ничего печальнее прогулки по городу твоей молодости, в котором время выветрило все, кроме домов и булыжных мостовых.

Вздригнуло окно, выходящее на улицу, и за стеклом вырос каракулевый конус шапки Федора.

— Да неужто вы уже встали на лыжи? — возопил он, взглянув на открытые чемоданы. — Ну, такая бойкость и для меня в диковинку — вас не обойти! — Он, пожалуй, заглянул бы в чемоданы, да Маша их вовремя захлопнула. — Ваш поезд отбывает завтра пополудни...

— Виндавский вокзал, двенадцать тридцать четыре, — заметил я, смеясь.

Он оторопел:

— А вы откуда знаете?

— Мне ли не знать — все-таки еду я, а не вы.

Он даже чуть-чуть расстроился: привык быть самым осведомленным, а тут такая незадача. Он добрался до своего кресла с обнаженными подлокотниками, сел — когда в нем бушевали страсти, он остывал в этом кресле. День еще не погас, и сильный боковой свет высветил его фигуру. Он выглядел сейчас иссиня-чернобородым, смуглым, как мне казалось, смуглым благодаря сильному солнцу нынешней весны — он любил часами вышагивать по аллеям Петровского парка, — при этом заметно загорели и его руки, которые он держал сейчас на подлокотниках. Когда он говорил, его голос вдруг начинал звучать баском, как и надлежит быть голосу человека могуче ширококостного; отвечающего той известной мерке, которая зовется на Руси косой саженью в плечах.

— Вы будете в Милане к субботе, а ко вторнику поспеете и в Геную, — произнес он торжествующе и оглядел нас откровенно радостными глазами. — А от Генуи до Специи рукой подать... — произнес он и замер, точно говоря: я все сказал — теперь слово за вами.

— Вы бывали в Специи, Федор Иванович? — спросил я.

— Да, и предполагаю быть вновь, — подтвердил он.

Час от часу не легче: да не думает ли он явиться в Италию в то самое время, когда будем там мы, — для обычного смертного эта задача, пожалуй, почти невыполнима, Федору она под силу вполне.

— Нет, от Генуи до Специи действительно рукой подать, — повторил Федор Иванович с настойчивостью грубой, он возвращал нас к продолжению прерванного разговора.

Но я молчал, как не обнаруживала желанья говорить и Маша,

с нарочитым вниманием углубившись в книгу, которую она по этому случаю поспешно сняла с полки.

— А может быть, есть смысл Игорю явиться в Геную? — сказал он как можно громогласнее — совершенно очевидно, что эта реплика была адресована не столько Маше, сколько мне, как мне, очевидно, надо было на нее отвечать. — Как вы? — Он смотрел на меня.

— Не знаю, — сказал я и снял с полки том Соловьева.

— Ему это с руки — почему бы ему не явиться? — спросил наш гость, несколько не смутившись.

— В самом деле, почему? — повторила его вопрос Маша и взяла из моих рук Соловьева.

Ну, такого я, признаться, не ожидал: в решительную минуту они объединились.

— У нас там будет много дела и нам не до Рерберга, — обратился я к доводу, оказавшемуся под рукой; как все доводы, которые добывались без труда, этот был груб и не очень убедителен.

— Тебе не до Рерберга, папа? — тут же нашлась Маша — она точно хотела сказать: «Тебе — не мне».

— Ты помнишь... Калашникова? — вдруг озадачил я ее — у меня не было иного выхода из положения, как биться до конца. — Калашникова Георгия Николаевича? — Право, не пойму, как мне пришел на ум этот Калашников, сын одесского купца и примадонны генуэзской оперы, вызванный к жизни не столько любовью двух натур, по своему бесшабашных, сколько бурным развитием двух наших городов, которое в самом начале века приняло размеры значительные. — Моего приятеля, что дважды приезжал к нам из Сан-Марино? Помнишь? Так я решил не сообщать ему о своей поездке все по той же причине...

— По какой, папочка?

— Мы едем в Геную работать, Мария...

Ее Соловьев, брошенный наотмашь, долетел до дивана, Машины губы точно обдало известью.

— Если ты опасешься, что я буду тебе плохой помощницей, ты можешь меня и не брать...

Наш гость охоросил бороду и приподнялся: в самом деле, может быть, необходимо разминуться? Как будто поездки в Италию не было! Взять и разминуться!

— Я сожалею, что затеял этот разговор, готов скрыть ваш приезд от Рерберга. — Он пошел по комнате, погрузив нервные пальцы в бороду. — Это возможно вполне — скрыть...

— И не думайте скрывать, — засмеялась Маша, смех был громким, демонстративно громким — она смеялась так, когда ей было не особенно весело.

Я удалился в свою комнату, решив дожидаться ухода гостя. Но ждать пришлось долго — прощание было обстоятельным. Уже в сумерки, когда я, не дождавшись ухода Федора, уснул, явилась Маша, явилась тайно — она не стала меня будить, а, устроившись на оттоманке, стоящей у окна, затаилась, дожидаясь, когда я проснусь, но в самом этом молчании, наверно, был гром трубный — я проснулся.

— Ты здесь, Мария?

— Да, конечно.

— Ты хочешь мне что-то сказать?

Она не ответила — нет, в этом молчании действительно была громогласность, способная разбудить мертвого.

— Ты должен понять, что этой встречи мы не отвратим с тобой, — произнесла она. — Понимаешь?

Я не торопился с ответом — мне не хотелось с нею соглашаться.

— Я спрашиваю: понимаешь? — настояла она.

— Не понимаю, — сказал я. — Если ты этой встречи не хочешь, почему она должна состояться?

Она вдруг встала с оттоманки:

— Могу я зажечь свет?..— Она зажгла, не дождавшись моего ответа — Маша стояла сейчас надо мной, она очень похудела за эту неделю, кожа на шее стянулась, кулаки, которые она поднесла к груди, показались мне страшно маленькими.— Нет, в самом деле, почему она не должна состояться, эта встреча, если я хочу, чтобы она состоялась? Ты не веришь в меня, да?

Я встал, пошел к окну — мне не хотелось, чтобы она стояла надо мной, сжав эти свои кулачки.

— Не все зависит от нас, Мария...— сказал я, зашторивая окно — это несложное дело давало мне возможность не смотреть ей в глаза.— Не все, пойми...

Она подошла ко мне — я слышал ее дыхание.

— Напротив, все, решительно все... Ты мне не веришь?

Только сейчас я увидел: лицо ее было мокро от слез.

— Девочка моя,— мог только произнести я.

Наверно, это смешно, но я, по слову наших друзей, действительно был для Маши кормящей матерью. Помню, когда мы отнесли останки Магдалины на далекую окраину Сестри и, вернувшись, остались с Машей одни, великое беспокойство объяло меня: как я вскормлю ее, как я ее выхожу? Наверно, то, что зовется материнством, возникает вместе с ощущением того заповедного мига, когда дитя отсекается от пуповины, но в не меньшей мере оно рождается временем да той чередой лет, когда ты пестуешь свое дитя. Именно чередой лет: когда ты отдаешь ему последнюю корку хлеба; когда вдруг вспоминаешь, что он ушел в школу в прохудившихся башмаках; когда, обнаружив, что в доме холодно, готов искрошить и бросить в печь последний табурет; когда, углядев, что обветшала и высыпалась ватная подстежка в пальто, начинаешь выпарывать эту подстежку из своего пальто и наскоро перешивать; когда во имя жизни твоего чада вдруг открываешь в себе способности, которых не признавал прежде, становясь и стряпухой, и швеей, и прачкой... Вдовец? Да, пожалуй, так: вечное вдовство. Наказал себе: пуще всех напастей остерегаться влюбленности. Внушил: это измена Маше. Поэтому заклил себя: подальше от греха — уж как-нибудь Маша проживет без мачехи. И еще внушил себе: если есть свет в окне, то в ней, только в ней...

— Не находите ли вы, Николай Андреевич: каждый раз, когда разговор касается тебя, ты должен совладать с пониманием того, как скромно твое место в этом мире? Найди в себе мужество и взгляни на себя со стороны, взгляни и представь, как скоротечна твоя жизнь, соотнесенная с вечностью, как невелико место, которое тебе отвела природа, как, впрочем, и пространство, которое в состоянии охватить твой глаз. Найди в себе мужество и представь все это, и тревожная мысль полонит тебя. Ты обратишь себя к думам, которые не очень воодушевляют. Ты подумаешь: чем как не случаем определено твое появление в этом мире?.. Говорят, есть пора в жизни человека, когда ему надо еще поверить, что он ходит по земле, что он живет. Вот обратите мысленный взгляд к детству, самому раннему, вашего младшего брата. Он уже воспринял всех близких, он опознает их по именам, у него успели сложиться отношения с ними, он усвоил характер этих отношений и старается поддерживать их, учитывая их особенности, а самого себя он еще не осознал. Больше того, увидев себя однажды в зеркале, он немало озадачен, и ему необходимо усилие, чтобы признать, при этом не в первом лице, а в третьем, как он знает всех остальных: «Это Сереженька». Он проникает в свое «я», как бы отстранившись от себя и глядя не столько на себя, сколько на тех, кто его окружает. Он смотрит на них и все еще видит себя как в зер-

кале, постигая свое место среди них: в детских забавах, в немудреной беседе за столом.

Даже после того как ребенок признал себя, процесс узнавания продолжается, при этом его ждут открытия значительные. Истинно: я чувствую — значит, я существую. Способность чувствовать вдруг становится тем всеильным инструментом, который помогает ребенку познать себя. Но вот что любопытно: даже после того, как он установил многие из своих качеств, он продолжает именовать себя в третьем лице: «Дайте Сереже мяч...» Наверно, у психологов есть тесты, точно засекающие сами скорости накопления ребенком сведений об окружающем. По крайней мере память ребенка, ее емкость, ее, если хотите, пластичность, подготовлена к тому, чтобы эти скорости были завидными. Вольно или невольно свидетелем одного из таких тестов я сам был, наблюдая, как вбирают новые слова мои маленькие сверстники, изучая языки. Эта жадность к познанию создает инерцию, которую остановить нельзя. И в общении. Ребенок видит себя не только папой и мамой, он умудряется рассмотреть в себе лошадь и собаку, паровоз, автомобиль, воздушный шар... А знаете, чем определена эта жадность восприятия? Он уже смекнул, что общение дарит ему познание мира, а это с некоторого времени стало его главной игрой, ибо способно ответить на вопрос, ставший теперь для него главным: «Что это такое?»

Иначе говоря, чтобы человек стал человеком, выказав характер, а вместе с тем и волю, включившись в полезную деятельность, которой потребует у него школа, он должен преодолеть барьер, который для него серьезен весьма: осознать себя. А знаете, что тут самое замечательное? Он осознает себя общаясь, только так. Лишить человека этого общения значит разнести вдребезги то магическое зеркало, глядя в которое человек впервые увидел себя... Согласитесь, что все это не праздно по той простой причине, что имеет отношение к проблеме куда как насущной: человек и общение. Заключите человека в раннем детстве в каменные стены одиночества — и он никогда не достигнет своего «я».

Отъезд назначен на завтра, и в Наркоминдел приехал Рудзутак — у него было дело к Литвинову, однако, уезжая, он решил не разминуться и с Георгием Васильевичем. На нем френч из дымчатой шерсти, просторные брюки из такой же материи и сапоги, голенища которых он любит подтягивать, опасаясь, что они собрались у щиколоток. Рудзутак явился, когда Чичерин заканчивал диктовать своеобразную памятку о концессиях — эта проблема не минет нас в Генуе.

Рудзутак. Да буду ли я вам полезен в Генуе, Георгий Васильевич? (Он испытующе-строго взглянул на Чичерина.) Дипломатия не моя стихия...

Чичерин. Думаю, что очень полезен — понимание проблем жизни, оно показано дипломатии...

Рудзутак. Но ведь дипломатия — это умение устанавливать связи, а я тут не очень силен.

Чичерин. Нет, дипломатия — это не только связи, но и совет, а вы тут можете быть очень полезны...

Рудзутак (улыбнувшись). У моего совета есть одно качество, которое может и не понравиться...

Чичерин. Какое?

Рудзутак. Я прям...

Чичерин. Прямота не испортит хорошего совета, Ян...

Рудзутак. Благодарю вас, Георгий...

Чичерин. Рад, что мы поняли друг друга, Ян...

Чичерин посветлел: в разговоре, который мог сложиться круто, вдруг проступили солнцелюбивые краски.

Чичерин. Послушайте, Ян, а не приходила ли вам на ум такая

мысль: было нечто общее в нашей с вами судьбе — вас законопатили в русскую тюрьму, а меня в английскую, при этом и вас и меня вызволила революция, а?

Рудзутак. Да, действительно похоже. (Ему не меньше Чичерина приятно это установить.) Похоже, Георгий, похоже...

Чичерин (вздыхнул). Английским казематам далеко до российских, верно ведь, Ян?

Рудзутак (смеясь). Пожалуй...

Рудзутак еще раз подтянул голенища и вышел. Чичерин взглянул на меня, улыбнулся:

— Как вам Рудзутак? Наверно, не очень-то покладист, как и надлежит быть революционеру, но человек принципа. Верно? Заметили — он точно хотел сказать: «Со мной тебе будет нелегко, но я об этом говорю заранее...»? Мне это нравится в Рудзутаке, а вам?

Я улыбнулся:

— Нравится ли мне? Но какое это может иметь значение — главное, чтобы нравилось вам, Георгий Васильевич.

Поезд отправлялся по ударам станционного колокола. На Виндавском вокзале у колокола была певучая медь, и удары требовали пауз. Три удара рассчитанно неторопливых и гудок паровоза: поезд отошел.

Наркоминдельский вагон вместил всю делегацию. Поезд идет всего часа три, и угадываются признаки походного быта, каким мы увидим его в предстоящую неделю. Окно по центру вагона, разделяющее его надвое, оккупировал Красин — в его руках Уэллс в мягкой обложке, чтение дорожное вполне, да к тому же полезное: современная проблема и добрый английский — целеустремленного Красина может устроить и это. Свое окно неторопливо занял и Ян Рудзутак — в его руке давно остыл стакан чая в подстаканнике, но он его даже не отпил, обратив глаза на панораму мест, которые сейчас пересекает поезд: завод с неосвещенными окнами, несмотря на сумерки, депо без признаков жизни, с нескончаемой вереницей паровозов на запасных путях — есть резон осмыслить и это в преддверии Генуи. Медленно проследовал из чичеринского купе в самое дальнее, где обосновалась канцелярия, деятельный Литвинов. У него под мышкой сейчас папка из тисненой кожи, та самая, которую я заметил еще на Кузнецком, — по всей видимости, в тисненую кожу с завидной тщательностью заключены главные документы, воссоздающие перспективу конференции. И только не видно Чичерина — он обещал дочитать книгу о генуэзских колониях на Черном море, которую я прихватил с собой, и пригласить меня для разговора, когда наш поезд минет Псков.

Но приглашение последовало много раньше — видно, оперативные дела, которыми он был занят, потребовали меньше времени, чем он предполагал.

Хотя в вагоне не тепло, он не может устоять от соблазна поработать в жилете; сорочка его без галстука, ворот расстегнут на две пуговицы, рукава закатаны — вид почти домашний.

— Древний Рим действительно добывал соль на Балканах? — вдруг спросил он, заученным движением подняв еще выше закатанные рукава и еще больше обнажив худые, в крупных пупырышках руки: в вагоне не жарко. — Откуда, откуда? Долина Прахова и Тиссы? Не знал, честное слово, не знал!

Ему приятно установить, что он этого не знал, — наверно, это бывает не часто, что он чего-то не знает.

— Вы полагаете, что Черное море, которое на старинных картах значится как Русское море, было житницей Рима — Балканы, Таврия, быть может, даже Колхида? Нет, нет, отнюдь не только седая древ-

ность, так? Не знал! — Он проводит ладонью от запястья до локтя, пытаясь разогреться, но закатанных рукавов не опускает.

— И не только в древности, Георгий Васильевич. Россия кормила своим хлебом Италию и не в столь давние времена: русский хлеб шел из Одессы в Геную — многие десятки кораблей в год, большой водный тракт, своеобразная рокадная дорога.

— И этого не знал, представьте, хотя должен был знать,— произносит он и опускает закатанные рукава, скрепив манжеты запонками, которые не без изящества извлекает из пепельницы.— Не знал, не знал...— произносит он, однако теперь уже без энтузиазма, по инерции — это повторение, многократное, лишило признание прежней силы, а следовательно, удовольствия: конечно же, он все знает и про Древний Рим, и его соляные шахты на Балканах, и тем более про римские колонии на Русском море, но как прожить без игры? Да, жизнь для него утратила бы краски, если бы не было игры, хотя бы вот такой безобидной, как эта с Древним Римом и очагами его торговой мощи на Востоке.

— А как вы представляете нашу генуэзскую миссию? — вдруг озадачивает он меня неожиданным вопросом — вопрос столь внезапен, что я, признаться, думаю: да не продолжение ли это игры? — Хочу, чтобы вы отважились изложить свою концепцию Генуи... С какой целью?.. Есть желание проверить себя, сопрячь мои взгляды с вашими. Вы полагаете, что это не очень благодарно? — спрашивает он и заставляет меня задуматься не на шутку: ну что ж, если это действительно продолжение игры, то и от меня требуется нечто подобное.

— Готов ответить! — произношу я, отодвигаясь в сумеречный угол купе, чтобы получше видеть Георгия Васильевича, а сам думаю: наверно, не просто соблюсти правила игры, но я решусь. — Если отождествить два мнения на генуэзскую миссию с полотнами, например, известного голландца, то у этих картин достаточно точные названия...

— О, это забавно! — обрадовался Чичерин — в моей реплике он точно рассмотрел условие игры, его это устраивало. — Какие, простите?

— Первое полотно — «Возвращение блудного сына», второе — «Святое семейство»...

— С первым полотном отождествлен взгляд Антанты на Геную, со вторым — наш взгляд?.. Ну, разумеется, с известным приближением... Так?

— Да, конечно. — Иного ответа и нет...

— Значит, два полотна? — Он задумался, сощурившись, как мне привиделось, скептически — его вдруг посетило сомнение. — Но ведь это надо еще доказать. Рембрандт тверд в своей тенденции, его не очень-то можно гнуть — сломается... Однако попытайтесь?

— Попытаюсь! — отважился я: коли решился на игру, надо играть. — Да, они хотели видеть в России блудное чадо, трижды кающееся, прошедшее свой путь тернистый и вернувшееся под отчий кров: блудный, заблудший, раскаявшийся! Вон как он упал в немой мольбе перед родителем, заклиная простить его... Путь изгнанника заблудшего был многотерпелив: лишей взрыл волосы, время не пощадило жалкое рубище несчастного, свалился с ноги башмак, обнажив задубелую ступню... Нет, тут конец великого сомнения, как и конец пути: идти дальше нет сил — раскаяние...

Я осекся на полуслове. Мне хотелось еще сказать ему: если и есть некая притча о заблуждающемся человечестве, то она здесь... Истинно возвращение блудного сына! И те, что в немой и кроткой печали наблюдают за этой картиной, — мужчина в красной одежде, старая женщина, человек, чье лицо смутно выступает из полутьмы, — все они, печально внемлющие, сдержанно наблюдающие, полны участия и понимания происходящего. Они свидетельствуют: совершилось справедливое, человек раскаялся в содеянном, он понял...

— Значит, раскаяние? Так? — спросил Чичерин заинтересованно — его увлек новый смысл рембрандтовских образов. — У всевидящего Запада тут свой резон?

— Очевидно, свой резон, — согласился я, — Антанте хочется видеть в нас... блудное чадо... Наоборот, наше понимание Генуи я бы отождествил с иным сюжетом великого голландца.

— «Святое семейство»?

— «Святое семейство»! — подтвердил я воодушевленно. — Еще Маркс говорил, что Рембрандт писал свою мадонну с нидерландской крестьянки, да и сам облик ее, земной, как и все, что ее окружает, — и тихо тлеющий очаг, и плетеная люлька на салазках, и дремлющее в люльке дитя, в котором симпатично угадываются черты матери, — все это свидетельствует о мирских радостях: счастье не обошло молодых крестьян — явилось дитя и точно возродило надежду в себя, в жизнь... Мне мила курносая мадонна, широколицая, повязанная по-деревенски платком, в своем немудреном передничке, — наверное же, она нидерландка, но не будет большим грехом принять ее и за россиянку... Мне близка ее радость — было бы в моих силах, все сделал, чтобы помочь ей...

— Значит, россиянка? — улыбнулся Чичерин: он принял игру, признал ее правила, игра увлекла его. — Не грех и помочь ей, верно?

— Не грех, Георгий Васильевич...

Он протянул руку и, высвободив с деревянных плечиков пиджак, накинул его, сидел неожиданно притихший, улыбающийся — видно, думал все еще о Рембрандте, как он возник в связи с вожаемой Генуей.

— А если спуститься с небес на землю, Николай Андреевич, если все это перевести на язык презренной прозы, то тогда как? — спросил он; фраза была не очень похожа на него — он-то не любил перелгать поэзию на язык презренной прозы.

— Чтобы поставить нас в положение блудного сына, есть одно средство... — был мой ответ, рембрандтовский образ обязывал, не просто было расстаться с ним.

— Долги? — спросил Чичерин.

Я и прежде замечал: в его манере говорить пристальное внимание к собеседнику почти не обнаруживалось, но он умел удерживать в сознании нить разговора, как бы эта нить ни была длинна и извилиста.

— Да, очевидно, так: долги.

— Но ведь у нас есть контрпретензии: мы должны, но и нам должны...

— Если есть понятие «нашла коса на камень», то оно здесь...

Он встал.

— Значит, у блудного чада строптивый характер?

— Разве вы этого не знали, Георгий Васильевич? — спросил я, вернувшись к началу разговора.

— Знал! — согласился он радостно.

Когда поезд тронулся, Хвостов постучал ко мне.

— Николай Андреевич, не обойдите меня вниманием, моя каюта в самой голове вагона, — произнес он и, собрав пальцы в щепотку, прищелкнул неожиданно громко. — Не могу забыть наливку, которой вы потчевали нас с Георгием Васильевичем в Петровском, — признался он. — Понимаю, что не в моих силах превзойти вас, но и я припас фляжку — гостинец сватки из-под Чернигова...

К сожалению, мне удалось воспользоваться приглашением Хвостова только сегодня, когда поезд пересек Данцигский коридор и шел на всех парах к Одеру.

Не думал, чтобы посреди Европы было столько леса — второй час поезд шел лесными угодьями, лиственными, хорошо ухоженными, изредка разделенными лугами, чистыми и живописными — немецкий

лес. Здесь уже был вечер и, казалось, принял в свою прохладную тень и наш поезд, хотя над нами в необозримой небесной сини, в облаках, полных света, оставался еще день.

Хвостов достал флягу, обшитую шинельным сукном, и из нее весело забулкала черниговская наливка.

— За Геную, за генуэзскую весну, за удачу в делах! — возгласил Хвостов, тост был хоть куда — мы выпили. Наливка, видно, выстоялась порядочно и была слаще, чем хотелось бы, слаще и, пожалуй, гуще, но крепка завидно. — Вы заметили, что в жизни каждого человека есть момент, который я условно назвал бы последним привалом?

— Ничего не пойму: почему привалом?

— А вот почему, — откликнулся он с готовностью: ему очень хотелось объяснить мне это. — Как я заметил, этот момент приходится на сорок пять — сорок семь и означает паузу... Да, не смейтесь, именно паузу в том, что есть движение человека к цели. Человек как бы останавливается, скованный незримой силой. Да, да, мои наблюдения никогда меня не подводили. Год, два он стоит недвижимо, погруженный в раздумье, а потом... или совершает рывок вперед самый головокружительный, взмывает, так сказать, или начинает сыпаться, именно сыпаться... Вот она, пауза жизни и смерти!

— Вы полагаете, что пребываете в состоянии этой паузы?

— Именно, пребываю и еще... буду некоторое время пребывать.

— Чтобы... взмыть, Иван Иванович?

— Или... посыпаться! — Он вздохнул. — Нет ничего горше этого... обвала!

Он сидел, неожиданно сгорбившись. Если бы Мария спросила меня, как обычно: «Отец, кто перед тобой?» — я бы не задумываясь ответил: «Бальзак в предрассветный час, победивший одиннадцатую страницу рукописи и пятую чашку кофе». Вот эта желтизна лица непобедимая и красные веки, которые тем краснее, чем изжелта-желтее лицо.

— Все приемлю, не приемлю этого... обвала! — произнес он и закрыл красные веки, затихнув. — А что, если сейчас пригласить нам... Марию Николаевну? — Его рука, дрожащая, пошла гулять по столу, освобождая место для Маши. — Пригласим?

— Попробуйте.

— Попробовать? — Он не успевает убрать руку, она остановилась посреди стола.

Машино купе в двух шагах. Мне слышно, как он стучит в дверь купе, в этом стуке нет твердости, кажется, что его рука, поднесенная к двери, беспомощно бьется о дверную доску.

— Сейчас придет.

Маша останавливается в дверях, в ее руках сколка машинописных страниц. Она точно принесла эту сколку, чтобы показать, что явилась на минуту.

— Ты что... боишься юбку помять? Садись, — говорю я ей — мне жаль бедного Хвостова, — но в ответ едва заметная белизна тронула ее губы, ее грозная белизна.

— Иван Иванович, могу я вас спросить? — говорит она тихо; я-то знаю, что надвигающаяся гроза в этом шепоте. — Могу?... В ее руке полуфужер с наливкой точно окаменел — однако надо иметь силу, чтобы так остановить руку. — Вот какая мысль не дает мне покоя: вы, Иван Иванович, один, да и я одна... Давайте поженимся, а? — Она выпивает свою наливку и уходит. — Думайте, думайте — есть смысл подумать, — произносит она, закрывая за собой дверь.

Большие руки Хвостова лежат на краю столика, и, кажется, не в его силах убрать их.

— Мне с нею и прежде было трудно говорить, — замечает он упавшим голосом.

По мере того как гаснет день, в непросторном коридоре вагона

собирается делегация. Солнце уже ушло из вагона, но оно удерживается на мокрых лугах, которые сейчас пересекает наш поезд. Тут много озер, спокойных, точно впаянных в темную зелень лугов,— в свете закатного солнца, по-мартовски яркого, озера холодно пламенеют. Выйдешь в такую минуту к окну и не можешь оторвать восхищенных глаз от залитых предвечерним солнцем лугов.

Казалось, молчание полонило всех, отняты все слова, впрочем до той самой минуты, когда вечерняя тень накрывает землю.

— А нет ли смысла в начале дня собирать нам малое вече, Георгий Васильевич? — спрашивает деятельный Литвинов, оглядывая стоящих у окна. — В Генуе?

— Есть, разумеется: ум хорошо, два лучше...

— А пять куда как сильно, — произносит Литвинов, произносит громко, в расчете, чтобы слышали стоящие у окна.

Итак, пять куда как сильно.

Сейчас все пятеро здесь.

В том, как формировалась наша делегация, произошел некий фокус. Делегацию, как известно, должен был возглавить Ильич, и это отразил ее состав. Мысль Ильича могла идти по такому пути: нет, не просто важнейшие авторитеты партии, работающие в сфере иностранных дел, но и представляющие все грани этих дел, — Чичерин, Литвинов — собственно дипломатия, Рудзутак — внутренние российские проблемы, Красин — торговые дела, Воровский — итальянская сфера, а по этой причине контакт с официальной Италией. Сделав Чичерина своим заместителем, Ильич как бы отдал делегацию и под его начало, что тоже имело свой смысл, так как каждый из тех, кто направлялся в Геную, должен был видеть в Георгии Васильевиче вице-председателя делегации, однако при действующем председателе.

Но произошло в какой-то мере непредвиденное: Ленин не смог выехать в Геную. Да, Владимир Ильич не смог выехать, но делегация, сформированная им, не претерпела изменений. Кстати, не претерпела изменений не без участия Ленина. В этом сказались и отношение Ленина к Чичерину, его вера в наркома по иностранным делам — он верил, что даже в столь могучем составе такая делегация будет Чичерину по плечу.

Чтобы принять такое решение, надо было соотнести отношения Чичерина с каждым из членов делегации и со всеми вместе.

Можно предположить, что тропы Чичерина и Литвинова пересекались и прежде — русские гонимые общались, если жили и в разных странах, но Лондон создавал особые условия для такого общения.

И не только потому, что Литвинов возглавлял лондонскую группу большевиков, которая была деятельна.

В феврале пятнадцатого года, когда фронты войны перепоясали Европу, грозя перекинуться и на иные континенты, в Лондоне собрались социалисты стран Антанты, которым предстояло определить свое отношение к происходящему. Кульминацией конференции явилось литвиновское выступление. Смысл литвиновской речи: дерутся хищники, и у социалистов, если они истинные социалисты, может быть только одно решение — они называют эту войну ее подлинным именем, отмежевываются от нее и покидают правительства, имеющие отношение к войне.

Как потом узнал Георгий Васильевич, литвиновская речь отразила прямую Ильичеву директиву и точно пододвинула в поле чичеринского внимания Литвинова, тем более что это происходило в Лондоне, где в то время жил и Георгий Васильевич.

Трудно было предположить, что моторный этот человек, который с одинаковой неумением сражался с левыми лейбористами в лондонском Маркс-хауз и танцевал на самодеятельных вечерах рус-

ских лондонцев, станет для Чичерина коллегой по дипломатическому ведомству русской революции, а еще раньше — «коллегой», но по казематам лондонского Брикстона.

Но тут я могу свидетельствовать, как выражались в старину, самолично. Еще Георгий Васильевич не достиг русских берегов, еще его корабль взрывал серые холмы Северного моря, столь беспокойные в январе, приближаясь к скандинавским пределам, а в Лондоне была получена радиограмма, немало взволновавшая старую Англию: революционная Россия уполномачивала Литвинова представлять ее интересы в Лондоне. Телеграммы, которые посылал Литвинов из Лондона вначале в Петроград на Дворцовую, потом в Москву в тарасовский особняк на Спиридоньевке, а позже в наркоминдельские апартаменты в «Метрополе», точно давали возможность проследить за всеми перипетиями его отношений с англичанами.

Получив радиограмму, Литвинов уведомил министра Бальфура о своем назначении и просил принять его. Вряд ли Литвинов, предпринимая этот шаг, был уверен, что Бальфур его примет или даже ответит, — подобная реакция тут же вызвала бы протест на Чешем плейс, где находилось старое российское посольство, аккредитация которого действовала. Но Бальфур ответил, при этом в тонах неожиданно терпимых. Он сообщил Литвинову, что лишен возможности его принять по той причине, что новое русское правительство не признано Великобританией, но готов поддерживать с его представителем в Лондоне контакт через чиновника министерства иностранных дел и назвал его имя. Стоит ли говорить, что тут сказалась в какой-то мере гибкость английской дипломатии: способность находить нестандартное решение, даже с врагом не порывать контакта, больше того, делать вид, что предпосылки для нормального диалога не утрачены.

Как потом выяснилось, решение, которое изложил Бальфур в своем письме, было принято после обстоятельной консультации со специалистами по русским делам и преследовало далеко идущие цели. Действительно, вскоре чиновник, названный в письме британского министра, дал о себе знать Литвинову, а вслед за этим английская сторона довела до сведения русских документ, устанавливающий статус Литвинова и его представительства в Лондоне. Однако что это был за статус?

И тут способность английской дипломатии к нестандартным ходам сказалась с новой силой. Англичане, не порывая отношений с дооктябрьской Россией и не нарушая прерогатив посольства этой России на Чешем плейс, изъявляли желание иметь дело и с новой Россией. Они полагали, что Литвинов правомочен оставаться в Лондоне в качестве представителя этой новой России, при этом может пользоваться известными дипломатическими привилегиями, если к ним отнести право шифровать свою переписку и посылать дипломатических курьеров. В ответ англичане просили разрешения иметь представителя в России, наделенного не меньшими правами. Советская сторона не считала такой оборот дел своей большой победой, однако предложение англичан не отвергла. А тем временем новый русский представитель в своем новом, полуофициальном качестве продолжал действовать.

Он развил энергию, которая была тем более действенна, что опиралась на совет английских друзей. Среди них были педагоги, газетчики и деловые люди, а также старый лондонский стряпчий со знаменитой лондонской Улицы Стряпчих, фигура типично диккенсовская, в клетчатом пиджаке и с бакенбардами, — будем звать его мистер Слип. Его дальний предтеча, живший в начале века девятнадцатого, происходил из России, и этого было достаточно, чтобы мистер Слип считал себя обязанным не отказывать русским ни в чем, если даже они действуют от имени самой русской революции. В какой-то мере и по совету мистера Слипа Литвинов направил письмо на Че-

шем плейс Константину Набокову, который вот уже в течение года был поверенным в делах, представляя вначале царское правительство, а потом Временное. Литвинов сообщал о своем назначении и предлагал сдать посольство и принадлежащие посольству ценности.

Набоков ответил, что такое требование может иметь место лишь в том случае, если новое правительство признано Великобританией. Как ни категоричен был этот ответ, он не смутил нового русского представителя. Его консультации со старым лондонским стряпчим показали, что литвиновские усилия небесперспективны, если тут проявить настойчивость и такт. Вооружившись советом английского друга, Литвинов направил письмо в Английский банк, требуя наложить арест на все суммы, внесенные туда прежним русским правительством и российской военно-закупочной миссией в Лондоне.

На этот раз ответ оказался положительным: банк арестовал старые российские вклады. Очевидно, когда в твоих действиях есть элемент внезапности, можно посеять смятение и в столь сплоченном стане, как стан английских законников. Но тут мог действовать и расчет: наложив арест на старые российские ценности, банк оставлял их на Британских островах, что при всех обстоятельствах сохраняло за английской стороной некоторые преимущества. Но для нового русского представителя это был успех, и он продолжал действовать, теперь уже в сфере иной: новое положение открывало ему доступ к английским лейбористским деятелям, и он дал понять некоторым из них, что хотел бы их видеть. Почти во всех случаях ответу на просьбу нового русского представителя предшествовала пауза, подчас значительная, но за просьбой, как правило, следовало согласие.

А между тем и английский представитель прибыл в Петроград — именно в Петроград, а не в Москву. Был февраль восемнадцатого года, немцы шли к Петрограду, возникала новая русская армия, штыки которой были обращены против кайзеровских войск, английский представитель, явившийся в салтыковский дворец у Троицкого моста, казалось, обрел козыри, которых его предшественник не имел. Этим новым представителем был знаменитый Брюс Локкарт. От салтыковского дворца до здания наркомата на Дворцовой два шага, и Локкарта иногда можно было видеть в наркомате дважды в день. Рослый, сильный в плечах, он чуть-чуть отводил руки при ходьбе, как это делают люди, привыкшие к строю. Короче: он был неплохим спортсменом и это свидетельствовало не столько о том, что он готовил себя к карьере дипломатической, сколько — военной. Надо отдать должное Локкарту, он хорошо говорил по-русски, что тоже наводило на печальные раздумья: ни до Локкарта, ни после него английские дипломаты так по-русски не говорили. Как все англичане, он говорил чуть-чуть нараспев, с гундосинкой, что делало его речь не совсем внятной, но в остальном его русский был хорош. Вообще он был по-своему фигурой гармоничной. В том, как он развил свои физические и умственные данные, была видна последовательность, которую хочется назвать целеустремленностью. Нет, в конце восемнадцатого года, когда стали известны деяния Локкарта и в Москве, и в Ярославле, и в Рыбинске, легко было сказать, что он был вариантом Лоренса Аравийского, но весь фокус заключается в том, что и в самом начале восемнадцатого, в феврале или марте, еще до того, как правительство перебралось в Москву, при взгляде на целеустремленного Локкарта такое сравнение напрашивалось.

Финал этой истории настолько известен, что не хочется повторяться: за мятежами, которыми были отмечены лето и осень восемнадцатого года, стояла всемогущая Вологда, а в ней Локкарт. Иначе говоря, все встало на свои места, все становилось ясным — было очевидно, почему деликатный Бальфур не отверг предложение о полуофициальном представителе в России, хотя, казалось, должен был отвергнуть. Последовало распоряжение об аресте Локкарта, и тут же

пришла телеграмма о заключении под стражу Литвинова. Во всем, что касается новых русских дипломатов, у британской Фемиды рука была набита: Литвинов оказался в той самой тюрьме и едва ли не в той самой камере, из которой выбрался в начале года Чичерин.

Английский резидент должен был вернуться в Лондон, правда не столько добровольно, сколько вынужденно. Возвратился в Москву и Литвинов. Это произошло в такой мере час в час, что у людей, наблюдавших со стороны, было впечатление, что произошел обмен, — если такое впечатление создавалось, то это было не без причин.

А поезд наш уже обрел скорость. У каждого из нас появилось нечто похожее на маршрут, больше того — расписание. По ломаной, идущей с севера на юг, нам предстоит пересечь Европу: Рига, Берлин, Вена, Милан, Генуя. Наше посещение больших европейских городов небескорыстно: вперед пошли наркоминдельские депеш. Поэтому в действие приведены полпредства, консульства, просто неофициальные представители. Задача сугубо утилитарная: мы хотим быть в курсе того, что пишет европейская пресса о Генуе. Поэтому встречи на вокзалах, даже самые короткие, заканчиваются тем, что нам передается сверток с газетами. Остальное в нашей с моей дочерью власти: три странички машинописного текста через один интервал должны вобрать высказывания газет о Генуе. Впрочем, иногда есть резон выйти за пределы этих трех страничек — нет-нет, а пресса откликнется на конференцию статей, которую есть смысл воссоздать не столь фрагментарно.

Должен признаться, что плохо знал Машу в работе: у нее есть достоинство ее матери — подобно всем привередливым, Магдалина была не очень динамичной, но зато обстоятельной в мелочах. Я мог пренебречь мелочью, полагая, что для дела она и не столь важна, Магдалина — никогда. Все, что делала она, она делала с одинаковой тщательностью. Маша в нее, поэтому есть ощущение надежности. А может быть, тут нет достоинств Магдалины, а все дело в профессиональных качествах Маши — она чуть-чуть и художница. Маша умеет выкроить полтора-два часа и отдать их чтению. Это видно не только мне — Чичерин не без удивления приметил в ее руках томик Д'Аннунцио и тут же реагировал репликой, заметно иронической:

— Простите, но вам должно не доставать в Д'Аннунцио содержания, не так ли?

— А почему вы думаете, что мне его достает? — ответила Маша, в ее ответе прозвучала смешинка, беззлобная, разумеется.

— Но это же... Д'Аннунцио! — заметил Чичерин, изумившись.

— Я хочу быть непредвзятой и во всем убедиться сама. — Ее ответ был неожидан. — Не хочу судить заглазно, если приемлю, то сама, если отвергну, тоже сама.

— Убедиться сама? В чем именно? В том, что он художник божьей милостью?

— Нет, в том, что он враг свободы — фашио.

Чичерин внимательно посмотрел на Машу, точно стремясь разглядеть в ней такое, что может исчезнуть.

— Признаться, и меня занимает это же... — произнес он в раздумье.

— Новая природа Д'Аннунцио? — нашлась она.

— Да, — был его ответ.

Она вдруг зарделась до самых бровей.

— Была бы я мужчиной, не остановилась, чтобы ринуться к нему на эту его Адриатику и в лицо сказать все, что я о нем думаю... — Она засмеялась. — Была бы я мужчиной...

Он стал ненастен:

— Значит, остановка за немногим: надо быть мужчиной?

— Именно: мужчиной надо быть, — согласилась она.

Он как-то сказал: мне интересны характеры неожиданные. Да не нашел ли он в Маше именно такой характер? Не думаю, чтобы ему нравилось ее своеволие, жажда ниспровержения общепринятого, но он не склонен отвергать это в ней по той только причине, что ему не по душе. Наоборот, мне кажется, он готов перебороть себя, не отдаваясь во власть предубежденности. Ведь легче всего быть предвзятым — она, эта предвзятость, не требует воли.

Видно, разговор с Марией оставил след в его памяти. Часом позже, когда я зашел к нему с бумагами, он вдруг вспомнил сказанное Марией:

— А вы знаете, это замечание об Адриатике не бессмысленно, в подходящий момент есть резон к нему вернуться, в подходящий момент...

— Признайтесь, Николай Андреевич, что этот мой экскурс в наше детство безмятежное показался вам необычным? Ну, это мое толкование того, как дитя постигает свое «я»?.. Меня действительно занимает первопричина того, как человек рушит каменные стены одиночества. Но вот вопрос: один сходитсЯ легко, другой трудно — где он, талант общения? Если задуматься, то надо говорить не о таланте, а о чем-то другом. О чем, простите? Вот оглянитесь мысленно вокруг и отыщите человека, который слывет среди своих друзей обладателем этого самого сокровища — я говорю о таланте общения. За что, собственно, его любят? За ум, память, наблюдательность? Нет, разумеется. А за что? За образованность, такт, веселость, то есть за качества не столько врожденные, сколько благоприобретенные, при этом даже такие, которые обрели право жительства в человеке не постоянно. Значит, таланта нет, а есть нечто такое, что в силах человек обрести. Вы скажете: веселый нрав в человеке от бога, он не благоприобретен. А я возражу: не довелось ли вам наблюдать, как человек, смеясь, побеждает печаль, которую ничем иным не победишь? Все в силах человека! Но в основе каждого общения лежит доверие, а в наш нелегкий век оно обретается нелегко... Все чаще можно услышать: «Нет человека, которого бы я подпустил к душе моей». Или еще жестче: «А знаете, меня устраивает одиночество, и боже упаси, чтобы кто-то лез мне в душу». А ведь в дружбе, если она рыцарственная, есть и самоотречение, не так ли? По крайней мере она предполагает доверие, а если доверие, то и искренность. Как вы полагаете, Николай Андреевич? Если друг видит, что у тебя есть от него тайна, конец этой дружбе... Прошли времена, когда самим фактом рождения, а еще точнее происхождения, человек обретал известное положение в обществе: господин на веки вечные господин, раб на все времена раб. Сфера, в которой действовали господин и его раб, меньше всего напоминала сообщающиеся сосуды. У раба практически не было возможностей стать господином, а господин, в сущности, никогда не ниспровергался до положения раба. Но господин, оставаясь господином, обретал такие возможности для общения, каких не имел никто. Ныне все много сложнее: общение осложняется даже в среде, которую можно было назвать средой привилегированной... Итак, если есть сила, способная сформировать человека, то это общение, если есть средство, способное вооружить тебя в познании мира, то это общение... Как ни бескорыстен ты, но, познав нового человека, ты открываешь новое окно в мир, а это, согласитесь, бесценно...

Сегодня я почувствовал, что наш поезд ведет свой отсчет и малопомалу приближается к цели: Чичерин вдруг вспомнил Ллойд-Джорджа и разговор о меховой варежке.

— А знаете, у Ильича есть работы, в которых этот предмет исследован полно...

— Ллойд-Джордж?

— Нет, почему же?.. И Борис Чичерин! Ранняя работа, однако прелюбопытная — в ней порыв и страсть молодого Ленина.

— Это что же... чичеринское земство?

— Да, все та же... спасительная varejka, — соглашается он уклончиво и замолкает, собираясь с мыслью. — Борис Николаевич, строго говоря, не был коноводом, как тогда говорили, тамбовского земства, но живо интересовался его деятельностью, был близок к нему. Помню, как снежными тамбовскими зимами санные пути звали земцев в Караул. В дохах, подбитых медвежьими шкурами и увенчанных пудовыми воротниками, а то просто в овчинных тулупах таких необъятных размеров, что в них можно было поместить все тамбовское земство, гости долго стучали в прихожей озябшими ногами, стряхивая снег, и тихо вваливались в дом пунцовые от мороза, с глазами, которые застили веселые слезы. На память приходит мерцание углей в большом камине и отблеск их на державных полотнах чичеринского собрания. Свечные бра давали немного света, и блики, лежавшие на картинах, неузнаваемо их преображали, будто ты этого полотна и не видел прежде, будто ты попал в дом, где никогда не был. Это впечатление некой тайны увеличивалось оттого, что гостиную наполняли люди, которых, быть может, ты узрел впервые. У детского воображения нет границ, его ничто не может остановить, и, повинаясь памяти, которая жила в семьях, ты видел себя чуть ли не на сходке мятежного дворянства, решившегося на цареубийство: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Читают на твоём челе печать проклятия народы...» Казалось, против твоей воли пушкинские строки уже завладели тобой, и горячий твой шепот становится все более внятным — да не манифест ли это высокого собрания, избравшего своим приставником чичеринский Караул? Однако чу!.. В том, как Борис Николаевич начинал речь, была обыденность приятельского застолья — он мог начать с обращения к лицу, сидящему рядом, с немудреной шутки, с воспоминания, как бы невзначай пришедшего на ум. Но это было свойственно лишь началу его речи. В следующую минуту его голос наполнялся торжественным железом и рука, только что лежавшая на плече приятеля-соседа, державно сжималась. Да, без этакого жеста слов, которые за этим последовали, не произнесешь. А в словах этих было металла хоть отбавляй... Ну хотя бы эта тирада насчет того, что власти надо явить энергию, не свернув своего знамени перед угрозой! Погодите, погодите. это как же понять? Тут не сразу разберешься что к чему. Значит, не свернуть знамени перед угрозой? Какого знамени? И какой угрозой?.. Однако вот оно, мятежное земство! И точно погасли блики на полотнах Веласкеса и Веронезе, все вернулось на свои места. «С семьей Панфила Харликова приехал и месье Трике, остряк, недавно из Тамбова, в очках и рыжем парике...» Единственное утешение: месье Трике из тамбовских пенат, наш месье Трике, тамбовский, наш...

Придерживая рукой шарф, обнимающий шею, которая боится простуды, Георгий Васильевич медленно идет к окну и осторожно его прикрывает. На какой-то миг я вижу в пролете оконных створок утреннюю звезду, рассветно зеленую, потом и она уходит.

— Значит, чичеринский либерализм уберегал царствующий дом от потресений?

— Выходит, так.

— Как, впрочем, и либеральная игра Ллойд-Джорджа?

Он все еще стоит у окна — этот разговор, непредвиденно обострившийся, задержал его там.

— Ну, тут прямые ассоциации могут быть и неточны: Чичерин адресовался к дворянам, Ллойд-Джордж — к мастеровой Англии, больше того, Англии рабочей, но конечная цель была, в сущности, одной и той же: отвести мятежную руку... — Он улыбнулся — в мыс-

ли, которая была им сейчас высказана, скрывалась себя внезапно. — Да, миссия у них была одна, но вряд ли они могли поменяться ролями, нет, не только в силу разности подданства и языка, в силу того, что можно было бы назвать разностью класса — у каждого был свой круг, а следовательно, свой класс...

— А как... Василий Николаевич? — спрашиваю я, дав возможность ему вернуться к письменному столу. Имя чичеринского родителя возникает в наших беседах не часто, и одно упоминание этого имени заставляет его воспрянуть. — У него было свое место на этих встречах... мятежного земства?

Он внимательно смотрит на меня:

— Именно, свое... Многомудрый Горчаков называл его красноватым — смею думать, одна из тех шуток канцлера, которая была только по форме шуткой...

Вот так-то, красноватый.

Тур наших бесед с Чичериным затронул тему существенную: Василий Николаевич. Существенную и деликатную: как подступиться к ней? Лучше всего это сделать в паузах — природа не терпит пустоты... Но когда она наступит, эта пауза, — после Франкфурта, а может, после Берлина?..

Красин имеет обыкновение все писать сам, он пишет на нелинованных листах некрупным и четким почерком — по всему, он работал в своем Баку в подпольной типографии и его рукописи шли в набор без перепечатки. Наоборот, Литвинов полагает, что оперативная дипломатия теряет смысл, если она делается медленнее, чем должна делаться. Поэтому все, что может быть ускорено, Литвинов старается ускорить. На его взгляд, дипломат не должен себя отдавать во власть перу, медленно движущемуся по бумаге, если есть возможность призвать стенографистку и за два-три часа сотворить документ, который в иных обстоятельствах потребует дней, надо это сделать немедленно. К тому же динамичная мысль Литвинова действует, если ощущает темп, — во всех иных обстоятельствах она лишена энергии.

«Иван Иванович, к Литвинову!» — по мере того как наш поезд удаляется от Москвы, я слышу эту фразу все чаще. У этих слов есть свое объяснение: ко многим достоинствам Хвостова следует прибавить и то, что он стенограф. К тому же знание трех европейских языков он сочетает с достоинством для человека нашей специальности бесценным: у него есть слог. И не только это: как все хорошие стенографисты, Хвостов знает машинку. Если бы у меня была необходимость воочию изобразить моих коллег, придав им нечто такое, что способно заменить, например, самое существо человека, его натуру, его лицо, то я бы Литвинова воссоздал с его желтым портфелем, Воровского — с томиком стихов в руках, а Хвостова — с машинкой. Мне иногда кажется, что Хвостов так прочно приковал себя к этой машинке, что не способен написать фразы без того, чтобы не обратиться к своему «ундервуду» — здесь его сила и тут, возможно, его слабость. Но во многом и сила: Литвинов это понимает, все чаще вызывая к помощи Хвостова. Однако как ни безусловны достоинства Хвостова, его образ не вызывает у дипломатов того единодушия, какое мог бы вызвать: одни считают его человеком высокопрофессиональным, другие — всего лишь мастеровитым. Так или иначе, а без помощи Хвостова не обходится и рациональный Литвинов, который не часто обращается к помощи других, предпочитая все делать сам. Что бы мы ни думали о Хвостове, из молодых он самый осведомленный, а это значит, что за каждым его словом следует рассматривать нечто такое, что с этим словом прямо и не отождествляется. Может, поэтому меня, признаться, встревожил не на шутку вопрос Хвостова, который он врезал мне едва ли не в лоб:

— Этот молодой Рерберг, отправившийся в Италию за наследством, действительно знаток генуэзского Черноморья?

Что тут можно сказать? У слов Хвостова мог быть подтекст, запрятанный достаточно глубоко. Допускаю, что Хвостов пришел к этому вопросу какими-то своими путями, и тогда поистине надо было бить тревогу, ибо обнаруживало это истину чрезвычайную: да знает ли Чичерин о Рерберге? А возможно и третье: информированный Хвостов прослышал про отношения Марии и Игоря, репив эти отношения таранить. Впрочем, если не таранить, то нанести им ущерб — не думаю, что последний разговор Ивана Ивановича с моей дочерью охладил воинственную энергию Хвостова, если, разумеется, она, эта энергия, им в какой-то мере владела.

— У Рерберга были находки в Восточном Крыму, — заметил я с видимой лаконичностью: продолжение разговора не входило в мои расчеты, что Хвостов уловил тут же — он ушел.

А я вернулся в свое купе, так и не успев совладать с выражением крайнего смутения.

— У тебя такой вид, точно ты удрал от стаи борзых, — я слышу твое дыхание, — заметила Маша, оглядев меня. — Да что с тобой?

— Нет, я ничего, — попробовал я успокоить Машу.

Я подумал: говорить сейчас о Рерберге значит выдать себя — необходима пауза, хотя бы самая небольшая. Но пауза против моей воли продлилась до вечера. Поезд шел к Одру, только и света было за окном, что огонь фонарей, обступивших нестройной толпой полустанки — здесь их много, этих платформ. Фонари будто врывались в купе, и тогда я видел Машу — от света фонарей ее глаза точно накалялись, но не могу сказать, что в них поселилась тревога.

— А ты не допускаешь, что Чичерину известна история Рерберга? — спросил я Машу; фраза была нарочито законченной и броской, я думал над ней.

— Могу допустить и такое, чем черт не шутит! — воскликнула она весело. У моей девочки было завидное достоинство: ее нельзя было застать врасплох.

— А коли так, то возможен и такой вопрос с его стороны, — продолжил я почти настойчиво.

— Да?

Свет пристанционных фонарей продолжал набегать на нас — это помогало мне видеть Машу.

— Он может спросить: как вы представляете вашу встречу с Рербергом в Генуе?

Она рассмеялась:

— Можешь быть уверен, что он меня об этом не спросит...

— Почему, прости?

— Не похоже на Чичерина!

— И по этой причине не спросил до сих пор?

— Допускаю, что и по этой!

— А если все-таки спросит?

Эти пристанционные огни, врывающиеся в купе, касались ее груди, точно вопрошая: а если спросит, а если спросит?..

— Убедена, что он не спросит, но ты... спросить можешь, так?

В ее манере защищаться было упорство: ей доставляло радость прошибить толщу слов собеседника, необязательных, и добраться до того далекого дна, где лежит золотой песок правды. Чего скрывать, в этом ее стремлении ей иногда изменяло терпение, и глазу постороннему ее поведение могло показаться резким, настолько резким, что добытая правда выглядела чуть-чуть обесцененной, однако и в этом случае я не осмеливался журить Машу. Не ясно ли, что человек, добывающий правду, не может быть виноватым. Наверно, отца можно понять, если даже он чуть-чуть превозносит свое чадо,

и это не его грех. Что я могу сказать о себе? У меня было много слабостей, но только не эта.

— Что же ты молчишь? Можешь спросить?

— Могу!

— Тогда спрашивай!

Она сказала «тогда спрашивай!», будто бы мы заговорили об этом впервые, будто того памятного разговора в нашем домике в Петровском не было и в помине.

Завтра поезд прибывает в Берлин, и мысли едва ли не против нашей воли обращаются к тому, что нас там ждет. Разговоры, которые то и дело возникают в поезде, все больше обнаруживают берлинский крен.

Я зашел сегодня к Чичерину и застал там Литвинова с Рудзутаком. Твердая рука Литвинова с неожиданной проворностью изобразила нечто диковинное — на рисунке угадывается заяц, насмерть перепуганный, с торчащими ушами, готовый вот-вот сорваться с места и пуститься наутек. Видно, Литвинов начертил эту фигуру только что и не закончил своих объяснений — внимание слушателей было приковано к литвиновскому рисунку.

Литвинов. На мой взгляд, огрубить иногда полезно! (Он ткнул кончиком карандаша в зайца.) Я вижу три партии: англофилы, русофилы и нейтралы. Нейтралы не в счет! Они на то и нейтралы, чтобы стоять в стороне, остаются две... Ну, Мальцан принял русскую карту и не делает из этого секрета — его щедрости на шубу не хватит, но полушубок собрать можно... Значит, и Мальцан побоку. Остается один — Ратенау. Вот его мы должны знать больше чем кого бы то ни было из немцев. Он наш антагонист... (Литвинов обвел кончиком карандаша своего зайца, обвел со значением, точно обращая внимание Чичерина на рисунок.)

Чичерин. А как вы понимаете Ратенау, человечески?

Чичеринская формула — для него нет дипломатии без человековедения.

Литвинов. По-моему, Ратенау перепуган на всю жизнь победами союзников — ему во всем мерещится Версаль, — за глаза принимает союзников и отвергает русских. Да и человечески он не храброго десятка...

Чичерин (он все еще смотрел на литвиновский рисунок). Зайчишка?

Литвинов. Можно сказать — зайчишка.

Чичерин (он улыбнулся мысли, которая сейчас пришла ему). Те, кто ходит на зайца в наших степях, утверждают: главное, с какой стороны пугнуть серого...

Литвинов. Пугнуть?

Чичерин. Именно пугнуть... А что? (Деликатный Чичерин не сразу нашел это определение — «пугнуть серого»: перспектива произнести слово, которое может показаться собеседникам грубым, вызывает у него заметное смятение.) Если пугнуть серого справа, он кинется влево, если пугнуть слева, он кинется вправо. (Задумался.) И все-таки Ратенау не столько заяц, сколько...

Литвинов. Ну не волк же он?

Чичерин. Но и не заяц, как мне кажется...

Рудзутак (он до сих пор хранил молчание, внимательно следя за ходом разговора). Тактически всегда выгоднее увидеть в противнике... не зайца...

Раздался смех — казалось, формула Рудзутака устраивала всех.

Кажется, берлинская тема не отпускает делегацию и тогда, когда разговоры как будто и завершаются, — пришла пора воспоминаний.

Чичерин, наверно, вспомнил свои встречи с Либкнехтом, вечер-

ние прогулки у черной, в нефтяных разводах воды Шпрее, черной и, казалось, безгласной.

Воровский припомнил свой последний приезд в этот город летом восемнадцатого по дороге из Стокгольма в Москву, ночные вахты в посольском доме на Унтер-ден-Линден, не было времени тревожнее: кайзеровская армия, сломив брестскую запруду, пошла валом на Украину. Впрочем, тогда в Берлине был и Красин — его поездка к Людендорфу относится к этому времени — да не пришла ли ему на память эта аудиенция где-то в старинном бельгийском замке?

Надо отдать должное Леониду Борисовичу, он и прежде не искал обходных путей, предпочитая им удар в лоб. Вот и тот раз: когда старик Сименс, тот самый... «Сименс и Шуккерт», акционерный клан которого в свое время сделал Красина представителем в России, как, впрочем, Воровского в Стокгольме, — когда старик Сименс, немало гордясь новым положением своего инженера, спросил, чем бы мог ему быть полезен, Леонид Борисович дал понять, что хотел бы видеть Людендорфа. Сименсу стоило труда скрыть изумление: речь шла о встрече едва ли не с самой влиятельной фигурой современной германской истории, с человеком, которого во всеуслышание называли в Германии преемником великого Клаузевица. Если же отринуть сравнение с Клаузевицем, то останется не так мало, ибо Людендорф сегодня соединил в своем лице престиж теоретика войны и крупнейшего практика, возглавив действия германских войск на западе и востоке.

Итак, Сименс сделал попытку возразить: да есть ли смысл в такой встрече? Возражая, старик Сименс ни словом не обмолвился насчет того, как трудно встречу организовать, полагая, что такое признание невыгодно для самого Сименса. Красин настаивал: есть смысл. Он полагал: надо открыть глаза Людендорфу на перспективы торговых связей с Россией и показать, что военное давление на русских не имеет шансов на успех, оно обречено... Сименс уступил.

И вот штабной автомобиль, взлетая на пологие горы и спускаясь в долины, мчитя к бельгийской границе. В автомобиле, кроме военного шофера, двое: Красин и человек, которого Сименс облек привилегией своего представителя. Красин верит в добрую волю Сименса, как, впрочем, должен верить в добрую волю человека, сидящего рядом, — не хочется думать, чтобы Сименс отрядил с Красиным недруга.

Пошли места, известные по фронтовым сводкам, — точно дохнула на тебя сама тревога: Льеж, Мобеж, Спа... И вдруг холодная хвоя Арденн, хранящая влугу прошедшего дождя, тем более темно-зеленая в сравнении с белыми стенами замка... Из окон замка видны макушки сосен, мягкоокруглых, похожих на всхолмленное море. Людендорф сидит в кресле, стоящем посреди комнаты, в самой позиции генерала не очень-то много уважения к гостям. Кресло поддалось под тяжестью тела, как бы вытолкнув ноги с крепкими коленями. Людендорф охватил колени, точно приготовившись к прыжку, — фигура напряжена, но, странное дело, эта поза не утомляет генерала, ему удобна эта поза.

Красин говорит, а генерал слушает, как с немалым вниманием обратился в прилежного слушателя и доверенный Сименса. Красин говорит, что германская армия не считается с духом и буквой Брестского договора, полагая, что договор не для нее писан. Она ведет себя так, будто бы демаркационная линия, установленная договором, для нее необязательна. Стоит ли говорить, что это не способствует политике взаимного доверия, которая установлена договором и которая могла быть выгодна и немцам, в частности в сфере торговли.

Красин, скосив глаза, мог рассмотреть письменный стол генерала. На просторной плоскости стола, укрытой новым сукном, лежал толстый фолиант в клеенчатом переплете — Шлиффен, Мольтке, Клаузевиц? — и рядом стопка нелинованной бумаги, приятно-кремовой,

аппетитной, при этом верхний лист был наполовину исписан ровным, однако с заметным нажимом почерком генерала, как писали те, кто учился письму в прошлом веке, буквы, естественно, были готические,— стол ученого, быть может, военного писателя. Над столом возвышался книжный шкаф, стекло которого было тщательно задраено синим шелком, заметно гофрированным,— генерал скрывал от внешнего глаза книги, которыми были заполнены полки, он явно стыдился своей учености.

Красин, подняв глаза, видит, как время от времени подсакивают колени Людендорфа и откровенная ирония кривит губы генерала. Казалось, руки генерала для того и сжимают колени, чтобы ноги не так пружинили и не подсакивали. Вид Людендорфа не сулит ничего доброго русскому гостю, но вот генерал разомкнул уста — и впечатление оказалось неожиданно иным. Людендорф заметил, что ему был приятен немецкий Красина, его произношение, как и сама манера, с какой русский высказал тут свое мнение. Но радушия Людендорфа хватило только на эту первую фразу. Генерал встал, и Красин вдруг услышал музыку генеральских сапог. Молодой хром, звонкозвучный, обрел силу органа. Ему вторили подошвы, их густые басы,— бычья кожа, для твердости укатанная и наспиртованная, не иначе явила голос самого животного, подарившего подошвы генеральским сапогам. Одним словом, генерал шагал по кабинету, избрав для этой цели самую длинную дорожку, и оркестр следовал за доблестным воякой, вздувая мехи и гремя литаврами.

То, что говорил генерал, было под стать голосу, который вышиб его спорый шаг. Русские вынуждают немецкую армию вести себя так, как она себя ведет. На что русские надеются, на кого? Русские должны уразуметь: ему, Людендорфу, достаточно взять вот этот лист бумаги и написать... Его рука ткнула в основание стопки, лежащей на столе, стопка сдвинулась, рассыпавшись веером, застав стол,— он пошел дальше, победно гремя сапогами. Ему, Людендорфу, достаточно взять лист бумаги и написать, чтобы русские еще раз запросили мира. Генерал обернулся к сименсовскому директору, прося его подтвердить сказанное, но, странное дело, тот ухмыльнулся откровенно скептически, да, взял и ухмыльнулся безбоязненно.

Людендорф не ожидал такого. Он вернулся в свое кресло, и вновь с неудобяющей силой подсочила его нога... У немецкой стороны нет оснований противиться заключению договора по коммерческим вопросам. Если же деловые люди так заинтересованы в торговле с Россией, то он, Людендорф, не склонен возражать — сейчас генерал обращался не столько к Красину, сколько к своему соотечественнику... Незримая сила вновь вытолкнула генерала из кресла, и вновь, как это было несколько минут назад, спорый Людендорфов шаг родил нечто похожее на маршевую мелодию. Генерал шагал. «На что надеются русские, на кого?» — точно продолжал вопрошать генерал.

А Красин слушал генерала и смотрел на его письменный стол, на котором дремал многомудрый том в старой клеенке. Генерал и в самом деле стыдился своей учености, ему она была сейчас ни к чему. На столе, брошенные неосторожной генеральской рукой, лежали рассыпанные страницы, конечно же, генерал не преувеличивал, когда говорил, что ему достаточно написать несколько строк, чтобы на Россию обрушилось новое немецкое наступление...

Наверно, вот это впечатление господствовало над всем остальным, когда штабной автомобиль вез Красина из ставки Людендорфа в Берлин. Что говорить, все произнесенное Людендорфом не было фразой. История знала, что немецкий генералитет, развязывая войну, и прежде не очень-то обременял себя раздумьями: часто решающим оказывался повод к войне, а не первопричина...

Повод?

Вот он и повод: депеша из Москвы — убит германский посол Мирбах.

Разве это не повод, всесильный, которого ждал Людендорф в своей белостенной обители? Быть может, те несколько строк о настулении, которые он грозился начертать, рассыпав по столу стопку кремowych листов, теперь будут начертаны?

Из Москвы пришла вторая телеграмма: к Чичерину явился Рицлер, отныне исполняющий обязанности посла, и предъявил в некотором роде ультиматум: немцы хотели бы ввести войска в Москву. Страдный июль побратался с февралем: вот так же было полгода назад, когда немецкие войска двинулись на Петроград. И подобно тому как это было в ту пору, берлинская пресса пошла на приступ революционной России, требуя новых уступок. Правда, в этот раз пресса была не так монолитна. Это видел Красин. Смысл его телеграммы: на требования Рицлера отвечать отказом, категорическим отказом, осторожно и твердо отводить требования Рицлера, не соглашаться.

Если Людендорф решит продолжить диалог, начатый в арденнском замке, то Красин, пожалуй, готов и на это. В тот раз почтенный представитель Сименса корректировал генерала иронической улыбкой, всего лишь улыбкой, и возвратил генерала на исходные позиции. Сколь ни красноречиво молчание делового немца, быть может, теперь он разомкнет уста? Красин призвал его высказаться. И не только его, а мир своих друзей. Всех, чей голос мог быть услышан. Заводчиков и крупных чиновников, адвокатов и газетчиков, финансистов и ученых, университетских профессоров, издателей, дипломатов, деятелей церкви. Наверно, Красин действовал не один, но и один он мог сделать немало, отказавшись от сна, объявив многодневную вахту, склонив на свою сторону часть прессы. Если в этом диалоге прямо или косвенно Красину противостоял Людендорф, то можно сказать, что диалог закончился поражением генерала: требование о вводе немецких войск в Москву было отозвано.

Когда поезд подошел к берлинскому вокзалу, наше внимание привлекли господа в цилиндрах: не иначе германское министерство иностранных дел симпровизировало официальную встречу. Все остальное было выдержано в том же стиле: солидные «мерседесы» у главного вокзального подъезда, полицейские в парадной форме на перекрестках, толпы берлинцев на Унтер-ден-Линден, явно ожидающие проезда гостей из Москвы.

Русская делегация прибыла в Берлин в субботу, но в министерстве иностранных дел никаких признаков предпраздничного дня: видно, деловые немцы готовы были работать так, как будто бы в текущей неделе красный листок календаря потерялся, — расписание встреч, составленное министерским протоколом, подтверждало это. Можно подумать, что у немцев свои виды на эти четыре дня, как, по всему, свои немалые соображения были и у русских. Формула русских «достаточно отколоть одну страну, чтобы дрогнул весь фронт» могла получить в Берлине действительное воплощение. Если явиться в Геную, имея в ранце договор с Германией, закрепивший отказ от взаимных претензий, в какое положение это поставит Антанту? Истинно четыре дня в Берлине могут сделать погоду в Генуе: хочешь нарушить монолитность Запада — склони на свою сторону Германию. Кстати, это небесперспективно: если есть страны, которые пострадали от деспотии Запада, то это Россия и Германия. Поэтому тут своя основа для взаимопонимания, как свой веский повод для солидарности.

Уго фон Мальцану не просто совладать с глазами: каждый раз, когда он обращает их на Чичерина, всматриваясь, они разъезжаются.

В такую минуту он выдвигает мизинец и принимается приминать им темный шнурок усов.

Визит к Мальцану первый в ряду тех, которые обещают быть в Берлине, поэтому в нем, в этом визите, есть протокольное начало. У Красина с Воровским свой план визитов, не столь официальный, свободный от протокола.

Георгий Васильевич просит меня быть рядом с ним.

Мальцан принимает нас в своем кабинете на Вильгельмштрассе. В многосложном спектре современной германской политики у Мальцана свои цвета, точно обозначенные. Они отождествляются с линией германской политики, полагающей, что Запад надо держать в повиновении, грозя ему договором с Востоком, который может быть, на худой случай, и не заключен. У Мальцана есть антагонисты — Ратенау первый из них. Нынешний германский канцлер фон Вирт как бы занял позицию между Ратенау и Мальцаном. Канцлер точно возгласил: «Вот я и моя сиятельная особа — боритесь за нее. Завтрашний день германской внешней политики полностью зависит от того, кто возьмет верх в этой борьбе». Но все это завтра, а сегодня Уго фон Мальцан принимает русского министра иностранных дел в своем кабинете на Вильгельмштрассе. Его диалог с министром имеет целью установить единственное: что ждут русские от договора с Германией, если немцы на такой договор пойдут?

Чичерин вошел в кабинет фон Мальцана и, взглянув на хозяина, подивился мягкой смуглости, которая одела его лицо, как коричнево-бронзовым сделался вице-директор мальцановского департамента, минуту назад ярко-рыжий: здесь было царство орехового дерева. Нет, не только письменный стол, похожий на ладю, и кресла, слепленные по образу коротконосых лодчонок, не только фронт книжных шкафов, а вслед за ними двери и панели, но и рогатая люстра, чем-то схожая со шлемом пса-рыцаря, громоздкая чернильница, темной кольчугой укрывшая половину стола, светильник, который отдаленно напоминал забралю, пресс-папье на столе, подставка для бумаг, пепельница, стакан для ручек, сами ручки... Судя по блеску, которым отливал знатный орех, запаху лака и дыханию свежеструганного дерева, все было завидно новым, будто только что явившимся из-под рубанка столяра-мебельщика, еще хранящим тепло, вызванное соприкосновением металла и дерева. Но царство сановного ореха, в котором оказались русские, способно было вызвать мысли неожиданные: удивительна способность немцев встать на ноги. В конце концов, мальцановский кабинет призван демонстрировать иностранцу именно это, иного смысла тут нет.

— Вы полагаете, что Германия может рассчитывать на понимание Антанты? — спросил Чичерин, когда кресла были придвинуты к камину и оттуда совсем по-лесному пахло солоноватым дымком — пирамида дров вот-вот грозилась взаться.

— Нет, я в это не верю, как не верю, что на это понимание может рассчитывать Россия, — отвечивал немец и, указав взглядом на кресло, выждал, пока в него опустится Чичерин. — Если сказать — «друзья по несчастью», это будет верно, — добавил он по-русски.

— Значит, друзья по несчастью? — Чичерин поднял руки, обратив ладони к огню, точно защищаясь, — отблеск огня, вспыхнув, сбросил дымную пелену и коснулся ладоней, они пламенели. — Нам надо исходить в своих действиях из этой истины: беда нас может сблизить?

— А вы полагаете, что эта истина не очевидна и мы ее можем игнорировать? — спросил Мальцан, вернувшись тотчас к немецкому — ему было удобнее нападать с помощью немецкого.

— Если говорить о вас, господин фон Мальцан, то я не думаю, чтобы это было так, — заметил Чичерин почти кротко; дрова, горящие в камине, были не очень сухи, и пламя было дымным, каждый раз,

когда задувал ветер, дым точно полонил беседующих — была иллюзия, что кресла-лодки всплывают в это безбрежье. — Нет, действительно вас это не касается, — продолжил Чичерин с мягкой укоризной — его терпимость обезоруживала.

— Коли не касается меня, то должна касаться кого-то другого, — произнес немец, прочно предав забвению знание немецкого — он отступал.

Мое кресло отодвинуто в глубину кабинета, и свет камина едва меня касается — уйдя в тень, я обретаю некие преимущества: я есть и меня нет.

— Господин Ратенау, надеюсь, будет на приеме у канцлера Вирта? — Чичерин оглядел комнату: огонь, до сих пор лежащий в пределах камина, выплеснулся на стены — орех точно польхнул несильным, но устойчивым пламенем, и сами разводы дерева, с правильной ритмичностью прослоившие его, воспринимались как движение дыма. — Господин Ратенау... предполагает быть?

Имя министра иностранных дел было названо в опасной близости от чичеринской фразы, гласящей, что в русских делах у Мальцана могут быть и антагонисты, — хочешь не хочешь, но подумает, что к этой политике может иметь отношение и германский министр иностранных дел.

— Полагаю, что будет, — подтвердил Мальцан без энтузиазма: Чичерин явно заботился о некоем кворуме, без кворума главной проблемы не решить. — Впрочем, господин Ратенау может быть и завтра вечером у господина Дейча, — добавил Мальцан поспешно: он понимал, что ответственный разговор у Вирта будет тем успешнее, чем большая подготовка этому разговору предшествует. — Господин Воропаев, мне сказали, что с вами дочь? — вдруг обратился немец ко мне. — Покажите ей Пергам...

Вечером я вышел из гостиницы. Затененная голыми кронами лип, лежала Унтер-ден-Линден. Был всего лишь одиннадцатый час, а город выглядел пустынным — Берлин засыпает рано даже в субботний вечер.

И в сознание вошел голос Георгия Васильевича — нет, не просто было оборвать этот диалог...

— Не ясно ли, что в этой встрече с Мальцаном спроецировалась Генуя, все ее страдные недели, а может и месяцы, не так ли? — услышал я голос Чичерина. — Не люблю парадоксов, но тут действует именно парадокс: для нашей делегации Германия будет в Генуе в своем роде тылом...

— Ну, это уж совсем непонятно, Георгий Васильевич! — возражаю я ему. — Каким образом Германия может стать тылом?

— Да, именно тылом, дающим возможность маневра! — воодушевленно подтверждает он. — Нет, нет, вы послушайте, я вам сейчас докажу: Антанта понимает, что нам не под силу уплата долгов. Слышите: понимает, не может не понять. Но такова уж природа капитала: это не умерит ее аппетита, а увеличит его. Логика тут для них естественная: отказываются платить, тогда пусть жертвуют суверенностью своей первородины... Лесли Уркарт ждет этой минуты.

— Вы почти предрекли... провал Генуи? — спросил я.

— Ни в коем случае! — возразил он. — Я же сказал, что есть страна, которая способна быть тылом, дающим возможность маневра...

— Значит, по-купчески — ты мне сукна, я тебе меду и пеньки, как во времена Ганзы?

...Я достиг Бранденбургских ворот, взглянул направо — в сполохах полуночного неба тяжело просвечивали громоздкие формы рейхстага, что-то тевтонское, навечно сумеречное было в его облике.

«Как во времена Ганзы, — вторила мне память, казалось, против воли моей, — как во времена Ганзы».

В первый день нашего путешествия я заметил: у Красина и Воровского практически нет свободной минуты, а если она образуется, они отдают ее беседе, в смысл которой мне, например, проникнуть трудно.

Едва такая беседа возникает, на стол ложится лист бумаги, который под быстрым красинским карандашом мгновенно превращается в карту. Собственно, с картой красинский рисунок сближает кровеносная система рек, которую Леонид Борисович рисует по памяти с уверенной точностью. Не надо быть знатоком отечественной географии, чтобы опознать характерные рогатинки Оскола, разветвления Северского Донца и Корочи... Но тут уже не делает секрета сам Красин — города, которые он называет, действительно легли в междуречье Северского Донца, Оскола, Сейма, Валца, да и других рек, сам характерный извив которых точно свидетельствует, что это реки спокойно текущие, равнинные. Однако какие места припомнил Красин? Ну конечно ж, тургеневские Льгов и Щигры, как и более южные Обоянь, Ржаву, Корочу, Новый Оскол и даже Белгород, которым южный предел карты завершается. Но с новым движением карандаша на рисунке возникает нечто такое, что хочется назвать одушевленным. С севера на юг, возобладав над Донцом и Сеймом, на карту легли некие существа, напоминающие земляных червей, сейчас не столько быстрый, сколько обстоятельно-неторопливый красинский карандаш изобразил их мягкий извив, ощутило утолщив и тщательно заштриховав. Но в красинских комментариях нет и намека на странных беспозвоночных, даже наоборот — разговор смещен в сферу совершенно иную.

— Магнитная стрелка... Вертикальная ось... Вектор напряженности... — Красин воодушевлен, его голос хранит это волнение, открытое волнение. — Докембрийские отложения... Кварциты... Железистые кварциты...

— Значит, железистые кварциты... Двести миллиардов тонн?

Это спросил Рудзутак, тревога Красина не обошла и его.

— Можно допустить, что и двести, — отвечает Воровский, подняв на Рудзутака веселые глаза.

— Двести? — не может скрыть своего изумления Рудзутак.

Все понятно: внимание Красина приковала проблема магнитного Курска, проблема для нашего представления о богатствах, тающих в недрах русской земли, фантастическая: двести миллиардов, которые со свойственной ему веселой бравадой назвал Воровский, это, конечно, цифра едва ли земная, но применительно к Курску, пожалуй, земная... Ну, разумеется, не просто связать интерес к Курску с прибытием в Берлин, но пронизательный Красин связал, как свои ассоциации установил с Берлином и Воровский.

Если говорить строго, то Курск имеет косвенное отношение к профессиональным интересам Красина. Красин — инженер-электрик не только по образованию, но и по опыту работы. Петербургский технологический, а затем Харьковский приобщили его к тому большому, что условно можно было назвать проблемой электрической революции, как эта проблема рисовалась людям науки в самом начале века. Именно электрической революции: в том, с какой широтой и основательностью электричество преобразовывало мир, была могучесть и новизна революции. Красину была симпатична эта формула: электрическая революция. В ней, в этой формуле, соединились самые большие начала его жизненного опыта — революция и электричество, начала, разумеется, не равнозначные, но насущные вполне. Но вот что существенно: круг его друзей нередко подбирался по признаку, который был тут обязателен, — были подданными революции и, пожалуй, чуть-чуть электричества.

Один из них — Воровский. Правда, он не строил вместе с Красным электростанции в бакинском пригороде Баилове, не электрифици-

дировал Петербург, не возводил тепловые станции в Германии, но был давним товарищем Леонида Борисовича по партии, как и коллегой по инженерным устремлениям и интересам. За большим дачным столом красинского дома в Павловске, где подчас собирались петербургские инженеры, друзья видели и Воровского — на этих вечерах, зарекавшись, гости не говорили на инженерные темы, что не столько обескураживало, сколько окрыляло Вацлава Вацлавовича, ибо давало простор его литературным интересам. Однако человек, всем благам предпочитающий сдержанность, он не очень-то злоупотреблял правами. Но свою власть, почти абсолютную, Воровский использовал на этих вечерах своеобразно: он читал не столько себя, сколько Чехова, читал артистически. Сходство, которое было у Вацлава Вацлавовича с писателем, помогало чтению: казалось, что читает сам Чехонте.

Но когда друзья оставались одни, беседа касалась и инженерных тем, при этом и стратегических: тоннель через Кавказский хребет, сокращающий связь России с Закавказьем, железнодорожные пути из Сибири в Новый Свет, орошение южноуральских степей водами великих сибирских рек или, как сейчас, освоение Курской магнитной аномалии. Реализации этих проектов необходима была самая малость: революция. Друзья не теряли надежды, что она не за горами. По крайней мере их мечты о техническом преобразовании России были той дополнительной энергией, которая мечту о революции приближала.

Но способность Красина к стратегическому мышлению была ценна не только его русскими друзьями, о даре сибиряка-россиянина знали и в Европе. Этому немало способствовал старик Сименс — красинские идеи технического переустройства фирмы во многом способствовали успеху «Сименса и Шуккерта». Когда совершилась революция и Красин занял свое высокое положение в штабе экономического обновления России, в Германии это было объяснено своеобразно: старик Сименс переуступил своего первого советника Ленину. Формула была именно такой — «переуступил», не исключено, что ее автором был сам старик Сименс: формула косвенно превозносила фирму. Но и Красин не был простаком, обратив свои немецкие связи на пользу революции. Когда Красин появлялся в Берлине, встреча с магнатами угля и стали, самыми крупными, для него не была проблемой. Последняя из этих встреч была в прошлом году в отеле «Эксельсиор» — там был весь цвет немецкого делового мира, правда представленный не столько хозяевами, сколько директорами. Но Красин, верный правилу говорить только с первыми, повернул дело так, чтобы встреча в «Эксельсиоре» стала серьезной прелюдией к встрече с Сименсом, Дейчем, Гутенмейстером. Он полагал, что встреча в «Эксельсиоре» не паритетна — то, что может сказать хозяевам фирмы он, Красин, может сказать только он.

Не позволит ли нынешний приезд в Берлин возобновить эти встречи? А если позволит, быть может, свое место займет и земная фантастика Курска? Интерес к этой фантастике в Европе непреходящ: в конце века француз-магнитолог Муро исследовал залежи руды, не скрыв своего изумления. Едва ли не через двадцать лет прошел своей осторожной тропой немец Шварц, прошел, тщательно фиксируя виденное, и, онемев от изумления, уехал в Германию, бережно унося и свою немоту, восхищенную немоту. Едва добравшись до отчих пределов, многомудрый немец испустил дух — казалось, сама его кончина явилась следствием изумления, которое обременило сердце ученого германца, обременило и обрело.

Нельзя сказать, что смерть немца смирила интерес к курской фантастике, скорее она пробудила этот интерес. **Не исключено, что Курск своеобразно заявит о себе и в Берлине и в Гааге.**

— Сказать «новый Рур» — не все сказать, — заметил Рудзутак.
— Далеко не все, — согласился Леонид Борисович, — Курск много мощнее, да и иной по своему существу: железная руда, железная... — Красин вступился за Курск с видимой страстью.

Утром мы увидели Новую Ганзу во всем ее блеске — Красин повлек всех к Феликсу Дейчу.

Завтрак был сервирован с грубоватым изяществом, чуть бюргерским: красная и белая рыба в ярко-зеленом окладе салата великолепно смотрелась на желтых керамических тарелках. С немецкой правильностью винная батарея была выстроена едва ли не по ранжиру, но главенствовало рейнское белое — ему отдали предпочтение и русские, при этом отнюдь не только потому, что были в этом доме гостями.

Послетрапезный час гости провели в библиотеке — расчетливый Дейч знал, куда повлечь Чичерина.

Хозяин показал свои дива: томик Гёте и фолиант Вольтера с автографами авторов, а потом как по команде появилась серия книг, исследующих доблести Ганзы и ганзейцев, — не было более действенного средства приблизить разговор к насущному, чем прикосновение к этим пыльным фолиантам, крытым телячьей кожей, желто-молочной, залитой воском и маслом, ссохшейся, в трещинах.

— Урок бессмертной Ганзы: ничто так не гасит огонь войны, как взаимный интерес, а следовательно, торговля.

— У купцов — хорошая память? — засмеялся Чичерин, в его реплике, как обычно, noticeably отсутствовало категорическое — с ним легко было говорить.

— Именно, — подхватил деятельный Дейч. — В наших отношениях со славянским миром был свой золотой век: Ганза... — Он задумался: не иначе его мысль зашла так далеко, что порядочно смутила и его. — Как у всех крупных явлений в истории, конец Ганзы неоднозначен: одни говорят, что ее сокрушили внутренние распри, другие — деспоты...

— Деспоты?

— Именно. Грозный, например... — Казалось, он и сам был изумлен, что у жизнелюбивой темы оказался такой конец.

— У немцев были свои деспоты, кстати, в их возвышении участвовали и купцы... — заметил Чичерин.

— И могут быть еще, при этом возникнут не без участия купцов, — согласился Дейч — можно подумать, что он вел разговор, чтобы утвердить эту истину: могут быть еще.

Он продолжал держать на своих раскрытых ладонях фолиант в телячьей коже: получалось, что из старинной книги он извлекал эту мрачную истину о деспотах, которых вызвали к жизни и купцы.

— Но как предупредить появление деспота? — Он все еще смотрел в раскрытую книгу, точно стремясь найти в ней ответ и на этот вопрос. — Немцы считают: сила в предпочтении. Англичане наоборот: в отсутствии предпочтения.

— Вы сторонник английской точки зрения? — спросил Чичерин — хозяин сместил разговор в такую сферу, где, как он полагал, хранились ответы на все вопросы.

— Нет, разумеется, но у нас есть сторонники и этого мнения.

— Их много, этих сторонников?

— Они есть, — ответил Дейч.

Выходит, что мы пришли к Дейчу, чтобы познать мнение Мальцана и Ратенау. Очевидно, Мальцан за Ганзу, а следовательно, за предпочтение торговать с русскими. Ратенау — за то, чтобы ни одной из сторон не давать привилегии, а по существу за Антанту, за право

иметь дело с англичанами, если быть точными, за преимущество иметь дело с англичанами.

Был смысл повстречать Феликса Дейча — иначе явишься к Иозефу Вирту обезоруженным.

И вновь сумеречная Унтер-ден-Линден. Невысокое небо, подсвеченное щедрым светом уличных фонарей. Округлые купола соборов, украшенных громоздкой лепниной. Шуршание автомобильных шин по мокрому камню мостовых, сполохи фар, в ярко-желтом свечении которых прорвалась тревога.

— Не показалось ли вам, что немцы избегают ответа, который бы мог быть понят как обещание? — спросил Чичерин, когда мы вернулись от Дейча.

— Пожалуй, но чем это объяснить? Страх перед Антантой — в своем роде разновидность недуга, от него не просто отрешиться...

— А может, это всего лишь расчет: если сказать определенное слово, то только в Генуе, не так ли? — спросил Чичерин, он любил рассмотреть предмет с разных сторон, отыскивая его новые грани.

— Все оставлено на решение Вирта — вот ответ! — вырвалось у меня. — Конечно же, коллегия советников, но решающее слово не у них: ведь бывало и так, что сонм советников отступал перед мнением канцлера... Канцлер, только он... Даже интересно, в какой мере Вирт отождествит это мнение и возможно ли это мнение распознать при взгляде на человека...

— Ну что ж, пришло время графологов и физиономистов, — засмеялся Чичерин. — Какой он, аноним Вирт?

Но все получилось сложнее, чем можно было предполагать. Вирт был торжествен и малоречив, заметно избегая разговора по существу. Он защищался этой торжественностью. Он вышел навстречу Чичерину и, обменявшись с ним рукопожатием, как бы охватил поднятой рукой просторы кабинета. Жест означал: гость вправе выбрать любое место, любое... Но за столь щедрым жестом почти ничего не последовало: канцлер был улыбчив, тих и нем. Он явно избегал сказать русским больше, чем начертал себе заранее. И, следуя канцлеру, так же тих, улыбчив и безгласен был Ратенау. Это был заговор улыбок, чуть печальных и, по всему, не очень искренних. Улыбки казались заученными, нотная грамота улыбок. Единственно кто не воспринял этой грамоты улыбок, был Мальцан — вряд ли происходящее было для него неожиданным, но смятение коснулось и его, смятение, которое он не хотел скрывать и от русских.

— Не находите ли вы, Николай Андреевич, что одна профессия у отца и сына может таить в себе зародыш конфликта?.. Меня заставляет так думать история Моцарта. Кстати, у него был не самый плохой отец, далеко не самый плохой. Правда, он был более категоричен чем следует, более упрям, своеволен, быть может даже своекорыстен, но в остальном он был хорошим отцом. Любил свое чадо и гордился им, сделав много для того, чтобы Моцарт стал Моцартом. Но дело даже не в его характере, а в характере времени. Отец должен очень осторожно распорядиться тем, что внушило ему время. Думаю, что старый Леопольд Моцарт этого не понимал. Он не понимал, что законы, по которым живет его сын, иные, чем те, по которым живет он, Леопольд Моцарт. Конфликт отца с сыном был конфликтом с грядущим веком, который Моцарт провидел и который в его музыке уже наступил. Нет, там, где отец должен был показать терпимость, он давал волю своим страстям. Он взъярился, когда, вернувшись из Италии, узрел в композициях сына взрывы страсти. Отец утаил от современников, скрыв за семью печатями, сочинение сына, в котором наиболее сильно сказало его революционно-демоническое существо. Письмо, которое он написал сыну, было во многом безапелляционным, и смысл его

укладывается в нескольких словах: «То, что не делает тебе чести, пусть лучше останется неизвестным». Старик не допускал и мысли, что не ему тут быть судьей. Больше по инерции отец продолжал настаивать: «Только от твоего благоразумия и образа жизни зависит, станешь ли ты заурядным музыкантом, о котором позабудет весь мир, или сделаешься знаменитым капельмейстером, о котором последующие поколения прочтут в книгах...» Обращение к капельмейстеру имело свое объяснение: Моцарт порвал с зальцбургским архиепископом, а заодно и деспотическим Зальцбургом, о котором он позже скажет: «Вы знаете, как мне ненавистен Зальцбург». Я так думаю: отец, если он мудр и ему дорог сын, должен понимать, в какое положение все это ставит сына, не может не понимать. Как ни категоричен отец, он воздействует на сына не столько силой своих доводов, сколько авторитетом родителя... и ставит сына в положение почти безвыходное. Разумеется, этот конфликт не является монополией музыки, он готов вспыхнуть в любой сфере, которую можно назвать сферой духа... Вы улыбаетесь, Николай Андреевич. Дипломатия? — хотите спросить вы. Да, очевидно, и дипломатия!.. Хочешь не хочешь, а обратишься к воспоминаниям. Как свидетельствует чичеринская хроника, свадьба моих родных была сыграна где-то здесь, в лигурийских прибрежных водах, при этом жених был советником, невеста — племянницей посланника, шаферами — первые секретари и атташе миссии. Стоит ли говорить, что круг этих людей жил по законам карьерной дипломатии, весь круг за исключением разве моего отца. Он считал себя свободным от обязательств этого круга людей потому, что дипломатия, к которой они тяготели, была именно карьерной — отец был не тщеславен. Отец точно провидел грядущую отставку, как, впрочем, и все, что за этим следовало, и, выбирая жену, все предусмотрел. Если верно, что самая лучшая мать — это та, которая сможет заменить отца, когда его не станет, то такой именно была моя мать. Она была такой и потому, что повела себя с нами, детьми, так, как повел бы себя отец, будь он жив, — отец был терпимым человеком...

Кажется, Германия осталась позади, и это дает возможность подбить черту под немецким туром встреч.

У Литвинова редкая способность найти повод к нужному разговору — в этом поводе есть непредвзятость и острота, хотя сам факт обыден.

Литвинов. Хитрые итальянцы по случаю конференции заново перекроили Геную: Ллойд-Джордж, как бог Саваоф, получил место на холме Курто де Милле, все остальные — внизу...

Чичерин. И наше место внизу?

Литвинов. И не только внизу, но и на почтительном расстоянии от творца.

Чичерин. Это хорошо или плохо?

Литвинов. По-моему, хорошо: через дорогу от нас — немцы.

Пауза. Последнюю фразу надо осмыслить. Значит, через дорогу от нашего особняка — немецкий. Хитрые итальянцы все рассчитали как по нотам. Они точно дали понять богу Саваофу в его далеком поднебесье: имей в виду, что русским и немцам надо всего лишь перейти дорогу, чтобы договориться.

Чичерин. Вы полагаете, что это сделано не без умысла?

Литвинов. Если в этом участвовали немцы, то определенно.

Чичерин (его полуулыбка едва уловима). А если русские?

У Литвинова, казалось, прервалось дыхание: оказывается, чичеринская формула может носить и форму вопроса.

По мере того как поезд приближается к Милану, он все чаще окунается во тьму и грохот тоннелей... Зыбкие сумерки остаются в вагоне минуту-другую, попахивает серой, и от тоскливого беспокойства неку-

да деться. Точно защищаясь Георгий Васильевич поднимает к груди раскрытую книгу, удерживая ее, пока не рассветет. Рассвет накатывается постепенно, и первым его воспринимает красно-желтый переплет книги, он пламенеет. Я знаю: это Тютчев, его лирика. Книга с наперсточек, а чтению ее нет конца — я вижу у Чичерина тютчевский томик уже несколько дней. У книги есть свойство колодца, напоившего спасительной влагой людей: чем глубже его копают, тем он полноводнее. Однако что повлекло Чичерина к Тютчеву? Наверно, мысль. Да, та самая мысль, которую постиг поэт и огранил. Последнее для Чичерина важно: он воспринимает мысль, если к ней прикоснулся мастер. Склонен думать, что этим объясняется и его интерес к дипломатии: у дипломатического существа есть блеск и глубина истинной поэзии, как я понимаю, лермонтовской или, быть может, тютчевской.

— Говорят, что Тютчев признавал одну деспотию — деспотию дочери, — произносит он, воспользовавшись тем, что мы в очередной раз зарылись в тоннель и в чтении нет надобности. — Она единственная имела силу склонить его к иному мнению...

Меня точно током пронзило: да не понадобился ли ему Тютчев и его деспотичная дочь, чтобы сказать мне то, что он до сих пор не мог сказать? Ну хотя бы вот это: «Тебе бы надо быть откровеннее, друг Воропаев, и на добро отвечать добром. Не все потеряно и сейчас. Я даю тебе такую возможность: откройся и расскажи все по порядку. Итак?»

Когда тоннель кончился и явилось солнце, томик Тютчева лежал на груди Чичерина. Не было кольчуги надежнее — кажется, он защищался Тютчевым и от жизненных невзгод...

Видно, есть резон решительно перевести разговор на другие рельсы: сейчас спрошу о Василии Николаевиче, а кстати о горчаковском эпитете, которым тот нарек его.

— Этот горчаковский эпитет «красноватый» имел отношение и к образу жизни Василия Николаевича? — спрашиваю я — наш предыдущий разговор был оборван, когда, казалось, он набрал силу. — Сказав «красноватый», Горчаков давал понять, что он пошел дальше дозволенного?

— Допускаю, — отвечает он, оживившись. — Дальше дозволенного, а значит, дальше Горчакова, — добавляет он, смеясь.

— И Бориса Николаевича? — Я стараюсь сообщить нашему диалогу большую остроту.

— Можно сказать и так, — соглашается он.

— И это объясняется тем, что, по вашим словам, у Василия Николаевича была своя позиция?

Он вспоминает, я люблю его слушать, когда он вспоминает, — в его рассказе о минувшем всегда есть настроение. Что сберегла память, у нее есть тут своя привилегия?.. Белая гостиная в тамбовском доме, шум огня в печи — в тот год затопили рано, — перестук телеги по булыжнику, которым была вымощена мостовая перед домом, отец, сидящий в затененном углу, голос дяди Бориса: «Прости меня, но зачем тебе нужна была Бразилия или Бразилии ты? Решительно не было смысла. Пойми: не было смысла...» Самое удивительное — и это способно было постичь сознание, едва ли не младенческое: отец не возражал. Он точно вторил брату этим своим молчанием: не было смысла, ровным счетом не было смысла... Потом еще вечер, может быть в Покровском, а может в Карауле, летний и пыльный, с солнцем, которое подожгло верхушки берез, стоящих посреди двора, и все тот же голос дяди Бориса: «Дуэль? Да кто в наше время защищает честь с помощью пистолета?» А вот был отец тогда или его не было, не запомнилось. Если был, то молчал по своему обыкновению, точно подтверждая: да кто в наше время защищает честь с помощью пистолета? И еще картина, которая впечаталась в сознание: веранда в Карауле и стол, накрытый белой скатертью, чуть розовой в свете красных стекол. Держав-

ный шаг дяди Бориса по скригучим половицам и его голос, едва внятный — опасался, чтобы не услышали мужики, стоящие посреди двора: «Погоди, чтобы лечить, надо иметь специальное образование, не правда ли? Да как ты их лечишь, не будучи лекарем?» И голос отца, поникший: «Так ведь и не лечить худо, помрут...»

И последнее: тут уже не было ни отца, ни дяди, впрочем, дядя Борис был, его строгое имя... Горела лампада, и стучали большие настенные часы, каждый их удар точно воспринимался чутким огнем лампады, огонь вздрагивал. Мать ходила из комнаты в комнату, причитая: «Эти ужасные болгарские горы, эти ужасные горы...» И как эхо далекой битвы названия безвестных мест: Плевен, Руцук, Шипка, Тырново... Отец был там, в этих местах, волонтер, действовавший в самом аду штыковой сечи, врач-солдат, несущий денно и ночью неусыпную вахту в палаточных госпиталях на поле битвы... А потом тамбовский дом и кашель за стеной, грудной, скрежещущий, не громкий, но странным образом прошибающий стены, — от него никуда нельзя было скрыться в доме... Кашель и все тот же блеск лампады. Нет, лампада вскоре погасла, как утих и кашель. «Да был ли смысл в его поездке на Балканы? — спрашивал Борис Николаевич. — Только подумать: Чичерин, друг канцлера Горчакова, без пяти минут посланник, записывается фронтовым лекарем и околевает в болгарских снегах... Не странно ли?»

Они были разными людьми, братья Борис и Василий, но всю жизнь тянулись друг к другу, пожалуй, у них даже был лад... Вот эта формула «се, что добро и что красно, но ежи жити братия вкупе» вспоминалась ими не ради красного словца...

Георгий Васильевич сидит прямо передо мной, глубоко уйдя в кресло, — кажется, он уходил в него все глубже, по мере того как продолжается рассказ. Была бы моя воля, пожалуй, спросил бы: «Рыцарственный Василий Николаевич?» — так, быть может, говорили и при его жизни и позже. А вот можно сказать: «Рыцарственный Борис Николаевич»? Наверно, не вся правда здесь, но часть правды определенно...

Наш поезд пришел в Санта-Маргериту часу в одиннадцатом утра.
— Взгляни на небо, оно такое только здесь, — шепнула моя девочка, когда мы вышли из вагона.

— Какое, прости меня?

— А вот с этой бирюзой глубокой...

И действительно, в этот день небо предстало нашим глазам бирюзовым, не замутненным мглой, которая с утра наплывала с моря и делала чистую бирюзу молочной.

— Выкроем минуту и съездим в наш Град-Чернец? — спросил я Машу — очень хотелось быть рядом с нею в этой поездке.

— Да, не медля ни минуты, — согласилась она.

Все казалось, что вокзальные часы, которые мы видели из окна нашего вагона, точно сговорившись, все разом замедлили движение, как, впрочем, не очень торопилась и кавалькада лимузинов, встретившая нас в Санта-Маргерите и принявшая вместе с нашим громоздким багажом, чтобы отбуксировать в гостиницу. Но едва в наших руках оказались ключи с медной пластиной «Палаццо д'Имперiale», мы, наспех разместив наш скарб, дали деру.

Есть нечто печальное во встрече с городом, в котором ты не был годы: казалось, только море да горы остались молодыми, все остальное сторбилося, приныкло к земле — и часовенка на отлете от дороги, и стая домишек, ищущих спасения в земле и ушедших в нее едва ли не по поясу.

Как некогда, у основания дома лежал булыжник, мы подняли его и постучали в стену — когда-то на этот стук выбегал дед Джузеппе, отец хозяина. Если случалось нам приходить поздно, он выбегал к

калитке в чем мать родила — надо было подождать, когда он сбросит щеколду и вбежит в дом, а потом уже входить. Но дед умер, и нехитрую эту обязанность взял на себя его сын — сизобородый великан, широкогрудый и косопалый. Он обычно бежал к калитке, переваливаясь с боку на бок, бежал и кричал: «Уно моменто, уно моменто, синьоре!» Но сейчас привычное «уно моменто» суждено было произнести не хозяину, а хозяйке. Она распахнула калитку и обмерла:

— О, мой господь, это вы, синьоре Николо, это вы, синьорина Мария? О, мой господь, мой господь!..

Но, наверно, смятенное «мой господь!» надо было изречь нам с Машей. Моя добрая Сильвия, яркоглазая смуглянка, стала вдруг сероволосой, с темными впадинами глазниц, такими округлыми и глубокими, какими они не были никогда. Ее вид так поразил меня, что я не удержал вдоха изумления.

— О, мой господь, да не перепугала ли я вас своим видом? — спросила она и попыталась улыбнуться, но ей это не очень-то удалось.

Да, наша память бескомпромиссна: человек, которого она восприняла, отказывается стареть. Я помню Сильвию, как она пришла в дом своего мужа и дом точно запел, озаренный жизнелюбием молодой женщины. Вот диво: разные люди, взглянув на нее, не стовариваясь произносили одно и то же слово — солнечная. Казалось, ничто не способно было загасить это солнце в человеке, так оно было сильно. Но то было итальянское солнце, оно строптиво: бывало, она не могла пройти мимо меня, чтобы не подтолкнуть плечом: «Эй ты... рус, или тебе не по душе генуэзски?»

Но осторожно-зоркое око мужа было недремлющим — он увлек ее на виноградники и поколотил. С тех пор она была не так храбра и, произнося: «Эй ты... рус, или тебе не по душе генуэзски?» — больше не касалась меня обнаженным плечом. И вот прошли годы, и озорная молодуха вдруг возникла седой и кроткой, да и я, пожалуй, был безобидным. Это было даже странно: сейчас, когда Джузеппе был нам не страшен, мы вдруг потеряли интерес друг к другу.

— Ах, не могу я показать вашего домика — квартирант повесил замок и укатил в Парму! — произнесла она, сокрушаясь, однако спустилась с нами в заросли эвкалипта, где стоял наш домик, и даже обошла его, заглядывая в плотно занавешенные окна; не очень верилось, что там, за этими шелковыми шторами, время отсчитало столько бесконечно длинных лет моей жизни.

Я поднял глаза и увидел белый островок особняка Маццини: казалось, только белокаменный особняк и не постарел за эти годы.

— Как синьор Эджицио — здоров?

Она рассмеялась громко, как смеялась когда-то:

— А что ему сделается? Поет хвалу бессмертной Генуе в своих книжках и стреляет перепелок!

Маша, которую смех хозяйки застиг на каменных ступенях, сбегаящих к морю, вздохнула.

— Вы... давно его видели, госпожа Сильвия?

Хозяйка оживилась:

— Да он как старинные часы с движущимися человечками: ударит шесть — и он на крыльце своего палаццо тут как тут!.. «Я, говорит, Сильвия, должен быть точен, иначе — умру!» Наверно, он прав: все умерли, а он жив... Поневоле будешь точен!.. — Она помедлила. — Может, сказать мне о вашем приезде господину Маццини, а?

— Нет, не надо, — ответила Маша, пораздумав.

— Как знаете, а то я могу, — молвила Сильвия.

— Пока не надо, — подтвердила Маша, — пока.

— Я поняла, — был ответ нашей хозяйки. — Поняла... — повторила она и взглянула на Машу, как мне показалось, украдкой от меня. — Барышня, можно вас на минутку по женскому делу?

Маша откликнулась на зов Сильвии не без раздумий — конечно,

у нее могли быть секреты и от меня, но она не хотела их обнаруживать.

Мы возвращались с Машей от нашей старой хозяйки, и молчание, нерушимое, шло вслед.

— У Рерберга может быть адрес Сильвии? — спросил я Машу, когда купы Санта-Маргериты показались впереди.

— А это... так важно? — встрепенулась моя девочка.

— Важно, — подтвердил я. — Если есть, нам не следовало идти туда.

— Почему, прости меня?

— Ты не находишь, что, явившись к Сильвии, мы как бы приглашали Рерберга к себе? — спросил я и попытался заглянуть ей в глаза, но она отвела их. — Но, быть может, это входило в твои планы?

Смех ее был необычно громким:

— Как знать, может быть, и входило!..

Все развивалось по худшему из вариантов — Маша не оставляла мне никаких надежд.

Если у Рерберга есть адрес нашей старой хозяйки, значит, ему ведома и дорога к Маццини, а это уже было совсем плохо. Маццини — человек порядочный, но закоснелый. Можно допустить, что встреча с ним немало обогатит Рерберга в его попытках отыскать истоки генуэзских поселений на Черном море, но вряд ли прибавит света тревожному существу молодого человека. Нет, определенно все складывалось не лучшим образом.

Палаццо д'Имперiale — в названии отеля, которому суждено было стать резиденцией нашей делегации, была романская склонность к преувеличениям и чисто итальянская пышность, впрочем, отель был хорош: трехэтажный особняк с многокомнатными апартаментами, окруженный парком.

Северяне, пережившие долгую русскую зиму, тут же заподнили веранду, своеобразным мысом вторгающуюся в сад, — необыкновенно приятно было выйти под открытое небо без пальто, ощутив прикосновение мартовского тепла.

Георгий Васильевич сидел в плетеном кресле, подставив бледное лицо солнцу, и большой сибирский кот, явившийся сюда невесть откуда, лежал у него на коленях, потягиваясь в ленивой неге. Кот был хитер и требовал ласки — каждый раз, когда чичеринская ладонь отрывалась от серо-голубой шерстки кота, животное приоткрывало хитрый глаз и просительно пофыркивало.

Появился Литвинов и, приметив кота на чичеринских коленях, на секунду смешался.

— Ллойд-Джордж собрал на вилле «Альбертис» делегатов Антанты, — сказал Литвинов. — По всему, он готов поставить в известность союзников о своей завтрашней речи, которая так программна, что выглядит почти тронной... — Он взглянул на Чичерина, не скрывая неодобрения: кот на чичеринских коленях его шокировал.

— Вы полагаете, Максим Максимыч, что завтрашний день определит и соотношение сил и, так сказать, диспозицию?

— Диспозиция видна уже сегодня: местоположение штабов определено не без умысла — Антанта приглядела для своих штабов генуэзские холмы, нам с немцами отведены Санта-Маргерита и Рапалло...

Чичерин осторожно пересадил кота на соседний стул, подошел к краю веранды.

— Погодите, почему Рапалло? В Берлине мне говорили, что немецкий особняк будет виден из моего окна.

— Он действительно виден, Георгий Васильевич... — Литвинов оперся о перила, приподнялся на цыпочки. — Ах, мешает зелень... вот он, ярко-красный, меж деревьев...

Чичерин последовал взглядом за Литвиновым.

— Ну, это почти фатально! — Он задумался, щекотнув указательным пальцем бороду. — Погодите, и Вирт в этом красном доме?

Литвинов рассмеялся — ему было приятно, что сделанное им открытие произвело впечатление.

— Ну разумеется: и Вирт, и Ратенау, и наш друг фон Мальцан — все здесь!..

— Нет, это поистине перст судьбы!

Чичерин затих: казалось, мысль, храбрая, подхватила его и повлекла, ему было приятно доверить себя ее неодолимой силе.

Хвостов заманил меня в свою келью, которую ему отвели едва ли не под матицами отеля в Санта-Маргерите, и, войдя в нее, я обнаружил, что она странным образом напоминает мне хвостовское купе, в котором он принимал меня на подходах к Одеру. Но меня объяла паника, когда Хвостов извлек флягу и из нее полилась, все так же весело булькая, черниговская наливка, густая, как прежде, и темно-бордовая, — да было ли дно у этой фляги?

— Вы были в Сан-Джорджо, Николай Андреевич?

Накануне я посетил по просьбе Георгия Васильевича генуэзский дворец Сан-Джорджо, где должна состояться церемония открытия конференции.

— Был.

Он вздохнул, провел ладонью по щетине, которой обрастал стремительно, он был одним из тех, кому надо было бы бриться дважды на день, — к вечеру его быстро отраставшая борода казалась лиловой, кстати, как у Бальзака.

— А не считаете ли вы, Николай Андреевич, что я... завис? — Он поднял глаза — казалось, он увидел сейчас себя висящим под потолком, толстогузым, с жирными икрами, с развевающимися патлами, смешно кудрявыми на затылке, с лиловой бородой. — Верно: завис? — Он свистнул и даже притопнул.

На лестнице — она была рядом — послышались шаги, не очень уверенные, оступающиеся, видно человек, решившийся подняться сюда, не был здесь прежде. Хвостов обратил глаза к двери: по всему, и для него это было необычно; раздался стук с интервалами, отбивающий такт марша, — да не Георгий ли Васильевич?

— Да, — произнес Хвостов, а потом уже взглянул на флягу.

Вошел Чичерин, вошел, не смирив дыхания — видно, восхождение по крутой лестнице было для него нелегким.

— Вот они, веселые отшельники. — Он скосил глаза на флягу. — Готов разделить трапезу, но позже... Как канцлер Вирт? — уставился он на Хвостова. — Готов? — Он принял из рук Ивана Ивановича стопку машинописных страниц. — Хорошо... — Он достал из жилетного кармана свои «Бурре», не бросил, а как бы выплеснул на ладонь — тарелочка часов шлепнулась о припухлость ладони едва ли не со звоном. — Через пятнадцать минут жду вас, товарищи, внизу...

Он вышел, и вновь загремели его шаги по деревянной лестнице.

— Светится! — воскликнул Хвостов. — Именно светится! — повторил он, не скрывая восторга. — Это успех зарядил его таким электричеством!

— Не завис? — рассмеялся я.

— Какой там — взмыл!

Я посмотрел на Хвостова: он как-то померк — конечно же, он думал не о Чичерине, а о себе. Неудержимо желтела кожа его лица, и заметно лиловели веки, становясь едва ли не такими лиловыми, как щетина его бороды.

— Знаете... в чем секрет этой способности человека обретать крылья?

— В чем?

— В нем самом... Значит, в его способности дерзать... Именно дерзать: для меня это имеет совершенно определенный смысл...

— Какой?

— Человек должен решать задачу, которая больше его!

— Иначе говоря, которая ему не по плечу?

— Может быть, и не по плечу, но, решая ее, он дорастет до этой задачи, а значит, и превзойдет себя.

Вновь раздался стук в дверь, этот маршевый, с интервалами, чичеринский: на пороге был Георгий Васильевич — он будто и не успел отойти далеко.

— Тут есть одна просьба Москвы, — произнес он и повел указательным пальцем направо и налево, точно дирижируя: маршевый мотив жил в нем. — Редактор «Известий» просит написать статью о первом этапе Генуи... По-моему, он таким щедрым не был: трехколонник! Не возьмется ли вам, Иван Иванович, за это? Была бы у меня свободная минута, честное слово, не пренебрег бы. Как вы? — обратился он к Хвостову.

Тот только вобрал плечи.

— Благодарю, Георгий Васильевич...

— Я так и думал, — не скрыл своей радости Чичерин. — Значит, по рукам?

— Теперь остается только... взмыть, Иван Иванович? — улыбнулся я, когда Чичерин вышел, но моего хозяина сковала печаль, откровенная:

— Зачем он это сделал?

Когда я уходил, одна мысль не давала мне покоя: казалось, Чичерин пошел Хвостову навстречу; но тогда почему он поверг Ивана Ивановича в такое уныние?

Весь вечер Чичерин работал у себя над текстом завтрашней речи. Накануне прошел дождь, как обычно здесь в марте, стремительный, необильный, без грома и молнии. Ярко-зеленая хвоя в парке потемнела, из парковой полутьмы потянуло свежестью — Чичерин работал, распахнув окна.

Часу в одиннадцатом он постучал ко мне:

— Николай Андреевич, есть настроение спуститься в парк?

Мы пошли — земля не успела просохнуть после дождя, наш шаг обнаруживался, когда парковую дорожку перехватывала полоска гравия.

— Остановитесь на минутку. — Чичерин наклонился, всматриваясь. — Я как-то слушал Ллойд-Джорджа в Вестминстере: ему больше давались полемические импровизации...

— Признайтесь, что вы думаете о вашей завтрашней речи, Георгий Васильевич? — спросил я, когда мы вышли на аллею, возвращающую нас в отель.

— Да, о речи в Сан-Джорджо, при этом не столько о ее содержании, сколько о форме, какую ей следует придать, — согласился он. — Никаких ораторских ухищрений, у советских делегатов тут должен быть, как мне кажется, свой стиль, своя добрая простота...

Он вошел в отель, а я остался в парковой аллее, точно дожидаясь, когда в окнах, выходящих на веранду, вспыхнет свет. Но в этот раз свет припоздал — видно, поднявшись к себе, Чичерин не спешил включать электричество, в темноте легче совладать с трудной мыслью.

— Это ты? — На парковую дорожку вышла Маша. — Я видела, как вы спустились к морю...

На Маше было сейчас темно-бордовое вязаное платье, что делало очерк ее фигуры четким. Эти вязаные платья, облегающие фигуру, в меру строгие, точно были специально придуманы для того, чтобы обойтись без украшений. Если человек и хорош, то естественной красотой — будто говорила моя девочка. По этой причине она даже пер-

ламутровый обод оставила дома, скрепив волосы гребнем. Наверно, надо очень верить в достоинства, данные тебе богом, чтобы вести себя так.

— Тебе следовало подойти...

— Нет, я боялась испугнуть вас — беседа ваша должна была быть доверительной, не так ли?

— Возможно, хотя все сказанное им он мог бы сказать и при тебе...

— Спасибо. — Она улыбнулась. — Час назад я относил ему краткое резюме сегодняшней итальянской прессы и обратила внимание на столпотворение старинных книг в ремнях и металлических скобах... Не иначе фолианты времен Петра и Екатерины, не так ли?

— Бери глубже: времен Грозного и Годунова! — заметил я, впрочем еще не зная, куда клонит Маша.

Она засмеялась, как мне показалось, искренне — ее явно позабавило открытие, которое она только что сделала.

— Значит, в Геную доставлены... годуновские скрижали, не так ли?

— Так, разумеется...

— Не смешно?

— А что здесь смешного?

— Ну подумай: к чему они в Генуе?

— Если баталию с Ллойд-Джорджем доверить тебе, то вряд ли они тебе понадобятся, а если учесть, что она доверена Чичерину...

Она засмеялась — ее веру в свою правоту нельзя было ничем сшибить.

— Ты полагаешь, что у него будет необходимость в годуновских письменах, а я убеждена, что он к ним не приблизится и на сто верст... Никогда не держала пари, сейчас — готова...

— Если даже в этих письменах не будет нужды в Генуе, все равно заманчиво иметь их под рукой. Пойми, что у опытных полемистов есть правило, нерушимое: можешь цитировать Бисмарка наизусть и это тут же обратится в дым, но достаточно на стол положить том Бисмарка...

— Ты полагаешь, что дело может принять такой оборот, что по ходу полемики с Ллойд-Джорджем Чичерин не скроет от британского премьера пудовые годуновские тома?

— Может быть, и так.

— Наивно, понимаешь, наивно — не думаю, чтобы наши потомки, направляясь на конференцию, подобную генуэзской, везли с собой контейнеры со средневековой библиотекой...

— Не все надо мерить на рационализм потомков, надо что-то оставить и нам, грешным, — может быть, мы и наивны, но в нашей наивности, согласись, есть рыцарственность пионеров, прокладывающих первую борозду... К тому же...

— Да?

— Верность всегда была на вес золота.

Она точно призадумалась на миг.

— Завтрашняя чичеринская речь — это и есть верность? — спросила она — ей очень хотелось все ответы на свои сомнения отыскать в завтрашней речи Георгия Васильевича.

— Ты вольна понимать и так.

Мы вышли из парковой полутьмы к свету, готовясь войти в здание. Сколько раз я ловил себя на мысли, что мне интересно ее лицо. Для меня кладёзь богатств бесценных. Как мне кажется, здесь все на веки веков воропаевское, фамильное. Вот эти глаза с карим камнем, чуть подсиненным, от бабки, а раковинки ушей, крохотные, с характерным, точно повторяющимся рисунком, пожалуй, от Магдалины. У всего есть свой знак, свое объяснение. Единственно что не очень понятно, это коротковатый подбородок без вмятинки, выража-

ющий твердость Машинной *сути*. Но почему я заговорил об этом сейчас? Не в связи ли с тем, что произнесла Маша только что?

— А вы знаете, Николай Андреевич, Моцарт не мог появиться раньше восемнадцатого века, позже, как мне кажется, мог, раньше — ни в коем случае. А вот почему — могли бы ответить? Сам уровень познания человека был иным! Хотите доказательств? Пожалуйста: мысленно выстройте портреты, писанные лучшими мастерами четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков... Нет, на семнадцатом веке, пожалуй, надо остановиться. Да, да, мысленно расположите эти портреты, и все станет ясным: психологическое существо портрета, нет, не от столетия к столетию, а от года к году становилось все сложнее, пока не возник Рембрандт... Говорят, что великий голландец написал сто автопортретов. Сто! Не думаю, что он был одержим тщеславием, просто в своем познании человека он был неутомим, продолжая этот труд и тогда, когда перед ним было зеркало и собственное лицо. Но зато как значительно то, что он обрел, исследуя человека! Я могу смотреть портреты Рембрандта бесконечно — для меня психологическое содержание этих портретов неисчерпаемо. Этот мир городских чиновников, крупных и мелких меня, ремесленников, раввинов, медиков, просто крестьян обрел волей художника неубывающую ценность уже тем, что во всех случаях мы видим глубину душевного состояния. Этим, в сущности, мне интересен и Моцарт: он зовет меня к познанию человека, а следовательно, и самого себя... История свидетельствует: для античного мира самой большой добродетелью была невозмутимость. Боги, живущие на Олимпе, были одинаково не подвержены ни жалости, ни страху. Смысл известной заповеди античного мира можно понимать так: не отдавай себя во власть ни чужому отчаянию, ни чужому ликованию. Если само предствление об идеале изменилось, хотя на это ушли века и века, как велика была работа ума, которую проделал человек!.. Говорят, что интерес человека к своему «я» растет с ростом интеллекта, привычкой к мышлению, может быть даже с возрастом. Не думаю, чтобы привилегия тут была у возраста, а если она имеется, то у возраста отнюдь не преклонного! О чем я говорю? Есть пора в жизни человека, когда его восприятие душевного мира обострено: это те самые тревожные пятнадцать лет, о которых я как-то говорил. У меня был приятель, который уверял всех, что в пятнадцать лет он был умнее, чем в последующие годы. Оставляю это утверждение на совести моего знакомого, но хочу обратить внимание на одно мое наблюдение: именно в этом возрасте природа сообщает человеку нечто такое, что потом у него может и утратиться. Вы наблюдали девушек-подростков, нет, не из состоятельных домов, выпестованных боннами и учеными немцами, а из простых крестьянских семей? Вы наблюдали, как эти девушки-подростки ходят, сидят за столом, ведут хоровод, поют песни, наблюдали их взгляд, улыбку, манеру говорить? Согласитесь, что в их манере держать себя есть тот особый аристократизм, который в иных обстоятельствах дают годы пестования, а в данном случае вызван к жизни природой и только природой. Иначе говоря, сама природа дает в эти годы нечто такое, что можно назвать новым достоинством человека, незримо обостряющим его ум, способность чувствовать. Есть некое противоречие в том, как человек осознает себя: понимание того, каким должен быть человек идеальный и каким он видится на самом деле. Оно, это противоречие, и тревожит, и настораживает, и, быть может, чуть-чуть обезоруживает, но способно возмутить все существо человека, возмутить и всколыхнуть, как может только всколыхнуть потрясение... Противоречие, о котором я говорю, явилось ко мне в пятнадцать лет...

Наш поезд, направляющийся в Геную, уже отошел от платформы вокзала в Санта-Маргерите, уже закивали тяжелыми головами

пинии и в открытые окна вошло дыхание моря, точно замешанное на горьких травах, растущих на солончаках, уже внимание, заметно обостренное в начале пути, без видимой необходимости засекло все это и закрепило, когда я вдруг признал в сивобородом старце, сидящем на дальней скамье вагона, Эджицио Маццини. Истинно время, минувшее после нашей последней встречи, не задело Маццини — на нем был все тот же суконный сюртучишко, что в далеком далеке, и чесучовые брюки. Казалось, сюртучишко, как некогда, щедро напитан парфюмерией — не мог человек отказаться от этой страсти, любил душиться. Все было, как в тот далекий год, только борода, некогда серо-сивая, посветлела и, пожалуй, чуть-чуть свалылась, укоротившись, да залохматились больше обычного рукава сюртука и вздулась чесуча на коленях — впрочем, чесуча и новая имеет привычку вздуваться. Мне трудно сказать, знал ли Маццини о том, что в одном вагоне с ним едут русские, возможно, и не знал — ведь то, что было доступно нам, вряд ли постигали слабые глаза итальянца, он и прежде плохо видел. Истинно плохо видел, но отнюдь не плохо слышал — за плохое зрение природа вознаградила его острейшим слухом. Его сизые уши, по-стариковски лохматые, были обращены к нам. Каждый раз, когда в нашем углу вагона раздавался смех, уши Маццини точно вздрагивали, продолжая некоторое время шевелиться. Если мне память не изменяет, Маццини прежде не говорил по-русски, но, может быть, за это время произошли изменения? Так или иначе, а все время, пока поезд стремился к Генуе, Маццини оставался на своем месте, как не сдвинулись со своих мест и мы, в том числе и Маша, — мне кажется, она видела своего старого учителя.

Нет, опоздание на открытие конференции не было предусмотрено в наших планах, но мы опоздали. Поезд пришел на генуэзский вокзал Принчипе, Главный, когда на перронных часах было без малого три — час открытия конференции. Но странное дело, это никого не огорчило. Больше того, даже чуть-чуть развеселило. «Ничего, мы вас больше ждали, подождете и нас» — этих слов никто из нас не произнес, но они как бы предполагались.

Офицер в весьма солидном звании, расцвеченный эполетами и аксельбантами, как принято в подобных случаях, встретил нас у выхода из вагона и повел через привокзальную площадь. Офицер едва не бил подковами об асфальт, позванивая всей своей сбруей, что означало: все сроки вышли и делегатам следует прибавить шагу; однако это не возымело действия. Во взглядах русских, во всей их спокойной стати, наконец, в небыстром и солидном шаге Чичерина, одетого, как велит протокол, во фрак с белым пластроном, была державная обстоятельность и сила.

Площадь приняла делегатов торжественным безмолвием, нарушаемым только треском стягов, которые бились на ветру, что дул с моря — оно рядом. Если бросить взгляд на флагштоки, напряженно гудящие под напором ветра, то кажется, что флаги подняты в самую синеву неба — там и наш кумач в своей первозданной новизне, негасимый.

Свитский подал знак, привратная стража, состоящая из карабинеров, замерла по команде «смирно», и дворец принял нас в свои студеные объятия. Я не любитель исторических ремарок, но пусть мне по праву старого генуэзца будет разрешено поведать о родословной Сан-Джорджо — она, эта родословная, того стоит. Блистательная Генуя построила дворец в двенадцатом веке в честь победы над исконным соперником — Венецией. Как это ни парадоксально, дворец воспринял архитектуру побежденной республики — красный кирпич в сочетании с тонкими колоннами и округлыми просветами делал эту постройку для рациональной Генуи необычной. Два столетия спустя в пределы дворца вторгся владетельный хозяин — банк Сан-Джорд-

жо, тот самый банк, который обогатил практику деловых отношений единственным в своем роде изобретением, изобретением ссудного процента: сто тысяч лир, которые ссужал банк попавшему в беду заморскому купцу, через год превращались в сто десять. Новый хозяин дворца действительно стал всемогущим, и старое название его хоромины показалось ему недостаточным — дворец стал именоваться Сан-Джорджо. Впрочем, тут же предприняв реконструкцию палаццо, его хозяева дали новые имена двум большим залам дворца: первый был назван Залом Капитанов, символизируя республиканское прошлое знаменитого города, второй — Залом Сделок. То, что в самом названии дворца рыцарственные капитаны породнились со стряпчими, не смущало новых хозяев Генуи, ведь они сами были стряпчими. Не обескуражило их и то, что Зал Сделок был и больше и, пожалуй, пышнее Зала Капитанов — так оно и должно было быть в городе, который к этому времени стал богатейшей на Средиземноморье торговой республикой.

Едва конференцию решили проводить в Генуе, как все остальное уже само собой разумелось: ну, естественно, Сан-Джорджо, а в нем — Зал Сделок. Он, этот зал, был квадратной формы, с просторными окнами, выходящими по фасаду на море. В овальных нишах, встроенных в стены зала, расположились скульптуры отцов города — в их позах, в их лицах, выражающих независимость, в их парадном платье было нечто от вселилия монархов, восседающих на троне. Они точно всматривались из своего средневекового далека, капитаны Генуи, в день нынешний — сами современники установили эту привилегию капитанов, расположив их над собой и дав им право судить себя и свои бранные дела.

А между тем лестница вознесла нас на уровень третьего этажа, и мы пошли навстречу гулу голосов, что доносился из самой утробы здания, он будто звал нас к себе — Зал Сделок был там. Чичерин шел первым, вслед за ним делегаты, эксперты, военные и штатские советники, как, впрочем, референты и секретари — наверно, иерархия существовала, но она была приблизительной. Когда наши делегаты вошли в зал, гул возрос и тут же стих — зрелище, которое неожиданно явили живые большевики, увлекло присутствующих. Но и большевиков заинтересовала картина, которую представлял сейчас большой зал дворца Сан-Джорджо. Столы для делегатов были расположены в форме правильного каре. Непосредственно за столом места председателя и вице-председателей. Меж столами — секретари конференции, все те, кто призван протоколировать предстоящие дебаты.

Офицер, сопровождающий нас, в последний раз притопнул и указал взглядом на ряд пустых стульев, поставленных вдоль стола. Чичерин пошел к крайнему стулу, время от времени опираясь ладонью левой руки о стол и оглядывая делегатов, уже занявших свои места. В этом море лысин, ярко-красных и молочно-бледных, крапленых и чистых, обрамленных нежнейшим венчиком волос и напроочь обнаженных, львиная грива седин Ллойд-Джорджа была очень приметна. По диагонали от англичанина, водрузив очки на крупный нос и вздув ноздри, сидел Барту — он был заметно ненастен. А еще дальше, точно кулак, венчающий худую руку, поднял острую голову Вирт. Дальше без труда угадывались японец Иссии и итальянец Факта, неожиданно краснолицый, скорее напоминающий бергенца, чем пьемонтца, — не увидев Факту, трудно было представить, что есть такие итальянцы.

Факта достал платок и вытер им лицо, отчего оно стало еще пунцовее. Не выпуская из рук платка, он приподнялся, дав понять, что будет говорить. Где-то позади мягко прикрылась дверь, и тишина точно вздрогнула и остановилась. От имени страны, имеющей честь принимать делегатов, он объявил конференцию открытой и, пододвинув стопку голубых листков, сказал, что намерен прочесть депешу итальянского монарха, которую тот прислал на имя конференции. Видно,

текст депеши был известен премьеру и не очень-то его увлек — Факта прочел ее без воодушевления, понимая, что это не более как формальность, которая побеждается тем надежнее, чем раньше с нею совладаешь. Но депеша была побеждена, и Факта с требовательной настойчивостью взглянул на Ллойд-Джорджа, который, уступая итальянцу, обратил к нему мясистую, в розовых подушечках ладонь, прося слова. В этом уже была известная заученность, обнаруживающая существование сценария, предполагающего распределение ролей. Следуя духу и букве сценария, Ллойд-Джордж взял слово и предложил избрать итальянского премьера председателем конференции. Последовало согласие конференции, и слово вновь получил британский премьер, что было воспринято едва ли не как знак благодарности за услугу, только что оказанную итальянцу, — вот теперь действительно конференция началась.

Да, слово получил Ллойд-Джордж, и, точно сговорившись, мы с Георгием Васильевичем взглянули друг на друга. О, если бы старый валлиец знал, в какой мере не случайна была для нас эта встреча и сколь обстоятельно мы себя к ней готовили.

Но Ллойд-Джордж уже вошел в роль — он говорил.

Признанный наставник валлийца Гладстон покорял аудиторию разговорной интонацией речей — он как бы творил речь на глазах у слушателей, вовлекая их в сам процесс своих раздумий. Это свойство было и у первой речи Ллойд-Джорджа в Генуе. Он придал ей интонацию застольной беседы, при этом его не столь сильные голосовые данные не воспрями. Они не воспрями и тогда, когда в задних рядах было произнесено нетерпеливое «громче!». Он заговорил не громче, а тише и этим заставил себя слушать. Эта обыденность интонации, это внешнее пренебрежение к ораторским изыскам (заметьте: внешнее!) призвано было внушить присутствующим, что к ним обращается человек, чуждый чувства превосходства, демократ по своим убеждениям и существу.

Суть речи Ллойд-Джорджа точно соответствовала манере, в которой она была произнесена: валлиец говорил о равенстве. Да, он говорил о равенстве, хотя вкладывал в это определение свой смысл. «Мы участвуем на этом собрании на началах абсолютного равенства. Это лишь в том случае, однако, если принимаем равные условия». Валлиец пояснил, что под равными условиями он понимает программу, принятую в Каннах, а смысл ее известен, как известны силы, которые ее вызвали к жизни: западные буржуа, лишившиеся собственности в России. За более чем гуманной фразой о равенстве следовал смысл, по существу, антигуманный: новая Россия должна выплатить царские долги, а для начала вернуть соотечественникам Ллойд-Джорджанефтяные поля и соляные копи.

Ллойд-Джордж закончил и взглянул на Барту, в этом взгляде было нечто заученное — бегун, заканчивающий дистанцию, мог протянуть палочку и не глядя — все было отрепетировано так безупречно, что она сама, эта палочка, обретя зрение и слух, находила руку, в которую ей надлежит попасть. Барту прошел свой отрезок пути в таком темпе, какой валлийцу и не снился: всех, кто мог не согласиться с Каннами, он отнес к врагам Версаля, а одно это давало ему простор для далеко идущих выводов. Он возгласил почти патетически: Франция никогда не согласится обсуждать в Генуе Версальский договор и нынешняя конференция не может явиться кассационной инстанцией. Русские, с немалой тревогой внимавшие французу, могли подумать: говоря о Версале, француз имел в виду и царские долги.

Барту был заметно воинственнее Ллойд-Джорджа, что было уже тревожно. Когда, закончив речь, он скосил взгляд на виконта Исси, предлагая ему продолжить атаку, можно было подумать, что до рукопашной недалеко: японские войска все еще находились на советском Дальнем Востоке и все, казалось, располагало к продолжению бата-

лии. Но виконт Иссии вдруг заявил о миролюбии и, что удивительнее всего, по отношению к соседям — очевидно, русский сосед не исключался. Японский делегат не делал погоды на конференции, но его речь больше походила на речь Ллойд-Джорджа, чем на речь Барту, что ставило француза в положение не совсем обычное. Первым это заметил сам француз: его борода заострилась и глубже запали орлиные очи — он уже гневался.

А между тем дошла очередь до канцлера Вирта, и с чисто немецкой обстоятельностью он принялся живописать картину немецких будней, как они выглядят сегодня. Судя по тому, что немец не покупил на темные краски, у его замысла была скрытая цель, скрытая, разумеется, до поры до времени. Как бы походя Вирт завершил свою речь предложением, к которому заметно была направлена вся речь: нет ли резона создать международный центр для использования природных богатств Востока и отвести в этом начинании соответствующее место Германии? Канцлер должен был ощутить, каким холодом повеяло в Зале Сделок, но немец не смутился.

Я заметил: пока произносились речи, Маша не подняла головы. Спина изогнулась, волосы упали на тетрадь, стакан с лимонной водой, который она поставила подле еще до начала заседания, не был отпит. Она не шелохнулась и тогда, когда слово получил Чичерин. Только высвободила руку и отвела волосы, открыв лицо, — глаза ее, как мне показалось, были полны внимания, в них жили и ожидание, и беспокойство, и печаль, печаль от беспокойства.

Чичерин начал говорить — еще неизвестно было, как построит свою речь советский делегат и какую мысль он утвердит, но его французский, поистине французский божьей милостью, заставил вначале приумолкнуть зал, а потом онеметь в настороженном внимании. В этом французском было лексическое богатство, как и красота звучания, подсказанная красотой французского слова. Но дело не только в добром чичеринском французском — имел значение сам факт чичеринской речи, само событие, каким явилась эта речь. Первая речь советского делегата за пределами республики Советов. Речь, прорвавшая блокаду. Однако о чем говорил Чичерин? Советский делегат точно призывал конференцию заново взглянуть на положение дел в мире, в какой-то мере даже переосмыслить.

В самом деле, все, что говорил советский делегат, было ново.

Он говорил о мирном сосуществовании. В мире существуют две системы собственности: одна представляет мир старый, другая — новый. Надо считаться с этим.

В этом определении было всеисилie формулы, открывающей глаза на отношения между странами. Опираясь на эту формулу, мир обретал возможность предсказать новый курс в международных делах, которому суждено было войти в историю под именем политики сосуществования.

Советская формула, как это часто бывало у наших дипломатов, и прежде дополнялась почином, отмеченным всеми качествами дипломатии революционной: Чичерин говорил о возможности разоружения, он ратовал за созыв конгресса, призванного поднять народы в защиту мира.

В чичеринской речи была убежденность, а сама мысль советского делегата была проста и нагущна, поэтому такая тишина воцарилась во дворце Сан-Джорджо, поэтому, несмотря на огромность зала, хватило не столь уж могучего чичеринского голоса.

Когда Чичерин кончил, зал ответил аплодисментами — будто громкокрылая стая голубей, они возникли над головами и тотчас стихли, повинувшись гневному междометию, которое изрек более обычного красноречивый Факта.

Чичерин взглянул на Ллойд-Джорджа, будто осведомляясь, как воспринял речь он, и увидел недоуменное лицо британского де-

легата — в смятении он даже не успел изменить позы, какую принял, когда слушал русского. Опершись одной рукой на стол, а другую приложив рупором к уху, он будто окаменел в своей трудной думе. Все было понятно: несмотря на то, что британский премьер когда-то учил французский, и, по свидетельству его учителей, делал немалые успехи, живую речь он понимал плохо. В это проник русский делегат и сделал жест, в такого рода обстоятельствах беспрецедентный: теперь уже обращаясь не столько к залу, сколько к Ллойд-Джорджу, он пошел по второму кругу. Ллойд-Джордж привстал, нисколько не скрывая изумления: русский делегат говорил по-английски.

Да, это был добрый чичеринский английский, добытый Георгием Васильевичем в тамбовских и петербургских пенатах, тщательно ограненный в годы лихого бытия на Британских островах. Именно лихого бытия: и в стычках с тюремным начальством достопамятного Брикстона, и на митингах в знаменитом Гайд-парке, где право внимать горькую правду было загнано в непросторный угол, названный Спикерс корнер — Углом ораторов, — и на товарищеских сходках с лондонскими социалистами в Маркс-хауз, и, разумеется, под темными сводами Вестминстера, куда влекли Чичерина и ораторские изыски валлийца, громящего хитромудрых тори... Не думал Чичерин, что старый долг валлийцу придется возвращать при столь необычных обстоятельствах.

Зал все понял: он сполна воздал русскому делегату — вряд ли такие аплодисменты когда-либо раздавались в стенах дворца Сан-Джорджо. Мне даже привиделось, что аплодирует и Ллойд-Джордж; у русско-союзнической батальи, а если быть точным, то у батальи русско-британской был зачин хоть куда: большевикам рукоплескал человек, в обязанности которого это явно не входило.

Чичерин склонил голову, благодаря почтенную аудиторию, сел. Наступила пауза откровенно тревожная. И Ллойд-Джордж, и желтолицый виконт Исси, и флегматичный Вирт оцепенели в печальном раздумье.

Первым нашелся Барту — он был не согласен с тезисом Чичерина о разоружении, — но его никто уже не слушал: оказывается, над впечатлением, которое эмоционально, не так-то просто возобладать, а оно принадлежало сегодня русскому делегату. Очевидно, свои возражения Барту должен был высказать в иной день, сегодня эта попытка выглядела обреченной.

Как это было три часа назад, советская делегация пересекла привокзальную площадь Принчипе, направляясь к поезду, отходящему в Санта-Маргериту. Но прежде чем это произошло, едва ли не лицом к лицу она встретила у выхода из дворца с англичанами. Именно лицом к лицу. Ллойд-Джордж имел возможность взглянуть на Чичерина. Произошло нечто вроде обмена поклонами, едва заметными. Чичерин продолжал свой путь, а Ллойд-Джордж приподнялся на цыпочках и посмотрел вслед. О чем мог думать сейчас старый валлиец, нет, нет, какой потаенной стежкой могла идти мысль его? Да, этот русский, который всего четыре года назад был узником Брикстонской тюрьмы, точно прибыл специально в Геную, чтобы дать возможность конференции узреть свое превосходство и в какой-то мере великодушие. Говорят, что он изгой, отрекшийся от своего класса. И не парадоксально ли это — что большевики доверили защищать интересы новой цивилизации человеку, рожденному обществом, которое глубоко ненавидит большевизм? Однако почему это сделали они? В расчете на эрудицию, которая, как сегодня обнаружилось, столь блистательна? А может, замысел учитывает профессиональные данные дипломата? А возможно, дело именно в знатности — к человеку чичеринского происхождения у старого мира больше доверия? Нет, решительно в жизни бывают обстоятельства, когда общество должно обратиться к помощи изгоев. Бывают обстоятельства? Почему бывают? Они — есть!

Разве случай с Ллойд-Джорджем не аналогичен? В самом деле, случай с сыном валлийского крестьянина, которого волей судеб взрастил и поставил на ноги деревенский сапожник, — разве этот случай не говорит о том же? Впрочем, не ошибаемся ли мы, когда говорим о родословной сегоднего льва? Да похож ли он на крестьянское чадо, и бегут ли такие пахари? Оказывается, бывают. Ллойд-Джордж и в самом деле сын валлийского землепашца, при этом бедолага-бедняка. Как вспоминал недавно валлиец, пол-яйца, поданные к воскресному столу, были для него в детстве самым большим лакомством. Но вот парадокс: колониальная Великобритания закрыла глаза на незнатное происхождение валлийца, поставив его во главе правительства... Ллойд-Джордж смотрел вослед Чичерину; однако нет большей насмешницы, чем история, — так перепутает колоду, что не отыщешь ни начала, ни конца.

Мы возвращались в Санта-Маргериту. Что говорить, у русских было отличное настроение. Как обычно, Воровский импровизировал — на этот раз объектом импровизации был Ллойд-Джордж. Наблюдательный Воровский не упустил тут ни одной детали. Он воссоздал двух Ллойд-Джорджей, две его маски. Первая: валлиец слушает французскую речь Чичерина. Весь вид валлийца исполнен тревоги, глаза полны муки. Вторая: валлиец склонил Чичерина к английскому монологу и Ллойд-Джордж выказал восторг неподдельный. Короче, это был театр одного актера. Воровский был на высоте. У тех, кто оказался рядом, возникла потребность в смехе — Воровский им дал такую возможность. Но смех стих, и раздумье грубо вторглось и завладело всеми.

Первым пришел в себя Красин — человек эмоциональный, он тем не менее обладал способностью не дать впечатлению завладеть собой.

Красин. Однако какие последствия эта речь может иметь для нас?

Литвинов. Немцев воодушевит — им захочется даже присвоить успех русских. Французов насторожит — для них это попытка говорить самостоятельно, что их может и не устроить...

Красин. А вот реакция англичан может быть и отличной от французов...

Воровский. Значит, немцы объединились с дядей Булем?

Чичерин (подняв смеющиеся глаза на Воровского — ему нравились его парадоксы). Ну что ж, это делает и наше житье-бытье небесперспективным...

Чичерин остановил внимание на формуле Воровского. «Не оставляйте этой мысли, она плодотворна», — точно говорил он.

Но я так увлекся происходящим, что не заметил, как Маша покинула свое место. В дальнем конце вагона, точь-в-точь как это было три часа назад, когда мы направлялись в Геную, расположился Маццини. Рядом с ним была моя дочь.

Наверно, пришло время сказать о Маццини подробнее. Все началось в ту благословенную пору, когда мы осели в Сестри Леванте и поспело время Маше идти в школу. В какую школу? Не скажу, чтобы у нас был большой выбор, но школа Маццини была названа первой. Не только потому, что это была школа, которую в здешних местах считали серьезной, а значит, дающей своим питомцам основы образования, как и основы практических навыков, могущих пригодиться ученику в жизни. Речь шла о знании языков, при этом и восточных, что имело отношение к человеку, стоящему во главе школы и давшему ей свое имя, — говорю об Эджицио Маццини. Не только поэтому, но и потому, что эта школа была бесплатной, что было, например, для моей семьи небезразлично.

Однако кто такой Маццини? Продолжу рассказ, не отступая от

его строгой хронологии. Итак, когда у нас в семье была названа школа Маццини, я собрался на прием к преподобному Эджицио. Как я понимал, решающее слово в предстоящем разговоре должно было принадлежать ему, поэтому очень важно было повести разговор умело, предупредив крутые повороты диалога. А они могли быть, если учитывать, что Маццини имел дело с политическим иммигрантом, да к тому же русским политическим иммигрантом, что для него было не лучшей разновидностью, ибо за русскими упрочилась репутация людей радикальных. Но тут я рискую наговорить на Маццини, так как в момент, когда я впервые собрался к нему, я его достаточно не знал, чтобы думать так. Магдалина как могла позаботилась о моем костюме, заранее вывесив мои парадные брюки на солнце и ветер, чтобы освободить их от запаха нафталина, выстирала и отутюжила толстовку, которая была тем хороша, что давала возможность идти к Маццини без пиджака, извлекла из сундука сандалии, которые были не совсем по погоде, но зато соответствовали моему весеннему костюму.

Я знал, что Маццини принимает родителей по пятницам, обычно на заходе солнца, и приурочил свой визит именно к этому времени. Меня встретил старик Фазиль, семидесятилетний ливанец, работающий у Маццини сторожем. Он повел меня в дальний конец яблоневого сада, где у Маццини было маленькое поле, на котором он выращивал редис, лук, салат и шесть сортов трав, в том числе столь экзотические, как тархун и мята. Маццини закончил работу на грядках и успел даже помыть руки, воспользовавшись водой ручья, что тек из каменной расселины — гора была рядом.

Я приветствовал его с той почтительностью, какую требовали и его возраст и его положение, и он увлек меня в глубь сада, где под яблоней был врыт в землю стол. Он пододвинул мне блюдо с яблоками, взял одно себе, с видимым аппетитом надкусил, блеснув молодыми зубами. Для своих лет преподобный Маццини выглядел хорошо. Кожа его лица была здоровой, румянец, ярко-пунцовый, заливал едва ли не всю щеку.

Я сказал, что хотел бы определить дочь в его школу, и назвал себя. Он обратил внимание на мое смущение, когда я рассказывал о себе, и осторожно прервал. Он заметил, что положение русского политического его не смущает. Он говорит об этом не голословно, много лет он был дружен с Германом Лопатыным и имел честь принимать его. Что же касается Марии, то он знает всех здешних детей и давно следит за развитием моей девочки — он, разумеется, возьмет ее в школу. Он не торопил меня, рассказав о годах своего отрочества в далекой Сирии, о том, как постигал арабский, а потом принялся за словарь живого арабского языка, полагая, что эта работа имеет видимые горизонты, а оказалось, что этих горизонтов нет — его тридцатилетний труд сегодня так же далек от завершения, как и тридцать лет назад, хотя последние лет десять ему помогают ученики, хорошо помогают. Он провел меня по классам своей школы, заметно гордясь их просторностью и чистотой, поднялся вместе со мной в жилые апартаменты дома, показал библиотеку, обшитую стеллажами, где в строгом порядке были выстроены книги, главным образом по филологии, при этом много книг на языках Востока. Потом мы поднялись в его кабинет, где на четырех столах, придвинутых к окнам, заключенная в папки из крепкого картона, лежала рукопись словаря. Признаться, когда он одну за другой расшнуровал и раскрыл папки с рукописями, я не мог себе представить, что эта комната-башня, венчающая дом Маццини, явится тем орлиным гнездом, которое даст силы и крепость крыльям и моей Марии — арабский она изучала здесь. Но вот что обратило мое внимание в этот первый день знакомства с Маццини и его домом: казалось, у него не было тайн от меня, он все готов был мне показать, он и его дом были на виду, при этом для него ровно

ничего не значило, что он принимал иностранца, которого впервые увидел два часа назад.

У школы Маццини было хорошее имя в Генуе — почему? Имело свое значение само существо того, что есть Восток, его многоцветная экзотика, его своеобразие, его тайны, но я был бы несправедлив к Маццини, если бы интерес к его школе и его предмету объяснил только этим. У него был дар внушать интерес, талант воодушевлять детей, увлекать. В существе этого дара я рассмотрел умение вести рассказ, дар редкий. Рассказ увлекал потому, что в нем я видел лица, каждое на свой манер, и было движение: от начала к вершине. Рассказ производил впечатление потому, что в нем всегда присутствовала мысль. Одним словом, это был учитель божьей милостью, хотя его отношения с богом не отличались особой доверительностью, но об этом есть смысл поговорить особо.

Он не переоценивал своего умения вести урок и стремился привить ученикам вкус к восприятию книги, живой природы, памятников, которые оставила нам история, — кстати, у Востока, познанию которого он отдал жизнь, тут была привилегия. Но надо сказать и о предприимчивости, которая была родной сестрой натуры Маццини. Он подрядил судно отнюдь не респектабельное, но удобное вполне и показал детям Египет — это было путешествие в арабскую древность, но одновременно и в мир живого разговорного языка. Потом он предпринял такое же путешествие в северо-восточное Средиземноморье, не минуя Греции.

Конечно, многое из того, что удалось накопить, можно было растерять, но он стремился поддержать в учениках знание языка, обратившись к живому общению. Генуя — это итальянские ворота на Восток. Нет, не только в Россию, но и в восточное Средиземноморье, на арабский Восток. Сам язык Генуи — это соединение итальянского и арабского, пропорции не равны, но они видимы. У круга арабских знакомств Маццини проявилась определенная тенденция: это были знатоки арабских литератур, лингвисты, в меньшей мере историки. В глубине двора, за яблоневым садом стоял кирпичный флигель с просторной галереей — гости Маццини, приезжающие в Геную с Востока, жили там. У Маццини была способность поддерживать знакомства, находя все новые возможности, чтобы их разветвить, сделать многообразнее, богаче — это было очень полезно школе Маццини и в не меньшей мере рукописи его словаря, это только казалось, что рукопись отвердела в своих пределах, на самом деле поток слов, поток обильный, который вбирала рукопись, был безостановочным.

В школе Маццини учились дети генуэзцев, имевших дела на Востоке. По одной этой причине Генуя была заинтересована в школе Маццини. Это делало Маццини фигурой суверенной в какой-то мере и от церкви, что бывало здесь не часто. Но мы были бы самонадеяны, если бы решились утверждать тут нечто категорическое, — это момент и достаточно темный и деликатный. В какой мере Маццини был тут независим, никто не знал, разве только Маццини. Разве только...

Хотя Генуя — это запад Италии, все генуэзское обращено на Восток. Арабский. Греческий. Русский. Что же касается Маццини, то можно предположить, что у него тут своя миссия — генуэзская.

Вечером в отель явился Маццини, сопровождаемый свитой учеников, — только теперь я заметил, как мал стал итальянец, время точно подсушило его.

Никуда не денешься — надо было идти приветствовать итальянца, и я пошел.

Маццини стоял, опершись плечом о ствол акации, и его правая нога, как некогда, точно отбивала такт.

— Счастлив видеть вас в здравии,— произнес он едва ли не заученно, подавая мне руку, и я ощутил запах одеколона, он, этот запах, точно прошиб напластования лет.

Шагнув мне навстречу, Маццини оставил учеников стоять на месте — как мне кажется, это были Машины сверстники, ее одноклассники. Я поклонился им, они ответили мне улыбкой заметно доброжелательной, но с места не сдвинулись — разрешение на этот шаг должен был дать им наставник.

Явилась Маша и с кроткой покорностью, на нее не похожей, подошла к Маццини, склонившись над его рукой так низко, что он получил возможность коснуться ладонью ее головы.

— Радуюсь этой встрече,— произнес он и, обернувшись к ученикам, пригласил их ее приветствовать.— Радуюемся...

Этот ритуал встречи был и торжествен и тих — были поцелуи, но не было слов. Пока он длился, этот ритуал, я имел возможность поднять глаза на Маццини — я прежде не видел его вот так близко. В глубине его глазниц, емких, заполненных сизым ненастьем, поместились маленькие глаза, серые, очень светлые. Когда брови вздымались, веки смежались и глаза как бы уходили вглубь. Одна бровь была перечеркнута шрамом ярко-белым, косым — явно след сабельного поединка, видно, у почтенного пастыря молодость была неумейной.

— Я только что перелистал вечерние газеты — Италия признала итальянское происхождение вашего министра, не отреклась, а именно признала,— произнес он.

— Простите, но о чем это говорит?

— О многом, но прежде всего о его дебюте в Сан-Джорджо!.. Должен сказать, что это было внушительно... — Он задумался, остановив где-то над головой руку, не успевшую отбить очередной такт.— Италия признала в вашем министре чисто итальянскую черту: уступчивость по форме и неуступчивость по существу...

В конце аллеи возникли очертания автомобиля — очевидно, машина, которую итальянец отпустил некоторое время назад, вернулась за ним.

— Мне было бы приятно видеть тебя в школе.— Маццини обратил взгляд на Машу.— Если тебе удобно,— уточнил он.— Я, разумеется, пригласил всех... — Он указал на молодых людей, стоящих в стороне.

Маша не отвечала — она была слишком горда, чтобы просить меня.

Молчание Маши становилось неловким, и я спросил ее:

— Как ты, Мария?

— Я... готова... — ответила она, не поднимая глаз.

— Ну что же... возвращайся не поздно — завтра у нас много работы,— мог только произнести я, иной ответ был бы сейчас бессмыслен.

Они ушли. Садовая дорожка была наклонна, и я долго видел всю группу. Маццини и Маша шли впереди, он говорил, а она внимала, подняв голову,— не очень-то она была кротка и тем более послушна в эту минуту. А чуть подстав, шла вся гвардия Маццини, они точно взяли в полукольцо идущих впереди, как бы отсекая путь к отступлению, захочешь убежать — не убежишь... Странно сказать, но в том, как шли сейчас эти люди, спускаясь к морю, мне привиделся конвой и под стражей была моя дочь, при этом я должен был признать, что сам ее отдал под стражу.

Они ушли, а я едва добрал до садовой скамьи на тяжелых железных лапах, да так и просидел до того предвечернего часа, когда прохлада, идущая от моря, завладевает парком. Это была та минута, когда окружающее виделось мне в кривом свете сумерек. По крайней мере все казалось зыбким, все хотелось подвергнуть сомнению, все,

что прежде представлялось верным, сейчас я склонен был предать анафеме... Вот тут, на этой скамье, брошенный в угол санта-маргеритского парка, в свете этих лиловых сумерек, будто обескровивших сам мир, мне привиделось, что я совершил нечто непоправимое. Я не в состоянии был исследовать истоки этой ошибки, но мне было ясно, что это была ошибка. Что-то я переоценил, во что-то поверил больше, чем должен был поверить. Я вернулся в отель и, не зажигая света, лег — сон помогает совладать с самой горькой минутой...

Она проникла в комнату неслышно, как мышь, но я проснулся — видно, дало себя знать что-то такое, что помогало опознать ее во тьме — вот эта привычка, не зажигая света, опуститься на стул и затаить дыхание. Она сидела во тьме не шелохнувшись, а я думал: она обратила против меня и эту тьму, заклиная меня не казнить — в ее безгласной тираде должно быть раскаяние.

— Ты... вернулась, Мария? — спросил я и подумал: этот мой вопрос можно было понять и расширительно.

— Вернулась, — произнесла она едва слышно и замкнулась в молчании, долгом. — А я, признаться, думала, что беспокойство не даст тебе сна, — наконец произнесла она почти неприязненно: нет, она не будет угрызаться, не похоже на нее.

— Как ты нашла их? — спросил я: мне хотелось разговора по существу. — Даже время не способно совладать с ними...

— Время? Куда ему... Кстати, он просил нас с тобой быть у него в пятницу...

— Ты находишь, что нам надо быть у него?

— А почему бы и не быть? — Как обычно, на вопрос она отвечала вопросом — легче спрашивать, чем отвечать.

— Рерберг был там, Мария?

Она тихо встала, пошла к окну.

— Нет, не был, но мог быть...

— Он в Специи или в Генуе?

— В Генуе...

Вот так-то: Рерберг в Генуе. И вновь, как там, на садовой скамье, мне стало худо: что-то очень важное, что было сутью нашего житья-бытья, рушилось, продолжало рушиться.

— Значит, мог быть?

— Мог.

— И будет?

Она пододвинула стул к окну, села.

— А откуда мне знать?

Я заметил: она всего лишь отвечала на мои вопросы. Без того чтобы я ее спросил, она почти ничего не сказала. Почти.

Мудрено дожидаться паузы в том водовороте дел, который увлек нас в Генуе, но, кажется, эта пауза, скоротечная, заявила о себе, и я спешу ею воспользоваться:

— Георгий Васильевич, скажите, пожалуйста: мотором того, что можно условно назвать... чичеринской образованностью, был Борис Николаевич?

— Конечно. — В его ответе слышится категоричность, не очень свойственная ему, — очевидно, его нынешний ответ лишен сомнений.

— Вы это чувствовали и на себе?

Он точно вспыхивает: для него в этом вопросе скрыт немалый смысл. Известно, что Борис Николаевич души не чаял в племяннике. Их отношения сложились еще в караульские годы молодого Чичерина. Надо отдать должное Борису Николаевичу: у него была сила провидения, если из всех молодых он отдал предпочтение Георгию Васильевичу. А то, что это было так, с достаточной точностью указывает завещание Бориса Николаевича, по которому караульские движимость и недвижимость, оцененные суммой крупной, оставались сы-

ну брата. Чтобы принять такое решение, у старшего Чичерина должны были быть достаточные основания. Какие именно? Очевидно, вера в способности племянника. Но не только это. Надо знать Бориса Николаевича, чтобы оценить и иное: жажда знаний, столь характерная для юного Чичерина, его работоспособность, беззаветная, могли импонировать Борису Николаевичу, пожалуй, больше, чем что-либо иное. Вряд ли Борис Николаевич сделал бы свой выбор, если бы тут у него не было уверенности.

— На себе чувствовали?

По тому, с какой охотой, чуть самозабвенной, он откликается на мой вопрос, у него есть потребность обратить меня к своим думам, быть может чуть-чуть сокровенным.

И вновь воспоминания века минувшего как бы накатываются на нас...

В большом караульском доме у семьи младшего брата были комнаты, которые она издавна считала своими. Борис Николаевич был рад семье брата — этому немало способствовала натура невестки, характер ее интересов, ее увлечения. Жоржине Егоровне были не чужды познания в дипломатической истории России, она любила музыку и живопись, сама хорошо рисовала. Она сумела сообщить свои пристрастия детям. В домашнем архиве родителей Жоржины Егоровны были документы, воссоздающие с завидной зримостью события, которые уже заволокла дымка времени.

В длинные зимние вечера раскрывались старые бювары, и на столе возникали бумаги, казалось напитаанные запахами старины. Но бумаги, даже столь необычные, так бы и остались бумагами, если бы не рассказы Жоржины Егоровны — событие обретало черты события истинного. Дети придумали игру, поводом к которой явилась бумага, извлеченная матерью из старого бювара. Но это была не единственная страсть, которую мать сообщила детям, — в семье писали музыку, при этом и дети. Сохранились записи ранних опытов Георгия, самых ранних. В смысл названий надо еще проникнуть — они писаны по-старославянски: «Блажени вои», «Помышляю день страшный», «Придите и видите». И рядом: «Соч. 11 лет», «Соч. 12 лет», «Соч. 12 лет в 1884 г.». У всех трех опусов церковный зачин. Это тоже мать — она была религиозна.

Мать сумела удержать образ жизни семьи и после того, как Чичерины переехали в Петербург. Теперь тамбовское приволье казалось «миром провинциальных полей и тихих палестин» — иная жизнь обступила Юру. Караульские вечера с играми в трактаты были своеобразно продолжены в Петербурге бабушкой. Дочь известного дипломата, бывшего вместе с царем Александром на конгрессе в Вене, она любила поговорить с внуками — в ее рассказах знатная старина не утратила тепла, она, эта старина, была у бабушки чуть-чуть озорной и нравилась детям. Но мир близких, которых хотел знать Юра, простирался дальше дома бабушки, хотя остальные родственники были сановнее, а поэтому недоступнее. Позже он скажет, что именно в Петербурге он научился ненавидеть высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Его язык, не утратив точности, обретал образность, которая потом станет знаком и его дипломатической переписки. Он так и говорил: высокомерное, брезгливое, выхоленное барство. Слова были тем более верными, что были опалены огнем обиды.

Когда обида казалась особенно острой, ее гасила музыка. В увлечении музыкой, как во всем, что составляло круг истинных интересов Юры, была глубина. Он постигал теорию музыки, изучал гармонию, играл на флейте и рояле, при этом и по оркестровой партитуре. Рядом был брат Николай, разделявший это увлечение. В зимние вечера, когда окна залеплены мокрым петербургским снегом и река за окном от пористой шуги кажется темной, братья оставались дома.

Моцарт входил в дом и был третьим: в нем была участливость человека близкого — вера в Моцарта возникла в эти дни.

Но Петербург всколыхнул и сознание. Позже он признается себе, что «самые неизгладимые воспоминания порождены старым Петербургом». Его мысли все больше была свойственна неповторимость. В русской истории были периоды, о которых ему хотелось иметь свое мнение. Например, царствование Петра I. Он спросил профессора Бестужева-Рюмина: что руководило поступками царя — осознанная идея о преобразовании или военная необходимость? Профессор ответил одним словом: «Академия». Чичерин стремился постичь смысл лаконичного ответа: коли академия, значит, осознанная идея — только в этом случае преобразовательная деятельность царя могла быть увенчана академией. У его мысли было не только своеобразие, но и все большая энергия: независимость он обретал в способности мыслить.

Юре было четырнадцать лет, когда он покинул Тамбов. Если не дружба, то приязнь связывала его с дядей. Но петербургское жительство сделало свое, и письмо, которое послал в Караул двадцатидвухлетний Чичерин, могло встревожить Бориса Николаевича. Он говорил, что в нем вызывает протест жизнь изнеженного барчонка... «Я не могу жить так просто, без смысла», — заканчивалось письмо, и это уже можно было понимать как предзнаменование событий грозных.

Пришло приглашение от издателя старой генуэзской газеты «Секколо XIX» — «Век XIX»: неофициальная встреча делегатов с генуэзской прессой. Приглашение, разумеется, было адресовано и Чичерину, но он сказал: «Говорят, что там будет Ллойд-Джордж, — поезжайте с Красиным, у него тут особые интересы». Сказав об особых интересах, Чичерин, разумеется, имел в виду Лондон и лондонские дела Леонида Борисовича. Был подан «фиат», который наша римская миссия благоговременно переправила в Санта-Маргериту, — ярко-черный лимузин на высоких рессорах, с двумя сиденьями, обращенными друг к другу так, что мы сидели с Красиным лицом к лицу. За рулем был наш шофер, и это освобождало нас от излишней предосторожности.

Я знал Красина по рассказам моего двоюродного брата Глеба, который строил под его началом электростанцию в бакинском Баилове. Брат говорил о Красине как о человеке жизнедеятельном и веселом, который даже жестокой конспирации кадровика-подпольщика сообщал черты своей веселой натуры. По рассказам брата, Красин, храня партийные бумаги на стройке, образовал систему форсунок, которые зажигались в тот самый момент, когда появлялась полиция, преграждая ей дорогу к тайникам, — все казалось и надежно и остроумно. Но это было лет двадцать назад, а сейчас передо мной был иной Красин: грустный, снисходительно улыбающийся, со следами усталости на серо-желтом лице.

— Как вам британский премьер? — спросил Леонид Борисович, он имел в виду вчерашнее выступление Ллойд-Джорджа.

Я сказал, что мне он показался более терпимым, чем Барту, при этом не только потому, что так хочет его правительство, но и по той причине, что так может хотеть он, Ллойд-Джордж.

Невзначай я встревожил моего собеседника — он приумолк, его красивые глаза стали внимательны.

Красин вспомнил свою встречу с Ллойд-Джорджем, в какой-то мере конфиденциальную, о которой сам британский премьер сказал Леониду Борисовичу: «Все, что вы услышите от меня, пусть останется между нами». Британского премьера можно было понять: предметом встречи была самая деликатная из проблем — долги. Красин, разумеется, догадывался: если тут могут быть у нас какие-то шансы, то они возникнут только в разговоре с Ллойд-Джорджем. Но как до-

биться этого разговора, когда старый валлиец от него уходит? Помог случай: в Лондоне оказался Фритьоф Нансен. Нет, встретившись с Нансеном, Красин меньше всего думал о Ллойд-Джордже. Для Леонида Борисовича уже сама встреча с Нансеном была великой радостью. В самом деле, кому на Руси не известен знаменитый норвежец и кто не питал к нему добрых чувств? Да был ли в нашей стране дом, самый скромный, где бы не знали нансеновской книги о путешествии на корабле «Фрам»? Красин знал, что в норвежской столице готово встать на вечную стоянку нансеновское судно, — он мысленно переносил себя на корабль, стоял в его сумеречных каютах, вдыхая запах просмоленного дерева. В сумерках, подсвеченных электрической лампочкой, отливают неярким блеском лежа ружей, их несколько — наверно, большее Нансен брал с собой, уходя навстречу вековому безмолвию, но безмолвие обретало голос, когда дорогу преграждал могучий хищник... Однажды такое единоборство произошло, оно было поистине не на жизнь, а на смерть — в ход пошли и ружье и нож... Вернувшись на судно, Нансен взял кусок ватмана и рукой, еще не окрепшей после всего, что случилось на льдине, графически воскresил схватку с белым зверем — рисунок лег под стекло. Вот она, каюта покорителя Севера: ружья и... кисть с флакончиком туши, а подле железный коробок с акварельными красками. И не только: финский нож в чехле из кожи нерпы и... скрипка. Когда льды охватывали корабль и он, намертво вросший в ледяную кольчугу, трещал и поскрипывал, Нансен брал скрипку. Как ни зыбки были звуки нансеновской скрипки, они связывали людей с тем дорогим и вечным, что ждало их на большой земле.

Что принес Нансен из ледяного далека? Русые брови, точно припушенные инеем, ярко-голубые глаза, на всю жизнь напитавшиеся полярной сини, сухие губы, как у моряков, в едва заметных шелушинках. Нансен говорил с Красиным о поездке в Москву и Петроград, которую он хотел предпринять, взяв на себя заботу об обмене военнопленными. Но разговор не замкнулся на этой теме — Нансену, пионеру и первооткрывателю новых земель, импонировало созидательное начало в деятельности Советской страны. Речь теперь шла о новых советских электростанциях в Шатуре и Кашире, а вместе с тем и о новых железных дорогах. Красин говорил о мире, который насущно необходим России, а в этой связи и об отношениях со всемогущим бриттом — Леонид Борисович не скрыл от норвежца, что возлагает известные надежды на встречу с Ллойд-Джорджем, но тот уходит от этой встречи. Красин не просил Нансена о содействии, но в том, как была произнесена последняя фраза, такая просьба несомненно присутствовала — по крайней мере так норвежский ученый понял русского, и понял правильно: на другой день Леониду Борисовичу позвонил секретарь старого валлийца и сказал, что последний готов принять русского, однако, как было сказано, «в неофициальной обстановке».

Совершенно очевидно, что английский премьер окружил предстоящую встречу такой тайной потому, что разговор должен был пойти о долгах — в отношениях между двумя странами не было темы более деликатной и по-своему конфиденциальной, чем эта. А старый валлиец действительно не хотел, чтобы сведения об этой встрече стали предметом гласности. Он боялся не столько своих коллег, хотя и среди них было немало таких, кто готов был предать валлийца анафеме, сколько французов — с их точки зрения, британский кабинет состоял едва ли не из красных, при этом самым красным был, разумеется, премьер.

«Французы не должны знать о нашей беседе, — предупредил Ллойд-Джордж, увлекая Красина в дальний угол своего кабинета, где по июльской жаре была предусмотрительно поставлена этажерка на колесиках с фруктами и ледяной водой, как, впрочем, и с бутылкой

старого бургундского, непочатой: видно, норвежец хорошо вчера и позавчера поработал — как помнит Красин старого валлийца по прежним временам, тот был тогда не столь гостеприимен. — Долги — это вопрос вопросов, — произнес хозяин и, откинув полу пиджака, воздел, как на молитве, два пальца, указательный и средний, осторожно опустив их в нижний кармашек жилета; только сейчас Красин увидел, что вельвет, из которого скроили жилет, был неистово зеленым. — Нет, мое правительство не настаивает на немедленном возвращении государственных долгов, гораздо важнее вернуть теперь долги частные. — Он все еще держал пальцы в жилетном кармане; вельвет был шелковистым, разделенным глубокими бороздками, заметно мохнатым. — О какой торговле может идти речь, если эти предприятия национализированы? Что же касается государственных долгов, то этот вопрос можно было бы решить на международной конференции, но есть немалое препятствие: Франция не пойдет на такую конференцию...»

Реплика Ллойд-Джорджа не очень-то воодушевляла. Красин начал говорить — он ждал этой минуты, ждал и, быть может, готовился к ней. Он раскрыл портфель, и на стол легла книга. Не извлекая пальцев из жилетного кармана, хозяин наклонился. «Это... Кейнс?» — спросил старый валлиец. «Да, Кейнс, — был ответ Красина. — Его „Экономические последствия мира“». «И что же?» — полюбопытствовал хозяин и провел слабой стариковской рукой по мохнатой поверхности жилета не против шерсти, а по шерсти, по шерсти, отчего ворс стал еще более шелковистым.

С умением чисто инженерным оперировать цифрами Красин воссоздал актив и пассив стран-союзниц: Штатов, Великобритании, Франции. Пассив Великобритании — восемьсот миллионов фунтов, Франции — миллиард. Иначе говоря, вся Европа в долгах. Однако кто их должен покрыть? Интерес представляет вот это мнение... — Красин положил перед Ллойд-Джорджем раскрытую книгу. То, что Леонид Борисович сейчас читал, он читал наизусть, дав хозяину возможность проверять его по книге: «„Не ясно ли, что русский долг — это, в сущности, ростовщические проценты на то, что уже двадцать раз оплачено. Единственный выход — аннулировать долги. На этом, правда, теряет Америка, но, быть может, она должна проявить благородство...“ Нет, это сказал не я, это сказал ваш соотечественник Кейнс...»

Ллойд-Джордж вновь оцупал вельвет, и на стол выпал очешник — однако Кейнс немало заинтересовал британского премьера. Сейчас Ллойд-Джордж стоял прямо перед окном, безбоязненно забрав пол пиджака, и Красин увидел, что дно бороздок, разделивших вельвет и сделавших бороздки глубокими, было выложено синей ниткой. Как все шестидесятилетние, валлиец был франтом — пожалуй, прежде он вряд ли счел бы этаким цвет соответствующим своему возрасту и положению, сейчас он даже похвалялся этим.

«Сумеет ли мы объяснить когда-либо миру, почему надо признавать права банкира, пострадавшего от национализации, и не признавать справедливого права рабочего человека, чьи отцы и братья сражены британскими пулеметами?..»

Ллойд-Джордж смолчал. Надо было еще понять это молчание.

Но тремя днями позже это молчание объяснилось: пришла нота Форейн оффис, в которой черным по белому было написано, что Великобритания согласна на заключение договора. Дальше следовали условия. Они гласили, что стороны воздерживаются от враждебных действий. Они дают согласие на возвращение военнопленных на родину: англичан в Англию, русских в Россию. И главное: британское правительство соглашается не требовать немедленного решения вопроса о долгах.

Британское правительство настаивало на ответе в недельный срок. Красин ответил, что последнее бессмысленно, так как в эти сро-

ки он лишен возможности связаться с Москвой. И тогда произошло беспрецедентное, нет, не только для англо-советских отношений, вряд ли такое знала история дипломатии вообще: англичане предоставили Красину миноносец, обещая доставить его из Англии в Ревель в два дня. Остальное известно: Красин воспользовался предложением англичан. Не прошло и недели после вручения Красину известной ноты, как радиотелеграммой из Москвы Советское правительство дало согласие на заключение договора.

Но договор, который удалось заключить, видно, пошел дальше того, на что готово было консервативное большинство английского кабинета. И встреча Красина с британскими министрами показала это недвусмысленно, встреча, воспоминания о которой у Леонида Борисовича окрашены в весьма мрачные тона не только потому, что она происходила в сумеречных покоях Даунинг-стрит. Неяркое электричество на деревянных панелях, телефонные звонки за толстыми стенами, звон посуды — не иначе в личных апартаментах высокого клерка накрывают стол. И едва ли не лицом к лицу Ллойд-Джордж в сединах и весь синклит его министров, которых ты воспринял до этого не столько лично, сколько по газетным фотографиям: Роберт Хорн, Бонар Лоу и, конечно, Керзон — не иначе надо идти по кругу, приветствуя их. И вот тут случилось такое, что способно открыть глаза... (Он на минуту прерывает рассказ, точно спрашивая, понимаешь ли ты, о чем пойдет речь.) Вслед за Ллойд-Джорджем тебе протягивают руки Хорн и Лоу — в самих рукопожатиях мера радушия и мера корректности, мера... Однако что это такое? Руки лорда Керзона, стоящего у камина, отведены за спину и там точно скреплены намертво и во взгляде безразличие, какое способно выразить только лицо человеческое. Лорд Керзон отказывается подавать руку. «Керзон, будьте джентльменом!» — едва ли не выкрикнул Ллойд-Джордж, и Керзон не без труда не извлек, а добыл руку из-за спины. Неизвестно, как бы повел себя лорд Керзон, если бы русская революция не отняла у него его уральских прибылей — возможно, ему удалось укротить характер... Одним словом, советский представитель, явившийся на Даунинг-стрит, был первым, в ком Керзон увидел виноватого. Керзон точно хотел сказать: была бы моя воля, я упек бы тебя в долговую тюрьму... (Красин засмеялся — воспоминания о строптивом Керзоне развеселили его: истинно твердолобый — ему нет дела до русской революции, главное — его гиней!)

Но Керзон, на взгляд Леонида Борисовича, это не так хитро, а вот Ллойд-Джордж — это похитрее!.. Истинно Керзон послал Ллойд-Джорджа в Италию, чтобы тот убедил русских вернуть долги... Иначе говоря, существо генуэзской миссии британского премьера можно определить и так: если русских и удастся убедить в необходимости возвратить долги, то наибольшие шансы сделать это у Ллойд-Джорджа. Короче: пока эта надежда возлагается на Ллойд-Джорджа, он на коне. Однако воспоминания о Ллойд-Джордже способны были воодушевить Леонида Борисовича или повергнуть в уныние. Так или иначе, а встреча с валлийцем не исключалась, и Красин готовил себя к ней.

Наша машина вошла в город и неширокой дорогой, медленно забирающей в гору, направилась к кирпичному особняку, освещенные окна которого были видны издали и как бы оповещали приглашенных, что съезд гостей начался. Мы вышли из машины и по движению ветра ощутили, что находимся едва ли не на вершине горы, вставшей над городом. Но теперь это устанавливалось и зрительно: глубоко внизу, отороченное прерывистой каймой прибрежных огней, лежало море. Оно было сизо-синим, точно свитым из стелющихся дымов.

Был тот час, когда гости, появившись на пороге кирпичной хомины, еще не обрели смелости, чтобы растечься по ее ярко освещенным и холодным залам.

Долговязый господин с баками-запятыми, похожими на пейсы, встал из-за шахматного столика, за которым он вместе со своим молчаливым партнером дожидался гостей, и пошел навстречу русским. Он назвался главным администратором издательского дома «Секоло XIX» Джованни Сфорцей и увлек нас на второй этаж особняка, где залы первого этажа были воссозданы как бы в миниатюре.

— Да не считаете ли вы, господа, что первый день конференции явился всего лишь вступлением к главному? — спросил он с завидной уверенностью по-русски, однако не преминул в полной мере обнаружить мягкость и особую тональность одесского говора — не иначе Сфорца принадлежал к той ветви знатных генуэзцев, хлеботорговцев-оптовиков и мукомолов, которые посылали своих чад учить русский в Одессу. — Вы согласны?

Видно, администратор не переоценивал данных, отпущенных его внешности природой. Он стянул живот ворсистым, похожим на цигейку жилетом, перепоясав его золотой цепью. Была бы воля администратора, он, пожалуй, воткнул бы в уши по сереге и подвесил бы к носу колючку, но он ограничился тем, что украсил средние пальцы рук перстнями с круглым и квадратным сердоликом.

— Вы полагаете, дебют не удался? — Красин скосил глаза на шахматный столик.

— Нет, почему же? — возразил Сфорца не без улыбки: ему были приятны шахматные ассоциации Красина. — Готов признать, что русские выпли из дебюта... не худшим образом.

— Но дебют — это еще не партия? — возразил Красин: он подзадоривал итальянца.

— Да, дебют — это еще не вся партия, — подхватил Сфорца. — Пятнадцать минут назад я слышал от Ллойд-Джорджа, что успех конференции придаст не столько Сан-Джорджо, сколько приватные встречи на генуэзских холмах...

— Ллойд-Джорджа? Он здесь?

Теперь итальянец сказал почти все: британский премьер, находящийся сейчас за стеной, возможно, имел в виду и русских гостей, желая договориться о приватной встрече где-то на генуэзских холмах, — в беседах, подобных той, какая сейчас происходила у нас с итальянцем, такого рода намеки почти всегда имеют точно обозначенную цель.

Итальянец был точен в своих предположениях: час спустя мы действительно беседовали с Ллойд-Джорджем — с галереи, которая примыкала к комнате в ковровых обоях, казалось, глазу стала доступна вся линия приморских городов. Море было недвижимо, оно лежало безгласным монолитом, ярко-черное, в разводах, которые иногда повторяли линию берега, хотя от прибрежной полосы отстояли далеко.

— Вот где довелось встретиться, мистер Рэд! — воскликнул валлиец, приветствуя русского: как это однажды было в Лондоне, он переименовал фамилию русского на Рэд, сознательно сообщив ей иное звучание — не столько Красин, сколько красный в смысле багряный, червонный, даже кумачовый. — Мистер Рэд, — повторил он, подняв руку в этих своих симпатичных подушечках, и его ладонь, обращенная к морю, теперь густо-бордовому, точно восприняла цвет и мерцание воды: красные подушечки, — я видел вас вчера во дворце Сан-Джорджо и, признаться, был обрадован.

— На это были причины, господин премьер-министр?

Ллойд-Джордж поднял глаза на русского — в разговоре возник если не огонь, то отблеск его: Ллойд-Джордж считал, что все его приобретения были добыты в полемике, а это значит, что нынешний разговор был небесперспективен.

— Да, конечно, — согласился англичанин, — у меня есть опыт диалога с вами, что для меня немало...

— Опыт диалога, который не дал результата? — усмехнулся Красин.

— Нет, почему же? — возразил валлиец, он любил этот оборот «нет, почему же?»: этот оборот давал возможность, не говоря по существу, создать видимость ответа.

— Я слушаю вас, господин премьер-министр.

Ллойд-Джордж разгладил скобы усов, правый ус ладонью, левый тыльной стороной руки, он гладил ладонью усы, как цирюльник точит бритву, кладя на ремень лезвие то одной, то другой стороной.

— Мы работаем всего один день, — Ллойд-Джордж угрожающе поднял указательный палец, — один! — Он продолжал держать палец над головой. — Но и этого дня достаточно, чтобы понять: если нам и суждено в полемике пролить кровь, разумнее это сделать за закрытой дверью... Короче: как бы русская делегация отнеслась к предложению, если бы она была приглашена на виллу «Альбертис»? Ваше мнение, мой дорогой мистер Рэд? — Он нехотя опустил демонстративно вздернутый перст — у шутилой фразы «мой дорогой мистер Рэд» был свой смысл, Ллойд-Джордж точно говорил: хотя ты и красный, но я, как видишь, не отвергаю диалога с тобой.

— Быть может, эту встречу могли бы предварить эксперты? — спросил Красин — он понимал, что согласие не должно быть категорическим.

— Встреча экспертов — гарантия? — В реакции Ллойд-Джорджа был запал и точность молодости.

— В какой-то мере.

— Ну что ж, согласен, если согласен мистер... Чи-чи-че-рин, — произнес он и шлепнул рукой по усам, не забыв, как это было прежде, один «лемешок» усов пригладить ладонью, другой тыльной стороной руки; он так и сказал — «Чи-чи-че-рин», в том, как он произнес это имя, обнаруживалось: он не часто произносил его. — Внизу ждет нас генуэзская пресса — может, есть резон показаться им на глаза, просто показаться на глаза...

Мы спустились в холл первого этажа и истинно увязли в облаке дыма, густо-синем, папахивающем недорогой парфюмерией, — такое впечатление, что генуэзская пресса обвила себя синими дымами в противотифозных целях. Однако как ни плотна была синяя завеса, всевидящее корреспондентское око прошибло и ее: появление британца и русского было засечено безошибочно. В мгновение возникло два кольца: в одно попали англичане, в другое русские.

— Господин Красин, не встревожила ли вас встреча в Сан-Джорджо, разрешите спросить в одночасье?.. — Да, вопрос прозвучал по-русски, при этом не обошлось без характерного «в одночасье».

Я бы покривил душой, если бы сказал, что узнал Игоря по голосу, нет, голос был иным, как, впрочем, и внешность, — передо мной стоял не Рерберг, а как бы его старший брат. И дело не в том, что его золотые усищи отросли и скорбно обвисли, именно скорбно, — иными стали его глаза. В голосе еще была сила молодости, быть может сила характера, в глазах эта сила была на ущербе. Не скрою, что мне стало жаль парня.

— В самом деле, не встревожила? — Рерберг смотрел на Красина, взгляд был просящим, в словах не было мольбы, во взгляде она была.

Красин бросил иронически: «Если и была тревога, то тревога действия, помогающая собрать силы и, пожалуй, собраться с силами, — все впереди»; Красин обронил эту свою ироническую фразу, и мы пошли к выходу — коли мы не разминувшись с Ллойд-Джорджем и Рербергом, что нам еще надо?

Но у выхода из кирпичной хоромины Рерберг возник вновь.

— Да не вы ли это, Николай Андреевич? — спросил он, преграждая мне дорогу.

— Здравствуй, Игорь,— сказал я.

Мы стояли сейчас с Рербергом лицом к лицу.

Он охватил грудь левой рукой и принялся гладить ее, эту руку, рукой правой — в самом жесте было не много храбрости.

— Я знаю, что в пятницу вы будете у Маццини,— произнес он, и его руки, поместившиеся на груди, затихли.— Могу я рассчитывать на встречу?..

Нет, мне определенно стало жаль его: ведь он же мог и не спрашивать меня об этом, а просто прийти.

— Приходи, Игорь... — мог только сказать я.— Приходи.

Все время, пока наш автомобиль при выключенных моторах скачивался с одного из могучих генуэзских холмов, скатывался почти бесшумно, молчание владело и нами. Только много позже, когда справа глянуло море и дорога пошла по берегу, Красин обернулся, попытавшись оглядеть горы, что легли позади.

— Вилла «Альбертис»... там? — спросил он, глядя в поднебесье, сейчас заваленное облаками.— Холм Куарто-де-Милле?.. Ничего не скажешь: набожный Ллойд-Джордж расположил свою резиденцию ближе к богу,— заметил он, смеясь; у него вдруг появилась потребность в иронии.— Без помощи всевышнего, пожалуй, на такую гору не взберешься...

Мы вернулись часу в одиннадцатом. Убедившись, что чичеринские апартаменты освещены, Красин поднялся к нему. В сознании жило это Ллойд-Джорджево: «Если согласен мистер... Чи-чи-че-рин». Теперь уже ясно, что поединок Ллойд-Джордж — Чичерин не отвратить. Однако что надо знать, чтобы проникнуть в существо поединка?

Его привычное состояние — столкновение мысли. Когда нет оппонента, он придумывает его, наделяя достоинствами, которых подчас не имеет сам. Начиная спор, он не прочь отпустить остроту и в свой адрес — самоирония в нем очень сильна. В этом случае он говорит: «Чтобы познать, надо быть более образованным, чтобы отрицать, такого образования не надо». Оппонент, которого он придумал, скрепив с ним шпаги, единоборствует с его системой взглядов — иногда мне кажется, что это форма войны с идеями, которым он объявил войну не на жизнь, а на смерть.

«Вы обращали внимание на такой парадокс: философия того, что мы зовем христианством, не так бескорыстна, как нам кажется? — сказал мне Георгий Васильевич однажды.— В самом деле, что может быть более возвышенным для человека, чем сознательное отдавание себя. Никакой награды! Сам отдал себя, свою жизнь, потому что сам решил, без принуждения, сам из себя. (Наверно, для его лексики характерно это «сам из себя», сегодня так никто не говорит.) Да нравственна ли тогда философия христианства, узаконившая своеобразные награду и наказание — награду раем, наказание адом? Да не жесток ли этот бог карающий? Я был бы подлецом, если бы остался в раю, когда несчастные мучаются в аду...»

У того, что мы зовем благородством, есть одна мера: бескорыстие. Но у чичеринского бескорыстия вполне реальный герой. Нет, не абстрактный, а вполне земной, вызванный к жизни и российской действительностью, которую Чичерин знает. «Безвестные могилы в Сибири, за Полярным кругом, океан мучений и лишений, который добровольно претерпели эти великие мученики...» Именно у чичеринского бескорыстия, храброго, реальный прообраз: мученик революции. Не случайно он сам отыскал этот образ и повторил многократно: великий мученик, а следовательно, воитель, а может, и подвижник.

В братстве русских гонимых, будь то Париж или Лондон, Чичерин никогда не жил лучше других. Те, кто помнит его парижское житье-бытье, сберегли в памяти его более чем скромное жилище в

пригороде французской столицы с овальным окном под потолком, которое было столь сумеречным, что письменный стол пришлось водружить на специальный помост, чтобы быть ближе к свету. Те, кто знал его по лондонской страде, помнят его комнату, заваленную книгами, — было нечто петербургское в этой чичеринской каморке: лондонский Ист-Энд напоминал Черную речку, где сановный Петербург поселил бедных мастеровых и студентов. Да и сам Чичерин своим обликом сделался похожим на бедного департаментского служащего: холодное деми, ботинки, полуприкрытые теплыми гамашами, большой шерстяной шарф вокруг шеи — с детства он был подвержен простуде и старался держать горло в тепле.

Наверно, он мог жить лучше: ему удалось перевести за границу немалые суммы, доставшиеся по большому чичеринскому завещанию. Но он справедливо полагал, что деньги принадлежат не столько ему, сколько русскому мужику, добывшему их своим потом. Следовательно, у этих средств может быть единственно разумная статья расхода: русская революция. Как свидетельствовали старые партийцы, лондонский съезд финансировался и из чичеринских сумм.

Но вот что обращало внимание: съезд начался и завершился, а в чичеринскую папку, которую завела на него английская тайная полиция, легла строка, несмыслаемая. Не было строки важнее для полицейских клерков весной семнадцатого года, когда русские хлынули на родину. Бдительные клерки не без деятельной подсказки российского посольства решили установить своеобразный фильтр для возвращающихся на родину.

На лондонской Чешем плейс, где находилось российское посольство, послу Набокову противостоял Чичерин. Да, именно Чичерина колония русских изгнанников облекла правом говорить с посольством. Чичерин был резок, быть может впервые в своей жизни так резок: известный каламбур об Александре Федоровне и Александре Федоровиче, которым не моргнув глазом попеременно служил Набоков, принадлежал Чичерину и был произнесен во время аудиенции на Чешем плейс. Посол дал на это свой ответ: по сигналу с Чешем плейс Чичерин стал узником Брикстонской темницы — союзническая солидарность обретала и такие формы.

Но ответственность за Брикстон несли и англичане, при этом не в последнюю очередь Ллойд-Джордж — его правительство упекло Чичерина в брикстонские застенки. Революция своеобразно ответила и Ллойд-Джорджу, сделав узника Брикстона министром иностранных дел и послав его во главе делегации новой России в Геную. Конечно, тут есть и случайное стечение обстоятельств, Ллойд-Джордж мог и не знать об аресте Чичерина, а назначение Георгия Васильевича главой делегации могло быть сделано и вне связи с брикстонским эпизодом, но у истории хорошая память: человек может забыть и, пожалуй, простить, история — никогда. По крайней мере Ллойд-Джордж, сядя за стол переговоров с Чичериным, не может не знать, что собой представляет делегат русской революции и какой смысл несут лондонские страстицы его биографии.

«Если согласен мистер... Чи-чи-че-рин!» — в этой формуле, казалось, была полная мера терпимости.

Однако как оно будет на самом деле?

В этот раз наш автомобиль как бы набросил на холм десять колец одно уже другого, и мы на Куарто-де-Милле у монументальных врат виллы «Альбертис». А врата, как и ограда, идущая от них, действительно монументальны: все сложено из камня, очевидно добытого где-то рядом, и построено на века. Рисунок парадных ворот и ограды, как и сам камень, из которого они возведены, повторен в особняке: видно, обширная усадьба «Альбертис» возводилась с одного удара и не перестраивалась, поэтому стиль ее так един.

Хозяин виллы вызван по делам в город, и нас встречает его молодая супруга, в которой светскость сказывается и в умении завязывать узелок беседы, при этом и на отвлеченные темы. Тех двухсот метров, которые легли от ворот до особняка, было достаточно, чтобы историю особняка на генуэзском холме Кwarto-де-Милле воссоздать в деталях. Ну, разумеется, это семейное гнездо. Оно построено триста лет назад и ревниво охранялось от посторонних даже в пору столь грозных событий, как минувшая война. Не без раздумий хозяева дали согласие на то, чтобы вилла стала резиденцией Ллойд-Джорджа. Отдать виллу даже на несколько недель значит непочтительно обойтись со святой святых семьи — ритмом жизни, что складывался столетиями и казался неколебимым. Но к хозяевам виллы обратился кто-то из сильных мира сего, и строптивость была укрощена. Хозяева обнаружили покладистость, не свойственную д'Альбертисам, и удалились во флигель. Только подумать: во флигель!

А сейчас молодая д'Альбертис шла, полусклонив голову, небольшая, светловолосая, белолицая, бог знает как уберегшая лицо от здешнего свирепого солнца; впрочем, на высоте одиннадцати колец холма Кwarto-де-Милле солнце, возможно, и не так свирепо, как у моря. Рассказывая, она то и дело обращалась к Красину — то ли его английский вызывал в ней большее доверие, то ли то изящество врожденное, которое было свойственно ему и позволяло вопреки сединам выглядеть моложе. В те редкие минуты, когда Красин поднимал глаза на молодую женщину, взгляд его был заметно пристален и строг. О чем он мог думать в эту минуту? Наверно, он раздумывал над тем, что этой молодой женщине нравится амплуа хозяйки большого поместья, что у нее есть потребность обнаружить перед русскими гостями это свое качество и что она тут, наверно, чуть-чуть подражает своему мужу, который сейчас в городе договаривается о поставке дополнительных десяти тонн угля, чтобы британский премьер не дай бог не замерз на вилле «Альбертис». И еще мог думать Красин: а нельзя ли, глядя на жену, заметно влюбленную в своего супруга, представить себе его облик? В самом деле, какой он, этот граф д'Альбертис? Наверно, коричневобородый итальянец, бронзоволицый и массивный, именно такой может быть без ума от маленькой блондинки... Нет, есть смысл отдать себя игре воображения, засечь возвращение графа д'Альбертиса из города и проверить себя: такой он?

— Когда я думаю о Моцарте, я зову на помощь пушкинское «Моцарт и Сальери»... Зову на помощь! И знаете, что мне кажется прозорливым в толковании Моцарта, как его понял Пушкин?.. Зовите это как хотите, но тут существо Моцарта: тема смерти... Пушкин точно пробудил эту мелодию, она у него звучит как предчувствие трагического конца, как видение гробовое, а на самом деле обнажает Моцартову тему, близкую сути его музыки... Простите меня, но Пушкин это ухватил с превеликой прозорливостью. Не скажу ничего нового, если напомню: ложное представление о Моцартовой веселости — это как раз то, что мешает нам подойти к композитору. Это восприняли не столько современники Моцарта, сколько наши современники, познавшие композитора так, как его при жизни не знали, как, впрочем, и вскоре после смерти. Пушкин был одним из первых, кто проник в это. Да не пророческим ли было вот это пушкинское: «Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь мне кажется, он с нами сам третий сидит...» Но Пушкин в точном соответствии с существом Моцарта перебил тему смерти иронией — она точно луч солнца рассекает мрак. Это Моцарт говорит Сальери: «Да, Бомарше ведь был тебе приятель; ты для него «Тарара» сочинил, вещь славную. Там есть один мотив... Я все твержу его, когда я счастлив... Ла-ла-ла-ла...» Да, именно че-

редование солнца и мрака, отчего солнце резче и мрак непобедимее. Не об этом ли говорит и конец этого пассажа? Вот он: «Ах, правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?» Вызывает изумление, с какой точностью поэт тут провидел. Есть свидетельства о предсмертном часе Моцарта, именно предсмертном: уже холод сковал его члены, уже тьма подступила к глазам и уже сомкнулись губы и ничто не в состоянии было их разжать... Нет, простите, они отворились, и отворила их улыбка. «Известный всем я птицелов, я вечно весел, гоп-са-са!» — не пропел, а прошептал Моцарт песенку своего Папагено и с песней этой на устах ушел в мир иной... Моцарт!.. Говорят, что «Моцарт и Сальери» была единственной пушкинской вещью для театра, которая увидела сцену еще при жизни поэта. Мы то знаем, что это достойно.

Нас вводят в большой зал особняка, и невольно глаза стремятся обнять его размеры и форму. Нет, дело даже не в размерах, в обилии света и воздуха — зал очень хорош по своим пропорциям. Да, соотнесены размеры, соотнесены так точно, что уже одно это делает зал в какой-то мере неповторимым. Как по сигналу дверь, встроенная в торцовую стену зала, распаивается, и в зал входит Ллойд-Джордж. На нем сегодня темный костюм, отчего его седины кажутся заметно яркими. Чтобы достичь середины зала, где теперь находится советская делегация, ему надо пройти метров двадцать. Пока он идет, есть возможность продолжить наблюдения и рассмотреть такое, что не удалось увидеть прежде. У него уже стариковская походка. Он косолапит, заметно припадая на левую ногу, при этом руки остаются в такой мере неподвижными, будто бы они ему не нужны. Приглашая сесть, он не без труда поднимает правую руку, в то время как левая не очень-то обнаруживает признаки жизни. Но опустившись в кресло, он словно оживает, при этом в движение приходят и руки.

— Итак, что будем делать, господа? — спрашивает он.

В вопросе Ллойд-Джорджа есть свой смысл: встреча экспертов, предварившая нынешний диалог, была трудной.

— Быть может, есть резон выслушать экспертов? — спросил Чичерин: он хотел разговора без недомолвок, разговора, когда бы все вопросы были заданы, все ответы получены.

— Ну что ж, я согласен. А как мои коллеги? — произносит валлиец, обращаясь к Барту и его спутникам, которые с церемонной медлительностью вошли сейчас в зал; поклон француза, едва заметный, был призван выразить возможную холодность по отношению к русским. — Быть может, все вопросы суждено решить за этим столом, — пояснил британский премьер, теперь прямо обращаясь к Барту, и указал на овальный стол на круглых точеных ножках, за которым сейчас сидели делегаты; все, кто находился в зале, пристально, хотя и недоверчиво взглянули на стол — стол вдруг обрел значение, какого не имел прежде.

— Решить или не решить? — усмехнулся француз, ирония была очевидна.

— Или не решить? — заметил Ллойд-Джордж, улыбаясь. — Как вы? — спросил он русских. — Ну, предположим, завтра в четыре?

Чичерин в знак согласия смежил веки.

— Мы готовы быть, — произнес он. — Готовы... — повторил он, в этом его повторении «готовы» было слишком заметное желание не говорить большего.

Ллойд-Джордж встал, приглашая русских в смежную комнату, из которой он вошел в зал, в то время как его коллеги с веселым вниманием наблюдали за происходящим — казалось, что он повел русских в соседнюю комнату с их ведома.

Мы вошли в комнату, и с предупредительностью, в какой-то мере обдуманной, Ллойд-Джордж закрыл дверь, точно преграждая

своим коллегам дорогу сюда; комната, в которую мы вошли, была неожиданно мала, казалось, она не имеет права быть такой рядом с залом.

— Я разговаривал с Виртом,— произнес он, возлагая руку на письменный стол и точно давая понять этим, что разговор будет коротким.— Перед немцами перспектива выбора, наверно, в такой же мере, как и перед русскими...

Он поднял смеющиеся глаза, и мы увидели, что стоим перед фреской, воссоздающей известное полотно «Парис с Герой и Афродитой»,— в жесте Париса было желание, но не было энергии, он не столько выражал собственную волю, сколько уповал на волю женщины.

— А знаете, мне любопытна эта картина... Выбор, нет ничего труднее выбора, не правда ли? — засмеялся неунывающий валлиец.— Вы одобряете выбор Париса, нет, скажите искренне: одобряете? — вдруг обратился он к Чичерину; тот ожидал любого вопроса, но только не этого.— Я бы поступил иначе! — воскликнул он, не дождавшись ответа.

Чичерин приподнял плечи, утопив в них шею, глубоко утопив, на поверхности, казалось, осталась только борода.

— Не знаю.— Русский не выразил большого желания продолжать этот разговор, он для русского был деликатен.— Ей-богу, не знаю!..

Ллойд-Джордж подмигнул понимающе, хотя русский и не дал ему ответа.

— Мне иногда хочется поставить перед этой картиной и канцлера Вирта,— произнес валлиец: конечно же, ему была интересна эта картина только в той мере, в какой она давала возможность исследовать самую проблему, которой был сейчас занят его динамичный ум.— Истинно нет ничего многотруднее дилеммы выбора...— Он не без усилия отлепил ладонь от поверхности стола, отвел голову — сейчас глаза Чичерина были ему хорошо видны.— Вы не согласны со мной?

Чичерин, как мне казалось, мог подумать: по тому, что у деятельного валлийца был соблазн подвести к фреске и немца, проблема выбора становилась для одной и другой стороны актуальной.

Хвостов приболел, и я поднялся в его келью под матицами. На столе стоял стакан с марганцовкой, и воздух был пропитан дыханием валерьянового корня. Хвостов лежал опрокинувшись, заломив руки, подле угадывалась сколка машинописных листов.

— Не иначе трехколонник для «Известий»? — спросил я.

В его взгляде явилась пасмурность:

— Есть желание прочесть, Николай Андреевич?

— Готов.

Он безбоязненно придвинул машинописные страницы ко мне. Окно было полузашторено, и я подсел к подоконнику. Странное дело, но я почувствовал, как утоньшилась кожа у меня на спине, и я ощутил, как его тяжелое дыхание ударяется мне в спину. И не только дыхание: вздох, нетерпеливое покашливание, едва слышный клекот разомкнутых губ. Одним словом, это были муки ожидания, муки — встреча со мной обрела для него смысл, который выходил за пределы наших с ним отношений. Я мог сделать его почти счастливым, и в моей власти было глубоко разочаровать его.

Видно, моя бедная спина, принявшая все удары этого утра, меня и выдала. Хвостов рассмотрел в ней согбенность, в которой было мало радости.

— Ну как? — не выдержал он.— Говорите, говорите... не пытайте. Вижу: плохо.

Я молчал. Вспомнил хвостовскую формулу дерзания: «Человек должен решать задачу, которая больше его». В данном случае это

была как раз такая задача, но она не подняла человека до своих высот, а, как бы это сказать поделикатнее, покарала его.

— Ну вы можете сказать слово? Бойтесь?

— Боюсь,— не утаил я от него.— Надо показать Георгию Васильевичу.

— Ну вам и карты в руки, покажите,— произнес он.

Если быть откровенным, то мне бы не хотелось нести статью Чичерину. Я не виноват, но само прикосновение к несчастью, самое легкое касание, делает и тебя повинным в этом несчастье.

Одним словом, я взял статью и передал Чичерину.

Часов в одиннадцать я обычно шел к Чичерину с почтой, которая накапливалась за вторую половину дня. Пошел я и теперь. Он стоял у окна, из которого доносился шум дождя и явственный, столь характерный для ранней весны запах молодой листвы, смоченной дождем.

— Ничего не знаю прекраснее дыхания весеннего сада,— произнес он и, казалось, еще больше приблизился к окну.— Нет, что ни говорите, а нам с вами повезло — апрель и для Италии лучшее время года...— Он отошел от окна, и я увидел в его руках стопку машинописных страниц.— Что будем делать, Николай Андреевич? — Он осторожно положил статью передо мной.

В его словах была и оценка того, что он только что прочел, хотя на этот счет прямо не было сказано ни единого слова.

— А может быть, отослать «Известиям» — и пусть они сами разговаривают с Хвостовым? — Поставив вопрос так, я как бы выводил из-под удара и Чичерина.

— Ну что ж, это, пожалуй, хорошо, но тогда бремя ляжет на плечи Хвостова, все бремя — да справедливо ли это? — Георгий Васильевич точно проник в смысл моих раздумий и устыдил меня.— Надо говорить с Иваном Ивановичем, но тут есть риск немалый...

— Какой, Георгий Васильевич?

Он вновь подошел к окну, посвободнее раскрыл створки, сказал не мне, а кому-то там, за окном:

— Сумеет ли смирить гордыню, поймет ли?

— Но тогда тем более надо доверить этот разговор «Известиям», не так ли?

— Нет, нет, это как-то нехорошо...

Он недосказал, а было искушение сказать так, как это слово вышло в его сознании: «Нет, нет, это как-то нехорошо, не по-рыцарски». Не знаю, так ли хотел сказать Георгий Васильевич, но моему сознанию его ответ рисовался именно так: «Не по-рыцарски».

Рабочая комната Маши выходит на дорогу, которая разделяет Санта-Маргериту и Рапалло. Красный особняк, где обосновалась немецкая делегация, прямо перед окном. Виден въезд в особняк, полузастанный плющом, и дворик, тщательно выложенный камнем, старые деревья с ветвистыми кронами, по-апрельски ярко-зеленые и густые, как все деревья неподалеку от воды, рядом просторное озеро, настолько просторное, что берега его едва видны.

Пока Маша читает свою сводку, Чичерин сидит неподалеку от окна, изредка поглядывая на особняк.

— Мне попала на глаза «Секоло» — что-то там было насчет холодного чичеринского догматизма? — спрашивает Георгий Васильевич не в силах скрыть смеха.

— Будет и... холодный догматизм, Георгий Васильевич, но разрешите по порядку,— говорит Маша: она подготовилась к обстоятельному докладу, как обычно подчиненному системе, и ей не очень хочется нарушать последовательность.— Первый день конференции: дуэль Чичерин — Барту...

— О, дуэль — это хорошо! — Он пошел по комнате.— Ну, разу-

меется, на шпагах. Эфес, **граненый жиннок!**.. Три шага вперед — выпад!.. Рука на уровне плеча — туловище подвижно!..

В его реплике есть полет фантазии — она неудержима. Быть может, вспомнился Караул, просторный сарай, заваленный свежим сеном, когда, забравшись на сеновал, он отдавался стихии Дюма... Его легко населить тенями. Вон взметнул граненую сталь д'Артаньян и взмолился, подняв толстые руки, Портос. Кажется, растворились в сумерках храбрые мушкетеры — они едва видимы. Да и звон шпаг погас. Только сами шпаги зримы — вон как скрестились они, расположив сумерки. Их тонкая сталь светоносна — не будь воспоминаний о рыцарственной Франции, можно принять сверкающую сталь за лучик, прошибивший кровлю сарая. Шпага попала в полосу света и ослепила. Шпага, ударившись о шпагу, вздрогнула — видно, как колеблется упругое лезвие и поет голосом шмеля, заблудившегося в стрехах... Однако надо иметь немалую фантазию, чтобы представить себя скрестившим шпаги с воинственным Барту.

— Чичерин в дуэли с Барту проявил спокойствие и ловкость, свидетельствует «Секоло»... — Маша улыбнулась не без иронии. — Я воспроизвожу точно: ловкости!..

Она ходила по комнате, выдвигая и задвигая ящики стеллажей, как хозяин провинциальной аптеки, который стремился внушить уважение наивным землякам и самим видом своего заведения — чем больше многоцветных сосудов окружало его, тем таинственнее и, пожалуй, значительнее должно было казаться его фармацевтическое королевство.

— Там еще сказано: «Холодный догматизм Чичерина ничего не имеет общего с его итальянской первоприродой». Так и сказано: холодный догматизм.

Она мигом развеселила его.

— Холодный догматизм — это совсем не плохо для политика, — ответил он и взглянул на нее не без вызова. — Честное слово, сколько жил, столько и мечтал стать холодным догматиком! — заметил он и рассмеялся, не очень-то стремясь скрыть, как ему сейчас весело.

Чичерин просил меня съездить в Рим и повидать известного в Италии хлеботорговца, который противился отправке транспорта со жмыхом в Одессу.

Поезд пришел на заходе солнца, и прямо с вокзала я отправился в наше представительство. Тот, кто бывал в те годы в Риме, помнит трехэтажный особняк с трехгранным фонарем и башенкой, венчающей особняк, с балконами, огражденными кованым железом, с просторной верандой, где по римской жаре обычно ожидали приема гости представительства.

Мой приезд в Рим предварил звонок Воровского, и я был освобожден от хлопот о ночлеге — мне отвели комнату в полпредстве.

Я оставил вещи и сошел вниз, намереваясь отдать час-другой прогулке по городу, но едва ступив на веранду, услышал, как у дальней стеночки скрипнуло плетеное кресло и навстречу мне двинулся человек в светло-коричневой рогожке.

— Николай Андреевич, да вы ли это?

Необходимо было усилие, чтобы, преодолев низкое предвечернее солнце, бьющее в глаза, рассмотреть человека, обратившегося ко мне.

Истинно неистовы пути твои, всевышний, — передо мной стоял Федор Рерберг; впрочем, правды ради надо сказать, что его поездки в Европу в последние годы были столь обычны, что встрече с ним в Риме можно было и не удивляться.

Я почувствовал, что гнев овладевает мною при одном прикосновении к его жаркой, чуть влажной руке: это ведь он, Федор Рерберг,

подготовил уход Игоря в Специю, это он, Федор, был ответствен за последствия этого ухода.

Мы вышли к набережной Тибра и прошли вдоль ее борта, сложенного из песчаника, к скромной trattoria. Несмотря на ранний вечер, тут было почти безлюдно, река дышала запахом теплой воды, едва ли не банным, и почему-то серы — римские запахи.

Мы заняли столик у самой воды и заказали сицилийское красное и пищу с томатами и сыром — к ночи такой ужин был приятен.

— Вы уже были в Специи? — спросил я: у меня сложился свой план беседы, пока мы пробирались к берегу Тибра.

— Нет, — ответил он и с пасмурным вниманием посмотрел на меня — ничего хорошего мой вопрос ему не обещал, он это почувствовал.

— Будете?

— На следующей неделе, как только покончу с делами, — пояснил он, не сводя с меня глаз и точно стараясь угадать, что лежит за этим вопросом.

Мы подняли бокалы и даже протянули их друг другу, но не дотянулись — я увидел в этом признак недобрый.

— Вы готовы оправдать его переезд в Специю? — спросил я.

— Если не оправдать, то понять, — ответил он и пододвинул бутылку с сицилийским ко мне — его мучила жажда, он хотел пить.

— Почему?

— Он в этой своей школьной сторожке в Петровском парке и намерзся вдоволь и наголодался куда как вдоволь... — произнес он и, схватив бутылку, опрокинул ее над моим стаканом, вино, заклокотав, вспенилось. — Он бежал к солнцу... Просто сломя голову бежал к солнцу...

Захотелось призвать на помощь Марию: как бы она повела себя сейчас? Наверно, не искала бы обходных путей, а единым ударом, ударом безбоязненным, добралась до правды.

— Как мне кажется, один человек имеет право склонить другого совершить некий поступок, если сам готов этот поступок сделать, не правда ли? — спросил я.

Он не отнял бокала от губ, больше того, казалось, что он задержал его — это помогало сделать паузу долгой.

— Тут все анонимно: человек, поступок... — произнес он, поставив перед собой стакан с недопитым вином.

— Надо... прояснить? — поинтересовался я — фраза была лаконичной, быть может даже воинственно-лаконичной.

— Надо.

— Я говорю об Игоре. — Сказанного было достаточно, остальное было ясно.

— Ничто не может сделать тебя в такой мере храбрым, как родина... — произнес он.

Я не скрыл ухмылки: да Федор ли это?

— Храбрым?

— И счастливым, — добавил он убежденно. — Только отчая земля способна сообщить всю полноту счастья...

Нет, черт побери, да Федор ли это?

— Не обесцудьте, — продолжал он, — но родина — это выше твоей веры и твоих убеждений: с родины не уходят, если даже тебя гонят в три шеи...

Я готов был взорваться: вон куда повлекло Федора!

— Вы полагаете, что вас гонят в три шеи?

Видно, он ждал этого вопроса — раздался смех.

— А я и не уйду, если даже меня погонят в три шеи!

Мы стояли на каменном уступе; река опознавалась по свежему ветру, он дул снизу, из тьмы, река была там. Мне захотелось прибли-

зиться к нему и ударом плеча, легким, сшибить с камня, на котором мы стояли.

— Да понимаете ли вы, что сказали? — взревел я. — Понимаете?

— Простите, а почему мне не понять? — спросил он и отступил от края.

— Не думаете ли вы, что право на эти слова может дать вам только один поступок?

Он остановился, потом пошел, вновь остановился.

— Какой?

— Вы должны последовать за Игорем...

Он недоумевал: да не склоняю ли я его остаться в Италии? А может, я избрал эту формулу для того, чтобы дать понять ему, сколь нелогичен его поступок, если соотнести с элементарной совестью? Он огляделся вокруг и, рассмотрев во тьме матовый блеск парковой скамьи — к вечеру ее железо замутилось влагой, мы недалеко отошли от реки, — пошел к скамье.

— Значит, последовать за Игорем? Я бы последовал, но дело не во мне...

— А в ком?

— В моем Николе. Чтобы решиться, я должен верить, что ему здесь будет лучше...

Совсем рядом стояли пинии, тонкоствольные, застывшие своими кронами звездное небо. Стояли только стволы — парк просвечивался, а небо было закрыто кронами. Там, где зелени не хватало, врывались звезды. Они были точно колотый лед, попавший в поле света, — их огонь был лишен тепла.

— У человека, которому хочешь счастья, ты не отнимешь родины, — заметил я.

— Но родина — это то самое, о чем не говорят, — отрезал он поспешно, не очень-то его устраивало продолжение разговора.

Он сидел онемев — в могучих дымах, которыми сейчас был облит его ум, происходило нечто первозданное: мрак предрассветья, тьма сотворения. Казалось, с его губ срывается шепот, который еще не стал словом, не обрел внятность речи.

— Вы способны выслушать меня, отстранившись от происшедшего? — вдруг спросил он. — Без предубеждений?..

— Слушаю...

Я понимал, что предстояло мне услышать. Если бы Федор Рерберг мог обратиться в Рерберга младшего, то он сказал бы то, что тот хотел сказать. Но перевоплощение было не в его власти, и он взывал к нашей фантазии. Он точно говорил: «Представьте, что перед вами Игорь Рерберг собственной персоной, только он и никто более!.. Простите за дерзость, но я стал текучим туманом, мглой, дымом невесомым, что обвил сейчас воды Тибра. Меня нет, как нет моего мнения, моей заинтересованности, может быть даже моей корысти. Есть только Игорь Рерберг, его большое и воинственное существо. Оно вопиет — внимайте!» Итак, есть только Игорь — он, Федор, точно записал его речь на пластинку и пластинка уже крутится. Не беда, что источилась игла и поослабла пружина, — у Игоря добрая дикция и речь вполне внятна.

— Дед и отец — истинно я был между молотом и наковальней, — произнес Федор Иванович от имени Игоря, он влез в шкуру молодого Рерберга с видимым удовольствием — казалось, он делал это многократно прежде, влезая в нее и из нее выбираясь, перевоплощение для него было процессом нехитрым. — Было фатально, что отец мой отказался от фамилии деда... Да, дед был Рербергом, а отец вдруг стал Надеждиным. В том кругу, в котором вращался отец, все меняли фамилии. В новых фамилиях было больше каленого железа и кремня, чем в старых. Очевидно, по этому принципу отец принял новую фамилию, которая тоже отдавала каленым железом. Впрочем, справед-

ливости ради надо сказать, что родные матери происходили с Надеждинского рудника, и в перемене фамилии были и иные резоны. Итак, все размежевалось намертво, будто в одном отродыя не текла кровь другого: Зосима Надеждин — мой отец, Петр Рерберг — мой дед. Надеждин гнал свой пульман из края в край России, останавливаясь разве только на узловых станциях. Там, где сходил Надеждин на землю, составы становились мощнее, а паровозы прибавляли скорость — хлеб шел в Петроград и Иваново, горький хлеб восемнадцатого года... А у Петра Рерберга все было иным. Больше ногами, чем руками, он выталкивал на середину комнаты картонный короб, перехваченный бельевой веревкой, и велел распаковывать. Встав на карачки, я сдвигал бечеву, и просторный пол устилался конвертами каждый с добрый фунт, а то и полтора. Дедовской рукой, которая хранила каллиграфическое умение Рербергов, было выведено: «Не опались ненароком!», «Держать подалее от огня!», «Беречь что зеницу ока!», «Хранить — нет ничего дороже!». Впрочем, той же рукой, способной писать с нажимом, было выведено на конвертах: «Баржи в Твери», «Хлебные склады в Торжке», «Лабазы в Клину». Он шагал по комнате, усталенной пакетами так, точно по правую руку были эти самые лабазы, а по левую хлебные склады, шагал сам и велел шагать мне... Отец был Надеждин, а я все еще оставался Рербергом. И вот фокус: был бы Надеждиным — почувствовал бы себя равноправным, а остался Рербергом — точно принял на себя Рербергову опалу. С этой опалы все и началось: коли Рерберг, то и мало места на новой русской земле. И то правда: чтобы родная земля была тебе мила, равенство должно быть и твоей юдолью. Считал себя знатным человеком на земле русской, а оказался вроде вора. Да и на этом дело не кончилось! Да, как на той обетованной земле, где, схватив вора за руку, тут же отсекали ему эту самую руку — пусть трясет своей культей до далекого смертного часа: «Я вор и молю о презрении!» Да, я уже нес на себе этот венец, называемый Рерберговой опалой, и перст указующий был обращен на меня. Никто не говорил обо мне, что я сын Зосимы, говорили: внук Петра. А коли внук Петра, неси свой крест до конца. А может быть, есть место на земле, где эта культя как бы отрастает и превращается в обычную руку с запястьем, ладонью и даже перстами? Ну, например, Специя? А нельзя ли рвануть туда? Да, ринуться, преодолевая рвы, заполненные шипучим пламенем, как и стены, утыканые стеклом... Есть тут причина для утека? Есть, наверно! Но это не все. Человек — дитя природы. Как сурок, как тушканчик, как божья птица — ласточка или даже воробушек. Хочет — взлетел на развалины Колизея, а хочет — опустился на маковку самого собора Петра. Ну, разумеется, воробушка никто не принимает за хозяина вселенной, но у него самого есть чувство, что он — хозяин. Никто не может остановить его и сказать «не лети», разве только сокол, но и сокола он может послать в преисподнюю, крикнув: «Мне нипочем разные там соколы — долой их!» Необыкновенно хорошо на душе, когда ты можешь сказать соколу в глаза: «Долой сокола!» Всегда хорошо на душе, а особенно в двадцать лет. А коли не можешь сказать, есть ощущение несвободы. А несвобода — это как-то недостойно человека, ибо гасит в этом человеке искру божью... Простите меня, мое заблуждение, но гений не рождается в несвободе. Есть тут причина для этого самого утека? Наверно, есть. Но и это еще не все. Под ногами всегда должна быть суша обетованная — она создает чувство надежности. Не хлябь зыбкая, а именно суша! Однако что понимать под этой сушей прочной? Руку родителя, сильную и теплую? Хорошую специальность, у которой ты и твоя семья как у бога за пазухой? А может быть, собственность? Да, кусок земли, самый малый. А может быть, крышу, способную охранить тебя от холода и ненастья, крышу нехитрую, но твою? Последнее обязательно: твою, твою... Наверно, есть человек, которому эта земля и крыша что пятое

колесо в телеге, но тому, кто наголодался и намерзся, это не помешает, честное слово, не помешает... По-моему, Игорь обрел в Специи то, что искал. Не Специя, а рай.

Федор сидел сейчас тихий и, пожалуй, несмелый. Очень страшился, что здание, которое он ощупью построил во тьме, я могу разрушить. Его бы устраивало, если бы я смолчал. Дослушал бы и обратил разговор в иное русло, а может быть, просто ответил немотой, в которой есть забвение могилы. Но мне не хотелось молчать.

— От этого рая в Специи вы и уберегли Николу? — спросил я. — Почему? Хотите, скажу?

— Скажите, — молвил он.

— То, что Игорь не понимает, как, наверно, не понимает и Никола, вы уже поняли, однако... я порядочно продрог на этой скамье — пошли к реке, там теплее...

Он вздохнул, его вздох отозвался в расселине Тибра, глубоко внизу, у самой воды, и, казалось, устрасил его. Он вздрогнул, ткнулся во тьму и растекся в ней — я остался один.

Едва мы минули массивные ворота виллы «Альбертис», молодой человек с садовыми ножницами в руках вышел нам навстречу. Чтобы отвечать нашему представлению о хозяине виллы, как мы его видели, глядя на хозяйку, ему только бороды не доставало.

— Сожалею, что отсутствовал прошлый раз и не мог приветствовать вас на вилле «Альбертис», — сказал молодой человек и снял шляпу. — Мистер премьер-министр прав: ничто так не раскрывает существа человека, как выбор...

Молодой д'Альбертис воссоздал формулу валлийца, не лишив ее интонации, которой окрасил эту формулу Ллойд-Джордж: настенная картина обрела едва ли не ритуальный смысл — к ней, видно, можно было подводить неверующих, творить обряд обращения в христианство.

— О, сколько человек живет на свете, столько и выбирает свой путь в жизни, выбор — это совсем не мало, — повторил молодой хозяин, стремясь вовлечь русского в разговор.

Молодой хозяин шел сейчас рядом с Чичериным, не без любопытства скосив на него глаза. О чем мог думать он? Все эти дни имя русского было на устах генуэзцев. Истинно они признали в нем итальянца. С тех пор как во дворце Сан-Джорджо русский утвердил свою привилегию над англичанином и походя поколотил француза, было даже интересно признать в нем итальянца. Но это было в первый день генуэзской баталии, а с тех пор прошло уже три дня, и в стремлении понять русского генуэзцы сделали успехи. Даже интересно, размышляя о бедовом русском министре, чья родословная берет начало на Апеннинах, оттолкнуть от себя грешную землю, пофантазировать. Если тут не участвует чудо, как объяснить: сын богача, да и сам наверняка богач отменный пошел на службу к беднякам? Именно богач отменный: быть может, владел пшеничными угодьями, в пределах которых можно было поместить Тоскану и Лигурию...

А Чичерину невдомек, как далеко умчался в своих мыслях молодой хозяин виллы, с благоговейной немотой шествующий рядом. Мысли русского министра обращены к насущному. Он думает о том, что в предстоящие два часа может решиться судьба конференции в Генуе. Именно в эти два часа все может встать на свои места. Достаточно усилия, чтобы увидеть, что произойдет за высокими просветами особняка, как бы вышедшего сейчас русским навстречу из-за темно-зеленых сосен, но есть ли смысл в прогнозах? Ведь бывало же, и нередко, что самые резонные предсказания рушились. Однако русские во всеоружии? Чичерин обернулся: солнце добралось до роговых окуляров Литвинова и точно подожгло их, не окуляры, а автомобильные огни. Где беседа достигнет кульминации и что это будет

означать для русских? Литвинов приподнимает портфель, поднимает невысоко, но земное светило, казалось, дотягивается и до медных застежек портфеля: неровен час красный петух подожжет святая святых делегации — литвиновский портфель. Именно святая святых: хранителем документации стал Литвинов — пока портфель в литвиновских руках, русским нечего бояться.

Вновь открывается дверь, встроенная в торцовую стену, и Ллойд-Джордж идет по залу, припадая на правую ногу, сопровождаемый неизменной троицей: Барту, Тенис и Шанцер. Не для того же он пригласил к себе достопочтенную троицу, чтобы еще раз осудить Париса за легковверный выбор, — очевидно, генуэзское торжище действительно вступило в такую стадию, когда хитрому британцу не до Париса. Если предположить, что встреча делегатов Антанты, которая только что закончилась в соседней комнате, имела целью сообразовать и степень согласия и степень возражений, то нет необходимости начинать разговор с речи русского делегата. Резоннее начать разговор самому.

Наивно думать, что Ллойд-Джордж не использовал утра, чтобы хорошенько обдумать свою речь. Его утренняя прогулка к взгорью, венчающему холм, откуда открывается вид на Геную, была использована, чтобы сообщить речи страсть. Кто-то сказал о нем: красноречие вырывалось у него сразу, как огонь из дома, объятого пожаром. Но то была речь на предвыборном митинге или кровопролитный поединок с тори на подмостках Вестминстера. Здесь иное дело: речь-раздумье, которая так давалась всегда валлийцу и у которой свои точные правила. Свои точные правила? Да, несомненно. Они, эти правила, гласят: отыскать в периферийном ряду человека, который слушает тебя, и вести разговор как бы с ним, только с ним, апеллируя к его доброй воле, стремясь предупредить течение его мыслей, если соглашаться с ним, то снисходительно, если возражать ему, то щадя. Ни в коем случае не переходить в своей речи на галоп, каждой мысли давать развитие, каждую мысль подчинять логике целого. Понимать, что излишняя жестикуляция воспринимается аудиторией как сознание того, что твоя способность убеждать недостаточна. Записи могут быть, но аудитория не должна их видеть — уметь держать их в сознании. Конечно же, ты можешь очутиться в трагическом положении: аудиторию ты не убедил, больше того, она тебе враждебна, но боже упаси, чтобы ты стремился завоевать ее, сообщая голосу грозные тона. Ты должен показать, что не боишься слушателей, но обращаясь к ним, не угрожаешь, а всего лишь действуешь на их разум, на их способность внимать силе довода. И еще: должен быть оппонент. Без него речь мертва. А в данном случае оппонент тебе дан самим богом: Чичерин... Однако, возражая ему, не создавай впечатления, что хочешь взять реванш за неудачу в Сан-Джорджо. Наоборот, яви великодушие, достойное оппонента, — он-то был великодушен, больше того, добр. Аудитория? Ну, тридцать человек, что заняли свои места вокруг овального стола, это даже меньше, чем кворум на Даунинг-стрит, но у тебя есть опыт разговора и перед такой аудиторией. Кстати, все тридцать поместились вокруг овального стола, которому суждено быть свидетелем нынешнего важного тура.

Отыщем истоки спора и попробуем разобраться в их первопричинах. Запад настаивает на возвращении старых русских долгов. Россия отказывается их принять, требуя, чтобы Запад покрыл убытки, нанесенные интервенцией: пятьдесят миллиардов золотых рублей. Именно эту сумму назвал сегодня Литвинов. Одна эта сумма способна свергнуть в немоту.

Но Ллойд-Джорджу надо говорить, и он готов по праву лидера взять слово. Нет причин обращаться к безымянному делегату в периферийном ряду, когда напротив сидит человек, которому это должно быть адресовано. Русский сегодня выглядит усталым, лицо у него заметно серое, может быть даже серо-зеленое — во дворце Сан-Джорд-

жо он выглядел молодцеватее. Ллойд-Джордж взглянул на русского и улыбнулся почти загадочно — нечего сказать, необычное начало избрал британский премьер для своей речи! Он посмотрел на русского еще раз и улыбнулся откровеннее — улыбка Ллойд-Джорджа лишила делегатов, сидящих за столом, дыхания: что бы это могло значить? Но улыбаясь, быть может, без особых к тому причин, Ллойд-Джордж заметно поправил себе настроение — ничто так не помогает самообладанию, как улыбка.

— Нынешний разговор с русскими напомнил мне нашу денежную тяжбу с Ирландией, — едва ли не засмеялся британский премьер. — Англичане назвали скромную сумму своих претензий — восемнадцать миллионов фунтов стерлингов, а ирландцы заявили о претензии в три с половиной миллиарда, имея в виду несправедливости, нанесенные им на протяжении веков. — Он поднял руки ладонями вверх, точно взвешивая незримый груз. — Русская сумма непостижима: пятьдесят миллиардов. Зачем было вообще ехать в Геную? То, что зовется интервенцией, было всего лишь помощью тем силам, которые стояли на стороне союзников в их борьбе с Германией!.. Если воспользоваться средствами, которые предложили русские для подсчета убытков, то правомочно определить и ущерб, который нанес союзникам Брест-Литовский мир, — русский долг одной Британии превзошел восемь миллиардов! Можно учитывать любые факторы, ослабившие экономику России, но какое дело до этого людям, участвовавшим в займе России, например английским фермерам? Да имеет ли британское правительство право, действуя от имени этих лиц, отказать от возвращения долга? Я, например, не имею на это права.

Ллойд-Джордж закончил свою речь почти на гневной ноте — по крайней мере от улыбки, которая осенила начало речи, не осталось и следа. Можно было не соглашаться с британским премьером, но в доводах, которые он привел, была своя логика. В кругу тех, кто сидел сейчас за столом, а большая часть их была на стороне Ллойд-Джорджа, продолжение разговора было осложнено заметно. Пауза, наступившая после того, как британский премьер закончил, была долгой — Чичерин точно дал возможность этой паузе завладеть вниманием.

Как полагает он, Чичерин, именно союзники дали силу движению, которое подняло руку на революцию в России. Он хорошо помнит заявление союзников, датированное 4 июня 1918 года, — этот документ недвусмысленно гласит, что отряды белочехов в России должны рассматриваться как «армия самой Антанты». Документ этот не единствен — русские располагают текстами договоров Колчака и Врангеля с союзниками, у этих договоров тот же смысл. Правительство обязано возмещать ущерб, нанесенный его войсками, — это принцип международного права. Англичане не отвергали этот принцип, а признавали его еще с тех достопамятных времен, когда должны были выплатить полную сумму убытков, нанесенных действиями крейсера «Алабама» в Гражданской войне с американским Севером. Если же говорить о военных долгах, то уместно сказать: Россия от войны понесла более значительные потери, чем любое другое государство, — больше половины потерь Антанты приходится на Россию. Русское правительство истратило двадцать миллиардов на войну, в то время как прибыли пошли другой стороне. Наши контрпретензии далеко превышают сумму долгов.

— Если русские не хотят платить процентов, то должны погасить самую сумму долга, — возоптал Ллойд-Джордж. — Речь идет и о частных займодавцах, частных, чьи фабрики и заводы остались в России... — произнес он и закатил глаза, уперев их в лепной плафон зала, — казалось, что довод о частных лицах, взносы которых составляли долю русского долга, был единственным, на который еще возлагали известные надежды Ллойд-Джордж и его коллеги.

— Как можно вернуть заводы, о которых вы говорите? — спросил Чичерин британского премьера, точно приглашая вместе с ним поразмыслить над сущностью этой проблемы. — Стоимость их не так уж велика, но сделать это не просто — одни предприятия стали частью крупных объединений и не могут быть оттуда изъяты, возвращению других воспрепятствуют рабочие.

— Те, кого британский премьер назвал частными работодателями, не так безобидны, как может показаться, — заметил Литвинов, до сих пор хранивший молчание. — Лесли Уркарт помогал Колчаку свергать советскую власть, а теперь говорит, что не несет ответственности, а деньги свои хочет получить назад. Вопрос о пятидесяти миллиардах нами не ставился бы, если соответствующих требований нам бы не предъявлял Запад. Погаси Запад наши требования, мы из этой суммы оплатили бы долги кредиторам...

— Независимо от того, как закончится эта дискуссия, — Красин пощекотал седеющую бородку, — настало время вернуть России ее флот — мы уже получили двенадцать ледоколов, есть резон вернуть и военные корабли...

И вновь овальный стол и тридцать человек, сидящих за ним, как бы накрыло пространном облаком тишины — два часа дискуссии давали повод для раздумий значительных.

— Нам, пожалуй, есть смысл посоветоваться, — наконец произнес Ллойд-Джордж, уловив печальный взгляд французского коллеги.

— Нас меньше, и потому мы выйдем, — тут же реагировал Чичерин.

Русские покинули большой зал виллы «Альбертис» и неширокой дорожкой, влажной от прошедшего дождя, пошли в дальний конец парка.

— Леонид Борисович, с чем мы уедем сегодня с виллы «Альбертис»? — обернулся к Красину Чичерин.

— Вы требуете от меня прогноза, Георгий Васильевич? — Красин остановился, свет неяркого генуэзского дня лежал на его лице, откровенно хмурым — встреча в большом зале виллы «Альбертис» не воодушевляла.

— Если хотите — прогноза...

Красин застегнул пиджак — на холме было ветрено.

— Они склонятся к мнению Барту, а это почти ультиматум...

Чичерину казалось, что красинские слова были слышны и Литвинову, который шел поотстав.

— Максим Максимыч, с чем мы уедем сегодня отсюда?

— Союзники... не отступят. — Он помолчал, ожидая, что собеседники пойдут дальше, но никто не тронулся с места. — А как... быть нам?

— Если не отступят, нельзя стоять на месте... — пояснил Чичерин.

— Нельзя, разумеется, — произнес Красин и посмотрел на Чичерина — тот медленно пошел дальше.

Небо успело расчиститься, и Генуя, только что застланная облаками, точно открылась взору, когда гонец британского премьера разыскал русских делегатов на краю парка и пригласил в дом; однако союзникам потребовалось меньше часа, чтобы прийти к единому мнению, — признак не столько хороший, сколько плохой.

Когда русские вновь появились на пороге большого зала, шум голосов, которым был полон зал, сменился столь внезапной и столь тревожной тишиной, какая наступает, когда входят недруги. Даже общительный Ллойд-Джордж, не упускающий случая, чтобы ослативить аудиторию многоцветным спичем, на этот раз не нашел ничего более уместного, как взять в руки страничку, заполненную машинописным текстом, и, придав лицу соответствующее выражение, начать читать.

Смысл того, что предстояло услышать русским, раскрывала эта

страничка. И то, что это была всего лишь страничка, и то, что ее не было прежде и она появилась только теперь, и то, что она была заполнена текстом всего лишь на две трети, обнаруживало лаконичность невиданную, а следовательно, твердость. Короче, это был ультиматум. Но, может быть, есть резон вникнуть в смысл документа — Ллойд-Джордж уже читает. Союзники настаивают на своих претензиях и отвергают контрпретензии русских. Если главный вопрос будет решен положительно, союзники готовы пойти на известные льготы во всем, что касается сокращения размеров долга, как и сроков его выплаты. Участие союзников в восстановлении России не снижается, но об этом есть смысл условиться лишь после того, как будет решен главный вопрос.

Итак, ультиматум, непонятно было только то, что русские выслушали документ сидя, — в таких случаях встают.

— Остается нерешенным вопрос о ледоколах, — вдруг вспомнил Ллойд-Джордж, обращаясь к Красину. — Как ни важен этот вопрос, конференцию он не сорвет, а если что-либо и расколет, то только лед предубеждения...

Раздался смех на задних скамьях — полагая, что кадамбур удался, Ллойд-Джордж опустился на стул с таким видом, будто бы по крайней мере выиграл генуэзское сражение.

— Как я понимаю, речь должна идти не о долгах, а о будущем наших отношений, — произнес Чичерин: видно, категорический тон документа подействовал и на него, в его реплике явно обнаруживалось желание найти компромисс.

— Британские банкиры не станут говорить о будущем, пока прошлое не будет улажено, — отрезал Ллойд-Джордж с воинственностью, какая у него до сих пор не обнаруживалась, — смятение в голосе Чичерина придало ему храбрости.

Барту откашлялся — он точно дал понять, что настала его минута.

— Господину Чичерину надо сказать недвусмысленно по вопросу о долгах — сказать «да» или «нет», — произнес француз почти ласково, до сих пор его выступления были выдержаны в иных тонах. — Вести себя иначе значит читать книгу с последней главы.

Барту полагает: французы ищут взаимопонимания — в знак доказательства, что это именно так, он, Барту, молчал сегодня весь день...

— Искать взаимопонимания значит показать, что ты способен понять не только свою позицию, но и противной стороны, — парировал Чичерин — у него была способность этой молниеносной реакции, лишающей противника контрдовода.

Барту смолчал, демонстрируя всем своим видом: если он, Барту, обратился сегодня к обету молчания, то какой смысл было этот обет нарушать?

Когда автомобили с русской делегацией выехали за пределы каменной ограды виллы «Альбертис», толпа корреспондентов преградила им путь. Десятки рук уперлись в радиатор, отказываясь пропустить автомобиль. Корреспонденты размахивали зонтиками как шпагами. Корреспонденты казались голодными, были злы и готовы на любую дерзость. Они задирались — скандал их устраивал.

— Только одно слово: как переговоры? — слышалось со всех сторон.

— Переговоры продолжаются! — выкрикнул Красин — два эти слова как пароль были уготованы заранее.

Толпа нехотя расступилась: ей было невдомек, что формула «переговоры продолжаются» не столько отражала действительное положение дел, сколько его скрывала.

Но голод взъярил в этот день не только корреспондентов, он обошел порядочно и нас. Когда мы собрались за обеденным столом, вначале нервное молчание сковало всех. Вопреки правилу, исправно действующему, в этот день горячее было подано с опозданием, и это не

способствовало настроению. Кто-то присолил ломтик хлеба и торопливо упледел, кто-то разбавил воду вином и выпил. Когда появилось горячее, уже не было прежнего аппетита и вся энергия обратилась к беседе.

Литвинов. Сравнив нас с ирландцами, Ллойд-Джордж хотел того или нет, но сделал нас участниками внутрибританского спора... Хорошо это или плохо?

Воровский. Хорошо ли быть подданным Британии? По-моему, не очень!

Все рассмеялись, в том числе и Литвинов, — усталость точно рукой сняло.

Рудзутак. Надо взглянуть на положение дел здраво: как далеко пойдет Антанта в своих уступках и пойдет ли она на эти уступки. (Он любил это слово: здраво.) Большой долг — главное. Захотят ли они его скостить?

Ответом было молчание. В нем явно был отрицательный заряд. Нет — точно говорили сидящие за столом.

Рудзутак. А если так, нельзя с этим фактом не считаться. Никаких иллюзий. Смотреть на вещи трезво. (Он любил и это слово: трезво.)

Литвинов. Тогда как же быть?

Чичерин. Надо искать иные пути?

Литвинов. И продолжать переговоры с Антантой?

Чичерин. Продолжать, обязательно продолжать, а как же иначе?

Вновь наступило молчание, но на этот раз, как мне показалось, оно несло положительное электричество.

Я заметил: Чичерин исследует проблему в ходе беседы, однако не каждый годен для такой беседы — Георгию Васильевичу нужен собеседник, умеющий возражать. Именно возражать, настойчиво, со страстью, даже строптиво. Лучше всего такая беседа ладится на прогулке. В Москве, например, он все время выманивал меня на Сретенский бульвар, к стенам Рождественского монастыря, в переулки, лежащие между Мясницкой и Покровкой.

Не просто обнаружить тихую ныне Сретенку на генуэзских холмах. Поэтому наш маршрут пролегает по улочкам, прилегающим к морю.

В походе по Генуе сегодня с нами Красин. Была бы воля Леонида Борисовича, он бы сообщил нашей прогулке иные скорости. Строит нам заговориться с Георгием Васильевичем, как быстрые крылья Красина уносят его далеко вперед.

— У таких городов, как Генуя, есть отличительная черта: ты никогда не был в нем, а такое впечатление, что жил в нем, при этом долго. Идешь по городу и ловишь себя на мысли: ты был здесь, ты был... И все-таки это чувство обманчиво: тебе еще надо почувствовать Геную, а следовательно, признать...

— Если ты признаешь Паганини, должен признать и Геную? — поднял я глаза на Чичерина; мы шли сейчас под гору, к морю.

— Признать Геную труднее... — согласился он меланхолично и с неодолимой пристальностью посмотрел над собой — мы стояли у стен Сан-Джорджо.

— Три дня назад все казалось проще? — спросил я: громада дворца, освещенная, точно дышала холодом — казалось, от нее шел ветер.

— Все можно предусмотреть, трудно предугадать это... — сказал Чичерин.

Мы пошли припортовой улочкой. Моряки, сидя на корточках, играли в карты — колода выкладывалась на кирпичи. Из погребка доносилась песня — до хмеля было далеко, и песня ладилась. У распахнутых дверей стояла женщина — она была массивна, и высокие каблуки чудом ее удерживали, женщина устала, едва ли не сникла, но

продолжала стоять храбро. На подоконнике сидел грузчик и, зажав в пятерне бутылку красного, пил из горлышка — струйка вина, извиваясь, бежала по руке заголенной, оставляя сизую полоску.

Мы достигли каменного парапета набережной и встали над водой.

— Раз так, не надо было приезжать в Геную, сказал Ллойд-Джордж... — Чичерин медленно пошел вдоль парапета. — Он говорил о нас, а можно было подумать, что говорит и о себе... Если он говорил о себе, это было не бессмысленно.

— А о нас, Георгий Васильевич?

Чичерин молчал; небо было бирюзовым, и вода была бирюзовой, даже припортовая вода в масляных пятнах и щепе.

— Когда вы последний раз видели Мальцана? — спросил Чичерин — вопрос как бы возник вдруг и словно был отгорожен от предыдущего разговора иным смыслом, совершенно иным смыслом, и все-таки существо этого вопроса надо было познавать в связи с тем, что ему предшествовало... Однако что было этим существом: приезд в Геную был оправдан в связи с пребыванием в ней немцев?..

Итак, когда я последний раз видел Мальцана? По-моему, это было третьего дня утром. Мы встретились с ним в резиденции Факты, где я получал разрешение на поездку наших дипкурьеров. Мальцан поклонился, как мне показалось, сдержанно и был более обычного лаконичен в своих расспросах. Его вопрос звучал приблизительно так: «Газеты сообщили о новой поездке русских на виллу «Альбертис» — это уже третья встреча или четвертая?» Я сказал, придав лицу возможно более серьезное выражение: «Пятая». Он не подверг мой ответ сомнению. «Пятая?» — спросил он.

— Если бы вы сказали «первая», он был бы не так обескуражен? — спросил Георгий Васильевич. — Это была печаль?

— Больше того — тревога, — ответил Красин, случайно оказавшийся рядом.

Чичерин рассмеялся:

— Значит... тревога?

Вот так-то: великодушного Чичерина, участливого к беде другого, тревога Мальцана почти воодушевила — да не черпал ли он надежду в беспокойстве немца? Может, и черпал — по крайней мере это и ему показалось забавным.

Мы идем к площади Де Ферари и затихаем, пораженные благородной строгостью форм собора. Чичерин кивает — взгляд его просителен. Войдем? — точно говорит он. Как не войти?

Мы поднимаемся на паперть, однако, прежде чем войти, замечаем поодаль от собора густо-лиловую ладью лимузина — не владелец ли генуэзец, воспользовавшись послеобеденным затишьем, пришел в Сан-Лоренцо просить всевышнего о снисхождении?

— Нет, не генуэзец, — сказал Красин, взглянув на автомобиль глазами знатока. — Я вижу клетчатое кепи драйвера — если не лондонец, то манчестерец...

В полутьме собора, подсвеченной сине-оранжевым сиянием витража, звучит орган. Голос его, отраженный плоскими стенами собора, певуч. Кажется, что поют сами камни — орган умолкает, но он не в силах смирить голоса, который еще живет в камне не угасая, а, наоборот, разгораясь все ярче. Кажется, что голос этот вздул пламя свечей, обратил в трепет оранжевые блики витражей, заставил вибрировать сам камень собора.

Собор пуст, только слева в поле света, который нещедро цедит узкое окно, самозабвенно молится молодая женщина. Лица ее нам не видно, однако свет точно взвихрил и рассыпал ее темно-русые волосы. Каждый раз, когда она припадает к пористому камню пола, тяжелые локоны, только что налитанные соборной полутьмой, точно загораются. Женщину воодушевила ее молитва — истинно она нашла себя в ней.

Только теперь мы увидели: над женщиной, опершись на толстую палку, замер человек. И его лица мы не видим, но хорошо видны спина, стянутая тканью его деми, более тяжелой, чем та, которую носят по нынешней поре генуэзцы, затылок, насеченный ощутимо глубокими складками, по которым, как по срезу дерева, угадывается возраст, едва ли не предзакатный. Вдохновенное таинство, которое творит сейчас молодая женщина, не оставило человека с палкой равнодушным: каждый раз, когда женщина бьет поклон всевышнему, массивную фигуру человека точно поводит. Не было бы палки в знатных наростах дерева, мы бы не увидели руки человека, лежащей на набалдашнике,— женская рука! Да, маленькая женская рука, упрятанная от солнца, а поэтому неестественно белая, тонкая в запястье, настолько тонкая, что, того гляди, хрустнет и обломится, маленькая, с заметно удлиненными пальцами, которые казались хрупкими. Что-то подобное я уже видел однажды, но где? Наверняка это было не недавно, иначе процесс припоминания не заставил бы себя ждать. Память прошибает мглу годов. Кладбищенский мрамор где-то здесь, в Италии, ярко-черный, полированный, и слепок маленькой женской руки точно такой — ярко-белый, не потревоженный солнцем и, пожалуй, в такой же мере безжизненный. Однако чу... рука на набалдашнике обнаружила признаки жизни — в том, как она сдавила набалдашник, была сила неженская...

Как ни ограничено видение, Красин рассмотрел в облике человека, защитившего своей могучей спиной женщину, нечто такое, что заметно встревожило русского.

— Да не опознали ли вы в этом господине со стеком известного детектива, предавшего разору лондонский Сити, Леонид Борисович? — произнес едва слышно Чичерин.

— Вы правы, Георгий Васильевич, и имя его... Лесли Уркарт.

— Уркарт в Генуе, Николай Андреевич? Однако не думал я, что за подтверждением этой новости мы явимся в Сан-Лоренцо.

— По всей вероятности, Георгий Васильевич, хотя утренние газеты еще не подтвердили это категорически.

— Но Леонид Борисович готов подтвердить это? — произнес Чичерин, направляясь к выходу из храма, — в словах была энергия, в походке она отсутствовала: не хотел обнаруживать, что посреди собора Сан-Лоренцо для него взорвалась бомба.

— Мне ничего не остается, как подтвердить это, Георгий Васильевич, — сказал Красин.

Мы вышли на паперть.

Солнце сместилось, и лиловая ладья, стоящая у собора, стала синей.

— Кто эта молодая женщина, которую упросил Уркарт молить католического бога, и о чем она этого бога молила? — спросил Чичерин весело — казалось, веселый голос возник сам собой при виде солнца. — О чем молила?

— Не иначе как о возвращении Эльтона и Баскунчака, — рассмеялся Красин.

— Уркарт в Генуе, Лесли Уркарт в Генуе... — произнес Чичерин и прибавил шаг — казалось, он шел сейчас слепопалуденной Генуей один.

(Окончание следует)



ЮРИЙ НАГИБИН

★

ИТАЛЬЯНСКАЯ ТЕТРАДЬ

Кондотьер

На площади Сан-Джованни и Паоло, бегло осмотрев собор и заглянув в примыкающий старинный госпиталь, мы с женой расстались; она пошла в город по магазинам, мне же хотелось побыть с Бартоломео Коллеони, чей знаменитый конный монумент высится у левого крыла собора. Мы решили встретиться в обед в небольшой трактирии, примеченной нами, когда мы шли сюда с набережной Большого канала.

Бронзовый гигант известен каждому, кто бывал в Музее изобразительных искусств в Москве, по великолепной, в натуральную величину копии, установленной в нижнем зале, с которого начинается осмотр. Я влюбился в лучшее творение Андреа Верроккьо, когда впервые десятилетним мальчишкой попал в музей, который мать по старинке называла Музеем изящных искусств. В тот прекрасный жгуче-морозный январский день я раз и навсегда полюбил изящные искусства, и кровь во мне сменилась: послушное домашнее животное, прилежный ученик стал злостным прогульщиком, лентяем и лгуном. Вместо школы я чуть не каждый день отправлялся в музей, без зазрения совести обманывая и домашних и учителей, выгадывая своим враньем свободу и очарование. Так облагораживающе подействовали на незрелую душу изящные искусства.

Конечно, я полюбил многое в музее, но Коллеони остался во мне первой любовью. Он могуч и прекрасен, так же могуч и прекрасен его конь. В горделивом поставе прямой крепкой фигуры, в жестких морщинах грозного лица, в косо выдвинутом вперед плече под железным оплечьем, в неумолимом и победном облике воителя было все, чем пленяется героическое мальчишеское сердце. К тому же очаровывало, туманило голову звучное и таинственное слово «кондотьер». Я так же не задумывался над его смыслом, как и над смыслом другого заветного слова: «мушкетер». Мне не было дела, что кондотьер — это наемный военачальник, продающий свой меч любому, кто хорошо заплатит, а мушкетер — хранитель королевской особы. Я вкладывал свой смысл в эти слова, в тяжело-звонком «кондотьер» звучала битва, стук мечей, топот тяжелых коней, в «мушкетере» — скрежет острых шпаг.

Было и еще одно, сделавшее скульптуру Верроккьо столь важной для меня. Подавленные муки совести отыграв лись смутным ожиданием расплаты, я всякий раз не верил, что попаду в музей. Не верил, садясь в кольцевую «аннушку», не верил, приближаясь к ограде музея, не верил, подымаясь по широким каменным ступеням и слыша свое громко стучащее сердце, не верил, минуя контроль — это было самым страшным испытанием, — и разом исполнялся захлебывающейся

веры, обнаруживая исчерна-зеленого кондотьера на своем месте. Правда, до этого счастливого мига мой стыдливый взгляд должен был скользнуть по белому, голому, как из бани, Давиду, держащему на плече что-то вроде мочалки, а затем уже находил Коллеони, и был мне бронзовый воитель гарантией предстоящего счастья.

Я продолжал любить Коллеони и взрослым, видя в нем уже не героя, а воплощение не пробужденной временем к сомнению и милосердию средневековой души, зная, что полагается больше любить другого конника в том же зале — Гатемалату, созданного учителем Верроккьо, великим Донателло, ибо в нем больше гармонии, спокойствия, величавости, столь приличествующих скульптурным образам. Не экспрессия и движение стихия скульптуры, а состояние великого, сосредоточенного покоя. Это утверждали в один голос все экскурсоводы. Но я оставался верен Коллеони и всю жизнь мечтал о встрече с ним подлинным, первозданным под небом Венеции. И как всегда бывает, оказываясь в Италии, не мог добраться до жемчужины Адриатики. Тоска по Коллеони стала ностальгическим бредом о детстве и пронзительной чистоте былого мировосприятия.

Наконец-то свершилось... Вот он стоит на высоком постаменте еще более величественный в просторе и одиночестве, чем в тесноте музейного зала. И два времени — нынешнее, венецианское, и давнее, московского детства, — слились в моей душе.

Полное, радостное, чуть усталое чувство паломника, достигшего земли обетованной, владеет мною. Я не спеша захожу в прохладную ладанную мглу храма, смотрю на темные, почти неразличимые фрески и картины, на яркие пятна витражей и возвращаюсь на площадь, под синее венецианское небо, по которому проплывают битые осенние морские облака, погружая в тень фигуру кондотьера.

Я не замечаю движения времени, мгновение остановилось...

— Синьор, я к вашим услугам. Хотите осмотреть храм, госпиталь или вас интересует памятник?

Он был похож на артиста Тото, такая же небольшая озябшая фигурка в светлом плаще с поднятым воротником, горбоносое, узкое, насморочное лицо с выступающим подбородком, полоской усов и темными, будто исплаканными глазами. Его грудь защищал от вей морских ветров несвежий шерстяной шарф, на руках были замшевые перчатки с дырочками на концах пальцев, но лихо заломленная фетровая шляпа придавала унылому облику некоторую жизнестойкость. Фигура этого человека уже мелькала передо мной и здесь, на площади, и в храме. Таких вот гидов-добровольцев полно возле любого памятного места, они подхватывают растерянных туристов-одиночек и за малую мзду знакомят с достопримечательностями. Этим занимаются разные люди: чаще всего пенсионеры, иногда безработные, нередко просто бездельники, предпочитающие случайный, но легкий заработок трудам праведным. Мне показалось, что обратившийся ко мне человек принадлежит к последней категории. Для пенсионера он недостаточно стар, для безработного слишком беспечен при всей своей захудалости. Он был одним из тех людей, что держатся в жизни лишь привычкой жить и при этом сохраняют хорошее настроение. Мотылек, моль, и все-таки пусть будет и такая краска на палитре жизни. Но сейчас мне хотелось остаться наедине с Коллеони, и я повел себя не слишком любезно.

— Не говорю по-итальянски, — сказал я по-немецки и тут же раскаялся.

— Синьор — немец? — спросил он с мягким венским произношением. — У нас не будет затруднений.

— Будут, — буркнул я по-английски.

— Синьор предпочитает английский? — улыбнулся человек и, предупреждая новый ход с моей стороны, произнес с американским акцентом: — Я могу и по-французски, и по-испански, и по-гречески...

— Не пойдет! — возликовал я на своем родном языке. — Я могу только по-русски...

— Чудесно! — радостно вскричал человек. — Я три года провел в русском плену и даже думать стал по-русски. Конечно, прошло столько лет... Как я говорю?

Я вынужден был признать, что говорит он на удивление чисто.

— У меня большие способности к языкам. Сложись моя жизнь иначе... — Он вздохнул. — Так что будем смотреть?

И чего он ко мне привязался? Я видел, как с ним расплачивалась чета белокрысых, вываренных в щелоке шведов. Он получил достаточно на порцию спагетти, или равиоли, или острой пиццы-неаполитано с анчоусами и на кружку светлого в таверне средней руки. А уже приближалось обеденное время, и не в обычае у таких людей жить впрок. Может, он разлакомился на порцию жареной рыбы с картофелем и бутылочку кьянти? Желание вполне понятное. Но у нас с женой на счету была каждая лира, мы всякий раз внимательно изучали вывешенное перед входом в trattoria меню, прежде чем переступить порог. Обойдется без рыбы с картофелем, гурман несчастный!

— Кондотьер Бартоломео Коллеони родился в Бергамо, — сообщил человек, не дождавшись моего ответа.

— Я был в Бергамо, заходил в церковь, где он похоронен, видел надгробье и каменную конную статую, не идущую в сравнение с памятником Верроккьо, — быстро проговорил я.

— Синьор много успел! — с огорчением сказал человек. — Может быть, мы пройдем в храм?

— Я уже был там и прослушал по автомату немецкое объяснение. Вряд ли вы скажете мне что-то новое.

Он не пытался убедить меня в противном. Свои сведения о храме он несомненно почерпнул из того же источника — автоматического гида, приводимого в действие двумя монетами по сто лир. И все же нелегко ему было вычеркнуть из своего меню жареную рыбу с картофелем и бутылочку кьянти. Впрочем, не исключено, что он мечтал о мельбе и чашке черного душистого кофе. Он сказал, хитровато прищурившись:

— Но ведь о Коллеони вы не слышали лекции?

— Я и так все знаю. С детства.

— Я говорю не о памятнике. А что знает синьор о самом Коллеони? Не о свирепом и беспощадном воине, страшном для врагов Венеции, умевшей платить больше других нужным людям, а о Коллеони-человеке?

— А что о нем знать?.. — пробормотал я, чувствуя, что крючок бьет меня по губам.

— Это будет стоить всего одну миллю, — сказал человек. — Жалкую тысячу лир. Неужели знаменитый кондотьер этого не стоит?

Тысяча лир, мятая бумажка с портретом Микеланджело, полагается мне в день на карманные расходы. Это чепуха — один доллар и двадцать центов. Но с другой стороны, это большая кружка пива или две чашечки кофе и право сидеть допоздна в открытом кафе на площади Сан-Марко, слушая музыку. И если б я верил, что он действительно может рассказать что-то интересное!..

— Знаете, — сказал я, — а ведь мы с вами встречались. Лет десять назад.

Он почему-то смутился.

— Н-не думаю... Где, простите?

— В Риме. Вы рассказывали, почему улыбается Джоконда.

— Синьор, поверьте, за всю мою жизнь я лишь раз покинул Венецию и сразу оказался в плену. — Для убедительности он прижимал руку к сердцу. — А там — Сибирь, снег и очень холодно. Это навсегда отбило у меня вкус к путешествиям. Я не был в Риме, даже в Падуе не был. Вы меня с кем-то путаете. И я не знаю, почему улыбается Джо-

конда. Наверное, просто от хорошего настроения. Но зато я знаю, что Коллеони, этот знаменитый воин, гроза врагов, звонкий щит и разящий меч Венеции, свирепый и непобедимый кондотьер, был.. слабым человеком.

Я ждал чего угодно, но только не этого, и попался:

— Господь с вами! Откуда вы это взяли?

— Могучий кондотьер смертельно боялся своей жены. Это была настоящая ведьма, дьявол в юбке. Но, конечно, для своих домашних, окружающие видели ее улыбку. И потому лишь немногие догадывались о семейном кошмаре Бартоломео. Когда он возвращался из походов, то попадал из огня да в полымя. С той разницей, что в битвах лил чужую кровь, а здесь терял свою. Да, да, скандальная и здоровенная баба швыряла ему в голову чем попало, дралась, царапалась и кусалась. Бедняга не решался снять латы и даже спал во всем своем железе.

— За что же она его так?

— Она считала, что он мало приносит в дом. Другие, мол, кондотьеры больше берут. Злая и корыстная баба. Для нее он был никчемным человеком, шляпой, размазней. Тут она сильно расходилась с его врагами, которых он крушил и топтал на полях сражений, а потом безжалостно грабил. Но дома он был тише воды, ниже травы. Что, храбрец,— теперь он обращался прямо к кондотьеру,— нашлась и на тебя управа? Крепко доставалось от женушки?.. И знаете,— он хохотнул и втянул носовую влагу,— она ему изменяла. Кондотьер, под которым дрожала земля, не мог заставить дрожать семейное ложе. Он был роконосец. Рогоносец Коллеони — хорошо звучит! — И оттопырив указательный палец и мизинец, он стал показывать козу кондотьеру.

Для итальянца нет ничего оскорбительнее этого жеста. Сама измена не ранит так сильно, как насмешка. Тихий, мирный, робкий итальянец может кинуться в драку, обнажить нож, чтобы рассчитаться с обидчиком. Мне почудилось, что Коллеони тронул коня, сейчас он рухнет с пьедестала и разотрет в порошок наглеца. Железный гнев не минует и того, кто прислушивался к сплетне. Конечно, это была игра воображения. Недоступный земному лепету, надменный и сокрушительный, вел он сквозь вечность, как сквозь битвы, своего могучего коня.

И все-таки история гида меня позабавила. Он точно сработал на контрасте и, главное, посеял во мне какое-то сомнение. А что, если в самом деле могучий Коллеони был мужем-подкаблучником? Занятна такая живая и неожиданная краска в человеческом балагане. Да нет, гид использовал старый, давно известный прием. Как там у Лермонтова о другом бесстрашном паладине?

Вернулся он в свой дом
Без славы и без злата.
Глядит — детей содом.
Жена его брюхата.
Пришибло старика...

Но разобраться в этом мне не удалось. Тишина взорвалась праведным гневом моей вернувшейся жены. Она столько успела, а я все еще валандаюсь, как нищий у церковной паперти. Давно пора обещать. Она сбила ноги, разыскивая меня по всем тратториям. Никакие объяснения не принимались. Торопливо кивнув gidу, я подхватил жену под руку.

— Кондотьер,— послышался укоризненный голос,— а где же обещанная милля?

Я ему ничего не обещал, но сразу дал деньги. Не за вранье о Коллеони, а за новеллу, которую он мне подарил своей прелестной наглостью...

Вечерняя прогулка к термам Каракаллы

Решив рассказать, как мы ходили к термам Каракаллы в Риме, я вдруг удивился сходству этого слова с русским «теремом». Неужто тут общий корень? Термос — это тепло. Нет бани без тепла, и терем, как всякое жилье, дает кров и тепло. Непременная принадлежность терема — теплые сени. А с другой стороны, терем — высокое строение, стало быть, он как-то связан со словом «турм» — башня.

Императорские термы (в Риме есть еще термы Диоклетиана и термы Траяна) служили не только для омовения, они были чем-то вроде клуба, здесь беседовали, рассуждали, спорили, читали вслух и пели, здесь звучали кифары, авлосы и лиры. И прохладное вино лилось в термах для остуды и освежения купальщиков, и тонкие яства подкрепляли умяченную плоть отдыхающих на благоуханном ложе.

Каракалла — обычный древнеримский подонок, взошел на убийстве (прикончил своего брата-соправителя Гету), держался на массовых убийствах (резня в Александрии) и пал от руки убийцы — преторианца Макрина. В свободное от убийств время он покровительствовал строительству. При нем много строили — и в Риме и в римских провинциях. Его бани — самые громадные после Колизея останки цезарийского Рима. Сейчас здесь ставят оперы и монументальные спектакли. Здесь же, под звездным небом, наш поэт в расцвете своей громокипящей юности сеял разумное, доброе, но, увы, не вечное. Понятно, что нам не терпелось к баням Каракаллы, и, найдя их на карте города, составив маршрут, мы отправились в ранний, окрашенный нежно-алым закатом подвечер из нашей маленькой гостиницы, затерявшейся в кривых улочках близ форума, в сторону Колизея. Впрочем, я зря расписываюсь за жену, которая вовсе не разделяла моего энтузиазма в отношении терм. Она почему-то не доверяла Риму за Колизеем. Ей по душе была та часть города, которая примыкает к вилле Боргезе, древние обнажения ее тревожили, арку же Константина она считала тем пределом, за который вообще лучше не выходить. Мне стоило немало труда убедить ее, что нас ждет очаровательная и романтическая прогулка.

В новых городах полезно менять маршруты даже с риском запутаться. Смело сворачивайте в незнакомые улицы, переулки, дворы, пусть вы собьетесь с дороги, испытаете растерянность, страх, в конце концов вы непременно будете вознаграждены каким-нибудь открытием, встречей. Вопреки обыкновению мы пошли к Колизею не по виа Кавур, самой прозаической и деловой улице Вечного города, а по узенькой улочке, носящей имя древнеримского цирка, и сразу были награждены вознесением. Непонятно, каким образом мы очутились высоко над городом, над Палатинским холмом, вровень с верхними ярусами Колизея.

Прямо под нами оказался вход в метро и полицейский участок с крошечными фигурками блюстителей порядка в нарядных плащках с алым подбоем; справедливо было бы называть их жертвами итальянского беспорядка, ибо не проходит дня, чтобы их не убивали. От Сицилии до швейцарской границы идет беспощадная охота на полицейских. Но эти «моритури» (обреченные смерти) не становятся осмотрительней, собранней и серьезней; под дулами бандитских пистолетов они думают только о девочках.

Нам надо было спуститься вниз, чтобы попасть на улицу С. Грегорио, которая приводит к широкой и длинной улице Терм Каракаллы. Но спуска не было. Нам не оставалось ничего другого, как идти вперед, и гигантская обкусанная чаша Колизея медленно тронулась в одном с нами направлении. Конечно, то был обман зрения. Мы отмахивали урны, деревья, кусты, скамейки, клумбы, внизу скрылась арка Константина, прежде зримая в перспективе, но если судить по

Колизею, то мы не продвинулись ни на шаг. Пытаясь осилить наваждение, мы все прибавляли шаг, но темный громозд справа, за узким глубоким ущельем улицы, опровергал наши жалкие усилия. Я не суеверен, но чувствителен к смещениям в трезвой обыденности бытия и вижу в них настораживающий знак каких-то тайных сил. Из этого вовсе не следует, что я охладел к цели нашего похода, скорее наоборот, ибо понял, что нас ждут неожиданности. Видимо, и жена это поняла, но с другим чувством.

— Знаешь, — сказала она мрачно, — я не вижу ничего очаровательного в нашей прогулке.

Выручить нас мог только спуск. Уйти от Колизея в этой выси было невозможно. Он медленно плыл вровень с нами сквозь сгущающуюся тьму, а потом вдруг озарился бледным, мертвенным светом, явив чудовищный оскал мертвеца. И тут мы увидели узенькую крутую каменную лестницу, уступами сбегающую вниз. Мы кинулись к ней и, совершив головокружительный спуск по ее обшарпанным, покрытым мохом ступеням, оказались напротив арки Константина. Мы с женой молча приняли это издевательское чудо, неразгадываемость которого как-то странно настроила нас друг против друга. Каждому казалось, что другой не был на страже, что лишь ослаблением заботы о близкой жизни объясняется тревожная нелепица получасового бега, оставившего нас на том же самом месте.

Переходили мы улицу на одном из худших перекрестков Рима поврозь. Я — в несколько бросков, угадывая мгновения спада в лавинном потоке транспорта. Мне помогли платформы трамвайных остановок и резервные зоны. Жена задумала дело вовсе безнадежное: дожидаться, что бы все светофоры т-образного, с двухсторонним движением перекрестка дали красный свет. Она ждала этого теоретически невозможного момента с терпеливым упрямством трусости, глухой ко всякой логике. И когда я уже начал махать ей рукой, чтобы она возвращалась в гостиницу, случилось невероятное: все светофоры зажгли красный свет, парализовав движение на всех улицах, выходящих к перекрестку.

...Мы миновали арку Константина и пошли по очень прямой, ярко освещенной улице С. Грегорио. Справа чернели на фоне затухающей зари развалины Палатино, слева тянулось темное, поросшее деревьями всхолмие, светились огни вилл. С чудовищной быстротой проносились машины, казалось, все они куда-то опаздывают. И было в этой части города что-то странное, тревожное, а что, — мы не могли взять в толк, пока не увидели одинокую юношескую фигуру на краю тротуара. На улице не было прохожих, широкий тротуар пустынен из конца в конец, только шуршат шинами равнодушные, словно необитаемые автомобили.

И так приятно было явление живой человеческой плоти в этом бездушии металла и скоростей. Можно спросить незнакомого человека, правильно ли мы идем, просто обменяться взглядом. Но мы опоздали. На огромной скорости подлетел маленький «фиат» и, взвизгнув тормозами, замер возле юноши. Тот что-то закричал и приветственно взмахнул рукой, в которой держал цветок. Дверца машины распахнулась. Мы увидели смуглую обнаженную руку, большие темные очки в под-лица, рыжие курчавые волосы.

Рослый юноша сложился и ловко юркнул в машину. В салоне горел свет. Мы видели, как он вручил цветок водителю и был награжден нежным шлепком по щеке. Его большая рука легла на рыжий загривок, пальцы зарылись в волосы, заиграли там, он медленно приблизил губы к любимому лицу.

Я почувствовал легкое прикосновение к своему локтю. Очарование чужого счастья вернуло мне жену.

— Тыфу, гадость! — сказала жена и отдернула руку, отстранилась, вновь убедившись в моем бессилии перед окружающим миром.

В машине находились два парня: рыжий и брюнет. Через мгновение они пронеслись мимо нас, рыжая голова покоилась на плече спутника.

Пьяцца ди Порто Капена повергла нас в растерянность и ужас. На карте это аккуратный кружочек, в действительности хаотическое пространство, где скрещиваются, переплетаются потоки машин, автобусов, троллейбусов и трамваев, где в беспорядке торчат высоченные дома и угрюмые развалины, где подступает лес, шумят деревья, воет негородской ветер; сюда вливаются и отсюда вытекают широченные, похожие на реки улицы без тротуаров — нельзя же считать тротуарами узенькие полоски плитняка, охлестываемые ветром пронсящих машин. И невозможно понять систему движения, приспособиться к нему, опасность грозит со всех сторон, здесь нет ни правил, ни ограничений, человек брошен на растерзание железным хищникам. Здесь признают только дальний ослепляющий свет. Лучи смерти тянутся со всех сторон, и нет спасения. Ослепленные, оглушенные, ошарашенные безжалостным буйством площади, мы бессмысленно метались среди машин, не выгадывая даже малого приближения к цели...

Звонки, гудки, скрежет и лязг тормозов, наше сбитое дыхание, резь в глазах, охлест воздушных волн от больших машин и вдруг — небольшое возвышение, три сросшихся корнями дерева и урна, набитая доверху палыми листьями. Островок в бушующем море, здесь можно перевести дух, осмотреться. Но лучи мощных фар не дают проглянуть пространство. Лишь ночное небо дарит ощущением покоя и прочности в этом взбаламученном мире. Справа по мутной мгле нарезан какой-то силуэт: то ли кроны деревьев, то ли облака. Вспоминая, что по карте там должен быть зеленый массив. Тогда рослые деревья слева — парк Капенских ворот. Значит, надо идти прямо, в сторону площади Нумы Помпилия. Не доходя ее, мы должны увидеть термы. Обреченно, забыв о безопасности, мы ринулись поперек светового потока...

Нам не суждено было погибнуть на этой площади. И настал такой миг, когда мы увидели чудовищный мрачный громозд, облитый луной, ставшей прямо над ним. Термы в отличие от других исторических развалин не подсвечивались, во всяком случае в этот вечер. И у жены мелькнула надежда, что мы ограничимся лицезрением их со стороны. Но мы приняли столько мук, что надо было довести дело до конца, и, крепко взяв жену за руку, я потащил ее через все струящиеся гибельным светом аллеи безбрежной улицы.

Наверное, термы выглядят иначе, когда преобразаются в театр или даруют трибуну поэту, но сейчас эти колоссальные черные мертвые камни производили удручающее впечатление. Они усугубляли бездушность ночи. И тут мы увидели крошечный костерок под стеной и компанию молодежи вокруг него и доверчиво пошли на этот свет.

Девочка лет пятнадцати в белом коротком платице, открывавшем тонкие руки до плеч, впадины подмышек и длинные ноги до тощих бедер, ломалась в странном танце, озаряемая красноватым светом пламени. У нее были густые длинные волосы, то и дело падавшие ей на лицо. Она отбрасывала их назад сильным взмахом головы. Странно, никак нельзя было понять, какой она масти. Волосы то отблескивали медью, то казались совсем черными. Девочка танцевала изо всех силенок, она так выламывала свое худенькое тело, что становилось за нее страшно. Ее усилия пропадали впустую, никто на нее не смотрел. Смотрели на нас — трое или четверо подростков, лежащих на траве и передающих друг другу красную точку сигареты.

Внезапно костер потух. То не был настоящий костер, горела кучка бумажного мусора и палых листьев. Девушка продолжала изгибаться, отбрасывая с лица меняющие цвет волосы. Глаза парней горели зеленым в темноте. Они лежали очень тихо и восторженно смотре-

ли на нас. Чем-то нездоровым веяло от этих затаившихся наблюдателей да и от плясуньи с движениями твистующей лунатички.

В траве обозначилась тропинка, она вела внутрь терм. Неторопливо, спокойно, словно таково и было наше намерение, мы пошли этой тропинкой. Волчьи глаза неотступно следили за нами. Сквозь лиственную и бумажную гарь тянуло сладковатым дымком.

Мы беспрепятственно ступили в широкую расщелину, разломившую толстую стену. Я успел заметить, до чего хорошо стала луна над развороченным нутром терм, с графической четкостью распределив здесь серебро и чернь, как мимо нас метнулась, возникнув из-под земли, мужская фигура и прынула во тьму. И тут же послышался короткий, резкий свист. Мы ненароком вторглись в чью-то дорожащую покровом жизнь, вспугнули ее, встревожили. Разумнее не настаивать на своем присутствии. У нас хватило выдержки выйти из терм через другой лаз, чтобы не сталкиваться с юными наркоманами, возможно уже одолевшими стадию безволия.

— А все-таки хорошо, что мы сюда пришли, — сказал я. — Только вечером это производит впечатление. А днем все становится обыденным — очередные развалины.

Была у нас такая домашняя игра: в любом свершенном промахе стараться найти что-то положительное, доказать друг другу, что мы не такие уж растерянные перед жизнью идиоты. Но впервые жена не подхватила игры.

— Думай лучше о том, как попасть домой.

Я обиделся и прошел вперед. И сразу завизжали тормоза. Возле жены стал, как лист перед травой, серый «фиат», и курчавый парень, высунувшись из дверцы, что-то кричал ей. Нас предупреждали: женщина с сумочкой на плече не должна ходить близко к поребрику тротуара — есть такие ловкие водители, что сдергивают сумку на полном ходу. Я кинулся на выручку. Парень поглядел, захлопнул дверцу и, круто отвалив от тротуара, укатил.

Пройдя немного вперед, мы увидели стоящий у тротуара серый «фиат» с погашенными фарами. Но через заднее стекло там кто-то проглядывался. Неужели курчавый оборкот решил повторить попытку знакомства с сумочкой жены, сообразив, что ему противостоит лишь старый седой человек?

— Пойдем на ту сторону, — сказала жена. — Вон к той часовенке.

Насчет часовенки она добавила, щадя мое самолюбие, но я и не собирался делать вид, что мне море по колено. Как-то вдруг я понял нашу совершенную безоружность в этом темном, безжалостном и молодом мире.

Мы перебежали аллею и оказались на клочке земли, мысом вдававшемся в площадь. Здесь стояла старенькая часовня под рослыми, еще не облетевшими деревьями, в их тени приютилось две машины: старый «ситроен» и новенький «альфа-ромео». Мы заметили их, только очутившись между ними. А справа у тротуара остался серый «фиат» — то ли с нашим курчавым знакомцем, то ли с каким-то другим умелым ночным человеком.

— Наверное, у них тут стоянка, — тихо сказала жена.

Но она сама понимала, что на такой стоянке машина не задержится. К тому же в «ситроене» сидел человек и, положив подбородок на руль, неотрывно глядел на «альфа-ромео». Это нас подбодрило: если он что и злоумышлял, то, очевидно, не против нас.

Мы как раз поравнялись с «альфа-ромео», когда оттуда вышла голая женщина. Так показалось нам в первое мгновение — нам бросилась в глаза ее большая белая грудь, которую она грубо запихивала в лифчик, и голые ноги. Нет, на ней были трусики телесного цвета. В свободной руке она держала светлый пыльник. Женщина пронесла мимо нас свое немолодое, серое, влажное от трудов и закупоренной

духоты машины, усталое лицо, опавшее спертым запахом дешевых духов, пота и папиросного дыма, и медленно направилась к «ситроену».

А первая машина резко рванула с места. И тут же от тротуара на ее место приземлился серый «фиат». Конвейер любви работал образцово.

Мы побрели к площади Нумы Помпилия, которую я вдруг вспомнил, как вспомнил и эту улицу и термы Карака лы; все это я не раз видел, ведь тут проходит главная дорога в аэропорт Леонардо да Винчи, поэтому так велик и стремителен поток машин.

— Жаль, что термы не работают, — сказала жена. — После нашей романтической прогулки хочется отмыться.

Поэт

Когда мы вернулись в Милан после трехнедельной поездки по стране, наш милый хозяин Джанни сказал, что его друг-милионер приглашает нас на ужин. Мы приняли известие с адронковно, быть итальянским миллионером не фокус, если при всех падениях один американский доллар стоит восемьсот двенадцать лир. Джанни поторопился уточнить: его друг — миллионер в долларах, а в лирах — миллиардер. Лет десять назад ему досталась в наследство небольшая фабрика; талантливый инженер и волевой администратор, он превратил фабрику в одно из самых доходных предприятий Ломбардии.

Миллиардер жил под Миланом, в небольшом городке, где провозятся автомобильные гонки. Там у него вилла, но есть еще квартира в Милане, охотничий домик в горах, за озером Комо, и мыза в Скандинавии, его жена-северянка любит фиорды и снежную зиму. Из шуточных намеков Джанни мы поняли, что если будем хорошо себя вести, то удостоимся приглашения во все резиденции миллиардера, кроме скандинавской в связи с ее отдаленностью. Мы дали себе слово на один вечер забыть о классовых боях.

Я никогда не имел дела с миллиардером и думал, что появление его должно быть обставлено торжественно, вроде выхода восточного властелина или римского кесаря, — трубы, букцины, флейты, карнай, кимвалы, ковровые дорожки, белые слоны, полуголые рабы. И был сильно разочарован, когда в полутемном баре миллиардерской виллы, где мы пили аперитивы, невысокий круглый человечек с чаплинскими усиками сунул мне небольшую теплую руку и назвал священным именем. Он показался мне тихим, скромным, рассеянным и даже грустным. Потом, в клубе, где нас ждал ужин, во время долгого застолья, наблюдая, как он ест, пьет, разговаривает, вернее ленится есть, пить, разговаривать и даже слушать, я понял, что его поведение диктуется пресыщением. Ему все надоело, и он не хочет притворяться, будто ему весело. Героический период жизни, когда он подымал фабрику, давно миновал, теперь дело движется почти без его участия; он был три или четыре раза счастливо женат, особенно удачным оказался последний брак с красивой северной женщиной, подарившей ему наследника; младенец надежно защищен от процветающего в стране киднапинга двумя вооруженными до зубов охранниками, мамками и няньками в пуленепроницаемых жилетах; к путешествиям он давно остыл; скучная доступность всех остальных радостей заставляет его быть верным жене, воздерживаться от вина, не одеваться по моде, на нем поношенный клубный пиджак с оторванной на животе пуговицей, мягкие фланелевые брючки, нечищенные ботинки, кое-как повязанный шерстяной галстук; его «мерседес» полагалось бы давно сменить, даже будь он убогим миллионером по-итальянски. Но все это ему безразлично. К его услугам лучшие портные Лондона, штучные «роллс-ройсы» или «мерседесы» с блиндированными стеклами, впрочем, к личной безопасности он совершенно равнодушен. Похоже, он не

прочь, чтобы его похитили, все-таки какое-то разнообразие. Считается, что большие деньги заставляют стремиться к еще большим деньгам, но этот инженер, видать, не стал настоящим капиталистом.

Лишь раз обнаружил он свой сильный характер. Джанни пошел танцевать. Ресторан был почти пуст. Из-за частых нападений на рестораны миланцы утратили вкус к ночной жизни. После девяти улицы города пустеют, одинокие фигуры принадлежат полицейским, карабинерам, наркоманам и педерастам. И хотя у въезда на территорию клуба дежурит крепкий паренек с перебитым носом и вздувающейся от пистолета подмышкой, клубмены предпочитают ужинать дома. Почувствовав себя по-домашнему, Джанни снял пиджак и стал пародировать новомодные танцы. Джанни — коммерсант, но он явно прошел мимо своего настоящего призвания: с удлиненным, глазастым, необыкновенно подвижным лицом и долгим пластичным телом, с умением подмечать смешное в окружающих и ловко копировать, он прирожденный комик. Убеден, снимайся Джанни в кино, он затмил бы умученных режиссерами и порядком выдохшихся Альберто Сорди и Уго Тоньяци. Любимый номер Джанни — это пресловутый Андреотти, которого он почему-то особенно не любит. Так и сейчас Джанни выдал танец рамолизированного старичка, в котором все сразу узнали бывшего премьера.

Потом Джанни танцевал, как подвыпивший карабинер, как накурившийся марихуаны наркоман, как гомосексуалист, испытывающий отвращение к партнерше, как усталый жиголо на Ривьере. Ему стало жарко, он скинул пиджак и с блеском изобразил танец провинциального мафиози, из которого сыплются ножи и пистолеты. А когда музыка стихла, к нему подошел администратор и сказал, что устав клуба запрещает танцевать без пиджака и что отныне он здесь «персона нон грата». Джанни рассмеялся, поклонился и, сделав лицо скорбящего Андреотти, вернулся за столик.

И тут послышался неожиданно громкий и жесткий голос: миллиардер потребовал счет и лист чистой бумаги. Счет он небрежно подписал, кинул официанту чаевые, а растерявшемуся администратору вручил заявление о выходе из клуба.

— Шампанское и кофе будем пить дома, — сказал он нам и, резко двинув стулом, поднялся.

Пока мы шли к выходу, к нему подбегали взволнованные, огорченные люди и упрашивали взять заявление назад. Их лепет словно не достигал его слуха. Обращались и к Джанни — с извинениями и просьбами о заступничестве, тот улыбался, прижимал руки к груди, закатывал глаза — мол, рад бы, да не властен. Откуда-то извлекли древнего, впрозелень старца, наверное одного из старейшин клуба. Миллиардер снизошел до ответа:

— Оскорбили моего друга, здесь мне нечего делать.

А дома за кофе он подсел ко мне и спросил по-немецки с грустно-доверительной интонацией:

— Вы любите поэзию?

— Очень!

— Вы правду говорите?

— Конечно. — Меня удивило, что он придает этому значение. —

Я люблю поэзию больше прозы.

— А знаете, — сказал он застенчиво, — я пишу стихи.

— И печатаетесь?

— Зачем?.. Но для друзей я издал небольшой сборник. Всего сто экземпляров, впрочем, и это куда больше, чем нужно. Разве бывает у человека сто друзей? Даже если причислить к друзьям всех бедных родственников.

Он вышел из комнаты и вернулся с папкой в руках. Стихи не были сброшюрованы; отпечатанные на отдельных листах изумительной, плотной и нежной, как сафьян, будто дышащей бумаги не типограф-

скими литерами, а рисованными буквами, они были вложены в строго оформленную папку. Меня трудно удивить полиграфическими чудесами, я видел старинные издания Библии, молитвенники королей, монографию о Босхе семнадцатого века в переплете из свиной кожи, с золотыми застешками, и все же я был потрясен. Расточительная щедрость издания была обуздана безукоризненным вкусом.

Он писал маленькие стихотворения — четверостишия и восьми-стишия, каждое напечатано на отдельном листе.

— Великолепно! — восхитился я от души.

— Подарить вам?

— Спасибо. Жаль, я не читаю по-итальянски.

— Хотите послушать коротенькое стихотворение по-немецки? Оно сложилось, пока мы ужинали.

Как разительно меняет человека прикосновенность к проклятому и благословенному делу литературы! Куда девался пресыщенный, равнодушный хозяин жизни? Из-за очков струился мягкий, молящий свет коричневых беспомощных глаз. А что ему до меня — случайного знакомого человека, которого он больше не увидит, к тому же глухого к итальянскому звучанию стихов? Но мы принадлежим к одному братству боли, и сейчас я был важнее для него всех друзей и всех бедных родственников.

Он прочел коротенькое стихотворение, набросанное на бумажной салфетке.

— Хотите знать, как это звучит по-русски? — спросил я.

— Я все равно не пойму.

— У вас же ухо поэта.

Слова, слова,
Всего-то лишь слова...
Но — высшая вам честь!
Все тлен и суета,
Вы — есть.

— И это стихи?

— Я не умею переводить, стихи получились сами собой.

— И смысл есть?

— Да. Очень неожиданный для владельца фабрики.

— Как она мне надоела! Вот единственное, для чего стоит жить. —

Он что-то размашисто написал на титульном листе своего сборника и подвинул папку ко мне. — Я несчастен, видит бог... — Беспомощный взгляд коричневых глаз за очками приметно подтвердел. — Но без фабрики я был бы еще несчастнее.

Животный мир Италии

Животный мир Италии богат. Прежде всего здесь очень много собак. Их любят. В нашей маленькой гостинице не было ни ресторана, ни кафе, и мы ходили завтракать в бар на углу улицы Кавура. Несколько столиков было вынесено на тротуар под цветные зонтики; отсюда хорошо открывалось восхождение форума с базиликой Массенцио, и кормили тут недурно — за две милли можно получить завтрак туриста: омлет с ветчиной, булочку, кофе. Мы приходили в девятом часу, когда итальянцы выводят собак на прогулку. Через несколько дней мы уже знали всех местных псов. Очень мила была старая овчарка, хотя я не люблю эту породу. Связано это для меня с карателями в дни войны. Умная и преданная овчарка в том ничуть не повинна, так распорядился ее судьбой Великий Хозяин. Этот же старый пес на полусогнутых ногах и с обвислым брюхом, почти касающимся земли, был существом домашним, он никогда ни-

кого не выслеживал и не преследовал, не сторожил, не облаивал, чтобы привлечь погоню, не валил на землю и не рвал зубами. С огромным, неомраченным доверием к людям и всему существу, он лишь в силу врожденной деликатности и тонкого воспитания не обнаруживал бурно распирающих его нежных чувств. Он приходил сюда в сопровождении дряхлого хозяина в поношенном, но безукоризненно отутюженном костюме и белой рубашке с крахмальным воротничком. У хозяина был голый смуглый череп в коричневых пятнах и крапчатая рука, он заказывал себе чашечку крепчайшего кофе, а псу — хлебец. Но до этого, только ступив на территорию бара, пес начинал со всеми раскланиваться, при каждом кивке еще ниже припадая к земле. Это наминало придворные поклоны испанской знати. Он раскланивался с посетителями, с их собаками, не умевшими ему ответить и глупо лаявшими, с розовой кошкой владельца бара, с ней особенно любезно, потому что то была злая и несчастная кошка, она то и дело шипела и выгибала горбом шелудивую спину. Он кланялся даже голубям, ходившим враскачку меж столиков, нахальным воробьям, залетавшим под цветные зонты. Его приветливостью окрашивалось утро.

Появляясь здесь, он всегда заставлял двух молодых бродячих дворняжек сорочьей расцветки, видимо близких родственниц — где у одной бело, у другой черно, и наоборот. Завидев овчарку, дворняжки ложились на спину, кверху нежным блохастым брюхом, передние лапы поджаты, их жалобная поза читалась как непротивление злу насилием. Старая овчарка жмурилась от смущения и отвешивала каждой по любезнейшему поклону. Дворняжки вскакивали, благодарно повизгивая.

Был еще маленький пуделек, который все время служил. Сперва перед собственным хозяином, молодым толстым обжорой, затем, получив кусок сахара и твердо зная, что ничего больше не дождешься, у других столиков. Подачку он брал не жадно, но, верно, гордился своим умением сидеть столбиком. Был еще красный сеттер, приходивший с хозяином за газетой. Толстую, свернутую в трубочку утреннюю газету ему полагалось нести в зубах, но это было еще не главное его умение. Хозяин неизменно забывал у стойки бара зонтик. Пес деловито возвращался, опускал газету на пол, брал в пасть зонтик, осторожно и ловко подхватывал газету и трусил за хозяином.

Был мрачный жесткошерстный терьер со спутанной бородашкой, был огромный добродушный сенбернар, пускающий тягучую слюну с брыл, и была жемчужная тонконогая борзая, которая смеялась, обнажая верхние мелкие зубки.

Много было всяких собак, и была ужасная собака. В ней смешались разные крови: блютерьер дал заросшую морду, спаниель — расцветку и гусиные лапы, эрдель — курчавый чепрак. Из этой мешанины получилось милое существо, сейчас уже очень старое, потрепанное жизнью, но живое и доброе. Беда была в другом: под брюхом у нее колыхались большие черные тугие мешки — изуродованные болезнью, раком видать, сосцы. При ходьбе они раскачивались словно колокола. Бедняга не понимала своей непривлекательности и доверчиво сновала между столиками, ожидая подачки. Люди брезгливо отворачивались, иногда не глядя кидали какой-нибудь кусок. Она съедала его неторопливо и признательно и тянулась мордой к дарителю в надежде, что он ее погладит. Похоже, ей больше хотелось ласки, чем куска. На моих глазах она этого не дождалась. Правда, никто ее не гнал, не шпынял, не обидел словом. Но хозяин бара, рослый черноглазый молодец в спортивной куртке и туфлях «адидаас», видел, что больное животное неаппетитно посетителям. Он подзывал собаку свистом, давал понюхать обрезок колбасы и кидал его за ограду заведения. Что-то странное и тягостное появлялось в собачьем взгляде. Неужели она догадывалась?.. В этом нет ничего невозможного: поведение окружающих, прежде таких приветливых, стало иным, когда

она почувствовала неудобство и тяжесть от своих чудовищно разбухших сосков.

Но и это несчастное существо не было вовсе обделено лаской. Каждый день на угол тупичка возле траттории приходил старик пенсионер со складным креслом и двумя нахлебниками: собакой и кошкой, которые в своем возрасте были еще старше его. Он устанавливал кресло, удобно усаживался и начинал созерцать окружающую жизнь. Нахлебники заваливались спать у его ног, прижавшись друг к другу спинами. Кошка спала беззвучно, собака повизгивала во сне, сучила лапами, наверное, ей снилось, что она гонится за кошкой.

У старика была странность: он всякий раз приносил с собой коробку с форсистыми оранжевыми полуботинками. Он доставал их, разглядывал, мял, нюхал, оглаживал чистые, не касавшиеся пола подметки, терся о них щекой и клал туфли назад в коробку. Когда же мимо проходили соседи и знакомые, а старика знал весь квартал, он снова доставал обновку и горделиво показывал. Я так и не узнал: купил ли он их, или получил в подарок, или сам стачал, или выиграл в лотерею. И навсегда осталось для меня тайной, что значили оранжевые полуботинки в символическом мировом бытии.

К этому старику, покончив с колбасой, подходила больная собачонка. Нахлебники не чуяли ее во сне. Она ложилась по правую руку старика. Он что-то говорил ей, потом нагибался, отчего кровь прилиwała к его лбу и темени, как у святого Петра, распятого вниз головой, и начинал осторожно массировать ей сосцы большой и легкой рукой рабочего человека. Собака потягивалась, благодарно поскулиwała, что-то отпускало ее внутри, и, лизнув старикову руку, она умиротворенно закрывала глаза седыми ресницами и засыпала. Старик распрямлялся, кровь медленно сплывала с лица. Он кричал хозяину бара, чтобы тот подал ему стакан пива.

Хорошо относятся в Италии к собакам, с уважением. Собак много, они гадят на улицах, но никто не делает из этого трагедии, не предлагает их уничтожить, ни даже ограничить место для выгуливания одним квадратным метром за помойкой. И лай их никому не мешает и лезущая в линьку шерсть. Собаки не мешают людям, и люди не мешают собакам. Похоже, помнят, что некогда вырвали из природы и приучили служить себе дикого, свободного зверя, воспитали в нем собачью преданность и тем самым обязали себя ответной заботой. На этом негласном фговоре все равно больше выигрывают люди, собаки и так совершенны, а люди научаются доброте...

Италия — голубиная страна. Голубей много во всех городах, но особенно в Риме, Венеции, Флоренции и Милане. Прошу прощения у Неаполя, возможно, он не уступает своим собратьям, но я попал туда в какой-то неголубиный день. И запомнились мне крупные чайки. В Риме голуби — хозяева площади Навонна; треск голубиных крыльев не умолкает над площадью Дуомо во Флоренции, площадью Сан-Марко в Венеции; соборная площадь в Милане кишит голубями, случается, им отдают лапы зазевавшиеся прохожие. В голубиной толпе всегда есть хромцы, но потом лапка заживает, и голубь возвращается к обычной беспечности. Самые забалованные голуби — на Домской площади в Милане. Они не боятся ни людей, ни кошек, ни собак, никому не уступают дорогу и взлетают только для того, чтобы облепить голову и плечи туриста, ставшего перед аппаратом уличного фотографа. Они знают, что турист ради хороших снимков будет скармливать им отборное зерно, которое приобрел у того же фотографа. Огромный пассаж Виктора Эммануила, выходящий аркой на площадь, затянут частой сеткой от голубей, лишь внизу оставлен проход для посетителей. Если б не эта предосторожность, знаменитая галерея стала бы голубятней — от пола до потолка в клейком, несмываемом и несчищаемом помете. При всем том газеты не называют голубя

«опасным другом», «разносчиком заразы», «птицей-антисанитаром», наталкивая нервный ум граждан на мысль, что уничтожение голубей оздоровит общество. Нет, тут твердо помнят, символом чего был и остался для человечества голубь.

Очень много голубей на площади Ла Скала. В центре площади — памятник Леонардо да Винчи. Мастер стоит на высоком постаменте, а ниже его по четырем углам разместились леонарδεςки — преданные ученики, оказавшиеся в вечном плену у таинственной Леонардовой улыбки. Они так и не обрели собственной индивидуальности, хотя картины их можно встретить в лучших музеях мира: изысканный Джованни Антонио Бельтраффио с острой аристократической бородой, простодушный Марко Д'Оджионне — каптенармус художнической артели, трагический Чезаре Да Сесто, мучительно томившийся своей зависимостью от Учителя, и самый талантливый — Андреа Соларио, едва не вырвавшийся из магического круга. Леонардо чуть наклонил в раздумье голову под знаменитым плоским беретом, борода струится по груди. Лицо сосредоточено, пылливо и мягко-печально. В рослой фигуре — изящество и сила, чем и отличались искусство и личность художника. Хороший памятник. Я что ни день ходил к нему, и в конце концов мне открылось странное чудо. Огромный Виктор Эммануил на соседней Домской площади загажен голубями от копыт лошадей по треуголку, кажется, что он гипсовый, а не бронзовый. Иное дело — памятник Леонардо. Голуби делают различие между Мастером и учениками. Хотя высящаяся в центре монументальная фигура Леонардо является самой привлекательной посадочной площадкой для голубей, редко-редко на плечи или голову Мастера опустится одинокий сизарь и тут же летит прочь, будто испугнутый окриком. В то же время низенькие леонарδεςки облеплены голубями и ссохшимися потеками их внимания. Я не вижу тут ничего мистического: когда чужой голубь или невоспитанный малолеток, не знакомый с правилами поведения, нарушает этикет, старожилы предупреждают — прочь, сюда нельзя, садись на Бельтраффио или Д'Оджионне, что тебе, места мало?.. Растения, как известно, отзываются на ласку и могут сами регулировать подачу влаги к своим корням и тепла к зеленому телу — такие опыты ставились неоднократно, так неужели же одушевленным существам, тысячелетия прожившим возле человека, не знать, кто такой Леонардо и как надо обходиться с величайшим гением Ренессанса?..

Когда мы приехали в Рим, то оказалось, что заказанный нами по телефону номер в маленькой неплохой гостинице освободится только завтра утром. Администратор, в меру смущенный накладкой, предложил отвести нас в соседний отельчик, где есть свободный номер, крайне спартанский, зато и очень дешевый. Мы, конечно, согласились, не ночевать же на развалинах форума. Багаж у нас забрали, утром его перенесут в наш законный номер, и мы отправились налегке, что было весьма кстати, поскольку лифта в захудалом отельчике не имелось. Поднявшись на пятый этаж по узкой деревянной винтовой лестнице, мы оказались прямо перед нашим номером, выше — чердак. Отомкнув дверь ключиком от обычного английского замка (как я люблю массивные гостиничные ключи, так блаженно заполняющие ладони!), мы ступили в маленький голый номер с полутораспальной кроватью, одним-единственным стулом, тумбочкой и тяжелой настольной лампой. Не было ни шкафа, ни вешалки, ни хотя бы гвоздя, чтобы повесить одежду. Не было и умывальника, зато имелась дамская фарфоровая ваза и ночная посуда из того же сверхтяжелого металла, что и лампа. Нам предоставили для ночевки убежище летучей любви. Жена раскрыла постель, белье было свежее, чистое, но все же мы решили спать не раздеваясь. Несколько подавленные, мы погасили свет и легли на грешное ложе, накрывшись нашими плащами. Жена сразу затихла, но я не мог понять, спит ли она или добро-

совестно притворяется в надежде, что ее притворство обернется настоящим сном. А потом я и сам ненадолго заснул и увидел короткий сон, связанный с Флоренцией, откуда мы приехали в Рим. Мелькнули Старый мост с золотыми рядами и ползущий по дну обмелевшей Арно экскаватор, и какой-то желчный человек, дергаясь, говорил: «Вот увидите, он устроит новое наводнение!» Я был в Италии во время страшного флорентийского наводнения, унесшего бесценные сокровища живописи, и страшно затосковал от пророчеств желчного человека, даже заплакал и проснулся. Но проснулся как-то не совсем. Флоренция еще дотаивала во мне смутными, не обретающими формы видениями, и, словно сквозь туман или болотные испарения, я различал обиталище, в котором находился, хотя не умел его назвать, но это меня не пугало — я был защищен несомненным присутствием жены.

Странное полубоддрствование озвучилось каким-то топотом. Я поднапрягся той частью своего существа, которое принадлежало яви, и топот стал яснее, определеннее. При этом я отчетливо сознавал, что в комнате никого, кроме нас, нет. Видимо, заоконные звуки создавали эффект присутствия незримого бегуна. А затем что-то шарахнуло меня по покрытым плащом ногам, и, резко вздрогнув, я окончательно стяхнул с себя сон, увидел комнату в тусклом свете, процеживающемся из-за ставен, и довольно крупное животное, сидящее на полу. Оно то вытягивалось, то сокращалось. Когда вытягивалось, слышался царапающий звук. Глаза привыкли к полумраку, теперь я видел, как животное, цепляясь за мой пиджак, висевший на спинке стула, становится столбиком. В нем было не меньше полуметра. Я перебрал в уме разных животных от ласки до бобра, по размерам подходила выдра.

— Выдра! — сказал я вслух.

— Что с тобой? — послышался тихий, напряженный голос жены. — Это крыса. Прогони ее.

Я смертельно боюсь крыс. Меня пятилетнего напугала крыса, впрыгнувшая в мою кровать с сеткой, когда я болел корью.

— Кыш! — сказал я неубедительным голосом. — Пошла вон!

Крыса прислушалась, замерев. Потом опять зацарапала когтями по моему пиджаку и вытянулась на задних ногах. Я увидел ее чудовищную тень, достигающую потолка. Нагнувшись, я нашел ботинок, швырнул в крысу и по обыкновению попал. Крыса зыркнула клюквенным глазом, взяла ботинок в зубы и затопала в угол комнаты. Я заорал, схватил тяжелую лампу и швырнул в крысу. Она исчезла, а ботинок остался...

Проснувшись утром в отменном итальянском настроении, я потянулся и задел рукой свинцовую лампу. Мне вспомнилась ночная баталия, и я подивился реальности своего сна. Мне захотелось рассказать об этом жене, но ее не оказалось рядом. Оглянувшись, я увидел, что она сидит на стуле у окна, тоскливо вперившись в узкую щель меж ставен.

— Проснулся наконец? Идем скорее отсюда. Я чуть не наступила на эту гадость.

Я проследил за ее взглядом: в углу комнаты, там, где порванные обои обнажали черную дыру, лежала громадная дохлая крыса. Я никогда не видел таких больших крыс...

Италия поражена крысами. По статистике, их не менее миллиарда. Это так называемые серые крысы, самые крупные, сильные и свирепые из всех помоечных крыс. Они пришли в Италию из Индии в средние века, частью уничтожив, частью загнав на чердаки исконных обитательниц Апеннинского полуострова — не столь больших и агрессивных черных крыс. Серые крысы — настоящее бедствие страны. Они нападают на маленьких детей, на беспомощных стариков и паралитиков, разносят заразу, сжирают несметное количество зерна и вся-

ких продуктов. Бороться с крысой, уверяют виднейшие итальянские ученые-крысоведы, почти невозможно. Немногочисленные по сравнению с крысиной несметью кошки боятся крыс, все виды крысоловок бессильны, отравы недействительны, крысу нельзя утопить, она может сколько угодно держаться под водой. Крыса так долго живет возле человека, что досконально изучила все его жалкие уловки, обрела великую человеческую приспособляемость, пластичность и выживаемость, ей не страшны ни морозы, ни жара, она всеядна и неприхотлива. Она обогнала своего учителя. И если мы хотим знать, чего можем достигнуть в ближайшее историческое время в результате напряженного самоусовершенствования, нам следует внимательно приглядеться к крысам.

Но я не разделяю пессимизма итальянских ученых. Население страны приближается к пятидесяти миллионам. Отбросим стариков, детей, больных, инвалидов, останется двадцать миллионов боеспособного населения. Двадцать миллионов тяжелых настольных ламп — это по силам итальянской промышленности; каждому крысобою придется сделать всего пятьдесят бросков. И с серой опасностью будет покончено. Если же этого не сделать, страна будет перемолота резцами серых обитателей помоек и подвалов...

А еще в Италии водятся серны, дикие кошки, зайцы, белки, хорьки, многочисленные птицы и пресмыкающиеся, а также рыбы, имеющие промысловое значение. Но я пишу лишь о том, что видел собственными глазами.



ВЛАДИМИР ОРЛОВ

★

АЛЬТИСТ ДАНИЛОВ*

Роман

Новая вспышка выхватила из небытия заместителя Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил. Заместитель начальника Канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором.

Он говорил долго, был дотошен и уместил проступки, сомнительные мысли, стиль поведения и претензии Данилова в семьдесят три пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено, напротив, представительские средства Данилов сберегал. Но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора, подписав каковой кровью из голубой вертикальной вены, Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены и теперь, после вызова в Девять Слоев с объявлением времени «Ч». Но эти нарушения для Данилова не страшны — они ничего не добавляют к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил договора сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для Девяти Слоев, с этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл. Но и не в нарушениях договора суть дела.

Она в том, что ради корысти или просто так Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же и такая личность могла бы оказаться полезной Девяти Слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями, но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет. И еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной. А то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконнорожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены, они были подготовлены всем образом жизни Данилова на Земле и податливостью его натуры к людским влияниям. Объяснение последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Да что перемены! Просто взрыв произошел в Данилове. Земное копилось, копилось в нем и взвырвало. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов уверовал в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне Девяти Слоев и даже выше их.

— Музыка-то при чем? — не выдержал Данилов.

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» №№ 2, 3 с. г.

Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз в людской трясине, поддавался людским соблазнам и исхищрениям, пошел по легкому пути, он служит людям...

— Где доказательства? — заявил Данилов и сам себе удивился: что он ерепенится?

— Доказательства будут, — услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича.

Данилов сразу же и сник. Естественно, будут.

— Поэтому, — продолжил заместитель Валентина Сергеевича, — Данилов не должен более пребывать демоном.

«Переведут в человека?» — подумал Данилов.

Но и сделать его просто человеком, продолжал заместитель, было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Никакого Данилова-человека. Злодей должен быть наказан. А потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать.

Заместитель Валентина Сергеевича погас, и на его месте никто не возник.

— Стереть в порошок! — раздался одинокий возглас.

Но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали.

— Что же, — сказал Валентин Сергеевич, — перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. Мы могли бы и укоротить разбирательство, дело тут определенное, но если есть любопытство к материалам и доказательствам...

«Ужас какой, — сокрушаясь, думал Данилов. — Сейчас все покажут! Они небошь видели меня и в туалете. И покажут теперь. Кончали бы скорее. Ведь ясно все! Ясно!»

Он считал свою судьбу решенной. И не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо. Да и не желал ничему сопротивляться.

— Но, прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Относительно одной вещи необходимо уточнение. Вначале послушайте, — предложил (и, видимо, всем) Валентин Сергеевич.

Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их слышал?» — думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой усталые, но иногда в них ощущалась и воля. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды. Но между всеми этими звуками — и одинокими, самостоятельными, и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, — несомненно существовала связь. «Это музыка! — решил Данилов. — Музыка!» И дело было даже не в том, что многие звуки проносились земными музыкальными инструментами; если бы их издавали и крылья ветряной мельницы, или шланги пожарных машин, или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки, ему известным. «И ведь я не в первый раз слышу их, — говорил себе Данилов, — не в первый! Это своеобразная музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить даже и в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться... Внезапно Данилов услышал тему из финала «Рондо» Жанно де Лекюреля, движение трехголосного хора передала виолончель, но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой, бамбуковая флейта сякухати, и Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни. Он все понял. Это была его музыка! Его! «Вот оно что! Вот оно что!» — думал Данилов.

По распоряжению Валентина Сергеевича воспроизводили запись звуков, какими Данилов передавал ход своих мыслей и чувств. Это была его внутренняя музыка. Но всегда эта музыка звучала в нем, именно внутри него. Теперь он впервые стал ее слушателем.

И не из ямы он слушал, а будто бы сидел сейчас в десятом ряду большого консерваторского зала. Появление темы из финала «Рондо» Жанно де Лекюрея Данилова несколько удивило, в последнее время он стремился к самостоятельности. Впрочем, он решил, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он пережил ее, доверив виолончели, и развил.

«Когда я так думал и чувствовал?» — прикидывал Данилов. И понял. В черном Колодце Ожидания. Именно там. Вот что они записали! Однако зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить? И тут Данилову пришло в голову: «Они запутались. Они не смогли понять, что восприняли их чувствительные аппараты! И ничего они не поймут!» Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает и все ими понято. И все же он позволял себе сейчас торжествовать, он позволял себе в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку.

«Вот сейчас там, в Колодце,— вспоминал Данилов,— явился Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галошами, вот сейчас он принялся сморкаться и шуршать чем-то...» Но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучала свирель и с совершенно необязательными интервалами ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич, тот, колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его.

Потом обрушивались на Данилова видения, возникали перед ним галактики и вселенные, толклись сущности вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова. Теперь он ее слушал!

Иногда на звуки — отражения его мыслей и чувств — находили мелодии, намеренно, как сопротивление тишине Колодца Ожидания, осуществленные в себе Даниловым, — его альт исполнял темы из симфонии Переслегина или же классический секстет играл «Пассакалью» Генделя. А то будто маятник стучал — Данилов вел про себя счет времени. Исследователи, не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове, совместили их, в этих местах и качество записи было неважное, что-то дрожало и потрескивало. Но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку.

Данилов был ею удивлен. И был доволен ею. Правда, некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест неоснователен и такие сочетания возможны, просто они и для него свежи. Но он-то хорош! Сам же их создал и им удивляется! Сам же причудливым образом — но вполне сознательно и с удовольствием — смешивал звуки, ту же валторну сводил с ситами, выхватывал дальние обертоны и прочее и прочее! «Нет, что-то есть,— думал Данилов,— есть! Эту музыку исполнить бы в другом месте!..» Музыка звучала и трагическая, даже паузы — а паузы были частые и длинные — передавали напряжение и ужас, но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах, и даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше — тенор-саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор, — оказались в Колодце уместными...

Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее.

— Все,— сказал Валентин Сергеевич. И обратился к Данилову:— Что это?

— Как что? — удивился Данилов. — Что именно?

— То, что мы сейчас вынуждены были слушать.

— Кто же вас вынуждал?

— Ведите себя серьезнее. Что это?

— Это музыка.

— Что?

— Это музыка, — твердо и даже с некоторым высокомерием сказал Данилов.

— Хорошо, — произнес Валентин Сергеевич. — Предположим, это музыка. В вашем понимании. Но отчего она звучит в вас? И так, словно в вас сто инструментов?

— Это и есть уточнение?

— Отвечайте на вопрос, — строго сказал Валентин Сергеевич.

— Я же музыкант, — сказал Данилов. — Я одержимый. Я и сам страдаю от этого. Но музыка все время живет во мне. Деться от нее я никуда не могу. Это мучительно. Что же касается множества инструментов и голосов, то что поделаешь, я способный.

— Но это странная музыка, — сказал Валентин Сергеевич.

— Вся новая музыка странная, — сказал Данилов. — Потом она становится тривиальной. Эта музыка — новая. Она, простите, моя. В последние годы я увлекся сочинительством. Это как болезнь. Возможно, я музыкальный графоман, но сдержаться я не могу. Порой с кем-нибудь разговариваю или делаю что-то, а сам сочиняю. Вот и теперь музыка рождается во мне. И я не волен это прекратить.

«Наверняка и сейчас пишут мои мысли», — думал Данилов.

— Вы помните, при каких обстоятельствах вы сочинили и исполнили только что прослушанную музыку?

— Да, — сказал Данилов. — В Колодце Ожидания.

— Это звуковая реакция на увиденное и пережитое там?

— Не совсем, — сказал Данилов. — Нет, это скорее самостоятельная музыка. Конечно, я многое видел тогда и о многом думал. О чем — вам известно. Но я и сочинял одновременно. Такая у меня натура.

— Он и теперь сочиняет! Но только не музыку! — нетерпеливо вскричал один из демонов. — И слышали мы не музыку! Я сам играл на чембало и на клавикордах. Таких звуков в музыке нет. И не должно быть.

— Я имею в виду настоящую музыку, — сказал Данилов. — Ее звуковые ресурсы неограниченны. Я осваиваю эти ресурсы.

— Все, что звучало, бред, а не музыка! Возьмите хоть это место. — И демон включил запись особо возмущившего его места.

Данилов сидел чуть ли не обиженный. Все, видите ли, бред! Но что они поняли? Ведь в его музыке (Данилов после прослушивания иначе не думал) были эпизоды и совсем простые, с хорошо развитыми мелодиями, и даже игривые мотивы, и совершенно ясные фразы в четыре и в восемь тактов, и танцевальные темы, где же бред-то; где же сумбур-то? Конечно, временами шли места и очень сложные, но то, на какое указывал любитель чембало, к ним не относилось.

— Что тут сомнительного или непривычного? — сказал Данилов с горячностью. — В земной музыке такого рода сочинения известны с начала века. Это не мое изобретение. Моя лишь тема. Я использовал принцип двенадцатитоновой техники — равноправие исходного ряда, его обращения, противодвижения и обращения противодвижения. Есть такая латинская формула: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Выстрой ее по-латыни в пять строк и читай как бустрофедон, то есть ходом быка по полю слева направо, справа налево и так далее, — и смысл будет равноправный... Вот и мой бык ходит в этом отрывке по полю с плугом...

— Хватит, — оборвал его Валентин Сергеевич. — В дальнейших разговорах о музыке нужды нет.

— Но как же, — возмутился Данилов, — мне приписывают музыкальную несостоятельность, и я не могу...

— Хватит,— грубо сказал Валентин Сергеевич.— Все.

Он замолчал. А Данилов чувствовал, что Валентин Сергеевич хоть и грозен сейчас, но находится в некоторой растерянности. Пауза затягивалась. Валентин Сергеевич либо ждал новых материалов или собеседник, либо проводил с приближенными особами совещание. «Не поняли они ничего,— думал Данилов.— И уточнение им не помогло!.. Пожалуй, этот двенадцатитоновый отрывок слишком математичен и, наверное, скучен, но только невежда может выцестить его из музыки. А невеждам спускать нельзя...»

— Итак,— сказал Валентин Сергеевич,— прослушав эти звуки, мы убедились, что и они свидетельствуют об одном. В Колодце Ожидания Данилову были представлены картины и действия, какие должны были и у демона и у человека вызвать определенные реакции. Причем они требовали откликов как чисто бытового свойства, так и откликов, связанных с сутью мироздания. И опять и в мыслях, и в толчках крови, и в движениях биотоков, и в так называемой музыке Данилов в Колодце Ожидания проявил себя человеком. Явления, дорогие демонам, вызывали в нем дрожь, а то и протест.

— При чем тут моя музыка? — не выдержал Данилов.— Вы ее разбериге всерьез. Где в ней дрожь? Где протест?

Он сам удивлялся своей дерзости, своему непослушанию. После того как он услышал музыку и опять признал себя Музыкантом, в нем и вскипела дерзость. Он чувствовал себя со всем на свете равным. Что же ему робеть Валентина Сергеевича! Он понимал, что сейчас все разберут с математическими выкладками и анализом нотных знаков, укажут, где дрожь и где протест, но молчать не мог.

— Разговор о музыке закончен,— сказал Валентин Сергеевич.— Впрочем, эпизод с Колодцем Ожидания так, мелочь, последняя проверка, можно было и не проводить ее. Перейдем к другим доказательствам. Начнем просмотр.

Движение стула Данилова было остановлено, и он стал словно бы независимым зрителем. Сначала, значит, слушателем, теперь зрителем. Но если в звуках он был уверен, то сейчас следовало ждать конфуза, картины с его участием могли пойти и самые безобразные. Что ж, пусть смотрят, коли обязанности у них такие. Пусть! Так говорил себе Данилов, но опять сидел скисший.

Стена напротив Данилова тем временем побелела, что-то шелкнуло, звякнуло, и пошла живые картины. И опять Данилов не мог не отметить совершенства воспроизведения записей. И изобразительного, и звукового, и обонятельного ряда. И всякая пылинка была видна и заметна. И всякое шуршание доносилось. И всякий запах удалял в нос.

Показ сопровождался комментариями Валентина Сергеевича и его заместителя. Коли была нужда, показ прерывался, и тогда спрашивали участники разбирательства, а Валентин Сергеевич и заместитель разъясняли, тыча в застывшую картину длинными указками. То и дело привлекали к ответу и Данилова. Тот выявлял себя спорщиком, с мнением Валентина Сергеевича он часто не соглашался. Поначалу ему напоминали о мелочах. Вот он из останкинских небес, прежде чем отправиться в Анды на раздумья, уловил сигнал, бросился вниз и угодил стаканом водки учителя географии, у которого оперировали отца.

— Жест чисто человеческий,— комментировал Валентин Сергеевич,— добросердечие.

— Отчего же! — сразу же взбрыкивал Данилов.— Вы будто бы забываете, что алкоголь — зло. Используя повод, я в понятных на Земле формах хоть немного, но отравил учителя географии. В чем же я тут провинился?

Подобным же образом Данилов поставил себе в заслугу поджог спального корпуса в доме отдыха Планерское. Случай с домовым Георгием Николаевичем, которого Данилов заразил вирусным гриппом,

он истолковал как попытку с помощью чихающего Георгия Николаевича вызвать хворь во всем его доме. «А это что?! Что это?!» — вскричал нервный демон. А было показано, как Данилов вел полуслепую старушку через улицу возле метро «Щербаковская» (именно этого случая Данилов не помнил, скольких старушек он переводил через улицы, и теперь подумал: «Неужели они опустили до такого крохоборства?»). «Это я старушку веду», — сказал Данилов. «Какая польза нам от этой старушки? — завопил демон. — Как вы от старушки-то отвертитесь?» «Не вижу в ваших криках и показе этого случая никакой логики, — сказал Данилов. — Если б я не исполнял на Земле простейших людских правил, кто бы поверил мне?»

Последние слова, похоже, произвели некое впечатление на Валентина Сергеевича. Он даже добавил: «Да и сохранить старушек надо, чтобы они сидели на шее у молодых». Позже подобных эпизодов не показывали. Ответственных за отбор материала, видимо, ждал нагоняй. Что же эдак придирались к демону, которому по штатному расписанию внешне следовало проявлять себя человеком?

Затем зрители наблюдали многие сцены московской жизни Данилова (в частности, и то, как он примерял австралийское белье для Клавдии и как стоял в очереди к хлопобудам, потом струился в зал тяжелый табачный дым из автомата на улице Королева и пахло останкиным пивом и еще многим: перегарами, копченой красноперкой, аптечными напитками, туалетом). Опускались участники разбирательства в яму театра и следовали за Даниловым дорогами гастрольных поездок. С особым интересом, а возможно с сопереживанием, были восприняты эпизоды любовных увлечений Данилова, порой слышались и одобрительные реплики. Увлечения были давние, еще до встреч с Клавдией Петровной, но и их просматривали. С дрожью ждал Данилов появления Наташи. Но ни Наташу, ни Кармадона пока не демонстрировали. Может, и впрямь не намерены были упоминать Кармадона и всего связанного с ним. Или держали его на крайний случай. Оставалось сидеть и терпеть.

И хотя воссоздавалась реальная жизнь, Данилов, привыкший к условностям искусства, и теперь будто бы смотрел то ли фильм, то ли спектакль, то ли еще какое синтетическое зрелище. С удивлением он наблюдал своих знакомых как актеров. И себе, естественно, удивлялся. Отчасти был расстроен. Он имел иное представление о собственной внешности и о манерах, нежели то, что складывалось у него теперь. «Рожато какая отвратительная! — думал Данилов. — И осанка!»

Его обвиняли в том, что он, будучи в демоническом состоянии и пользуясь неземными средствами, не позволил утонуть четырем судам в Индийском и Тихом океанах («Это где же четвертое-то?» — притворно удивился Данилов. Ему назвали место: на подходе к острову Сокотра, в десяти милях от порта Хакари; сразу же были обнаружены и кадры неожиданного спасения сухогруза). В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережное отношение к окружающей среде, памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией — не возникло никаких сдвигов земной коры, ничего не было сожжено или разрушено (Данилов сразу с некоторым даже возмущением заявил, что дело тут личное, интимное, мало ли о чем он в те мгновения думал, главное для него — искренность отношений, а не какая-то там окружающая среда!). Ему сказали: а когда в Исландии, то есть вовсе не на его участке и вовсе не его усилиями, возникло извержение вулкана, то почему он, Данилов, направил поток лавы мимо рыбацкого поселка? («Случайно пролетал, — пробормотал Данилов, — была температура, в театре все болели гриппом, ошибся... а может, с перепоя...») И другие подобного рода случаи числились за Даниловым. И не они одни. Данилов и еще немало напроказничал (это слово Валентин Сергеевич, видимо, произнес не подумав). При стараниях Данилова поправились

люди, какие должны были погибнуть от болезней или стать калеками. Выказывая себя якобы объективным болельщиком, не помог «Спартак» остаться в высшей лиге («Как, а он разве вылетел?» — искренне удивился Данилов. Тут в разбирательстве произошла заминка. Выявилась временная путаница. «Спартак» должен был вылететь лишь через несколько лет, и Данилову приписали будущие прегрешения). Еще: услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража, Данилов сделал все, чтобы проект этого «страшилища» (по его мнению) хода не имел. Когда не уродился лук, Данилов искусными мерами, сам, естественно, оставаясь в стороне, склонил жителей Ростова Великого к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и Крестовский рынок был завален луком. Будучи на отдыхе на Валдае, Данилов подсыпал в патронташи охотников холостые патроны. Он отучил способного попугая Стишковской ругаться матерными словами. И прочее. И прочее.

Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Стара́ния с луком он, например, истолковал как чисто эгоистический порыв, у него не хватало времени выстаивать очереди, вот он и подсушился. Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах, чтобы сберечь их для Бермудского треугольника. Матерные слова попугай Стишковской произносил не в той тональности, оттого и был наказан...

— Все, — остановил его Валентин Сергеевич.

— Как все? — не понял Данилов.

— Все. Хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово.

— Но как же... — не мог остановиться Данилов.

И тут до него дошло. Все. Сейчас объявят приговор. А Кармадо́на не вспомнили! И потому Наташу не упомянули! Что же ему дальше дразнить судей и лезть на рожон? Ведь возьмут и упомянут! Данилов замолчал.

— Последнее слово, — объявил Валентин Сергеевич. — Материалы дела вы видели. В своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно. Но его слова — одно, а то, что мы знаем о нем, — другое. Передо мной данные специальных исследований. Все они свидетельствуют о том, что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие. И музыка его к нам отношения не имеет. Итак, я поддерживаю формулу наказания: демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать.

«А сами-то у меня Альбани украли!» — обиженно и жалобно подумал Данилов. Но тут же осадил себя. Это для него кража Альбани была делом непорядочным, но не для них. Да и что теперь вспоминать про Альбани, коли формула выговорена, а с исполнением ее не задержатся. Был ли Данилов, не было ли его... Все.

— Настало время выслушать ваши мнения, — объявил Валентин Сергеевич.

Раздалось:

— Лишить!

— Лишить!

— Вытоптать!

«Трое лишить... — слышал Данилов, — четверо... пятеро...» Другие выкрики были не столь решительные. Некоторые даже имели в виду облегчение кары: «Превратить в безумного и отправить на пустую планету!» («Не Нового ли Маргарита это милосердие?» — думал Данилов), «Лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию типа «Чижика» или «Ладушек», но современнее их, и пустить в мир!» («Ужас какой! — содрогнулся Данилов. — Ведь могут превратить и в «Люттики»! Лучше лишить и вытоптать. Пусть сейчас же и лишают... Но дали бы мне хоть на полчаса инструмент на прощанье...»).

— Все. Выговорено,— сказал Валентин Сергеевич.— Большинство — лишить.

— Следует испросить утверждение,— услышал Данилов чей-то незнакомый баритон.

— Я помню,— сердито и чуть ли не обиженно произнес Валентин Сергеевич.

Теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича. Именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого счетовода убирал мусор. Валентин Сергеевич ступал осторожно, будто чего-то опасался. И действительно перед ним разверзлось. Возникло то ли трещина, то ли расщелина. Из нее шел гул. «Туда меня и толкнут»,— понял Данилов.

— Демону на договоре Данилову,— произнес Валентин Сергеевич,— определено: лишить сущности и память о нем затоптать.

Он замолчал. «Столкнут, испепелят, и теперь же...»— думал Данилов. Но тут он услышал тихий хриплый голос:

— Повременить.

Расщелина пропала. Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченный. Наконец он поднял голову и сказал:

— Объявляется перерыв.

Все куда-то двинулось, Данилов это чувствовал. А он не смог бы подняться с места, даже если бы исчезли ремни.

Однако стул его взлетел и оказался в помещении, устланном коврами восточной работы. Помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части. В большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судьи. Перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками, лакомствами и табачными трубками. Лежали на них и целебные травы. В судьях, видимо, предполагалось нервное утомление или головная боль. Стул Данилова стоял за барьером.

Данилов все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее. Мгновения назад там, в судебном зале, он сидел сам не свой, все бы он принял и сгинул бы в ничто. Но теперь он остывал, страх приходил к нему: «Вот как могло кончиться...» Что — могло! Надолго ли повременить? Может, всего на полчаса, чтобы дать судьям отдохнуть на диванах и промочить глотки?.. Данилов сейчас не стал бы вымалывать инструмент для последней музыки — у него дрожали руки. «А кто произнес «повременить»?» Данилов пытался вспомнить, у кого положено испрашивать утверждение, но не мог.

— Данилов, подойдите, пожалуйста,— услышал он.

У барьера стоял демон средних лет, в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком.

Ремни упали. Данилов встал, подошел к барьеру.

— Мне показался интересным отрывок из вашей музыки. Тот, что у нашего неуравновешенного демона вызвал сомнение.

— У него все вызвало сомнение,— сказал Данилов.

— Да,— кивнул собеседник.— Он глуп. Так вот, тот отрывок. Вы вспомнили латинскую формулу о пахаре Арепо. Это ведь приблизительно перевод?

— Да. К тому же я передал лишь смысл...

— Меня заинтересовал магический квадрат, какой здесь возникает. Напомните мне его.

— У вас есть на чем записать? — спросил Данилов.

Демон пошарил по карманам, покачал головой:

— Ну вот, если только на манжете.

Он вручил Данилову лучевой карандаш, а потом протянул левую руку, вытряхивая манжет из-под рукава. Данилов писал старательно, однако дрожание пальцев не прошло и линии дергались. На манжете было:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

— Смотрите,— сказал Данилов,— смысл тут примерно такой: «Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы». Теперь читайте снизу и наоборот, справа налево. А теперь ходом быка с плугом... А потом сверху вниз, затем снизу вверх... Видите?

- Да. Очень занятно.
- Неужели этот квадрат здесь неизвестен?
- Наверное, был известен. Но о нем забыли.
- Музыка же строилась так...— начал Данилов.
- Я понял,— сказал собеседник.

Он смотрел на свой манжет, а Данилов наблюдал за ним и вспоминал, звучал ли его голос во время разбирательства. И вспомнил: «Следует испросить утверждение...» Да, тот самый спокойный баритон. «И ведь не полагалось ему по правилам,— подумал Данилов,— напоминать о чем-либо Валентину Сергеевичу. А он напомнил. Как бы вынужденно. Будто Валентин Сергеевич и не собирался ничего выслушивать ни у какой расщелины».

— Спасибо,— сказал демон.— Извините, я вам не представился. Меня зовут Малибан. И еще. Эти хлопобуды... или будохлопы собираются в Настасьинском переулке?

— Да. В Настасьинском... А что?

— Так,— сказал Малибан. И добавил скорее шепотом: — Мне думается, вы напрасно не внесли в Настасьинском переулке вступительный взнос...

Малибан отошел к мягким диванам. Данилов в растерянности стоял у барьера, затем не спеша, тоже как бы прогуливаясь, пошел к столу. Сел. Совсем недавно, в начале перерыва, он чувствовал себя обесценинным рабом, свалившимся на смоченный кровью песок римской арены, меч его был сломан, а в проходе за решеткой ревели оголодавшие львы. Демоны по ту сторону барьера тогда представлялись ему зрителями из лож Колизея, которые могли дать знак и впустить львов. Теперь, после беседы с Малибаном, Данилов ожил. Какие там рабы и какие логи! А напоминание Малибана о музыке и вовсе укрепило Данилова. Опять он знал, что он Музыкант, и потому признавал себя равным каждому.

Новый Маргарит, попивавший во время разговора Данилова с Малибаном прохладительный напиток в компании с незнакомыми Данилову основательными демонами, оставил их, подошел к барьеру. Он был оживленный и светски-легкий. Улыбался. Он как будто бы явился из восемнадцатого века, на нем были черная судейская мантия британского покроя и пепельный пудренный парик.

— Ты хорошо защищаешься,— сказал Новый Маргарит.

— Тебе не повредит разговор со мной?

— Если всего опасаться... Потом, твои проступки и ладеяния — они твои, а не мои.

— А кто это произнес «повременить»?

— Ты всерьез или шутишь?

— Я шучу,— быстро сказал Данилов.— А ты тут кто? Эксперт, исследователь, знаток прав?

— Всего понемногу.

— И знаток музыки?

— В известной степени... Я развил в себе многие способности. И даже те, каких у меня не было. Но ты в музыке, естественно, сильнее меня. И не только меня.— Опять в глазах Нового Маргарита был намек.

— Ты тепло одет.

— Функции мои здесь таковы, что мантия и парик мне положены. Маскарад, конечно. Но иногда приятно перерядиться. Эдак поиграть... Вот ведь и ты...— Новый Маргарит заговорил тише.— Как вел себя, так и веда. Из роли не выходи.

— Из какой роли?

— Из такой... И еще. К тебе подходил Малибан. Пойми, в чем был его интерес. И в чем твоя выгода.

— Когда обсуждали приговор, ты промолчал?

— Нет. Я сказал: «Лишить!»

— Что же ты теперь даешь мне советы?

— Во всяком случае, не из-за воспоминаний юности.

Ударили по рельсу. Вряд ли по рельсу. Но звук напомнил Данилову рельс. Данилов не успел отойти от барьера, не сделал он и ни единого движения, а ремни уже прижали его к спинке стула. И опять Данилов оказался в судебном зале. Но зал преобразился. На лицейскую аудиторию он уже не походил, а имел сцену, оркестровую яму, небольшую, какие устраивали в драматических театрах в прошлом веке, был здесь и партер, там стояли светлые кресла, обтянутые розовым шелком. В зале был полумрак, но привычный, земной. Электрический синий свет, нервировавший Данилова, иссяк.

Стул с Даниловым воздвигся на сцене в том месте, где полагалось быть суфлерской будке. Вращений, полетов и карусели как будто бы пока не ожидалось. А внизу, в партере, сидели участники разбирательства. Словно художественный совет. Или приемная комиссия. О чем-то перешептывались.

«Кончилось повреждение,— думал Данилов.— Но зачем подходил ко мне Новый Маргарит? Из желания проявить себя либералом и независимым? Вот, мол, и это могу? Тем более что сказал: «Лишить!» Но до него был Малибан и его интересовал Настасьинский переулок. Может, на самом деле это «повреждение» что-то изменило? Неужели Большой Бык? Был в глазах Нового Маргарита какой-то намек... И мне он советовал не выходить из роли...» Роли Данилов себе не придумывал. Все вышло само собой. И для Данилова неожиданно.

— Решение судьбы демона на договоре Данилова продолжается,— объявил Валентин Сергеевич.

— Есть ли что сообщить самому Данилову?— сказал заместитель Валентина Сергеевича по Соблюдению Правил.— Есть ли у него раскаяние?

— Ни с какими раскаяниями я выступать не буду,— резко сказал Данилов.— Не в чем мне каяться.

— Ой ли?— спросил Новый Маргарит.

— Не в чем...— сказал Данилов менее решительно.

— Вы очень легкомысленный,— заметил заместитель.

— Вот-вот, легкомысленный,— словно бы обрадовался Новый Маргарит этому слову и в особенности тому, что не он первый его произнес.— И раньше ведь не случайно здесь прозвучало слово «напроказничал».

— Это была оговорка,— сказал Валентин Сергеевич.

— Если оговорка, то логичная,— не уступал Новый Маргарит.— Данилов чрезвычайно легкомысленный. Стиль его жизни и работы в последние годы, его теперешнее поведение подтверждают то, что мы имеем дело с индивидуумом, который стал поддаваться людским соблазнам, стал жить, как люди, не по каким-либо серьезным умственным или тем более программным соображениям, а по легкомыслию, по душевному фанфаронству!

— Нам радоваться, что ли, что по легкомыслию?— сказал заместитель по Соблюдению Правил.— Какой нам на Земле от Данилова прок? Если Данилов причинял вред, то людям, которым по нашим понятиям требовалась бы от него поддержка. А польза? Вот спражка,

в ней все анализы занятий Данилова. Это вполне квалифицированная оценка его полезности.

Копии справки в виде брошюр были розданы участникам разбирательства, зашелестели страницы. Брошюра возникла и перед глазами Данилова, листочки ее поворачивались сами на весу, давая Данилову возможность познакомиться с документом.

— Многое здесь истолковано неверно, — сказал Данилов. — Искривлены показатели. Надо создать комиссию.

Валентин Сергеевич только руками развел.

— И опять здесь возникла старушка, — сказал Данилов, — которую я переводил через улицу. Долго меня будут преследовать этой старушкой?

Держал бы он копию справки в руках, он, наверное, сейчас в сердцах швырнул бы ее на пол.

— В комиссиях нет необходимости, — сказал Валентин Сергеевич. — Их было достаточно. Что же касается комедии, какую ломает Данилов, то она не делает чести его уму.

— Да какой у него ум! — вступил Новый Маргарит. — Он всегда был вертопрахом. И в детстве и в лицейские годы. И я еще раз хочу подчеркнуть, что то, что с ним произошло, это не бунт и не измена, а просто легкомыслие и безответственность.

— Это меняет дело? — спросил Валентин Сергеевич.

— Меняет, — сказал Новый Маргарит.

— Вы были за «лишить».

— Да. Был! — сказал Новый Маргарит. — Теперь считаю целесообразным принять иное решение. Данилова надо наказать, но отказываться от него не следует.

— Но зачем нам Данилов? — возмутился заместитель.

— Разрешите мне, — встал Малибан. — Раньше я не знал Данилова, но теперь суть его мне ясна. Я ее понимаю несколько иначе, нежели наш коллега, — кивок в сторону Нового Маргарита, — но это не важно. И такой Данилов, какой он нынче есть, может оказаться для нас полезным. Вчера от него не было проку, сейчас проку нет, а завтра вдруг будет. Пусть даже Данилов слишком увлечен земным. А может, именно благодаря тому, что увлечен.

— Держать демона на договоре ради этого «вдруг»? — поморщился заместитель Валентина Сергеевича.

— Ради «вдруг»! — сказал Малибан. — Пусть ваши безукоризненные практики каждый день копошатся в служебном рвении, но это «вдруг» одарит нас куда щедрее.

— Отчего такое высокомерное отношение к безукоризненным практикам? — спросил Валентин Сергеевич. — И потом, видите ли вы поле деятельности, на котором произрастет ваше «вдруг»?

— Вижу, — сказал Малибан. — Вот оно.

Между Даниловым и участниками разбирательства прямо над оркестровой ямой возникло видение квартиры Ростовцева в Настасьинском переулке. В коридоре толклись прилично одетые люди, явившиеся отметить в очереди у хлопобудов. Малибан рассказал о хлопобудах, представил наиболее замечательных из них, сообщил об отношении хлопобудов к Данилову, о двух звонках пегого секретаря.

— Данилов по легкости натуры, — сказал Малибан, — мог и не понять всей привлекательности этой очереди. Но мы-то не можем допустить подобного легкомыслия.

Он сел.

— Тут что-то есть! — заявил Новый Маргарит. — Есть!

— Да, — сказал Валентин Сергеевич. — Здесь направление действительно перспективное.

Все сразу зашумели, одобряли Валентина Сергеевича. Было похоже, что участники разбирательства стремились именно к такому пово-

роту разговора и теперь, когда поворот произошел, испытывали облегчение.

— Однако сам-то Данилов? — спросил заместитель. — Как он относится ко всему этому?

— Что ж, — сказал Данилов, — если секретарь хлопобудов позволит мне, я соглашусь с ним встретиться.

— На мой взгляд, — сказал Малибан, — продолжать разговор нет смысла. Деловые вопросы следует обсудить с Даниловым позже.

«Неужели все? — не мог поверить Данилов. — Неужели «повременить» произнес Большой Бык?»

— Теперь меры, — сказал Валентин Сергеевич.

— Да, меры, — закивали его соседи.

— Я предлагаю люстру, — сказал заместитель.

— Люстру! Люстру! Люстру! — подхватили участники разбирательства.

И Малибан поддержал люстру. Согласился с ней и Новый Маргарит.

Над Даниловым возникла люстра. Она напоминала люстру, висевшую в театре Данилова, но была и несколько иной. Данилов видел теперь люстру и со своего стула. И видел ее и себя из глубины зала, как бы с кресла заместителя Валентина Сергеевича. Люстра была роскошная, метров в семь высотой, к ее центральному бронзовому стержню крепились три кольца из позолоченной бронзы, нижнее поменьше, два других значительно шире, на бронзовых рожках и кронштейнах держались стаканы для ламп и подсвечники. И все это — в хрустальном саду. Хрустальные букеты, подвески, гирлянды цвели и играли всюду. Смотри на них и забудь обо всем... Люстра стала быстро снижаться. Она висела на металлической цепи, цепь скрипела, вздрагивала, Данилов понимал, что люстра может вот-вот сорваться. И она сорвалась, упала на Данилова, пропустила его в себя. Он потерял слух. А потом в нем стало гаснуть все. И угасло...

Когда Данилов очнулся, он понял, что по-прежнему сидит на стуле, а люстра висит высоко над ним и раскачивается.

— Итак, люстра, — сказал Валентин Сергеевич. — Она будет теперь над Даниловым, и если его жизнь даст ей основания сорваться, ничто ее не удержит.

— Я предлагаю добавить к люстре, — заявил Новый Маргарит, — чуткость к колебаниям.

— Это в каком смысле? — спросил неуравновешенный демон.

Новый Маргарит стал объяснять. Существует теория Бирфельда — Таранцева. Она касается явлений в ионосфере Земли, исследования проводились на Кольском полуострове, и есть в ней нечто, что приложимо к нынешней ситуации. По этой теории Земля со всеми происходящими на ней процессами представляет собой мощную колебательную систему. Дрожит земная кора, пульсирует гидросфера, вибрирует атмосфера и так далее. Человек — часть земной колебательной системы. Он живет в ней и чаще всего не чувствует ее. Но увеличение частоты колебаний он переносит плохо. Коли интервал частот около десяти герц (тут Новый Маргарит извинился за обращение к земным единицам), ему совсем худо. Особенно чувствительны к колебаниям люди, обладающие развитым ощущением ритма. Прежде всего музыканты. Одному ташкентскому мальчику, ученику по классу фортепьяно, было плохо за несколько часов до известного всем толчка. Конечно, теория Бирфельда — Таранцева наивная и лишь обозначает серьезные явления, но можно воспользоваться ее логикой. Данилов прежде был освобожден от чуткости к колебаниям. Но теперь он стал слишком дерзким в своей музыке. Так пусть обострятся его ощущения. Причем коли он станет играть лучше, достигнет в музыке высот, чувствительность его еще более разовьется, не только земные толчки и дрожания уловит Данилов, ему обнажатся и страдания людей ближ-

них и дальних, приступы чужой боли дойдут до него. Тяжкая ноша может оказаться на его плечах. Пусть помнит о ней и думает, стоит ли ему и дальше дерзить в музыке.

— Это убедительно, — сказал Валентин Сергеевич.

Все поддержали Нового Маргарита. Один Малибан пожал плечами.

— Разбирательство закончено, — объявил Валентин Сергеевич.

И ремни отпустили Данилова.

44

Утром Данилов налетел на Нового Маргарита.

Данилов спешил заполнить последние бумаги перед убытием и не был расположен к долгому разговору.

— Ну что, выкарабкался? — засмеялся Новый Маргарит. — Как это ты устроил себе...

Тут Новый Маргарит замолчал. Данилов почувствовал, что Новый Маргарит хотел произнести слово «повременить», а потом и поинтересоваться, каким образом Данилов получил необъяснимое для всех покровительство, да, скорее всего покровительство, хотя об этом можно было строить только предположения. Но тема, видно, была запретная и для Нового Маргарита. «А действительно, — думал Данилов, — неужели он пожалел меня из-за того, что я костью чесал ему спину? Зачем же?.. Я ведь без всякой корысти...»

— Ловок ты, Данилов, ловок, — только и мог сказать Новый Маргарит.

— Слушай, — нахмурился Данилов, — что это за огненная надпись была в Колодце Ожидания? Насчет ястычной икры? Я не понял.

— Она не имела к тебе отношения. Выпала из другой программы. Дефект аппаратуры.

— А кожаный фартук?

— Он задержался более положенного. Нерасторопность одного из операторов. Он наказан.

— Надеюсь, не слишком строго?

— Не слишком.

— И еще я хотел спросить тебя...

— О домовом и о Синезуде, — сказал Новый Маргарит. — Ты не в силах их вернуть. И никто тебе не поможет.

— Что ж, это остается за мной.

— Смотри, — сказал Новый Маргарит.

— Почему меня так долго держали в ожидании?

— Какое долго! Ты был вызван не один. Да и у нас хватало хлопот. Ну, и надо было позлить твое нетерпение. Но ты был хорош. Ты мне понравился. И дальше следить за твоей жизнью будет для меня удовольствием. Не со служебными целями следить, не бойся, а просто так. Как любопытному зрителю, не способному на поступки. Очень интересно, какие еще повороты будут в твоей судьбе. И как отнесутся к тебе личности, для кого ты заноза в глазу.

На том и разошлись.

Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище, хотел было остановить Нового Маргарита и спросить его, чего собирались достичь этой пищей, но Новый Маргарит был легок на ногу и слов Данилова уже не расслышал бы. А кричать Данилов не стал.

«Удивил я его! — думал Данилов. — Я и самого себя удивил».

Во время разбирательства он взял да и повел себя так, будто он был именно демон и готов доказать несправедливость и оскорбительность для него как добросовестного демона обвинений. То есть так могло показаться со стороны. А какой он демон? Конечно, он более человек, нежели демон. Да что более! Скорее он просто человек. Правда, с особенными возможностями. Что же, он изменил своей сущности

и ради того, чтобы уцелеть, отверг все свое, дорогое? Нет, полагал Данилов, ничему он не изменил и ничего не отверг. Он хотел дать всем своим словам объяснения, чтобы с этими объяснениями жить дальше.

Каким мог быть исход разбирательства? Либо его гибель. Либо сохранение его демоном. И никакого Данилова-человека.

Данилов был готов и к первому исходу. Сколько раз он говорил мысленно: «Нате, жрите!» Но потом он вновь ощутил себя Музыкантом. Чем он был хуже тех, кто судил его? Каким таким особенным пониманием смысла существования своего собственного и, скажем, смысла существования людей обладали они, чтобы иметь право выносить приговоры и определять, что хорошо и что плохо? Нет, теперь Данилов не желал признавать за ними такое право. Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда, по его понятиям, более значительное, нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни. Вот он и взъерепенился и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку. Он не желал, чтобы они взяли над ним верх. Да, отвечая им, он ставил под сомнение справедливость их оценок, пользуясь их же логикой и их правилами игры. Да, и он играл, хотя и не лицедействовал. Все шло само собой. Он им дерзил, стараясь дурачить их, и они, судя по первому приговору, поняли это. Впрочем, может, некоторые и не поняли. Или же им понравилось, как он держался. Они, по ощущению Данилова, с облегчением приняли «повременить».

Конечно, это «повременить» и решило ход дела. Но, может быть, то, как он вел себя, и вызвало «повременить»?

«Не мог я дать им одолеть себя! Я должен был вернуться на Землю!» — думал теперь Данилов. Думал как бы между прочим, словно в чем-то уговаривая себя. Словно там без него действительно могли быть беды. Или даже гибель чего-то. В первую очередь его музыки. Нет, он был обязан жить и присутствовать на Земле. У них — свое, у него — свое. Потому он и сопротивлялся. Как мог сопротивляться в нынешних обстоятельствах.

Поначалу после разбирательства его несколько смущало то, что он чуть ли не обрадовался, услышав условие: «Никакого Данилова-человека!» Потом успокоил себя. И в ближайшем будущем, Данилов понимал это, даже и при благоприятных условиях он вряд ли бы стал добиваться разрыва с Девятью Слоями и превращения его, Данилова, в «чистого» человека. Это он держал как бы на крайний случай. Почему? Зачем ему отношения с миром, ставшим чужим? Не лучше было бы освободиться от Девяти Слоев, забыть о том, что они есть, причем сделать это ловко и мирно, не возбудив желаний мстить ему, и тихо жить себе в Останкине, играть на альте, любить Наташу?

«Это никогда не поздно будет сделать», — говорил себе Данилов, хотя и понимал, что он вряд ли тут прав. Но он понимал и другое. Он не мог теперь отказаться от многих своих привычек, освободиться от них, от купания в молниях в частности, без них он стал бы иной Данилов.

При этом Данилов считал, что не только для утоления его привычек нужен ему браслет. Что же, тогда, в автомате на улице Королева, следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей? Ну ладно, юнцы — мелочь. Он мог бы и сдержаться. Но случаи более серьезные? Неужели только ропот ему иметь в душе? А потом с этим неслышным ропотом и жить? Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями, им не приемлемыми? Нет, он не простил бы себе, что отказался (если откажется) от возможности что-то спасти или обезопасить от зла, от его напора и наглости. Что же отказываться, зло-то не отказывается от своих возможностей! Пусть его положение будет рискованным, ему не привыкать. Что-нибудь придумает.

Однако — люстра. Что ж, пусть будет и люстра...

Зло и добро. Они вечно в столкновении. Но ведь и от столкновения добра со злом бывает прок. И какой прок! Иногда действительно — скачки в развитии. Все надо понять, коли оставил браслет на руке. Разве раньше он всегда успевал подумать о последствиях своих действий, в особенности в нервных случаях? Теперь, когда сделан определенный выбор, Данилов призывал себя к благоразумию, к объективности и осмотрительности, к действиям в крайнем случае (но как определить, где крайний случай?) и обещал себе возможностями не злоупотреблять. Он не терпел вмешательства в свою жизнь, так почему же люди должны были переносить чьи-то вмешательства, хотя бы и с самыми добрыми намерениями? Он решил использовать браслет лишь в ситуациях, какие по понятиям самих людей могли оказаться безвыходными, и лишь тогда, когда люди своими душевными порывами, своими желаниями (их-то Данилов мог почувствовать) подтолкнули бы его к действиям. А так бы он слишком много брал на себя... Данилов понимал, что это он сейчас такой серьезный и ответственный, а потом закрутят его земные дела, вспомнит ли он о благоразумии?

В мыслях Данилова не было теперь никакой стройности, да и откуда ей было взяться? Порой к нему приходили соображения: а не заключил ли он соглашение? Да, они принимают, кто он, но сохранили ему сущность, а он за это должен выполнять их поручения, особенности его натуры и позволяют им надеяться на успех. «Ну, это мы еще посмотрим», — говорил себе Данилов. Нет, полагал он, это, может быть, у них с ним соглашение, у него с ними никакого соглашения нет. Все их поручения он провалит или накормит их воздухом. Пока он был освобожден от мелких поручений. От всех дел вообще. Ради перспектив с хлопобудами. Но это ведь перспективы! Причем ничего постыдного в своем согласии встретиться с секретарем хлопобудов не видел. Хлопобуды, деловые люди из очереди были Данилову неприятны. Он не любил проныр, пройдох и доставал, отчего же с этими людьми не пошутить? Теперь за наставлениями он должен был направиться к Малибану.

Прежде Малибан, Данилов узнал это, служил в Канцелярии от Илюзий. Теперь он получил свою лабораторию. Данилову ее название не сообщили, да и профиль, видно, держали в секрете.

Данилов вошел в кабинет Малибана, они раскланялись. Кабинет был какой-то среднеевропейский, сухой, деловой.

— Собственно, в наставлениях нет нужды, — сказал Малибан. — Примите предложение хлопобудов и ведите себя по обстановке. Просто живите, и все.

— А зачем...

— Зачем нам хлопобуды? Пока я и сам толком не знаю зачем. Но что-то предчувствую... Что-то выйдет... Видите ли, таким, как Валентин Сергеевич или в еще большей степени его заместитель, все ясно, они приняли традиционную доктрину, сомневаются они в ней или не сомневаются, не имеет значения, они ведут свои дела, исходя из этой доктрины. Я в ней сомневаюсь. Я вообще ни в чем не уверен до конца. Мои сомнения и сомнения моей лаборатории не только позволены, но и признаны необходимыми. Мы проводим опыты... то есть опыты — это неточно... ну ладно... Много опытов. В частности, и на Земле. Хлопобуды будут не лишними... Я вас понимаю. Вы морщитесь внутренне. Думаете, что вас приставят к хлопобудам наблюдателем. Нет, в наблюдатели мы взяли бы другого.

«Может, уже и взяли», — подумал Данилов.

— Вы должны стать своего рода творцом...

— То есть творцом опыта?

— В какой-то степени так. Да, фантазируйте, направляйте хлопобудов, давайте им задачи, толчки и преграды, вы ведь для них то ли

пришелец, то ли еще кто. Они в критических ситуациях обратятся к вам. Подсказок от нас не ждите. И не спешите. Все должно идти естественно. Можете хоть десять лет никак не проявлять себя, если у хлопобудов не возникнет нужды в вас.

— Наверное, я буду не только творцом опыта, то есть вашим лаборантом, но и объектом исследований?

Малибан помолчал, он был серьезен. Потом сказал:

— Да. Но вы в этом не должны видеть ничего обидного для себя. Вы натура одаренная, творческая и потому нам интересная. Я отдаю себе отчет в том, кто вы есть. И вы не так просты по составу, как вам кажется. Может быть, вы новый тип, отвечающий нынешнему состоянию вселенной. А может быть, и нет. Вы готовы к новым изменениям, к нашему и вашему удовольствию. Отчего же не считать вашу судьбу и вашу натуру поучительными и достойными исследований?.. Что же касается лаборанта, то вы меня не так поняли. Лаборант — это порученец. Мы вам никаких задач посылать не будем. Я повторяю: живите, и все. И среди хлопобудов вы не пыжьтесь, не придумывайте каких-нибудь особенных искусственных поворотов. Просто реагируйте на ситуации, затрагивающие вас, со всей искренностью вашей живой натуры. Импровизируйте, как в своей музыке.

Данилов насторожился. Неужели этот понял?

— Нет, я не разгадал ваших сочинений,— заметил Малибан.— Я их просто слушал... Кстати, некую неприязнь кое-кто испытывает к вам не из-за чего-либо, а из-за вашей дерзости в музыке. Мол, там вы ставите себя выше...

— Выше чего?

— Это я к слову,— сказал Малибан.— Так вот, забудьте о нас и живите. А там посмотрим... Коли нужно, мы вас призовем. Но это не скоро... Да, чуть было не забыл. Обратите внимание на Ростовцева.

— На Ростовцева?

— Нет, к нам он не имеет отношения. Но стоит внимания.

— Хорошо,— кивнул Данилов.

— Вот и все,— сказал Малибан.— Отправляйтесь к себе в Останкино.

И он улыбнулся впервые за время наставительной беседы. Снова был он в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке. Белые манжеты высовывались из рукавов пиджака, и Данилов, взглянув на них, вспомнил, как писал на манжете о трудах пахаря Арепо.

— Нет,— опять улыбнулся Малибан.— Та рубашка в стирке.— И тут же он добавил: — Забудьте обо мне. Но не забудьте о люстре. Мне неприятно напоминать вам о ней. Но что поделаешь. Вы ведь и вправду часто бываете легкомысленным. Я не против вашего легкомыслия, я принимаю вас таким, какой вы есть. Но не я буду держать над вами люстру на цепи. А Валентин Сергеевич может и не принять наши соображения в расчёт.

Глаза Малибана были холодные, строгие.

Позже Данилов не раз вспоминал о глазах Малибана. «Да и что ожидать от него,— думал Данилов,— если для него вся жизнь — сомнение и опыт?..» Опыты над живыми и разумными, хотя бы и относительно разумными существами, Данилов считал нынче делом безнравственным, но для Малибана-то в них была сладость. «Я им устрою опыты, я им нафантазирую! — храбрился Данилов.— Они и от изучения моей личности получат то еще удовольствие!» Что-то, а храбриться Данилов умел. Малибан как будто бы отделил себя от люстры, вроде бы он ни при чем. Но Данилов понимал, что и Малибан, если будут основания, с люстрой не задержится...

Множество знакомых, скрывавшихся прежде от Данилова, желали теперь с ним общения. Некоторые даже заискивали перед ним. То есть не то чтобы заискивали, а словно признавали в нем какую-то

тайну, для них неожиданную и удивительную. Данилов избежал встреч и разговоров, ссылаясь на дело. Увидел однажды Угразля. Был он опять в белом бедуинском капюшоне, выглядел расстроенным и даже как будто бы обиженным на Данилова. Губы его разъехались из-под носа к ушам, звуки Угразль выпускал сквозь ноздри. «Отбываю,— сказал Угразль,— опять в аравийские пустыни!» И он махнул рукой. «Что ж,— сказал Данилов.— Там тепло».

Несколько раз, будучи в окружении здешних лиц,— в буфете, возле столов канцеляристов, в лифте,— Данилов чувствовал еле ощутимые сигналы. То ли кто-то звал к себе Данилова, то ли сам имел нужду явиться ему. И лишь когда наконец Данилов оказался один под часами-ходиками с кукушкой, он вместе с сигналами ощутил нежный запах анемонов. Данилов взволновался. И тут Химеко выступила из-за платяного шкафа. Тонкая, печальная, в зеленом кимоно, стояла она против Данилова, палец приложив к губам. Данилов кивнул, согласившись молчать. Химеко опустила руку. Она улыбнулась Данилову, но улыбнулась грустно. А потом поклонилась, подняла голову, своими черными, влажными теперь глазами она долго смотрела на Данилова, как бы вбирая его в себя, тихо кивнула ему и растаяла.

Данилов хотел броситься вслед за Химеко. Но куда? И зачем? Усмирив себя, он присел на кровать. Чуть ли не плакал. Химеко прощалась с ним. Никто ее не вынуждал к этому прощанию, полагал Данилов, она сама постановила, что — все. И согласия со своим решением она не испрашивала, видно все знала про него. «Нет, так не может быть! — думал Данилов.— Мало ли как все сложится!»

И хотя Данилов тешил себя надеждой на то, что судьба их когда-нибудь непременно сведет с Химеко, сидел он опечаленный, тусклый. И долго бы горевал, если бы его не вызвали к Валентину Сергеевичу.

Разговор с Валентином Сергеевичем вышел неожиданно короткий. Валентин Сергеевич похвалил Данилова-шахматиста и напомнил, как он в собрании домовых на Аргуновской затрепетал, увидев движение слона Данилова. «Так это ж были не вы»,— сказал Данилов. «И не я и я»,— ответил Валентин Сергеевич. И Данилову почудилось, что на колени тот Валентин Сергеевич намеревался встать перед ним искренне. Этот Валентин Сергеевич заметил, что не изменил своего мнения о Данилове, хотя и задумался кое о чем. Потом он сказал: «Попросить нас вы ни о чем не желаете?» Данилову по выражению глаз Валентина Сергеевича показалось, что ради этого вопроса его и призвали. «Нет,— сказал Данилов.— Мне не о чем просить...» «Ну что ж,— кивнул Валентин Сергеевич.— Ваше дело. Отбывайте». Данилов был отпущен, ушел, так и оставшись в неведении, кто над ним главный — Валентин Сергеевич или Малибан.

В Четвертом Слое он увидел Анастасию.

— Вот он! — сказала Анастасия и взяла Данилова за руку.

Местность тут же преобразилась. Данилов и Анастасия оказались в затененном уголке сада, сад, похоже, был запущенный, всюду краснела бузина (это дерево Данилов любил), лишь кое-где в зарослях бузины над крапивой и лопухами стояли давно отцветшие кусты жасмина. Под бузиной белела скамейка, они присели.

— Какая ты! — сказал Данилов.

— Какая же? — обрадовалась Анастасия.

— Прямо казачок!

Анастасия была в белой шелковой блузке с легкими свободными рукавами, украшенной по проймам золотой тесьмой, талию демонической женщины стягивал кушак, узкие брюки из белого бархата были вправлены в красные сапожки.

— А что ты пялишь на меня свои бесстыжие глаза? Ему бы обходить меня за версты, а он сидит со мной и ему не совестно!

Впрочем, все это было произнесено Анастасией хотя и громко, но без всякого напора и желания кокетничать. Скорее нежно и робко.

Если прежде явления Анастасии Данилову, особенно в земных условиях, сопровождались световыми столбами, сотрясением воздуха, волнением вод и минералов, если прежде вокруг Анастасии все бурлило, все стонало, а Анастасия была сама страсть, то теперь в зарослях бузины и листочки не шелестели и не осыпались спелые ягоды. Анастасия же проявляла себя чуть ли не скромницей. Что же она?

— Ты не сердись на меня,— сказал Данилов.— Ты ведь знаешь мои обстоятельства.

— Я не сержусь,— взглянула на него Анастасия.— У меня хватает приятелей. Я ими довольна. А к тебе равнодушна.

Данилов не знал, что ей сказать на эти слова. Потом вспомнил:

— Спасибо тебе.

— За что?

— За то, что выходила меня. Что дыру заштопала шелковыми нитками. За все. Ты ведь и рисковала тогда.

— Рисквала! — махнула рукой Анастасия.— А то что же!

Она внезапно повернулась к нему, притянула его к себе, сказала:

— Данилов! Останься здесь! Я прошу тебя! Зачем тебе Земля?

— Что ты, Анастасия? Ты же сама смоленских кровей.

— Нет,— сказала Анастасия.— Я на Земле чужая. Мне лучше здесь. Каждому из нас лучше здесь. Останься! Я теперь все могу. Ты на договоре. А будешь здесь свой, со всеми правами. Я устрою. Только останься. Ради меня!

В ее глазах была мольба и любовь.

— Я не могу,— сказал Данилов.— Прости меня.

— Тогда уходи! — закричала она.— Уходи! Сейчас же! Прощай! Все! И не оборачивайся!

Данилов пошел, голову опустив, было ему скверно. Он не обернулся. Анастасия, может быть, рыдала теперь на белой скамье. Впрочем, если бы он обернулся, он бы ничего не увидел. Ни скамьи, ни бузины, ни Анастасии не было.

Теперь и Анастасия... Но что он мог ей сказать?

Надо было отбывать, как распорядился Валентин Сергеевич. Данилов подошел к шкафу, где висела его земная одежда.

Данилов ткнулся головой в доски двери.

Потянул на себя дверь, она не поддавалась. «Я же убрал из нее гвозди»,— подумал Данилов. Он осмотрел дверь, гвозди были на месте. «Как же так?»— удивился он. Пришлось возиться с гвоздями.

Дверь открылась, Данилов оказался под аркой дома шестьдесят семь. Часы на углу Больничного переулочка показывали двадцать минут первого. «Вот оно что!»— сообразил Данилов. Он слишком торопился вернуться и впопыхах заскочил в уже прожитое им земное время. Лишь через пятнадцать минут к остановке «Банный переулок» должен был подойти троллейбус с ним, Даниловым, и пьяным пассажиром, бормотавшим, между прочим, и про люстру. Данилова в том троллейбусе не было, а пьяный пассажир ехал. «Вот почему гвозди-то в двери. Я их еще не успел вынуть...»

Чтобы избежать новых недоразумений, Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние. Мимо шли люди, каких Данилов не видел перед отлетом в Девять Слоев. Он мог дойти теперь до метро «Рижская» и отправиться домой. Но что-то удерживало его. Скорее всего он хотел дожидаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить, какую люстру тот имел в виду. «Это мальчишество!» — говорил себе Данилов. Однако потихоньку шел к остановке.

«Отсюда позвонить Наташе или из Останкина?»— думал Данилов. Он бы позвонил сразу, но копеек в его карманах не оказалось. Не было и гривенника. Времени до прихода «того» троллейбуса остава-

лось минут семь. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира, сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом домах мерзких гримас, не казались они ему и ужасными. Но и радости при их виде не испытывал Данилов. Он стоял грустный. Вспоминал о прощаниях с Химеко и Анастасией. И приходили и тоска и ощущение вины...

Но вот подъехал «тот» троллейбус. Данилов опустил в автомат пятак и, подергав металлическую ручку, снова не получил билета. Опять, как бы ища поддержки, он обернулся в сторону пьяного пассажира, сказал про билет, но пьяный пассажир не отозвался. А ведь в прошлый раз он промычал «а!» и махнул рукой. Но тогда Данилов сел в троллейбус в Останкине и говорил с пассажиром при подходе к Банному переулку. Возможно, теперь, после Банного переулка, пассажир заснул всерьез, и не было никакой надежды на разговор о люстре. «Зачем приставать к нему? — отругал себя Данилов. — Что он может прояснить мне про люстру!»

Дома он пожалел, что оставил инструмент в театре. Он жаждал играть. Наверное, только взяв инструмент и смычок в руки, он почувствовал бы вконец, что вернулся.

Жара в квартире не было, ничем не воняло. Фарфоровое блюдо, на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками, было возвращено в сервант.

«Звонить Наташе или поздно?» — пришло сомнение. Нет, не может она спать, решил Данилов. Он набрал номер Наташи. Наташа сразу взяла трубку.

— Все хорошо, — сказал Данилов. — Завтра увидимся. Прости, если доставил беспокойство. Спи.

И повесил трубку.

Уснул он быстро, хотя поначалу ему казалось, что он не заснет вовсе. А когда проснулся, почувствовал, что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось. Он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр. Данилов вскочил, чуть ли не прыгнул к стулу, растворил футляр и увидел альт Альбани.

46

Наташа не позвонила и утром. Возможно, она решила, что Данилов шутил, и не придавала значения его звонкам, ведь он не слышал ее ответов и не знал, как она приняла его слова. Возможно, и в том, серьезном разговоре она видела долю шутки. Коли так, оно к лучшему. Впрочем, вряд ли Наташа, та, какую Данилов знал, могла посчитать все шуткой... И не позвонила она утром оттого, что все понимала. И когда она увидит Альбани, она ни о чем не спросит. Так думал Данилов.

В театр Данилов не взял Альбани.

И потому, что предвидел вопросы и остроты на репетиции и в яме. И потому, что не желал радостей Валентина Сергеевича или кого там, кто возвратил ему украденный инструмент. Выходило, что он ни на минуту не исчезал из Москвы, но пока в его московской жизни, как будто бы главной реальности Данилова, была ощутимая щель, вызванная пребыванием в Девяти Слоях. И она, эта щель, еще не представлялась Данилову иллюзией. Края ее не смыкались. Увидев Альбани, он тут же вспомнил о похитителях инструмента. Если бы он принялся носиться с Альбани, то-то бы им было удовольствие. Впрочем, может, он и ошибался. Может, для них это было простое дело. Когда следовало — отобрали, прояснилось — вернули. Не на складе же хранить инструмент, там хватает хлама. И все-таки Валентин Сергеевич не случайно перед расставанием интересовался, нет ли у Данилова просьб. Он-то знал: Данилов мог просить об одном.

Так или иначе, обнаружив Альбани, Данилов и в руки его не

стал брать сразу, а, походив возле открытого футляра и одевшись, не спеша, как бы нехотя поднял инструмент и положил его на стол. Ему бы опять любоваться альтом, часами оглядывать все линии его грифа и обечаек, а потом играть и играть, забыв обо всем, снова ощутив инструмент частью своего тела, своим голосом, своим нервом, своим сердцем, своим умом. А он лишь проверил звук (его ли это инструмент, не подделка ли умельцев Валентина Сергеевича) и, убедившись, что Альбани подлинный (тут его обмануть не могли), сыграл легкую мазурку Шумана. И, укрыв альт кашмирским платком, закрыл футляр. Но чего это ему стоило!

Он будто бы пожары в себе тушил и пока лишь сбил пламя. Однако сбил...

Впрочем, он чувствовал, что радость его теперь скорее умозрительная, не было в нем легкого присутствия счастья, не было порыва, какой не потерпел бы оглядки ни на кого и ни на что, не было упования. Ну вернули, и ладно. Они и должны были вернуть...

«Еще сыграю на Альбани,— сказал себе Данилов.— А сегодня и тот альт будет хорош...»

В театр ехал на троллейбусе. Думал: надо сообщить в милицию и в страховое учреждение о находке альта. Дело это виделось ему деликатным. Страховое учреждение ладно. Но вот в милиции от него, наверно, попросят объяснений, каким образом объявился пропавший был инструмент. Или что же он, Данилов, морочил головы, а сам за прятал альт где-нибудь во встроенном шкафу и забыл? «Подкинули!— отвечал Данилов мысленно работникам милиции.— Подкинули!» И это не было ложью.

Выскочив из троллейбуса, Данилов побежал к пятнадцатому подъезду, он опаздывал. Наталкивался на прохожих, извинялся, бежал дальше. Его ругали, но без злобы и привычными словами, никто не обзывал его сумасшедшим. Когда-то, года через три после выпуска, он несколько месяцев жил в Ашхабаде. В Москве в приятном ему оркестре место лишь обещали, и Данилов, поддавшись уговорам знакомого, улетел в предгорья Копет-Дага играть там в театре. В театр он ходил московским шагом, и многие признавали его сумасшедшим. Один кларнетист говорил, что Данилов вредит своему искусству, что удачи художников и писателей в пору Возрождения и даже в девятнадцатом веке объясняются тем, что люди никуда не бежали, а жили и думали неторопливо, к тому же были богаты свободным временем. Данилов хотел бы верить в справедливость утверждений кларнетиста, однако верь не верь, но утверждения эти были сами по себе, а жизнь Данилова сама по себе. К тому же Леонардо наверняка тоже вечно куда-то спешил, а уж Рафаэль тем более. Словом, кларнетист Данилова не уговорил. Да и жизнь требовала от него все более резвых движений. Если бы тротуары заменили лентами эскалаторов, то и тогда Данилов несея бы по ним куда ему следовало.

Данилов бежал и думал, что теперь-то и в Ашхабаде публика вряд ли посчитала бы его ненормальным...

Играли в репетиционном зале. Что-то беспокоило Данилова. Он чувствовал, что это беспокойство протекает от стены, за какой находился зрительный зал. Но причину беспокойства понять он не мог. В перерывах у Данилова не было отдыха. Вместе с Варенцовой они просмотрели планы шефских концертов. На тормозном заводе и в типографии Данилову предстояло играть в составе секстета. Данилов считался как бы деловым руководителем секстета, и когда он спросил, кто поедет с секстетом из вокалистов, Варенцова назвала ему баритона Сильченко и меццо Палецкую, однако Палецкую именно ему надо было уговорить. Данилов кинулся искать Палецкую. Потом Данилов поспешил в струнно-виолончельный цех. Мастер Андрианов давно обещал Данилову заметку для стенной газеты «Камертон», сам приходил, а

потом пропал. «Номер уже скоро надо вешать...» — начал было Данилов, но, упредив его возмущенно-заискивающую речь, Андрианов достал из кармана два исписанных листочка. «Еще бы две заметки выколлотить, — думал Данилов, перепрыгивая через ступеньки, — из Собакина и Панюшкина. И будет номер». Успел до прихода Хальшина, дирижера. Альтист Горохов, всегда осведомленный, шепнул ему: «Говорят, Мосолов будет наконец ставить «Царя Эдипа». То есть не то чтобы говорят, а точно». Горохов знал, что новость Данилова обрадует, Данилов давно считал, что Стравинского у них в театре мало. «А потянем? — усомнился вдруг Данилов. И добавил мечтательно: — Вот бы решились еще на «Огненного ангела»...» Данилов, восторженно относившийся к прокофьевскому «Огненному ангелу», годы ждал, чтобы решились. Впрочем, он понимал, отчего не решаются. Мало какому театру был под силу «Огненный ангел». «Об «Огненном» и надо дать в «Камертоне» статью! — осенило Данилова. — Но кто напишет? Панюшкин? Или взяться самому?»

Заметку Андрианова Данилов положил рядом с нотами. Хальшин уже стоял на подставке (повторяли второй акт «Фрола Скобеева»), Данилов в паузе перевернул андриановские листочки и прочел: «Большая люстра». Андрианов увлекался прошлым театра, порой сидел в архивах, не раз приносил любопытные заметки (в газете Данилов завел рубрику «Из истории театра»). Теперь он делился сведениями о большой люстре зрительного зала. «Вот оно отчего», — сказал себе Данилов, имея в виду беспокойство, возникшее в нем в начале репетиции. Сейчас, играя, он взглядывал на листочки Андрианова, и не хотел, но взглядывал, читал про мастеров бронзового дела и хрустального, читал про рожки, кронштейны и стаканы для ламп. «Всего большая люстра состоит из тринадцати тысяч деталей», — заканчивал заметку Андрианов.

А вечером, когда играли «Тщетную предосторожность», Данилов не мог пересилить себя и не смотреть на большую люстру. Из ямы она была хорошо видна ему. Куда лучше, нежели ноги балерин. Теперь уже не смутное беспокойство испытывал он, а чуть ли не страх. Прежде Данилов любил люстру, не представлял без нее театра, теперь она была ему противна. Причем эта, провисевшая в театре, судя по исследованиям Андрианова, восемьдесят шесть лет, была куда больше и тяжелее той! Порой Данилов голову пытался вжать в плечи, до того реальным представлялось ему падение тринадцати тысяч бронзовых, хрустальных, стальных, стеклянных и прочих деталей. Наверняка и их падение было бы красиво, игра граней и отсветов вышла бы прекрасной, правда откуда смотреть... «Да что это я! Чуть ли не дрожу! Пока ведь нет никаких оснований...» Так говорил себе Данилов, однако в антрактах тут же бежал из ямы. И люстра-то висела не над ямой, а над лучшими рядами партера, туда бы ей и падать. А Данилов выскакивал в фойе и буфеты. Но и там повсюду висели свои люстры, не такие праздничные и огромные, однако и они были бы для Данилова хороши. «Если я такой нервный, — ругал себя Данилов, — надо не тянуть с хлопобудами, надо позвонить Клавдии».

Но Клавдии он позвонил лишь на следующий день.

По дороге домой он несколько успокоился, люстра будто бы осталась в театре, хотя некой тенью с потушенными огнями она плыла над ним и в Останкино. Дома в Останкине была Наташа. Она открыла Данилову дверь, впустила его в квартиру и прижалась к нему. Данилов ничего не говорил ей, только гладил ее волосы. Потом Наташа отстранилась от Данилова, в глазах ее он увидел все: и ночное прощание с ним и нынешнюю радость. Он был благодарен Наташе, он любил ее и знал, что от ноши, какую она взялась нести, связав свою судьбу с ним, она ни за что не откажется, она сама выбрала эту ношу, она по ней. «Что будет, то будет, — думал Данилов. — А сейчас хорошо, что она со мной».

— Ну вот ты и вернулся,— сказала Наташа.— Раздевайся, мой ру-
ки, и пойдем на кухню...

Конечно, она видела футляр на стуле, и Данилов, приняв из ее
рук стакан чая, сказал как бы между прочим:

— Альбани отыскался.

И она, словно бы посчитав возвращение Альбани делом простым
и не заслуживающим особого разговора, сказала:

— Да, я поняла.

Все она поняла, и между ними теперь не было игры, а было при-
ятие каждым их жизни такими, какими они были и какими они мог-
ли или должны были стать. Их жизни были одной жизнью. При этом
оба принимали право каждого (или возможность) быть самостоятель-
ными и независимыми друг от друга. Чувство некой отстраненности
от Наташи как от человека, какого не следовало впутывать в собст-
венные тяготы, было Даниловым нынче забыто. Он уснул чуть ли не
семейным человеком.

Утром, когда Наташа уехала на работу, Данилов позвонил Клав-
дии Петровне.

— Что ты хочешь от меня? — спросила Клавдия.

— Я от тебя? — опешил Данилов. Потом сообразил: действитель-
но, на этот раз — он от нее. — Я бы не стал... но ты сама давала мне
советы... относительно хлопобудов...

— Ты хочешь, чтобы я тебя пристроила?

— Я был бы тебе очень признателен...

— А зачем тебе хлопобуды?

— Ну хотя бы... — сказал Данилов, — чтобы доставать нужные
мне книги... Потом, ты считала, что я буду там тебе полезным.

Клавдия замолчала, наверное задумалась.

— Ну хорошо, — сказала она. — Попробую свести тебя с Ростов-
цевым. Но учти — попасть в очередь трудно.

— Я понимаю, — вздохнул Данилов.

Когда он повесил трубку, то чуть кулаком по аппарату не стук-
нул. Зачем он звонил? Зачем ему Клавдия? Зачем он суетился, неуже-
ли его так напугала вчера люстра? Если пегий секретарь хлопобудов
дважды упрасивал его занять место вовсе не в очереди? Секретарь
собирался звонить через два дня, то есть завтра. Да что секретарь!
Ведь он, Данилов, мог просто сдвинуть пластинку браслета и решить
дело в полсекунды. И вот — на тебе! — затеял жалкий разговор с
Клавдией, понесся куда-то сломя голову! Он собрался позвонить Клав-
дии и сказать ей, что раздумал, но она опередила его.

— Ну все! — заявила Клавдия. — Кланяйся в ножки! Будешь обя-
зан мне по гроб жизни.

— Хорошо, по гроб жизни, — согласился Данилов.

— Я умолила Ростовцева встретиться сегодня с тобой.

— Сегодня у меня трудно со временем.

— У него! Ты бы молчал! Я и так пожалела тебя. У тебя окно с
четырех до шести. В пятнадцать минут пятого будь в кафе-мороже-
ном на Горького.

— Ладно, — сказал Данилов.

— Данилов, — сказала Клавдия, — вот еще что... Для меня это все
серьезно. Что-то происходит в последние дни с Ростовцевым. Чем-то
он увлечен. Я прошу тебя, ты... так... между прочим... выясни, что с
ним. Вдруг он откроется тебе. Зачем-то он ходит на ипподром...

— А как же твоя независимость? — спросил Данилов.

— Ее не достигнешь сразу, — сказала Клавдия.

«Стало быть, — думал позднее Данилов, — она подпускает меня к
Ростовцеву неспроста. Он, видно, отбивается от рук и ей нужна ин-
формация о нем...» Он пожалел Клавдию, почуввав ее действительную,
а может и мнимую (не все ли равно!), озабоченность. Да и Ростовцев
был интересен ему. Помнил Данилов и о совете Малибуана.

Словом, в начале пятого Данилов оказался на углу проезда Художественного театра. Постоял минуты две и увидел Ростовцева на лошади. Ростовцев ехал по тротуару ему навстречу и на вид был сегодня простой, не имел ни попугаев на плече, ни трости, ни кальяна. Среди прочих людей, оказавшихся в ту пору на улице Горького и насколько не удивленных всадником, он выделялся лишь не по сезону легким костюмом, видно жокейским. Ростовцев спрыгнул с лошади, привязал ее к липе и пошел к Данилову. Данилов раскланялся с Ростовцевым, протянул ему руку, сказал, что, по всей вероятности, и Ростовцев знает, с кем имеет дело, хотя они и не были друг другу представлены. Да, согласился Ростовцев, это так. Они вошли в кафе, разделелись (Ростовцев сдал в гардероб жокейскую кепку) и поднялись на балкон. Заказали пломбир и бутылку «Твиши». Тут Данилов все же взглянул на демонический индикатор и опять не обнаружил присутствия в Ростовцеве чего-либо особенного.

— Как я понял из слов Клавдии Петровны, — сказал Ростовцев, — вы, Владимир Алексеевич, хотели бы попасть в очередь хлопобудов?

— Да, — сказал Данилов.

— Простите, зачем это вам?

— Мне... — замялся Данилов, подумал: «Предварительный до-
смотр, что ли? А вдруг он потребует вступительный взнос? У меня пятерка. Тут хоть бы за мороженое расплатиться...» — Может, Клавдия не слишком поняла меня. Я не так чтобы отчаянно рвусь. Если для вас содействие хоть сколько-нибудь обременительно, давайте сейчас же и забудем об этом деле...

— Нет, — сказал Ростовцев строго и как бы имея право на эту строгость. — Не обременительно. Но зачем это вам?

— Из-за книг! Дежурить в магазинах у меня нет возможности, переплачивать на черном рынке тем более.

— А вам нужны книги?

— Да, — сказал Данилов. — Я собираю. И читаю... О музыке, об искусстве, об истории, о народных обычаях. Сейчас вышел «Лувр» в большой серии, но как его достать? А дальше будет хуже. Без книг я не могу.

Тут Данилов не врал.

— Я вас понимаю, — сказал Ростовцев. — В книги стали вкладывать деньги. Как в ковры и драгоценные камни... Что ж, в вашем желании есть резон. Я сам книголюб. Сейчас пытаюсь собрать все о лошадях...

— У вас прелестная лошадка, — лъстиво вставил Данилов.

— Это случайная кобыла, — небрежно сказал Ростовцев. — Взял какая была свободна. У меня сейчас действительно хороший жеребец.

Вспомнив о жеребце, Ростовцев несколько переменялся. Этот румяный рослый человек сегодня не казался Данилову злодеем. Но был он серьезен, строг и как бы давал понять, что разговор может произойти деловой и холодный. Теперь же он заулыбался отчасти даже мечтательно и опять, как в Настасьинском переулке, стал похож на кормленого и обаятельного ребенка.

— Вы увлекаетесь верховой ездой? — спросил Данилов.

— Да, увлекся!

И Ростовцев, не дожидаясь расспросов Данилова, даже не обратив внимания на то, есть ли у Данилова интерес к его откровенности, принялся рассказывать о своем увлечении. Сначала он просто, поддавшись моде, стал ходить в клуб любителей верховой езды в Сокольники («Как Муравлев», — отметил Данилов). Сам горожанин, никогда не садился в седло, оказался неуклюж, чуть ли не с табуретки влезал на лошадь. А ведь в юные годы был спортсмен... Падал с лошади, ломал ребра, два месяца лежал в больнице. Но не отступил. И вот он уже вместе с другими катался аллеями Сокольнического парка. Но именно катался! А в нем пробуждалась страсть. Ноздри у него раз-

дувались! Предки, возможно скифы, возможно конники Мономаховой рати, оживали в нем. Да и хотелось ощутить себя настоящим мужчиной — всадником. И чувство прекрасного ждало удовлетворения — есть ли более красивое животное, нежели конь, особенно когда он в движении? Словом, он, Ростовцев, увлекся лошадьми всерьез. Проник на ипподром, там у него и прежде были связи, теперь эти связи укрепились, он на бегегах свой человек. Прочел массу книг, множество публикаций в забытых теперь газетах и журналах. Вот, скажем, раскопал перевод трактата Киккули о тренинге хеттских колесничных лошадей («Кого, кого?» — заинтересовался Данилов). Киккули, Киккули, сказал Ростовцев, был такой замечательный лошадиник, меттаниец Киккули, это в четырнадцатом веке до нашей эры. Тогда хетты поняли, что принести победу армии могут лишь колесницы...

— Вы хотите, — сказал Данилов, — управлять и колесницами?

— Какие сейчас колесницы! Нет, я езжу верхом, но для жокея я тяжел и велик, сами видите, я хотел бы участвовать и в рысистых испытаниях, там вес не так важен. Но там не колесницы, а так, тачки.

— Вы теперь мечтаете о рысистых испытаниях?

— Я не мечтаю, я готовлю себя к ним... А мечтаю... Я мечтаю слиться с конем, управлять им без удил, без уздечки, достичь тут свободы и совершенства!.. С уздечкой-то и удилами каждый сможет. А были когда-то нумидийцы и греки, те держали просто палочку в руке, и лошадь подчинялась им... В конце прошлого века один французский кавалерист — Кремье Фуа — позволил себе без седла и без удил, а лишь с помощью палочки, с помощью слов и движений своего тела повторить на конкурном поле все нумидийские номера. Неужели я это не смогу?

— Наверное, сможете... — вежливо произнес Данилов.

Ростовцев, ушедший в мечтания о жеребце без седла и без удил, словно бы очнулся и, обезоруженный, растерялся. Смотрел на Данилова робко, с виноватой улыбкой. Такой, простодушный, стеснительный, он был приятен Данилову. Но вскоре Ростовцев опять стал серьезен:

— Простите... Так зачем вам хлопобуды?

— Как? — удивился Данилов. — Я же говорил...

— Насчет книг мне понятно, — сказал Ростовцев. — Ну а если добывать книги без хлопобудов? Я кое-что знаю о вас. Вы мне симпатичны. Зачем вам лезть в эту дребедень?

— В какую дребедень?

— В очередь к хлопобудам! В будохлопы эти!

— Я вас не понимаю.

— Вам следовало бы понять их. Ведь это мираж.

— То есть?

— Мираж, наваждение, липа, туфта! Вы мне действительно симпатичны, и я считаю своим долгом открыть вам глаза. Эти хлопобуды — мое порождение.

Данилов насторожился. Он не был заинтересован в том, чтобы вся эта хлопобудия оказалась миражем.

— У меня натура такая, — сказал Ростовцев. — Я озорник. Склонен к розыгрышам и мистификациям. От меня натерпелись многие. Я натерпелся от самого себя. Но, увы, неисправим... И вот с хлопобудами... Года три назад я сидел в какой-то компании. Познакомился с социологом Облаковым и двумя экономистами. Они были короли бала, шумно, умело говорили, я же человек иного склада, и ума, и характера, мне многие их слова были смешны, казались далекими от земных забот. И я, для того чтобы поддержать светский разговор, взял и высказался насчет инициативной группы хлопот о будущем как о некоем возможном направлении исследовательских и практических работ. Я дурачился, пользовался неизвестной мне терминологией, пародировал ее, но они не поняли ни насмешки, ни пародии, напротив,

оживились. А что, говорят, плодотворная идея, надо, говорят, попробовать. Тут бы мне и о них, и об «идее» забыть, но разыграла моя дурацкая натура. Они явились ко мне в Настасьинский, вот, говорят, наши наметки, хотели бы услышать ваши замечания. И меня понесло. До того мне захотелось, чтобы на самом деле возникла инициативная группа хлопот о будущем и выстроилась очередь, что расстарался. И все возникло и все выстроилось. И теперь все как будто бы потекло само собой и вдали от меня. Впрочем, не все. Облаков и его сотрудники люди неглупые, аналитики и организаторы, люди деловые, но фантазии, следовательно, у них нет, воображение бедное и робкое, ум хоть и с научным аппаратом, но такому уму примусы в коммунальной квартире расставлять. Я же в этой истории дилетант, существо внебытовое и внеслужебное, моя фантазия раскованна, не испугана практическим знанием. Я им предлагал идеи. Они казались им бредовыми и подоблачными. Но всегда находился человек, напоминавший о необходимости безумных идей. Хлопобуды начинали думать: «А что? Есть ведь что-то...» Кстати, они привыкли и к слову «хлопобуды», а поначалу не принимали его. Вот. Затея стала самостоятельной, независимой от меня. Но многие направления хлопобудам дал я...

— И прогнозы для Клавдии Петровны?

— Да, мои... Как бы узнавал тайным образом и в обход очереди сообщал ей. А все придумывал...

— И про голографа, и про горящие дипломы, и про изумруды от вулкана Шивелуч?

— Да,— вздохнул Ростовцев.

— Но ведь это нехорошо,— сказал Данилов строго, он теперь чувствовал себя чуть ли не представителем интересов Клавдии, чуть ли не нежным ее другом, которого дурачили вместе с ней, доверчивой женщиной.— Я не знаю степени ваших приятельских отношений с Клавдией Петровной... Но зачем же заставлять женщину пускаться в столь тяжкие хлопоты? А с камнями и просто рисковать. Тут, на мой взгляд, мало остроумия.

— Эти хлопоты были ей нужны! — горячо сказал Ростовцев.— И вы это знаете не хуже меня. Она бы сама придумала себе предприятия, причем более отчаянные!

— Но вы ее подталкивали к делам бесплодным,— сказал Данилов менее решительно.

— Кто знает, бесплодным или нет,— сказал Ростовцев.— Я-то, возможно, шутил безответственно, но ее энергия и вправду превратит лаву в изумруды.

— Думаю, вряд ли.

— Вы читали в вечерней газете об опытах с шивелучской лавой?

— Нет, не читал,— быстро сказал Данилов. И тут же отругал себя: опять забыл разобраться с камнями.

— Прочитайте. Номер от третьего дня.

— Не будет у Клавдии никаких изумрудов,— сказал Данилов сердито,— зря запутали женщину!

— Да,— сказал Ростовцев,— может, вы и правы... В последнее время Клавдия стала иметь какие-то иллюзии на мой счет. Будто бы я ее вещь, терять которую нежелательно. Но, может, я дал повод считать себя ее вещью? Впрочем, повод этот чрезвычайно банальный и нынче не берется в расчет... Теперь вот сцены... Вам это вряд ли понять...

— Отчего же,— сказал Данилов.— Мне другое трудно понять. В ваших розыгрышах есть оттенок издевки. И вы не держали ее за равную себе. При этом как будто бы и злились на нее. Чем она вам так досадила?

— Да не она! — поморщился Ростовцев.— А вся ее порода! Вы видели, кто стоял в очереди!

— Предположим...

— А мне противны все эти проныры, сертификатные мужчины и дамы, сытые и с деньгами, желающие и еще ухватить куски! Ищущие способов устройства или помещения собственного капитала. И капитала материального и капитала положения. Шутить с ними я решил потому, что они сами расположены к этим шуткам. Им подавай то, чего у них еще нет... Я шальной, легкомысленный, меня захватывает сам процесс розыгрыша или игры, меня как несет, так и несет. И в этом мое несчастье... Или счастье... А с Клавдией было не только неприятное для нее, вы всего не знаете. Но и всерьез я не мог относиться к ее деловым порывам. Отсюда и изумруды... А-а-а! — взмахнул ложечкой Ростовцев. — Надоело!

— От хлопобудов вы бежали к лошадям?

— Да, — кивнул Ростовцев, — как только возникла очередь хлопобудов и зажила своей жизнью, у меня стал пропадать к ней интерес. Теперь, похоже, пропал совсем.

— Но придет пора, вы проедетесь перед публикой на жеребце без седла и удил, и вам надоедят лошади.

— Надоедят, — согласился Ростовцев. — В прошлом апреле съехал на спор на «Москвиче», чужом, разумеется, в Одессе с Потемкинской лестницы. Теперь мне эта лестница скучна. А лестница красивая.

— Всю жизнь вы эдак?

— Да, — сказал Ростовцев. — Натура такая.

— Вы ведь где-то работаете?

— Работаю.

— У вас на двери висела табличка: «Окончил два института, из них один — университет».

— Да. Институт физкультуры, специализация — плавание, но уже не плаваю и не учу плавать, а купаюсь. Потом университет, механико-математический факультет.

— Ваша работа связана с чем-нибудь небесным?

— Да, — Ростовцев сделал пальцами летательное движение, — именно с этой механикой.

— Что же, работа вам скучна?

— Нет. Не совсем. Но нас там сотни, тысячи. И я — пятидесятый, сотый, тысячный. Я разработчик частных чужих озарений. Это естественно. Таков уровень развития науки. И человечество разросло. У Леонардо был выход всему. Во мне же и в других многое не имеет выхода. Оттого-то мои коллеги лелеют хобби — в нашем отделе, например, все мастера дома цветные телевизоры. А я шучу и сажусь на кобыл.

— Ну и весело?

— Ничего... Но и не в веселье дело... И потом еще одно. Чем больше открытий в науке, хотя бы в той ее сфере, к какой близок я, тем больше тайн. И приходит мысль: «А не разыгрывает ли кто нас? Не шутит ли над нами? Не чья-либо шутка — моя жизнь?» Вот и самому хочется шутить, чтобы себя успокоить, уравновесить что-то в себе.

— Тут вы не правы, — сказал Данилов. — Вы просто читались зарубежной фантастики.

— Может быть, — сказал Ростовцев задумчиво. — Но как поступить с Клавдией, ума не приложу.

Он взглянул на Данилова, словно выпрашивая совет.

— Это ваше дело, — сказал Данилов. Ему было жалко Клавдию. Но и Ростовцев не вызывал у него сейчас грозных чувств. — А в очередь я все же попрошу меня пристроить. Шутки шутками, а книги мне нужны.

— Хорошо, — кивнул Ростовцев, он все еще, наверное, думал о своих отношениях с Клавдией, оттого вздыхал и рассеянно окунал ложечку в растаявшее мороженое.

— Спасибо, — сказал Данилов. И как бы удивился: — Но что же получается? Вот вы говорили — мираж. Но это не так. Очередь есть.

Я буду иметь книги, надеюсь. А других-то ждут приобретения посolidнее! И все эти неприятные вам люди в конце концов получают от очереди действительно выгоду. Не сомневаюсь. Новые связи, новые влияния, новую информацию, новые места и вещи. И это благодаря вам! В какой-то степени. А вы умываете руки и уходите к кобылам.

Соображения Данилова были искренние. Однако он и лукавил. Он понимал: музыка скоро так заберет его, что всякие хлопобуды станут ему в тягость. Да и зачем его усилия, если есть Ростовцев, выдумщик и озорник! Он, конечно, если бы не остыл к движению хлопобудов, еще не одну кашу заварил бы в их очереди. В конторе Малибана не переставая скрипели бы самописцы, а он, Данилов, играл бы себе на альте.

— К чему вы клоните? — поднял голову Ростовцев.

— К тому... что... — смутился Данилов. Но тут же и продолжил:— А к тому, что вы на самом деле безответственный. Сами дали этим делягам инструмент для новых приобретений и захватов. И сбежали. Нет, это не годится. Если они вам не по душе, вы и дальше обязаны морочить им головы. А то как же? Иначе благодаря вам они станут процветать... Разве это хорошо?.. И я буду вам помогать, мне эта порода тоже неприятна...

— Пожалуй, вы меня убедили...

«Ну и хорошо, — думал Данилов. — Все равно он никуда не денется от хлопобудов. Вот прокатится на манер французского кавалериста и опять сочинит что-нибудь для Облакова. И Клавдия не выпустит его из своих рук».

Последнее соображение в особенности обнадеживало Данилова.

В театре он должен был быть через полчаса. Они еще поболтали с Ростовцевым. Данилов осторожно поинтересовался, как Ростовцев выбирает время и для Одессы и для лошадей. Оказалось, что в Одессе Ростовцев был в командировке, раз в неделю он имеет творческий день, и есть один начальник, он Ростовцева порой отпускает со службы. Кстати, этот начальник стоит в очереди к хлопобудам. «Вот видите!» — сказал на всякий случай Данилов, имея в виду начальника и очередь. «А чего вы за мной шлялись?» — спросил Данилов. «Я думал, что вы тоже из той породы. Долго приглядывался. Хотел и для вас придумать особенное. Но потом вы мне стали приятны...» Данилов немного захмелел, сидел благодушный, испытывал к Ростовцеву расположение, чуть было не перешел на «ты». Заметил, что и на Ростовцева действовало вино, обеспокоился. «Вам не повредит? — спросил он. — Вы ж за рулем». «Нет, не повредит», — ответил Ростовцев. Тут заржала лошадь, и Ростовцев сказал, что пора. Данилов с ним согласился. «Вы ведь простудитесь!» — волновался Данилов. Ростовцев его успокоил, уверив, что он закаленный, одно время был моржом. Данилов проводил его к лошади, жал ему руку, потом с удовольствием смотрел, как Ростовцев ехал улицей Горького в сторону Белорусского вокзала.

Вечером, в одиннадцать, Данилову позвонила Клавдия.

— Ну что? — спросила она. — Зачем он ходит на ипподром?

— Любит лошадей. Он не играет.

— Я сама знаю, что не играет. Я была на ипподроме.

— Стало быть, ты знаешь обо всем лучше меня.

— Всегда приходится рассчитывать лишь на саму себя!

— Да, — вспомнил Данилов, — с камнями ты что делала?

— С какими камнями?

— С шивелучскими?

— Пока ничего.

— Ну и хорошо, — сказал Данилов.

Наташа сидела в комнате и во время его разговора с Клавдией, Данилов это чувствовал, была в некотором напряжении. Никаких объяснений относительно Клавдии у них с Наташей не было. Теперь

Наташа то ли сердилась на Клавдию, а может быть, на него, Данилова, то ли ревновала его к Клавдии. Эта ревность была приятна Данилову. Он хотел подойти к Наташе, приласкать ее, сказать ей что-нибудь, но опять зазвонил телефон.

— Прошу извинения за поздний звонок, — услышал Данилов голос пегого секретаря хлопобудов, — днем я нигде не мог застать вас. А мы договорились...

— Хорошо, — сухо сказал Данилов, — я приму ваше предложение. Хотел бы, чтобы вы учли, что мое согласие вызвано вовсе не вашими (он чуть было не произнес «угрозами», но рядом была Наташа)... условиями... Нет, причина тут в определенной моей корысти.

— Я очень рад, — сказал секретарь. — Я сейчас же сообщу Облакову. Желательна ваша встреча с ним.

Данилов повесил трубку. Подумал: «Валяйте, сообщайте. Потом сами будете не рады». Он ждал вопросов Наташи. Она ни о чем не спросила.

Сегодня на вечернем спектакле большая люстра снова смущала его. Дома он обходил легкую немецкую люстру с тремя рожками. «Да что я! — ругал себя Данилов. — Как напуганный баран...»

47

Он еще несколько дней с опаской поглядывал на люстры. Даже плоские люминесцентные светильники тревожили его. Потом стал спокойнее.

Данилов отправил вежливые письма в Госстрах и в милицию старшему лейтенанту Несынову. Просил извинения за хлопоты, к которым он вынудил милицию, и сообщал, что, по всей вероятности, ему подбросили украденный инструмент. Он понимал, что у старшего лейтенанта тут же возникнут вопросы: «Как же это подбросили в запертую квартиру и почему?» Данилов без всякой радости ждал звонка из милиции или вызова к следователю, но шли дни, а его не вызывали.

Встретился Данилов в Настасьинском переулке с Облаковым и лучшими умами хлопобудов. Держался с ними строго, заявил, что они ошибаются, строя на его счет какие-то фантастические предположения, впрочем, это их дело. Его же они заинтересовали, оттого он и согласился сотрудничать с ними, хотя и не очень понимает, какая им от него будет польза. Может, музыкальная консультация? Хлопобуды вели себя деликатно, сдержанно. Давали понять, что они знают, какая и когда будет польза. Пригладывались к нему. И было видно, что они люди трезвых мыслей и чувств, не слишком верят чьим-то сведениям или подозрениям насчет него. Но не прочь были бы им и поверить. («А вдруг это озорство Ростовцева?» — подумал Данилов. Позже, встретив Ростовцева, Данилов спросил, не представил ли он его Облакову особенной личностью. Нет, чего не было, того не было.) «Да, — сказал Данилов, расставаясь с хлопобудами, — никаких выгод я не ищу. Ну, только книги... А вот рецензий, хороших гастролей и прочего мне не надо. То есть не надо мне мешать, как случалось в последние недели, но и способствовать чему-либо в моей судьбе не следует». «Хорошо», — сказал Облаков.

Сказать-то он сказал, однако виолончелист Туруканов через несколько дней подошел к Данилову и, намекая на нечто им двоим известное, говорил с ним почтительно. Даже заискивающе. Один из дирижеров, кого Клавдия видела в очереди в Настасьинском переулке, раскланивался с Даниловым теперь куда приветливее, чем прежде. Выяснилось, что и на гастроли в Италию Данилов поедет. И критик Зыбалов прислал Данилову письмо, извинялся, что не упомянул фамилию Данилова в газете, сообщал, что его игра на альте ему очень понравилась, что она выше музыки Переслегина, а впрочем, и сим-

фонию Переслегина он хотел бы услышать снова, чтобы оценить ее объективнее. Клавдия же подкараулила Данилова вечером у входа в театр и набросилась на него с упреками. Что же он ее водил за нос, упрямивая о записи в очередь?

— Из-за чего они тебя пригласили?

— Им нужен музыкальный консультант. Вдруг придется читать ноты или оценивать песни.

— Музыкантов тысячи, лауреатов сотни, а позвали тебя.

— Что ты на меня напала? — сказал Данилов.

— Ты не увиливай от ответа!

— Я не могу ничего объяснить тебе, — сказал Данилов строго. — Я не волен.

Эти слова сразу же успокоили Клавдию Петровну. Теперь она смотрела на Данилова с тихим интересом. И радость была в ее глазах.

— Надеюсь, что ты не забудешь, кто я тебе.

— По-моему, ты начинаешь питать ложные надежды. Да и в очереди ты имеешь куда больше возможностей, чем я.

— Хорошо, — быстро сказала Клавдия, как бы соглашаясь с ним, словно он был одержим бредовой идеей и что же раздражать больного.

Потом она все же не выдержала:

— А ты, оказывается, вон какой загадочный. Только прикидываешься простаком и бестолочью...

— Извини, Клавдия, — сказал Данилов. — У меня спектакль. Загадки же мои ты давно могла бы разгадать.

— Может быть, я была слепая... — уже следуя к двери, услышал он печальные слова.

Данилов даже остановился в удивлении. Посмотрел на Клавдию. Однако свет не падал на ее лицо...

Играл он в те дни много, играл с жадностью.

Играл на Альбани и на простом альте. Играл дома и в театре. Играл в яме с упоением даже музыку опер и балетов, какую прежде считал для себя чужой. Теперь у него было желание войти внутрь этой музыки без чувства превосходства над ней и ее композитором, понять намерения и логику композитора и обрести в музыке, пусть так и оставшейся ему чужой, свободу мастера («Ну не мастера, а мастерового», — скромничал при этом Данилов). В вещах, им любимых, он, как ему казалось, такой свободы достиг. Или уже достигал ее без особых усилий и напряжений. То есть эти усилия и напряжения были в его музыке всегда, десятки лет, и были порой мучительными, сейчас же они словно истаявали, звуки рождались сами собой. Данилов помнил слова Асафьева: «В конце концов, техника есть умение делать то, что хочется. Но на всякое хотение есть терпение...» Выходило, что он, Данилов, во всем поспешный и непоседливый, в занятиях музыкой был именно терпеливым. И кое-чего добился.

Дома он играл вещи наиболее трудные для альты, и они получались. Он и прежде не раз играл их, и прежде бывали удачи, но теперь Данилов полагал, что мышление его альты (или альтов), выражения чувств инструментом стали более точными и близкими к правде. И тембром звучания Данилов часто оставался доволен. И будто бы забыл, каким неуверенным неудачником, каким ругателем самого себя он был в пору репетиций симфонии Переслегина и потом, после концерта.

Ему казалось, что теперь у него словно подготовительный период. Будто впереди у него прорыв. Будь он более рациональной личностью, он бы вычислил варианты этого прорыва, а то и «проиграл» бы их в мыслях, вынуждая себя к поступкам. Но тогда бы он был другой Данилов.

Все чаще он думал о своей внутренней музыке. Ведь пока она

звучит лишь внутри его, это своего рода тишизм. А что, если взять альт и попробовать... Но не будет ли тут нарушения его принципа — не использовать в музыке особенных возможностей? Нет, считал Данилов, он сам придумал приемы музыкального мышления (при этом опираясь на опыт именно земной музыки, что было немаловажно), никому он тут ни в чем не обязан и не применял никаких неземных средств. Стало быть, его условие не нарушено. Исследователи не поняли его музыки, ну и ладно (или поняли?). А от людей он ничего не собирався скрывать или утаивать. Наоборот, у него была потребность выразить перед людьми самого себя. Он хотел им говорить о своем отношении к миру и жизни. Слова ему не стали бы помощниками. Смычок и альт — другое дело. К тому же, пользуясь созданными им приемами, он мог мыслить и переживать прямо в присутствии слушателей (хотя бы и в присутствии одного слушателя), не обращаясь к чужой музыке, а — своей музыкой. Он импровизировал бы. К импровизациям же, когда-то обычным, теперь в серьезной музыке почти забытым, его тянуло.

Но он говорил себе, что желает мыслить альтом не потому, что желает показать свою виртуозность, и не потому, что в нем пробудился композитор. Он, конечно, не исключал возможности, что вдруг (когда-нибудь!) примется писать музыку, — в консерваторскую пору он увлекался и композицией, потом все забросил, а тогда сочинил десятки пьес, каждый день занимался упражнениями по контрапункту (семьдесят фуг в месяц), гармоническим анализом, сольфеджио... Нет, теперь он никак не мог назвать свои импровизации (а он на них в конце концов отважился) сочинением музыки. Но исполненного Данилов не записывал, прозвучавшую в его квартире (Наташи в те часы не было) музыку не повторял. Да и противоестественным казалось ему заучивать собственные мысли наизусть.

И все же Данилов не удержался и дважды записал свою музыку на магнитофон. Хотел послушать ее как бы из зала. Прослушав, ходил взволнованный.

Но все это было не то! Иногда он злился на альт. А чаще на самого себя. В этой своей мысленной музыке он был сумасшедше богат: весь звуковой материал, который существовал в природе и в изобретениях людей, все инструменты, и забытые, и сегодняшние, и будущие, весь мелос мира — все было к его услугам, звукосочетания рождались мгновенно и любые. Теперь же он имел один альт, пусть и Альбани, но альт! Что он мог?

Данилов отчаивался, считал, что никакие мысли и никакие чувства подлинно он не сможет выразить альтом, что его звуки еще косноязычнее слов. Но и бросить свои импровизации не мог. Играл и играл снова. Говорил себе: не приbedняйся! Техника у него сейчас отменная. И возможности альта далеко не исчерпаны. Это не оркестр, но это альт.

Однажды он играл Наташе. Наташа хвалила Данилова, хотя и сказала, что музыка для нее не совсем привычная. А потом, когда к нему в Останкино зашел Переслегин, Данилов решился играть и перед ним. Объяснил ему, что за музыку он просит выслушать. Данилов играл минуты четыре, нервничал, мысли его были скорые и отрывочные, музыка вышла резкая, бегущая куда-то, иногда и с прыжками, колкая, порой словно бы с заиканиями, случались в ней паузы — как бы остановки мыслей, — такты шли неравномерные. Движение по вертикали было своеобразное.

— Интересно, — сказал Переслегин. — Играете вы сильно. А музыка похожа на вас. Нет, вы не всегда такой. Но иногда таким бываете. И не было в вашей вещи банальности.

— А не кажется вам, — осторожно спросил Данилов, — что я нарушил много правил?

— Ну нарушили! Но это правила учебников! Да и сколько новых

правил уже возникало в двадцатом веке. И сколько еще возникнет. Ритмы, интонации, мелодии, да и самые звуки наших дней особенные, что же бояться нарушения правил! Какие удобны вам теперь средства выражения, такие и используйте. Людям вы будете дороги, если скажете свое, а не повторите произнесенное. А у вас свой язык, это видно и по одной фразе.

Переслегин, похоже, убеждал сейчас не только Данилова, но и самого себя.

— Ведь жизнь действительно особенная, новая, зачем же ее в музыке укладывать в якобы обязательные формы? Вы нарушили правила? Но я слышал не опыт с нарушениями, а Музыку, при этом близкую мне, живущему в семидесятые годы. Завтра ваши нарушения станут правилами. И мои...

Данилову слушать Переслегина было приятно. Он нуждался сейчас в поддержке. Однако иные утверждения Переслегина он мог бы и оспорить. Он любил всю музыку. Ему порой, коли было подходящее настроение, хотелось высказаться и в старой манере. Хотя бы и в романсно-ариозном, как говорил один его профессор, стиле конца прошлого столетия. Он желал развивать мысли, и поместив их внутрь сонатной формы. Или фуги. И не потому, что был всеяден или не имел своего направления. Нет, Данилов имел направление. И думал о нем. Правда, он говорил себе, что ему не следует теоретизировать, куда интереснее двигаться в искусстве на ощупь. Тут он был определенно неточен. Это ученик музыкальной школы или увлекшийся дилетант мог двигаться на ощупь. Его «на ощупь» было особого рода. Просто он не желал быть в музыке расчетливым. Но одно дело не желать... Что же касается всеядности, то ее не было, а была жадность. Принявшись создавать музыку, Данилов жаждал опробовать все. Он сидел с Переслегиным и думал о том, что жаждет сыграть вальс. И уже мелодия возникла в нем. А отчего бы и не вальс? При этом он не то чтобы хотел сочинить новый вальс, а хотел высказаться в форме вальса. Ну а потом? А потом его могли увлечь частушки, ритмы белгородского «Тимони» с его пританцовываниями и припрыгиваниями, какие давно жили в Данилове, приобретения биг-бита, новые танцы, сменившие шейк (джерк, фанки, чикен и хасл, в частности, с их непривычными движениями), мотивы расхожих песен, способные вызвать иронию его альта, но и необходимые как приметы быта летящих дней для выражения его, Данилова, мыслей. Много, многое, многое! И, конечно, Данилов помнил о прекрасной музыке и приемах ее исполнения африканской, индийской и дальневосточной школ, и те приемы волновали Данилова. Словом, звуки, мелодии, удары, звоны, ритмы, интонации теснились в нем, мучали, будоражили его, требовали выхода, воплощения альтом. Формы же, какие понадобились бы для этих воплощений, Данилов не собирался выбирать заранее. Он на это не был способен. Формы, иногда именно и из учебников, полагал он, должны были явиться сами, необходимые и естественные. Было бы ему что произнести. А как произнести, это он уже умел.

Так думал теперь Данилов. Однако Переслегину ничего не высказал, словно бы согласившись с ним во всем.

А Переслегин пришел вот зачем. Появилась возможность исполнить его симфонию во второй и в третий раз. Правда, опять во дворцах культуры. Ну и что же? Переслегин опять писал музыку и опять для альта. В некотором роде экспериментальную, какую на первый взгляд альту технически исполнить трудно. Однако и в симфонии были эпизоды, как будто бы для альта невозможные. Но Данилов их сыграл. А своими импровизациями он еще более подзадорил Переслегина. Правда, тот принялся и за оперу по мотивам рассказов Зоценко (эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова, измену учуял он),

но сочинение для альта он закончит. Расстались Данилов с Переслегиным довольные друг другом, поощрив себя на новые труды.

А после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно. Его тошнило. Кружилась голова. Билось сердце. Да что сердце! Все внутри Данилова как будто бы пришло в движение и стало куда-то смещаться. Данилов прилег на диван. Легче не было. Его раскачивало вместе с диваном. Минут десять. Потом прошло. Данилов в театре сбежал в медицинский пункт, попросил измерить давление. Оно было нормальное. И сердце работало хорошо, ровно, без шумов. Наутро Данилов развернул в троллейбусе газету и увидел заметку: в Турции был зафиксирован подземный толчок силой в семь-восемь баллов. Эпицентр землетрясения — вилайет Диярбакир, там в домах трещины. Есть жертвы. Сообщалось и время (московское), когда Диярбакир трясло. Именно в те минуты и было Данилову плохо. В те десять минут! Вспомнил Данилов Нового Маргарита и его предложение о чуткости к колебаниям. Как давно это было. В совершенно иной, нереальной жизни. Однако вот началось...

Наташе он не сказал ни о дурноте, ни о медпункте. Швейные дела шли у нее сейчас хорошо, она даже подумывала, не уйти ли ей из НИИ. Зимой знакомая Наташи, художница по костюмам, одевала для новой программы известный ансамбль с хором и танцевальной группой. К ее услугам был костюмерный цех. Но она пришла тогда к Наташе с просьбой сшить особо дорогие для нее костюмы. Наташа обрадовалась. И все сшила прекрасно. А потом стала ходить в музей, листала альбомы народной одежды и сама взялась сочинять костюмы, будто бы ей тоже надо было одеть ансамбль. Данилов смотрел ее эскизы, радовался им, но хвалил их сдержанно — он был лицо заинтересованное. Показал эскизы художникам театра, те сказали, что работы яркие и почти профессиональные. Советовали Наташе учиться. Наташа смеялась, говорила: «Да куда мне! В мой-то годы!» Но съездила в Текстильный институт, узнала условия приема. Сказала: «Год или два потерплю. Посмотрю. Почитаю школьные учебники, ведь все забыла... И надо всерьез заняться рисунком, если мы с тобой желаем рассчитывать на что-то...» В НИИ у них была изостудия, Наташа ходила теперь туда. Данилов ее не торопил. Ему и нынешняя Наташа была хороша.

Иногда он позволял себе отдыхать. В стеганом халате лежал на диване, листал книги, чаще по искусству (у хлопобудов он добыл пока только «Американский детектив»), блаженствовал. Наташа сидела за столом, фантазировала свои костюмы, напевала тихо. Слуха у нее не было, Данилов вначале смеялся над ее мелодиями, она смущалась и умолкала, теперь же пела и при нем. Неправильное ее пение умиляло Данилова, как умиляет родителей коверканье слов их младенцем. (Данилов даже пробовал на альте передать Наташины неправильности, но это было уже не то, холодная неграмотность инструмента, и только.) Никуда Данилова в эти минуты не тянуло, о купаниях в молниях и полетах в Анды он как будто бы и не помнил. Да что купания и полеты, он и в гости к Муравлевым ходил в эти месяцы редко. Рядом сидела Наташа, что еще нужно было Данилову? Он закрывал глаза, слушал милый голос и иногда размышлял, отчего в его судьбу вошла именно Наташа. Однажды он подумал так. Изменения в нем происходили тихо и не сразу, вернее готовились, накапливались в нем тихо и долго, а произошли-то, может быть, быстро, и вот когда они произошли и в нем, Данилове, утвердилось новое, впрочем существовавшее в нем и прежде, но не столь отчетливо и решительно, понимание мира и его ценностей, тогда он и столкнулся с Наташей, и она, пусть и не самая ослепительная и блистательная, была из тех женщин, какие ему стали дороги. Данилов понимал, что если и есть в этом его размышлении доля истины, то небольшая. Может быть, сотая доля. И вообще все это умозрение, пустое умствование, к какому он все рав-

но не способен. Отчего же не ослепительная и не блистательная? Наташа была ему хороша и близка. С ней он чувствовал себя спокойно. Она для него и нерушимая стена. Словами Данилов мог сказать об этом тускло. Взять же альб в тот момент было ему лень. Данилову тогда и с дивана не хотелось вставать.

Впрочем, не так уж много он пролеживал на диванах.

Весенние и летние месяцы вышли совсем суетливыми. В театре готовились к поездке в Италию, было много срочных вводов. Данилов играл и в составе секстета театра — на шефских концертах и с солистами на телевидении для «Голубого огонька». Прошел слух, что секстет пригласят на гастроли в Японию. От всех левых концертов Данилов вынужден был отказываться. Денег, пусть и не густо, он все же сумел заработать, отдал кредиторам часть долга. Снова пришлось переодолживать пятьсот рублей.

Из Госстраха пришла бумага: его письмо приняли к сведению. Из милиции не звонили и не писали. За брюками в пункт химчистки Данилов не зашел. А для итальянской поездки они пригодились бы. Теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку — вдруг там теряли из-за него квартальные премии. А может быть, брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на Преображенский рынок. Посылать Наташу в химчистку Данилов не решился. Что же ей-то краснеть? Однако и терять добро было нехорошо. «Забегу перед гастрольями», — пообещал себе Данилов. И не забежал. Решил — купит штаны в Италии. Да и Наташа обещала ему сшить брюки. Он надеялся.

В гастрольный состав Николай Борисович Земский не попал. Он как будто бы и не стремился попасть. Да что там, говорил, в Италии? Мафиози да тиффози. Макароны же и у нас есть. Подолгу с Даниловым он не разговаривал. Видел, что Данилов задержанный, ботинки стаптывает, какие тут особые разговоры. Но два раза все же спрашивал Данилова всерьез и с ехидцей: не разгадал ли Данилов тайны М.Ф.К.? «Не разгадал, Николай Борисович, — отвечал Данилов. — И некогда разгадывать». «Больно ты жаден стал до звуков. Не переешь». Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова, истаял в прошлом. В пору сомнений Данилова, неуверенности в самом себе терзания Миши Коренева были ему близки, и тайну его, хотя скорее всего ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия, а скорее действенного упоения музыкой, удовольствия от своей игры, понимания ее высоких свойств. Нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала. Понятно, что до поры до времени... Размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую (после разговоров с Земским) жалость Данилова. И все.

Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Клавдия присмирела, видно выискивала в Данилове какие-то особые свойства, прежде ею не подмеченные, но открытые хлопобудами. Она даже при всем своем стремлении к независимости одно время виляла перед Даниловым хвостом. Потом, наверное, решила, что на Данилова и с его особыми свойствами она имеет права. Узнав об Италии, она сразу стала делать Данилову заказы. Данилов заявил ей, что если у нее есть нестерпимая нужда в итальянских вещах, пусть обращается к Наташе. Наташа записывает просьбы знакомых. «Ну ты даешь! К Наташе!» — фыркнула Клавдия, и была бы рядом дверь, хлопнула бы дверью. Однако список вещей Наташе представила. Данилов повздыхал и решил, что придется купить Клавдии какую-нибудь дрянь. А то соживет со света.

Куски лавы от вулкана Шивелуч она держала в кладовке, не допуская к ним и профессора Войнова. Стало быть, эти камни Данилова пока не тревожили. А вот как деликатным способом покончить с изум-

рудами и бабочкой Махаон Маака с изумрудными зубами, он не знал. Но надо было кончать. Дело и так зашло далеко. Готовились научные публикации, целые лаборатории обхаживали изумруды, бабочку держали в зимнем саду института, кормили грецкими орехами.

К Кудасову вернулся аппетит. Сомнительные раздумья больше не угнетали его. Удручало его жизнь лишь то обстоятельство, что Данилов почти не появлялся у Муравлевых и, значит, обеды и ужины у них шли скромные, порой с одними сосисками. Он ловил теперь запахи в других домах.

Водопроводчик Коля не попадался на глаза Данилову. В пивном автомате Данилов его не встречал и не знал, идет ли из Коли дым или уже иссяк. Он рассудил, что если бы Колю дым стал удручать, Коля, наверное, обратился бы по поводу дыма к нему, Данилову. Хотя почему именно к нему? Потом Данилов узнал, что Коля ушел из сантехников и работает мойщиком в троллейбусном парке в проезде Ольминского. Оттого его и не видно во дворе.

И была Италия. Написать о ней что-либо я не в силах. Да и не был я в Италии.

В августе у Данилова был отпуск, они с Наташей дикарями отправились в Коктебель. Данилов лет пять уже отдыхал в Коктебеле. В последние месяцы, после турецкого землетрясения, он не раз испытывал дурноту. Но то землетрясение хоть было в восемь баллов, а потом-то он ощущал происшествия куда менее значительные. Толчки силою в три-четыре балла, рядовые извержения курильских и камчатских вулканов, удары цунами. Опять внутренности в нем словно бы смещались. Сердце стучало или еще хуже — замирало. И неприятнее всего было ощущение беспокойства, тоски или даже безысходности. Коктебельские купания как будто бы приободрили его. Во всяком случае, толчки в боливийской провинции Кочавамба силою в пять баллов вызвали у Данилова лишь трехминутный озноб. Правда, весь август Данилов не брал инструмент в руки.

Как только Данилов вернулся в Москву, ему позвонил Переслегин. Оркестр Чудецкого в первых днях октября должен был играть во Дворце культуры автомобилистов. В программе — поэма Стравинского «Песнь соловья» и симфония Переслегина. Стало быть, есть нужда в нем, Данилове. «И еще, — сказал Переслегин. — Вы можете исполнить там свои вещи. Как вы их называете? Импровизации?» «Импровизации... — взволнованно произнес Данилов. — Но ведь я их не записываю... Стоит ли мне...» «Стоит! — решительно сказал Переслегин. — И напрасно вы их не записываете. И глупо! Расточительно! И нет в этом уважения к любителям музыки. Это мальчишество, в конце концов!»

Данилов чуть ли не обиделся, хотел сказать, что импровизации и есть импровизации. Но потом подумал, что он обманывает себя. Он хотел записывать свою музыку! Что же касается принципа, решил Данилов, то он сможет импровизировать и при повторном высказывании. И он купил нотную бумагу.

В театр он брал теперь лишь Альбани. Оставлять инструмент на ночь в шкафу не отваживался, возил домой. В свободные часы неся на репетиции оркестра Чудецкого. Концерта ждал с нетерпением и страхом. Ругал себя за то, что согласился играть свои вещи. А на тумбах возле Дворца автомобилистов уже висели афиши с программой концерта.

Снова съехались на концерт все знакомые Данилова (и я с женой). В фойе Данилов углядел и нескольких человек из очереди хлопобудов. Видно, и они любили музыку. Ворвалась в помещение взволнованная Клавдия Петровна, приволокла с собой профессора Войнова («Ого! — обрадовался Данилов. — Нас принимают всерьез»). Прогуливался в фойе, не подходя к буфету, строгий критик Зыба ов. Некоторое удивление Данилова вызвало присутствие Николая Борисовича

Земского. Земский должен был сегодня вечером сидеть со скрипкой в яме. Данилов не удержался, подошел к Земскому, спросил: «А вы-то как же, Николай Борисович?» Земский сказал хрипло: «Больничный листок. Люмбаго». В глаза Данилову он не смотрел. В руках у него была какой-то предмет, завернутый в газету. Предмет этот Земский, казалось, желал спрятать куда-нибудь подальше, лишь бы Данилов о нем не спросил. Данилов не спросил.

Симфонию Переслегина исполняли в первом отделении.

Данилов волновался, однако на этот раз был спокойнее, все видел и помнил. Его игру и игру оркестра приняли хорошо, аплодировали, бросали цветы, оркестранты стучали смычками по пультам, одобряя Данилова. Минут пять Данилов сидел в артистической выговорившийся, расслабленный. Выключенный из жизни. Но ему еще предстояло играть. Он встал, пошел в буфет выпить воды.

Уже в очереди он пожалел, что не взял инструмент. «Да как же это я!» — чуть ли не вскричал Данилов. Он бросился в артистическую, но Альбани там не было. Раскрытый футляр лежал, а инструмент исчез. Данилов носился по комнатам за сценой, выскакивал и на сцену, спрашивал знакомых, не пошутит ли кто. Альбани нигде не было.

Наконец он заскочил в туалет при артистических комнатах и увидел Николая Борисовича Земского, терзающего его альт. Собственно, альт уже был растерзан, расчленен, раскурочен и частью разбит в щепы. В руке Земского была пила-ножовка. Ни один мастер, ни сам Альбани вернуть альт к жизни уже не смогли бы.

Данилов готов был броситься на Земского. Но зачем? Он остановился и сказал тихо, едва найдя силы для слов:

— Как это вы, Николай Борисович? Вы ведь музыкант...

— Именно потому, что музыкант, — твердо сказал Земский.

Потом Данилов сидел в артистической, лицо уткнув в ладони, чуть ли не плакал, а Земский был где-то рядом и требовал, чтобы немедленно вызвали милицию. Антракт затягивали. Чудецкий подходил к Данилову, спрашивал, не стоит ли сейчас Данилову отказаться от исполнения своих вещей, на что Данилов резко и даже неожиданно для самого себя заявил: «Нет, теперь я точно буду играть!» Думали, как быть. Посылать машину на квартиру Данилова за его простым альтом (на это ушло бы минут сорок) или же воспользоваться инструментом кого-нибудь из альтистов оркестра? Сошлись на последнем. И решили, что Данилов будет играть не сразу после антракта, а вначале исполнит поэму Стравинского. Данилов кивнул и попросил всех оставить их вдвоем с Земским.

— Зачем вы это сделали, Николай Борисович? — спросил Данилов. — Вас возмутила моя игра?

— Наоборот, — сказал Земский, — ты блестяще играл. В этом все дело. А будешь играть еще лучше.

— Но зачем же...

— Володя, вызови милицию, я прошу тебя, и пусть они составят протокол.

— Никого я не буду вызывать, — устало сказал Данилов. — Зачем теперь милиция...

— Я умоляю тебя... Да и не надо тебе вызывать милицию, я уже звонил туда. Ты им только сделай заявление.

— Я не буду делать никакого заявления...

— Я ведь опять на колени перед тобой рухну. Был уже один случай. Если б тогда мой порыв не вышел напрасным, не возникла бы у меня нужда крушить твой альт.

— Зачем вы его сломали?

— Помнишь тот наш разговор? Ты можешь верить или не верить в мой сочинения, в мой тишизм, но я в них верю. Оценить их могут не сейчас. Не скоро. Но кто запомнит меня, кто через полстолетия или полтора столетия вдруг проявит интерес к личности и ее творче-

ству, если эта личность при жизни ничем о себе не заявила, не было ее и нету? Но теперь-то меня запомнят! Ты станешь большим музыкантом, о тебе будут писать статьи и, конечно, где-нибудь упомянут, что какой-то варвар или, может, завистник растерзал в антракте концерта любимый инструмент мастера. Это выгодный для тебя момент. И для меня! Найдется дотошный потомок и пожелает разузнать, что это был за варвар, помешательство ли толкнуло его к Альбани или им двигал некий высокий принцип. И кто-нибудь оценит Николая Борисовича Земского по делам его. Я и в прошлый раз говорил тебе: мне нужна туфля Золушки. Ведь если бы Золушка не обронила туфельку, она бы по сей день ходила в прислугах у сводных сестер.

— Я помню,— встал Данилов.— Только вы себе придумали странную туфлю... Идите, Николай Борисович, я хочу побыть один.

— Нет! Ты прежде напиши заявление для милиции! — горячо вскричал Земский, страсть была в его глазах.

— В милиции инструмент не починят,— сказал Данилов.

— Его и нигде не починят! Я тебе выплачу за инструмент-то. Ты другой купишь. И разве можно сравнивать пусть даже и хороший Альбани с тем направлением, какое я могу дать музыке?.. Ты только потребуй составить протокол. Чтобы будущие архивисты наткнулись на документ. И варвар не остался безымянным.

— Николай Борисович, давайте прекратим разговор об этом,— хмуро сказал Данилов.

И тут Земский на самом деле рухнул на колени перед Даниловым.

— Не губи, Володя! Хочешь, я открою тебе тайну Миши Коренева?

— Встаньте, Николай Борисович,— подскочил Данилов к Земскому, принялся поднимать его, тяжел был Николай Борисович.— Что вы мне все этой тайной морочите голову! Ее или нет, или она не имеет ко мне никакого отношения.

— Есть тайна. А имеет ли она отношение к тебе или еще к кому, я сказать не могу.

Николай Борисович вытащил из кармана пиджака помятый конверт, поднял руку с письмом.

— Я получил это письмо от Коренева за день до его гибели,— сказал Земский.— Я не вскрывал его.

Земский протянул письмо Данилову. Данилов невольно взял его, но тут же решил вернуть Земскому.

— Письмо адресовано вам. Я не читаю чужие письма.

— И все же ты разорви конверт. Я догадываюсь, что в нем, и думаю, что твое знакомство с письмом не нанесет ущерба ни мне, ни Кореневу.

Данилов осторожно расклеил конверт, вытащил оттуда сложенный, видимо, нервными руками лист нотной бумаги. Развернул его. Лист был чистый.

— Я так и думал,— сказал Земский.

— Пустой лист,— тихо произнес Данилов.— Что ж, и для меня тут нет большого открытия...

В дверь артистической постучали. «Войдите»,— сказал Данилов. Явившийся Переслегин спросил деликатно: «Владимир Алексеевич, если вы не хотите играть, решайте, никто вас не осудит». Данилов сказал тихо, глядя в пустой прощальный лист нотной бумаги: «Нет, теперь я обязательно буду играть». «Тогда ваш выход через двадцать минут». При этих словах в артистическую вступили два милиционера, старший лейтенант и лейтенант, этот с радиотелефоном. «Уж не Немыслов ли? — испугался Данилов.— Пойдут расспросы...» Но он тут же сообразил, что Земский, наверное, звонил в местное отделение милиции, а Немыслов трудится в Останкине. И был составлен протокол, удовлетворивший Николая Борисовича Земского.

Из зала доносились флажолеты флейты и трели струнных — то

соловей залетел во владения императора, и вот уже следовал цветной и прекрасный китайский марш, а потом спорили два соловья, живой и механический, японский. Стравинского Данилов слушал рассеянно, он думал о погибшем скрипаче Мише Кореневе, видел кладбище в Бабушкине, вытоптанный снег под березами, заплаканную вдову и двух девочек, печальную Наташу с розами в руках, видел себя, в частности, и то, как он старался уберечь пальто знакомых Коренева от зеленой, не загустевшей еще краски соседней ограды. Он держал сейчас итог Мишиной жизни, чистый листок, уход в беззвучие, признание того, что произнести нечего или что вообще в этом произнесении нет нужды. Однако нужда была, коли бросился в окно. Что-то ведь произнес, и важное произнес.

Но вот глассандо арф и золотистыми звуками песни рыбака закончилась музыка Стравинского, Данилову была очередь идти на сцену. Несколько минут в артистической он привыкал к инструменту альтиста Захарова, звук у альты был хороший. Данилов кивнул Переслегину и Чудецкому, пошел к публике. В зале, видно, знали о происшествии с Альбани, тишина была удивительная.

В программе сообщалось, что солист В. Данилов исполнит три свои пьесы. Однако Данилов объявил:

— Импровизация. Памяти утихшего музыканта.

Объявляя, он подумал, а не собирался ли Земский так же назвать свое сочинение. Но в названии ли было дело?

«Стихи не пишутся, случаются»...

Тут случилась музыка.

Данилов пребывал в состоянии, какое он бы не мог сам назвать, в нем были сейчас и любовь, и злость, и отчаяние, вызванные гибелью инструмента, он бы и в сражение теперь же бросился куда-то, и утих бы на Наташиной груди, он непременно желал рассказать людям о судьбе скрипача Коренева и о своем несогласии с ней, само желание рассказать уже и было частью этого несогласия, он жаждал выразить свои понятия о жизни, о любви, о музыке и снова утвердиться в них. Он играл. Он ощущал такую свободу в выражении своих мыслей, переживаний, того, что было с ним или будет, какая к нему пока не приходила. И этот незнакомый ему инструмент, как Альбани, стал продолжением его самого, его голосом, его разумом, его сердцем... Когда Данилов понял, что высказал все, что должен был сегодня высказать, он кончил.

Были аплодисменты. Возможно, просто вежливые. А возможно, одобряющие не суть его музыки, а то, что он сыграл, хотя у него и альт перепилили. А Данилов стоял и думал о той немислимой свободе, с какой он сегодня играл. Это было воспоминание об улетевшем счастье, но в нем жило и ожидание возможных радостей. Впрочем, всего важнее было то, что он сказал.

Поняли ли его? Наташа поняла. Но ей он объяснил, что желал передать музыкой. А остальные? Многие говорили: «Непривычная музыка... Странная музыка... Как будто бы тут и не альт... Надо еще послушать...» Даже Переслегин был несколько смущен. «И все же вы и дальше говорите своим языком», — советовал он. «Непривычная? — сказал Данилов решительно и даже с вызовом. — Привыкнут!»

Но в таком кураже он был лишь после концерта. А наутро опять проснулся разбитый, обессиленный. И о музыке — своей и чужой — думал с отвращением. Все его так называемые импровизации, и в особенности вчерашняя, вызывали в нем чувство стыда. «Пошло бы это все!..» — говорил он себе.

Утром же случился с ним приступ куда серьезней прежних. Данилов лежал не шевелился, готов был звонить в «скорую». Однако отпустило. Землетрясение, по понятиям Данилова, произошло где-то силою в десять-одиннадцать баллов. Но никаких сообщений в газетах о подземных толчках не последовало. Была лишь информация о раз-

гоне студенческой демонстрации в Таиланде. Через день Данилова трясло и било, и опять в газетах упоминался лишь Таиланд. Значит, вот как. Сначала землетрясения, а потом цунами, потом избиение студентов. Впрочем, так и было обещано Данилову. Будешь совершенствоваться и дерзить в музыке — обостришь вновь обретенную чуткость. Чуткость к волнениям и колебаниям стихийным, к колебаниям и волнениям людским. Так он скоро и от плача голодного ребенка в Пенджабе станет покрываться сыпью. И от стога ветерана, в ком шевелится оставленный войной осколок. И от невзгод какого-нибудь художника, подобного Переслегину, кому не дают хода хлопобуды. Да мало ли от чего. «Буду терпеть», — думал Данилов. — Да и какой был бы я артист без ощущения боли хоть бы и твари лесной.

Дома альт в руки не брал, занимался хозяйством.

Однажды не выдержал и побежал в химчистку. Может, висят там еще его штаны. В Италии он так и не купил брюк, приобрел пластинки. Наташа, увлекшись народными костюмами, тоже пока не улучшила его гардероб. Но на двери химчистки висел листок с карандашными словами: «В связи с занятостью приемщицы пункт закрыт до 1 ноября». Данилов готов был метать громы и молнии.

Он сел в троллейбус. Поехал в театр. Все думал о заботах приемщицы и, возможно, потерянных без возврата брюках. После Крестовского моста он задремал. А когда разлепил веки, ушли и досада на пункт химчистки и мысли о колебаниях и люстре, наступило спокойствие. Данилов чувствовал, что есть этот троллейбус, бегущий по Москве, и есть он, Данилов, и есть Наташа, и есть его инструмент, и есть его пульт в яме, многого же не было и нет, оно лишь возникало в его фантазиях.

И Данилов, наверное, был прав. Ведь он артист, музыкант, как же ему существовать без фантазии и воображения? И я, слушатель рассказов Данилова и летописец нескольких месяцев его жизни, отношу воображение к самым высоким свойствам человеческой натуры. Вот наши с Даниловым фантазии и сошлись. Верить им, естественно, нет нужды. Но отчего бы и не принять во внимание? Далеко бы ушло человечество, не умея фантазировать? А скольких бы поучительных книг оно лишилось. И не озорничали бы бременские музыканты в королевских дворцах. И не летал бы Нильс на диких гусях в студеную Лапландию. И нос майора Ковалева не имел бы никакой возможности надеть вицмундир и предпринять попытку дилижансом отправиться в Ригу... Мы с Даниловым фантазеры.

Но вот странность.

Данилов, вернувшись с вечернего спектакля, вынул из ящика газету, а из нее выпала официальная бумага из пятидесяти восьмого отделения милиции. В бумаге, подписанной старшим лейтенантом Ю. Несыновым, сообщалось, что музыкальный инструмент (альт) работы итальянского мастера Матео Альбани, Больцано, 1693 год (это подтверждено экспертизой), принадлежавший гр. Данилову В. А., найден. Данилов приглашался в милицию для опознания инструмента.

«Не может быть!» — подумал Данилов.

Но он всегда верил в свое отделение милиции.

Ночь он не спал, а утром бросился к старшему лейтенанту Несынову.

Ехать к тому надо было семь минут на девятом троллейбусе.



ОТЧИЙ ДОМ



МИХАИЛ ЛАСКОВ

Мамонты

Так это и осталось в памяти:
Под небом, вытянувшись в ряд,
Чугунные застыли мамонты.
Что б ни стряслось —

они стоят.

То угасало плавок зарево,
То бушевал военный смерч,
Но домны воскресали заново,
Превозмогая тлен и смерть.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Госпиталь

Окован стужей госпиталь военный.
Рассветный, сизый, мертвенный мороз
Нет-нет и звякнет утварью бесценной —
Пробиркой льда на пальчиках берез.
Березы снег рассматривают ранний,
Как бы ища пружину западни.
Медсестры, подбирающие раненых,
И те не гнулись ниже, чем они.
Они к земле студеной клонят ухо,
В безмолвии, должно быть, слыша гром
Войны, докатывающийся глухо
До их подкорня призрачным ядром.
Ядром подземным, прячущимся в норах
Кротовых и полевкиных; в углах,
Уже не разорить ему которых,
Но где, щелчками, бьет по стенам страх...
Ядро летит в земле. Приткнется сбоку,
Родив зловещих полчища свищей,
Поискривив к неведомому сроку
Зверей костяк, рост листьев, ход вещей.
Вот так, остановиться где — не зная,
Как — бесконечным змеем — шнур-запал,
По всей земле ползет волна взрывная...
Все спали. Спало все. Никто не спал.
Не спят березы. В поле, на развилке,
У водокачки клонятся... Видать,
Везде в снегах им чудятся носилки —
Еще чуть-чуть нагнуться и — поднять!

Рванет состав на горизонтах дальних,
 Простонет раненый — болит рука...
 Не спят березы в рощах госпитальных,
 Не сплю и я же, дочь политрука.
 То думаю о жизни бестолковой,
 То утешаюсь: вот приедет мать
 Пить чай у партизанки Стрижаковой,
 Стихи о розе раненым читать.
 Не спят березы там, где лес и пашня.
 На рукаве их марлевым, вдали,
 В каскаде искр, дыша тепло и влажно,
 Восходит солнце — красный крест земли.

Догадки о юморе

Говорят: «Народный юмор груб.
 Грубостью простому сердцу люб».
 Что вы! Юмор, грубый чересчур,
 Он как раз для избранных натур!
 Старый вертопрах наедине
 Шепчет сальности чужой жене.
 Вроде бы и юмор площадной,
 Ан, глядишь, рассчитан — для одной.
 Муженек в угоду девке ржет.
 Посмеяться тоже в свой черед
 В стороне с улыбкою кривой
 Ждет жена соломенной вдовой.
 То-то и оно что грубый смех —
 Смех кустарный, редкий, не про всех!
 Не скажу, насколько он прожжен,
 Да не про детей и не про жен!
 Груб, а ведь не каждого берет.
 Ржет конюшня, да и то — не вся!
 Что за притча? Что за анекдот,
 Если вслух рассказывать нельзя?
 При мужьях нельзя, при стариках,
 При маэстро, при учениках,
 Там, где людно, там, где молодежь,
 При знакомых, незнакомых — то ж...
 Если двое, крадучись, идут
 «Посмеяться», третьего не взяв,
 Скоро эти двое создадут
 Царство смеха на его слезах.
 Если шутка выстраданный вкус
 Истинных артистов оскорбит,
 Что же в ней народного?! Божусь,
 Лишь филистер грубостью подбит.
 Говорят: «Народный юмор груб,
 Грубостью простому сердцу люб».
 Что вы! Юмор, грубый чересчур,
 Он как раз для избранных натур!
 Вот смеются у дверей в кино.
 Разве я не так же весела?
 Но — что делать! — с ними заодно
 Посмеяться так и не смогла...
 ...Спутник селадонов и блудниц,
 Черных лестниц, краденых утех,
 Смех «плебейский» — для отдельных лиц,
 «Аристократический» — для всех.

Отраженным светом

Вот солнце. Пламенно, бессмертно, бесконечно.
 Дарует людям жизнь, рассеивает мрак.
 А вот луна. Взаимы берет у солнца вечно!
 Планетка так себе... Не правда ли — пустяк?
 Но пусть на солнце курс милей держать поэтам,
 Не лучше ль с неба звезд вначале нахватать?
 И пусть луна блесит лишь отраженным светом,
 Что ж! — ведь и до луны не всем рукой подать.
 «Эй ты, сияй сама: поэту нет расчета
 Жить отраженьями!» — заметил критик мне.
 Мой друг, достаточно, что ты меня к луне
 (В запале) приравнял. Чего ж тебе еще-то?!
 Не надсаждай других — сам будешь пощажен;
 Все скажут: «Не Сент-Бёв, но и не изверг он».

ВЛАДИМИР ГРИШИН

Запах хлеба

Удивителен запах хлеба!
 Этот запах нам с детства знаком.
 Пахнет хлеб и степью, и небом,
 и травой, и парным молоком.
 Пахнет хлеб раскаленным подом,
 талым снегом, и вешней грозой,
 и мужицким соленым потом,
 а порой и мужицкой слезой.
 Ах как вкусен хлеб! До чего же
 и душист он и пышен, как пух.
 Лишь пресытившийся не может
 до конца оценить хлебный дух.

Жена пилота

Ты мне красивых слов не говори
 о прелестях высотного полета
 и как ложатся отблески зари
 на голубые крылья самолета.
 Какие я в себе слова найду
 о том, как ждать и тяжело и страшно?!
 Благословляю каждый день вчерашний.
 День завтрашний всегда с тревогой жду.

Ленинградский сонет

Нева покрыта темной синевой,
 и под мостами синева сплошная.
 И временами звонко за Невой
 позвякивают сонные трамваи.
 Я простою до утренней зари
 на мостике, поэтами воспетом.
 Вглядеться в ночь мешают фонари,
 сияющие белым мертвым светом.
 Спят каменные ангелы, и боги,
 и лошади, уткнувшиеся в дроги,
 и кони Клодта тоже спят давно.
 Лишь бодрствующий Петр стоит громадой
 да там, на Мойке, в доме с балюстрадой,
 все светится и светится окно.

ВЛАДИМИР ОСИНИН

Друзья

Когда обессиленный я
Падаю, все забывая,
Ко мне вдруг приходят друзья —
Ребята с переднего края.
Ватагой врываются в дом,
У лифта гремя сапогами,
И в памяти — над полком
Гвардейское красное знамя.
В медалях за Сталинград,
В ремнях, подпоясанных туго.
И разве тут будешь не рад,
Что вспомнили старого друга!
И сразу отбросит меня
Каким-то щемящим отливом
К немыслимым, кажется, дням,
Но, видимо, самым счастливым.
И будто мне двадцать опять,
Под дисками плечи как в мыле,
И снова пытаюсь понять,
Какими мы крепкими были.
Геройства других не маля,
Я славлю свое, дорогое...
Пуškai и сегодня земля
Растит поколение такое!

ВИКТОР ЯКОВЕНКО

Свет

Не дальний свет, не ближний, нет,
Не искры малая крупица,
Не алое крыло зарницы,
Не полыхающий рассвет —
И все же свет, могучий свет!
Он каменною глыбой ночи
Томился миллионы лет
И ждал руки, руки рабочей.
Его копила про запас
Земля, в груди своей таила...
И вот взошла в урочный час
Его раскованная сила.
Свет, возвратившийся из тьмы
Спрессованной веками тенью.
И снова солнцем стал. И мы
Приветствуем его рожденье.
А тот, кто этот свет извлек
Из черной лавы, пропыленный
Шагает, снегом ослепленный,
И губы шепчут: «Уголек...»

Отчий дом

Все мы в мире смертны, безусловно.
Что же о грядущем хлопочу
Будто о сегодняшнем, о кровном,
Думать о покое не хочу?

Что забыл я там, где нас не будет,
 Где иных пребудет грусть и смех,
 Где рососою ноги не остудит,
 На ладони не растает снег?
 Знаю, что не встану ранней ранью
 Где-то там, в двухтысячном году.
 Почему спешу, как на свиданье,
 Светом задыхаясь на ходу,
 Светом, что так щедро в душу льется?
 Каждый лучик — радужная нить —
 Сотканный из золотинок солнца,
 Чтобы зори дней соединить.
 Будущее — времени зарница.
 Время — сад, возделанный трудом
 На земле, что сединой дымится,
 А земля моя — мой отчий дом.
 Отчий дом, обветренный веками —
 Как его величие постичь? —
 Нашими построенный руками.
 Есть, быть может, в нем и твой кирпич.
 Потому не во вселенной где-то,
 А средь вас, долины и леса,
 Видим те далекие рассветы,
 Слышим птиц далеких голоса.
 Потому-то будущее бьется
 Солнечной мечтой в моей крови
 И вот так же чутко отзовется
 В чьем-то сердце голосом любви.

* *

Серые пашни пустынь,
 Пробным укрыты снежком.
 Ягоды поздней рябины
 Тонким дымятся ледком.
 Лужиц хрустальная роздымь,
 Шорох стеклянных ветвей.
 И обнаженные гнезда,
 И ветерок до костей.
 Дыму предзимнему виться,
 Помня о лете былом,
 Хочет земля поделиться
 Этим последним теплом.
 Верит в апрель не напрасно,
 Греет зерно и молчит...
 Тем-то она и прекрасна,
 Что о себе не кричит.

БЛАГА ДИМИТРОВА

С болгарского

Урок верблюда

Я иду по пустыне
 Тяжелой, ритмичной походкой верблюда,
 Медленно, но непрерывно,
 Медленно, но непрерывно,
 Медленно, но всегда.
 В раскаленных теряюсь песках,

Погружаюсь в пустыню как в море.
Море...
Море, ведь это — вода.
Соленое море,
Соленые слезы,
Соленые струйки пота.
Ни тем, ни другим и ни третьим
Жажду утолить невозможно.
И только сквозь смеженные веки
Как награда,
Как высшая нежность
Миражем серебрится вода.
Лбом раздвигаю пространство,
Лбом в горизонт упираюсь...
Медленно, но непрерывно,
Медленно, но непрерывно,
Медленно, но всегда.
Впереди миражи надежды,
Позади миражи воспоминаний.
Я сама и верблюд,
Я сама и погонщик,
Госпожа устремлений и рабыня.
Пески меня засыпают,
Два горба как песчаные дюны,
Но я пески раздвигаю,
Ноги переставляю
Медленно, но непрерывно,
Медленно, но непрерывно,
Медленно, но всегда.
За линией горизонта
Меня дожидается завтра,
Мое прохладное завтра,
Мое зеленое завтра.
Тяжело, но ритмично шагаю
Шаг за шагом туда... туда...
Ноги в песке увязают,
Но ноги девиз мой знают:
Медленно, но непрерывно,
Медленно, но всегда!

Урок пчелы

Раз ты хочешь высасывать слово
Из солнца, из ветра, из тайны цветочных тычинок,
Чтобы было густое, душистое,
Свежее, светлое,
Где горечь граничит со сладостью,
А сладость граничит с горечью,
Чтобы было подобно
Пчелиному зрелому меду
(Послушай, зачем ты так этого хочешь?),
Значит, должен иметь ты и жало...
Значит, должен иметь ты и яд,
Что из желчи
Копился по капельке все эти годы,
Что вобрал
Все мученья, досады, обиды,
Что питался
Всем, что высказать ты не посмел,
Но хотел,

Что питался
 Всем, что ты совершить не посмел,
 Но хотел,
 Что питался...
 Ты и вправду так этого хочешь?
 Так послушай.
 Один только раз ты используешь жало.
 Да, за все огорченья, досады, обиды
 Только раз ты ударишь
 И силой своей насладишься,
 А после,
 Совершивши возмездие,
 Мертвым в траву упадешь,
 Как пчела,
 Недобравшая сладкого меду,
 Как пчела,
 Недопившая чашу
 Разноцветного летнего дня,
 Как пчела,
 У которой в ажурных прожилочках крылья,
 Как пчела,
 У которой на спинке пушок золотистый,
 Как пчела...

Ну, ты все еще этого хочешь?

Она сзывает в комнату свою...

Она сзывает в комнату свою
 Подруг, умерших много лет назад.
 Сидят и вспоминают молодость свою,
 Смеются и слова смешные говорят:
 Пикник, кузен, извозчик, трость, корсет,
 Помолвка, бал, крестины, честь, венец,
 Визит, вояж, баул, молва, ланцет,
 Пассаж, пасьянс, амур, фата, подлец.
 И кошек гладят тех, которых нет давно,
 И рвут давно отцветшие цветы,
 Ждут почтальонов тех, которых нет давно,
 И писем ждут от тех, над кем давно кресты.
 Вот матери моей приносит почтальон
 От моего отца умершего конверт,
 Ей слышно, как внизу звонит у двери он,
 Хоть нет того звонка и даже дома нет.
 Вот кони мертвые провозят фазтон,
 Вот в городском саду снесенный бьет фонтан,
 Цветет асфальтом залитый газон,
 В весенних свечках срубленный каштан.
 Заглядываю в комнату — одна,
 Закрыв глаза, лежит недвижно мать,
 В то время как в кругу своих подруг она —
 Они сошлись сюда повспоминать.

Хлеб

В комнате у старенькой мамы
 Произвожу раскопки.
 Под подушкой, в матраце,
 В потайных уголках
 Нахожу

Куски окаменелого хлеба.
Запасы, запасы, запасы
На случай войны,
На случай — опять — голодовки.

Это не хлеб.
Окаменелости страха
Я нахожу в потайных уголках,
Как в раскопках кургана,
Как находят на камне следы динозавра.

Три войны,
Три голодных поры,
То, чем век наградил.

Посмотрите на эти куски —
Это страх,
Это образ прошедшего века.
Век,
Страх нам несущий.
Хлеб,
Хлеб наш насущный...

Перевел В. СОЛОУХИН,

ИГОРЬ БЕХТЕРЕВ

Возвращение

Вернулся с войны победитель,
Шинелку повесил на гвоздь.
Столь жданный супруг и родитель,
Он сел и смутился, что гость.

Как будто пугаясь обмана,
Нешумными были слова.
Он только и молвил: «Татьяна...»
Ответила только: «Жива...»

И долго и трудно сидели,
Лицом придвигаясь к лицу.
И дети поодаль робели
К родному привыкнуть отцу.

Танцплощадки в сорок шестом году

В саду играет полковой оркестр,
Светло горят начищенные трубы,
И тесно от солдаток и невест,
И беспризорны спеющие губы.
— Эй, музыкант! Оставь напрасный труд,
Сойди сюда, затепли папиросу!.. —
Но музыкант трубы своей не бросит
И мальчишки не скоро подрастут.

Живая память

В день прощания и разлуки
Те, кто стал под ружье,
Под хмельком уж, на скорую руку

Посадили по дереву,
Каждый — свое,
Во дворе, под окном, у забора —
Там, где дышит земля,—
Прибаутками и разговором
Остающихся веселя...
Вот и выросли эти рощи —
Не узнать. Могуче шумят...
О, насколько их больше,
Чем тех, кто пришел назад!

ПАВЕЛ КОНДРАШЕВ

Весной

Над ручейком среди двора
Сопит, колдует детвора.
Растет запруда — снежный щит.
«Ах шалуны,— вода ворчит.—
Пустите,— сердится слегка,—
Спешу: зовет Москва-река...»
Я слышу, памятью согрет,
Ручьи моих далеких лет.
Вновь, как и прежде, март уйдет.
Я старше стал еще на год.
Но неизбывен март иной,
Всегда он светит над страной —
Вихрастый, шустрый озорник,
Он в малышах живет, звенит.
И ни мороз, ни суховей
Не смогут выпить тот ручей,
Который в реку — жизнь мою —
Приносит юную струю.
Идут года, года, года —
Не обмелеть ей никогда.



ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛАДИМИР КАРЦЕВ



«НАЧАЛО САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ ЭПОХИ» *

Зима с девятнадцатого на двадцатый была в Москве страшно холодной. Стали трамваи. Электричество едва поступало, дров не было. Умельцы конструировали термосы. Продовольственный отдел Моссовета установил премии: «...для аппаратов в полведра — 10 000, 5000, 3000 рублей; для чертежей на аппараты в 5 ведер — 5000 и 3000 рублей». Необычайно ценилась на черном рынке книга «Варка пицци без огня».

Топлива не хватало даже для главной энергетической опоры Москвы — электростанции «Электропередача». В конце декабря Ленин вызвал ее директора Кржижановского в Кремль.

Кржижановский был уверен в необходимости пересмотра традиционного топливного баланса: переключения с привычных дров и угля на некачественные угли, ненадежные сланцы, подозрительный торф. Торф рядом! И именно он в первую очередь мог дать стране электрическую энергию.

Глеб Максимилианович говорил негромко, рисовал картины будущего. Мхи, говорил он, мириады растений наступают на живое пространство страны; гигантский Оршанский Мох, заболачивающий низины между Москвой и Питером, мог бы бесперебойно снабжать отличным топливом всю Николаевскую железную дорогу. Болота, дышащие туманами, плодящие комарье, таинственные синие огни, губят в себе все живое и в то же время сохраняют его в виде неразложившихся, нестгивших стеблей, веточек, цветов полевых с их мелкой фауной — паутиными клещиками, улитками, которые могут, высушенные и спрессованные, гореть, и гореть довольно жарко, жарче привычных дров.

Владимир Ильич, заинтересовавшись ходом мыслей Кржижановского, подзадоривал его вопросами и репликами — хотел увидеть, как «проклятые» вопросы времени преломятся в свете топливной проблемы.

...Едва Глеб Максимилианович прибыл домой в Садовники, едва рассказал жене Зинаиде Павловне обо всем, как в парадную дверь постучали — депеша из Кремля:

«Глеб Максимилианович!

Меня очень заинтересовало Ваше сообщение о торфе.

Не напишете ли статья об этом в «Экономическую Жизнь» (и затем брошюрой или в журнал)?

...Дайте итоги Вашего доклада; — приложите карту торфа; — краткие расчеты суммарные. Возможность построить торфяные машины быстро и т. д. и т. д. Краткая суть экономической программы.

Необходимо *тогчас* двинуть вопрос в печать.

26/XII [1919 г.].

Ваш Ленин...»¹

* Из книги «Кржижановский», готовящейся к выпуску в издательстве «Молодая гвардия». Автор использовал архивные материалы, письма В. И. Ленина Г. М. Кржижановскому, а также воспоминания Кржижановского и А. И. Везыменского, Н. П. Богданова, В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Винтера, Г. О. Графтио, К. А. Круга, Л. Н. Подвойского, Б. И. Угрюмова, М. В. Чашниковой, чтобы восстановить последовательную картину создания плана ГОЭЛРО.

¹ Письма и выступления В. И. Ленина цитируются по Полному собранию сочинений, тт. 40, 51.

Статья вышла в «Правде» — в той самой рубрике, которая в ноябре была открыта письмом ЦК РКП(б) «На борьбу с топливным кризисом», написанным Лениным. 10 января 1920 года Кржижановский занял свой «окоп» на топливном фронте, «Торф и кризис топлива» называлась его статья, она вызвала поток писем и предложений. По совету Ленина Глеб Максимилианович засел за следующую статью, которую решил назвать «Задачи электрификации промышленности». Каждый ее тезис естественно вел к новому тезису. В статье было подчеркнуто, что лишь уровень электрификации определяет истинный уровень развития промышленности. Электрификация — это революция не только в энергетическом смысле, но и в технологическом. «Мы, — писал Кржижановский, — подходим к последней грани. За химической молекулой и атомом — первоосновами старой химии — все яснее обрисовываются ион и электрон — основные субстанции электричества; открываются ослепительные перспективы в сторону радиоактивных веществ. Химия становится отделом общего учения об электричестве. Электротехника подводит нас к внутреннему запасу энергии в атомах. Занимается заря совершенно новой цивилизации».

Статья была послана Владимиру Ильичу для просмотра. И буквально через несколько часов — самокатчик из Кремля, пакет от Ленина:

«Глеб Максимилианович!

Статью получил и прочел.

Великолепно.

Нужен ряд таких. Тогда пустим брошюрой. У нас не хватает как раз спецов с размахом или «с загадом».

Надо 1) примечания пока убрать или сократить. Их слишком много для газеты (с редактором буду говорить завтра).

2) Нельзя ли добавить план не технический (это, конечно, дело многих и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату?..»

Но и после сокращения статью невозможно было печатать: слишком велика, почти в печатный лист! Редакция соглашалась поместить только тезисы статьи, и Глеб Максимилианович, понимая трудности газеты (иногда «Правда» выходила лишь на двух полосах), согласился на публикацию сокращенного варианта, которому дано было название «Конспект статьи Г. Кржижановского «Задачи электрификации промышленности». Публикация, состоявшаяся 30 января, сопровождалась многозначительной сноской: «Вследствие размера статьи по техническим условиям она не могла быть помещена в газете в полном изложении».

Пора было заняться требуемым Лениным «планом» и обязательно — специально для крестьян — раскрыть значение электрификации в сельском хозяйстве.

31 января в «Правде» появились «Тезисы к вопросу об электрификации» Г. Кржижановского, а еще через день его же «К плану районных станций России».

Но Ленин хотел, чтобы вышла в свет брошюра Кржижановского, содержащая полные тексты всех четырех статей! И чтобы брошюра вышла именно к I сессии ВЦИК седьмого созыва. Сессия должна была открыться 2 февраля.

25 января Глеб Максимилианович впервые принес Ленину полный текст будущей брошюры. Обсуждая рукопись, они засиделись допоздна, Кржижановский отклонялся уже около полуночи. Ленин остался один.

Что можно еще сделать для ускорения выхода брошюры? Она почти готова, стало быть, можно выправить и начать печатать завтра же... О том, что было потом, мы можем судить по воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича.

Два часа — глухая ночь. Тишина, нарушаемая далеким собачьим лаем да выстрелами...

Ленин подошел к телефонному аппарату и вызвал к себе Бонч-Бруевича — управляющего делами Совнаркома.

Владимир Дмитриевич страшно перепугался, решив, что случилось что-то с Владимиром Ильичем и требуется помощь. Сломая голову бросился к Совнаркому... Обстановка ночного покинутого учреждения была необычна. Никого нет кругом, тишина, свет везде потушен. Ленин был у себя, жив-здоров, несколько утомлен. Ходил по кабинету.

— Извините, Владимир Дмитриевич, за поздний звонок, за беспокойство. Дело очень срочное. Кржижановский, как вы знаете, написал брошюру. Ее нужно срочно

двинуть в печать. Электрификация теперь чрезвычайно необходима. Как бы нам поскорей вызвать к ней интерес?

— Может быть, напечатать брошюру к сессии ВЦИК?— спросил Бонч-Бруевич, понимая, куда клонится дело.— Тогда можно было бы распространить делегатов, они поняли бы значение электрификации для страны и разнесли бы идею по своим уголкам, познакомили массы, особенно пролетарские, с этим огромным новым фактором...

— Вот именно...

— Но у нас остается...

— Пять дней...

— И поэтому...

— Нужно приступить к делу немедленно...

— С чего же начнем?

— Давайте подготовим рукопись для типографии, а завтра с утра вы займетесь печатанием.

— Приступим,— сказал Владимир Дмитриевич (а про себя: «Как быть? Остается всего пять дней, машины стоят. Топлива нет, продовольствия нет, многие типографии законсервированы»).

Владимир Ильич дал Бонч-Бруевичу рукопись для разметки, а сам стал редактировать и сокращать ее. В половине четвертого утра работа была окончена. Прощаясь, Бонч-Бруевич сказал, что с утра он попытается мобилизовать крупные типографии, и тогда книга, а в ней будет 122 страницы, появится в срок.

— Но не забудьте, пожалуйста,— сказал, прощаясь, Ленин для того, видимо, чтобы окончательно лишить Бонч-Бруевича покоя,— что к тексту нужно будет приложить «Карту электрификации», причем не просто черно-белую, а в пять красок, чтобы всем было сразу ясно, что у нас должно быть через несколько лет по плану электрификации.

Бонч-Бруевич не смог дома заснуть, уже к семи утра был в 17-й типографии, бывшей Кушнерова, холодной, без дров, но, на его взгляд, самой надежной. Он вызвал членов заводского комитета, главу его Бокова, стал держать речь о важности электрификации. Речь членам ячейки заводского комитета понравилась, и уже к вечеру, несмотря на то, что в помещении был мороз, наборщики вручную (наборные машины не работали), стоя у касс в ватных пальто, отогревая буквы и руки собственным дыханием, смогли набрать половину текста. Бонч-Бруевич повез верстку в Кремль. Туда же по только что поставленному прямому телефону был немедленно вызван Глеб Максимович. Он немедленно сел держать корректуру.

2 февраля началась сессия ВЦИК. Ее делегатам была роздана брошюра Кржижановского.

— Мы должны, не ослабляя нашей военной готовности,— сказал Ленин на сессии,— во что бы то ни стало перевести Советскую республику на новые рельсы хозяйственного строительства. Каждая советская или партийная организация должна направлять все силы, чтобы покончить с разрухой транспорта, увеличить запасы хлеба. Тогда и только тогда мы будем иметь базу, прочную основу для широкого промышленного строительства, для электрификации России...

Сессия постановила создать комиссию, которая должна будет составить план строительства электрических станций. Руководить комиссией было поручено Кржижановскому.

Для начала Глеб Максимович решил собрать нескольких видных энергетиков в здании Первой Московской городской электрической станции на Раушской набережной. Это было 11 февраля 1920 года. Собрались вечером, когда стемнело. Присутствовали Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, Б. И. Угримов, К. А. Круг, А. Г. Коган, М. А. Смирнов и другие².

Решили избрать комиссию из 6 человек по разработке программы дальнейших работ. Следующую встречу назначили на вторник, 17 февраля, в помещении электроотдела ВСНХ.

Покинув собрание, переходя тихие и темные Садовники, потом раздеваясь в пе-

² Здесь и далее используются и цитируются материалы Центрального государственного архива народного хозяйства (ЦГАНХ) СССР—фонд ГОЭЛРО (частично эти материалы были опубликованы в сборнике «Труды ГОЭЛРО», М., Соцгиз, 1962).

редней и рассказывая Зинаиде Павловне о только что окончившемся собрании, Глеб Максимилианович понял, что разработка плана постройки станций требовала знания будущего России. Работники комиссии должны были представить себе, как социализм будет выглядеть не в лозунгах, а в конкретных хозяйственных проявлениях, в образе жизни, в отношениях между людьми, между городом и деревней. Задача электрификации неизбежно приводила к неизмеримо более сложной задаче — представить себе социализм. Глебу Максимилиановичу предстояло идти сейчас по стопам героя своей юности Кампанеллы.

Он подумал, что, в сущности, ни один из утопистов прошлого не смог создать цельный, яркий образ строя, к которому нужно стремиться. Но основные, самые общие принципы ими были подмечены точно. Свобода. Обязательный и почетный труд. Гармония развития. Социальное обеспечение. Всеобщая грамотность. Охрана здоровья. Всеобщая доброжелательность. Социалистическое общество в произведениях утопистов возникало неожиданно, как остров в море или твердь в размытом путешествии по времени. Его не надо было завоевывать. Никто — ни Мор, ни Кампанелла — не мог научить, как строить социализм.

Кржижановский понимал, чего хочет Ленин: дело не только в электрификации! Дело в том плане, который неизбежно потянет за собой строительство станций. Изучение грядущих потребностей на основе того, что мы хотели бы видеть при социализме, даст научные прогнозы развития всего хозяйства. Знание этих потребностей породит план. Из плана родится социализм. Вот что, по сути дела, было сверхзадачей новой комиссии по электрификации.

Следующее совещание состоялось, как было намечено, в электроотделе ВСНХ, в комнате без мебели, в громадной когда-то квартире 98, занятой теперь различными советскими учреждениями (по улице Мясницкой, дом 24).

Было 17 февраля, два часа дня, за окном серо, в комнате темно и холодно. Кто-то принес стулья. Расселись. Глеб Максимилианович оглядел всех — будущих строителей социализма, может быть еще и не подозревающих об этом. Вот они сидят вокруг, так называемые спецы: Графтио, Круг, Дубелир, Угримов, Каменский, Лапилов-Скобло...

Вот Генрих Осипович Графтио. Сухое лицо, точеный мужественный профиль. Благородные инженерские морщины. Короткое, когда-то модное суконное пальто знало лучшие времена. Для Графтио, конечно, важен не сам социализм. Но и социализм станет со временем важен, ибо раньше, до революции, Графтио, автор прекрасных проектов электростанций на Иматре, Свири, Волхове, не мог ничего построить: ему препятствовали могущественные тресты. Один раз фортуна, казалось, повернулась к нему лицом: ему предложили сделать проект Волховской ГЭС. Но неизвестно откуда проникнувшее о проекте «Общество 1886 года» быстро скупило земли вокруг Волхова... Волховская станция для этого деликатного интеллигента — дело жизни. (Он пока не испытывает никакой особой любви к рабоче-крестьянскому правительству. Построить станцию — это другое дело. Руководитель рабоче-крестьянского правительства обнаруживает в планах постройки станции и здравый смысл и полет мысли. Что ж, если так будет продолжаться... Впрочем, посмотрим.)

Вот Круг. Потомок вывезенных Петром I немцев, тогдашних «спецов». Разработал уже давно, раньше всех, без всякого задания план электрификации центра России. (По убеждениям, правда, раньше был известен как конституционный демократ, попросту — кадет. «Изыск, изящные манеры и томно-нежный флейты звук, отменный вкус и чувство меры нам воскрешает старый Круг».)

Члены комиссии испытывают к Глебу Максимилиановичу большое уважение как к специалисту и крупному хозяйственному руководителю, строителю и управляющему станцией «Электропередача», как к человеку порядочному, честному и обязательно. В этом спектре пристрастия и уважения нет его партийного лица, его приверженности идеалам, которые большинством здесь присутствующих не разделяются. Однако предлагаемое им здраво и своевременно, не загромождено политической трескотней. Каждое сказанное им негромкое слово оказывается решающим.

Глеб Максимилианович стоял у печки, посредине комнаты.

— Я был у Ленина, — сказал он и почувствовал наступление тишины. — Комиссия по электрификации как один из важнейших органов может рассчитывать на самую широкую поддержку государственной власти...

Из протокола заседания:

«Г. М. Кржижановский. Мы собрались в ограниченном числе в качестве организационного совещания...

Сообщу разговор с т. Лениным. Он внимательно следит за тем, что мы делаем. Просил напечатать в газетах опровержение о том, что для составления плана электрификации дан двухнедельный срок...

Тов. Ленин предполагает, что мы набросаем не только в общих чертах программу станционного строительства, но и программу развития промышленности. По мнению т. Ленина, электростанции будут направлять всю хозяйственную работу...

Закрытой баллотировкой избирается президиум в составе трех лиц: Г. М. Кржижановский, Б. И. Угримов и А. Г. Коган...»

Заседание окончилось без четверти пять, вышли на Мясницкую. Попытаемся представить, о чем они говорили, расходясь.

— Итак, Государственная комиссия по электрификации России. Название невыносимо длинное и неудобное, нужно сократить.

— Постараемся придумать что-нибудь поизящнее, Генрих Осипович. Как вам ГРЭК, Карл Адольфович?

— Почти турок.

— ЭЛЕРОС.

— КОПЭРО.

— КОМЭРО.

— Ха-ха. КОМЭРО. ГОСКОПЭЛЬ?

— Правильно. Теперь все государственное: весна, капель.

— КОМПЭЛЕРО?

— Поздравляю, кабальеро.

— Господа, есть идея! Назовем комиссию ПОСКОДО — Пошли Скорей Домой!

— Шутник вы, оказывается, Карл Адольфович.

— ГОСУДАКЭР? Опять шутю.

— КРЭЛ?

— Не чувствуется государственности.

— ГОСКРЭЛ?

— Пострел.

— ГОЭЛРО?

— ГОЭЛРО!

— Графтио, вы гений аббревиатуры! Так и запишем. ГОЭЛРО! В меру коротко и в меру загадочно.

(Графтио очень гордился впоследствии тем обстоятельством, что слово ГОЭЛРО, ставшее столь известным, придумал именно он.)

..Начались будни комиссии ГОЭЛРО. Сейчас остались от тех дней живые воспоминания ветеранов и сотни страниц протоколов, сухих протоколов — выцветшая бумага, выгоревшие буквы. Эти протоколы были утеряны, потом случайно найдены, бережно реставрированы, вот они.

«24 февраля. Заседание открывается в 2 часа 25 минут сообщением т. Кржижановского о том, что в президиуме ВСНХ состав комиссии по электрификации России утвержден в том составе, который был намечен группой совещания 17 февраля... Официальное название ее — Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)....»

Глебу Максимилиановичу особенно запомнилось заседание 13 марта, на котором обсуждалась работа Народного комиссариата земледелия по электрификации сельского хозяйства. Из стенограммы мы подробно знаем, как проходило обсуждение. С докладом выступил профессор Угримов. Получалось по его сообщению, что работала в трех направлениях: пропаганда идеи сельской электрификации, попытки устроить опытную станцию с широким применением электричества на Бутырском хуторе и в подмосковном имении Машкино и подготовка к организации специальных показательных станций...

Угримов кончил и победно оглядел присутствующих, которые одобрительно зашумели:

— Ну, Борис Иванович, дело с электрификацией сельского хозяйства у вас в наркомате, чувствуется, пойдет далеко! Широко развернулись!

Слышались реплики такого рода, а Глеб Максимилианович оставался холодеет. Раз-ве о таких работах мечтает Ильич? Разве они приведут к нашей цели — хотя бы через сотню лет? Он поднялся и сказал:

— Спасибо, Борис Иванович. Это прекрасно, конечно. И пропаганда и показатель-ные хозяйства... Но нет у вас одного — ясного взгляда на сущность электрификации. Перед тем как составлять программу, надо немного заглянуть вперед. Как Наркомзем представляет себе будущее хозяйство? В виде ассоциации крестьян? Или в форме кооперативных объединений? Или в виде советских хозяйств?

Он продолжал и чувствовал, как возникающая было растерянность стала сменяться тупотой понимания.

Круг, умница Круг сразу ухватил проблему.

— Пока все в руках мелких хозяев, — сказал он, — трудно рассчитывать на сколько-нибудь широкую электрификацию земледелия.

Лапиров-Скобло тоже заметил, что в программе электрификации Наркомзема совершенно нет указания на пути развития российского сельского хозяйства. Необходимо заботиться не только об источниках энергии, но и об их потребителях.

Растут люди, растут, подумал Глеб Максимилианович. Начинают понимать — дело не только в электрификации, они уже думают, что и как будет развиваться в России, и не просто развиваться само по себе, а так, как мы сейчас направим. А направить нужно с фантазией, охватить широким взглядом нашего коллективного органа сразу все стороны жизни и быта: и здоровье, и культуру, и формы хозяйствования через несколько лет, и возможные изменения в жизни населения — нужно будет подсказать, какой город опустеет, а какой пойдет в гору, где найдут ископаемые и нужно будет строить обогатительный комбинат, и где близко залегают уголь и руда, и к какому выводу придут крестьяне, будут ли объединяться, или же решающую роль сыграют советские хозяйства — совхозы. Все нужно было предусмотреть уже сейчас, решая, казалось бы, скромную задачу определения необходимых электростанций, мест их постройки, их мощность. Вот к чему вела логика ленинских напутствий.

Вечером после заседания Глеб Максимилианович направился в Кремль, чтобы показать Владимиру Ильичу «заявление ГОЭЛРО» — программу работ комиссии, написанную им и только что утвержденную...

На следующий день самокатчик доставил письмо:

«Глеб Максимилианович!

Просмотрев заявление ГОЭЛРО, подумав над вчерашней беседой, я прихожу к выводу, что оно сухо.

Мало этого.

Нельзя ли Вам написать или Кругу (или еще кому) заказать статейку такого рода, чтобы

доказать

или хотя бы иллюстрировать

а) громадную выгоду,

б) необходимость электрификации...

Я думаю, толковый спец в 2 дня сделает такую работу (если захочет исполнить добросовестно), взяв либо цифры довоенной статистики (немного, совсем немного итоговых цифр), либо расчет грубо приблизительный («в порядке первого приближения» к первому приближению)...»

(Тут Владимир Ильич, как вспоминал Кржижановский, подтрунивал над привычкой своего старинного друга и при нужде и без нужды страховать себя инженерной присказкой «в порядке первого приближения...».)

Из стенограммы заседания ГОЭЛРО 28 марта:

«...Г. М. Кржижановский. Мы должны сказать народу: «Перед вами полоса тяжчайших лет. Вы должны сделать героическое напряжение. Вы недавно сумели совершить такое напряжение на военном фронте. Гораздо более трудная задача — проявить такую же помощь народного творчества на фронте экономической разрухи. У нас один фундамент — это сочувствие народных масс...» Вот единственный в мире случай, когда творческая мысль может на основании научных соображений воплотиться в жизнь. Мы должны нарисовать народу программу в целом. Пусть эта программа будет дана в порядке первого приближения, но перспективы этого широкого плана должны быть нарисованы...»

Из протокола ГОЭЛРО:

«...3 апреля. Профессор И. Г. Александров прочел членам комиссии свой доклад

«О программе экономического развития Юга России». В основу программы положен проект использования Днепра (порогов его) как источника энергии...»

Станция на Днепре, по расчетам Александрова, должна была иметь неслыханную мощность — полмиллиона киловатт³¹.

Александров не смущался величиной этой цифры. Он говорил о том, что открыта электрическая природа вещества, и поэтому в будущих, еще неизвестных технологиях нужно предусматривать очевидную возможность участия электричества. Он смотрел далеко, Александров, и этим очень нравился Глебу Максимилиановичу.

Как точно он нащупал «центр вибрации будущей жизни»! Станция откроет перспективы рудникам Кривого Рога, шахтам Донбасса. Она даст животный импульс развитию электрометаллургии, машиностроения. Будем делать автомобили, а быть может, и аэропланы... Для протяженной России первостатейную роль играют проблемы транспорта.

Александров предлагал одну плотину вместо трех и этим поднимал уровень Днепра так высоко, что сразу затоплял все пороги и решал проблему судоходства. Всего несколько лет назад эта идея была бы нереальной. Построить плотину не позволили бы собственники прибрежных земель.

Кржижановскому было приятно видеть, как тянутся к ГОЭЛРО специалисты, тянутся не из-за денег и пайков, а из-за чего-то неизмеримо более важного и высокого. Он был счастлив, видя, как в результате из отдельных работ членов комиссии рождается одухотворенный план построения нового мира...

Специалисты ГОЭЛРО научились нащупывать в каждом районе основной нерв хозяйственной жизни, «раздражающий» который можно было бы постепенно оживить промышленность, сельское хозяйство, торговлю.

Из протокола ГОЭЛРО:

«...24 апреля. Слушали:

Ближайшие задачи на пути электрификации (Сибири.— В. К.), по мнению докладчика (Успенского.— В. К.), таковы: электрификация всех городов (в целях развития существующей промышленности), маслодельных заводов, подъездных путей, устройство электроавтомобильного движения и подвешных электрических дорог, электрификация мукомольных заводов, тайги для развития лесной промышленности и горных областей для эксплуатации горных богатств. На все это в первые пять лет потребуются до 2 000 000 л. с...»

Два миллиона лошадиных сил! Лихо развернулся Успенский! Во всей России в десятки раз меньше. Глеб Максимилианович не стал его останавливать. Пусть мечтает; сейчас это важно.

8 мая инженер Август Адамович Вельнер, эстонец из Ревеля, представил доклад о водных силах Ангары. Он указывал на удачное расположение села Братское, выше его по реке — озеро Байкал (связь с Восточной Сибирью) и Енисей с его громадными возможностями: там и железная дорога, и железо, и уголь, и золото. Там можно соорудить несколько мощных станций, энергии хватит на все...³².

Мечтатели с упоением считали миллионы киловатт, оперировали миллионами золотых рублей, миллионами бочек цемента, миллионами пудов железа... Ничего этого у молодой республики не было и в помине.

Из протоколов ГОЭЛРО:

«22 мая А. А. Горев приступает к докладу по электрификации Северного района... Переходя к выяснению возможности использования запасов энергии в районе, докладчик отмечает, что дешевизна получаемой энергии позволяет надеяться на возникновение ряда химических производств, на что указывает пример Ниагары в Северной Америке, в частности получение азота из воздуха (для удобрений). Вторым крупным потребителем энергии может явиться производство алюминия...»

5 и 6 июня. Заслушивается доклад А. Н. Костякова об оросительных мелиоративных работах, доклад Г. М. Гедда о плане железнодорожного строительства на ближайшие 10 лет.

Г. М. Кржижановский считает, что... проектировать надо не отдельные линии, а сети, чего в настоящем плане нет...

³¹ Этой станцией стал впоследствии Днепрогэс: его мощность составила 600 тысяч киловатт.

³² Сейчас в тех краях построены Братская, Красноярская и Усть-Илимская ГЭС.

12 и ю н я. ...Доклад М. А. Шателена об удовлетворении нужд деревни электрической энергией с помощью устройства стандартизированных гидроэлектрических установок...

19 и ю н я. Слушали доклад Г. О. Графтио «Электрификация Кавказа». Г. М. Кржижановский отмечает ценность доклада и считает, что, в общем, установлена правильная точка зрения... край имеет громадное экономическое и политическое значение. Проект должен быть составлен в таком духе, чтобы перед всем населением Кавказа была ясна мысль Советской России о перспективах развития этого края...»

12 июня было счастливым днем. Собираясь ехать в Богородск на «Электропередачу», Глеб Максимилианович прочел письмо, которое оставил ему на квартире, так и не дождавшись его, старый дружище Фридрих Ленгник, профессиональный революционер, искровец:

«Глебася, черт этакий! Я всю ночь сегодня не мог спать из-за твоих фантазий. Хотя ты сегодня уезжаешь, кажется, я все-таки приду к тебе сегодня ночевать, чтобы прочесть твою записку. Устрой, чтобы я мог попасть в Вашу квартиру сегодня вечером, часов в девять вечера. Если никого у Вас дома не будет, то оставьте ключ хоть у телефониста электрической станции. Я во что бы то ни стало должен прочесть твой доклад, так как все равно ни о чем, как о ваших фантазиях, думать не смогу. Я чувствую, что всем нам, всей России, надо будет в течение ближайших десятилетий плясать по вашей дудке, и потому хочу заблаговременно подготовиться к этой пляске под музыку волн российских источников тепла, света и жизни. Устрой это мне во что бы то ни стало. А то я переночую у тебя на лестнице, пока не приедешь и не дашь мне записки. Я буду ее искать у тебя на столе. Какой гений придумал плотину у Александровска — ведь это что-то небывалое по своей простоте и действительности!

20/VI 1920 г.

Твой Ф. Ленгник.

Р. С. Есть ли то, что ты вчера рассказывал об электрификации, секрет? По-моему, преступно делать из этого секрет. Об этом надо бить в колокола на весь мир. А что этим можно завоевать российскую интеллигенцию — это для меня не п р е л о ж н ы й факт.

Ленин должен вместе с тобой открыть цикл публичных собраний по этому вопросу — и через три месяца весь цвет русской — все-таки хорошей и честной, что бы там ни говорить — интеллигенции будет за нас в с е й д у ш о й. Право, передай это Ильичу от моего имени и умоли его сделать это, если можно, завтра или послезавтра. У него хватит на это смелости и энергии. — Ф.» 5.

Из протокола ГОЭЛРО:

«26 и ю н я. Заслушаны доклады: 1) А. Е. Лосицкого «Районирование сельскохозяйственной промышленности», 2) Л. Н. Литошенко «Экономические условия электрификации сельского хозяйства...»

Г. М. Кржижановский. Нужно резко разделить два доклада. Один относится непосредственно к нашей программе и чрезвычайно важный — это доклад т. Лосицкого. Что касается второго доклада, то это очень интересный доклад, но идущий вразрез с нашими другими докладами... Наша агрономическая группа является в целом сторонником создания социалистического типа хозяйства. Л. Н. Литошенко строит свой доклад на том положении, что основную ставку надо делать на крепкого крестьянина, т. е. на кулака-предпринимателя. В общем доклад дает одностороннюю картину современного положения и в целом противоречит всей работе экономической группы ГОЭЛРО...

...Закрывая собрание, председатель сообщает о предположении перенести заседания ГОЭЛРО на электрическую станцию "Электропередача,,".

Москва плавилась от необычайной жары, весенние прогнозы метеоролога-пессимиста сбывались: наступало одно из самых засушливых лет в центральной России. На этот раз совпали все приметы — и народные и научные.

На «Электропередаче», в семидесяти верстах от Москвы, было лишь немного прохладнее — и небо серое над головой раскалено, и горячее ископаемое под ногами проминается: разогрето. Тревожное было лето, и тревожное красное солнце тонуло у края горизонта в синей дымке.

Расположились в коттедже, отнесенном подальше от шума и суеты станции, поделили комнаты, застелили постели, окна — настежь. Июльский болотный комар уже

* Копия письма хранится в архиве Центрального музея Революции СССР.

не такой жгучий, ночные стражницы совки во главе летучей ночной фауны, жужжа, трепыхаясь, мягко бились о стекла своими легкими тельцами, не давали заснуть...

Непонятными горожанину звуками полнилась ночь: хлопали крылья; кто-то стоял на болоте хрипло, по-человечьи; дробные мелкие галопы под полом сменялись зловещей тишиной; кто-то царапал стены; шаги тяжелые за окном. Беспокойное время. Диверсии на станции, поджоги, забастовки, война насмерть...

Тревожно ломаясь сучья, шуршала сухая трава, ночь не приносила покоя и прохлады.

Глеб Максимилианович ощущал тревогу физически. Глухой стук крови. Он долго ворочался в темноте, пока не начало светать. Но и светало тревожно: слишком быстро. Он вскочил, поняв, что это не рассвет. Где-то уже невдалеке горели вполнеба торфяники. Пожар!

Хлопали двери.

— Глеб Максимилианович! — звал кто-то.

Кржижановский только крикнул:

— Главное: портфели берегите!

Сам побежал к телеграфу, подгоняемый далекими отсветами и ровным шумом огня. Бежал к зданию правления, к знакомому куполу, теперь уже хорошо видимому в отсветах пожара. «СТАНЦИЯ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ОПАСНОСТИ МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ ЕЕ БЫТИЕ КРЖИЖАНОВСКИЙ», — дрожащими буквами записал он текст телеграммы.

Члены комиссии, погрузив портфели с драгоценными материалами на автомобиль (пока не поздно, пока не отрезана дорога в Москву), тушили пожар вместе с рабочими станции. Если бы это был просто пожар. Горели деревья, кустарники. Горела земля. Горело под землей — торф, невзрачное ископаемое. Было три разных пожара, поддерживающих друг друга. Тушили, валяли деревья, рыли рвы, а горело уже где-то позади. Гул доносился из-под земли, поверхность ее раскалялась, вспухала и опадала искрящейся воронкой. Тогда, отступая, забегали далеко назад, стараясь перегнать быстрый и коварный подземный огонь. Борьба продолжалась весь день. К вечеру пришло подкрепление. Ленин прислал два отборных карельских полка с саперным оборудованием, лемехами, прикреплёнными к военным повозкам. Тушили всю ночь, к утру пожар стал отступать, разваливаться, оборачиваясь дымящими углями стволов и горячей гарью земли...

Кржижановский, Классон, Крут, Вашков, Близняк вздохнули облегченно: станция спасена. Москва спасена. Планы и доклады комиссии тоже спасены.

Скорее всего диверсия, размышляла Глеб Максимилианович. Еще много врагов во круг.

Комиссия вернулась в Москву.

26 сентября Ленин направил Глебу Максимилиановичу записку по поводу пятого выпуска Бюллетеня ГОЭЛРО:

«...в целых пяти №№ «Бюллетеня» мы имеем только «схемы» и «планы» *галеки*, а *близкого нет*.

Чего именно (точно) не хватает для «ускорения пуска в ход существующих электростанций»?

В этом гвоздь. А об этом ни слова.

Чего не хватает? Рабочих? Квалифицированных рабочих? Машин? Металла? Топлива? Чего другого?

«План» добыть, все нехватящее надо *тотчас* составить и опубликовать.

Из протоколов ГОЭЛРО:

Ленин.

«28 с е н т я б р я. ...После всесторонних прений по предложению председателя был принят как первоочередной следующий план постройки районных станций...

...19 о к т я б р я. ...За небольшими исключениями все материалы *налицо*...» 32

Должность председателя комиссии обязывала Глеба Максимилиановича просматривать и подписывать финансовые документы. Но даже они казались ему исполненными высокого смысла.

К сентябрю общие расходы комиссии, в которой работало около 200 инженеров и техников, составили 2 189 100 рублей. Отпущенные деньги остались недоиспользованными, не то что просимые 20 миллионов рублей, но и сразу выделенные 5. Дело, как выяснилось, было совсем не в *деньгах* и не во *вмях их*, оказалось, работали «спецы».

К сентябрю потеряла смысл система «пожетоного вознаграждения» специалистов, вызываемых на отдельные заседания, а вот он, старый документ об этом, впрочем, какой он старый — полгода не прошло:

«Пожетоное вознаграждение членам комиссии за заседание 24.III.20.

Р. Э. Классон — 500, В. Д. Кирпичников — 500, С. Д. Гефтер — 500, М. К. Поливанов — 500, В. А. Белоцветов — 500, К. А. Круг — 500, А. И. Таиров — 500, Б. Э. Стонкель — 500. Итого — 4000. ...М. Х. Гурьеву — секретарю комиссии — за извозчика в Электроотдел за получением денег — 1000 рубл.»

Вот расходы совсем мелкие:

«...Государственному магазину за пять аршин кальки — 325 руб. то же, за два флакона туши — 150 руб.

Шереметовой, за гумми-арабик — 90 руб.

Смильго, за ленты для пишущих машин — 1750 руб.

Смирнову, за сургуч — 875 руб.

(Такие цены: коробок спичек — сто рублей, свеча — пятьсот, фунт муки — тысяча.)

Петроградскому Государственному № 4 складу за денатурированный спирт — 33 руб. 63 коп. (Только здесь еще сохранились копейки.)

Механику Оглы — за починку двух пишущих машин — 5000 руб.

Телеграмма срочная — 150 руб.

(Как чувствуется разница цен! То, что продает государство, дешево, то, что продается «по договоренности», повинуюсь стихии рынка, дорого. Уже ощутима рука государства, препятствующая взвинчиванию цен, уже есть государственный сектор.)

Оплата перевода: «Электрификация шведской страны» — по 1200 руб. за строчку.

(Вот кому действительно заплатили по-королевски — переводчику. За срочность. Нужно будет перечитать, рассказать Ленину, как проходит электрификация в другом мире, что пишет инженер Свен Любек.)».

...13 ноября в кабинет Кржижановского в ВСНХ заглянул крестьянин Сергей Курков. Он был у Кржижановского частым гостем по делам строящейся станции. Станция была малоомощной, но принципиальной — она была из первых, строящихся в соответствии с планом ГОЭЛРО и при помощи ГОЭЛРО. Курков на этот раз ничего не просил.

— Готова станция. Завтра открываем электрическое освещение. Приезжайте. Вот и для гражданина Ленина приглашение. Хотели бы видеть на великом празднике кашинских крестьян инициаторов электрификации. Вы у него бываете. Его присутствие весьма желательно.

— Хорошо, Сергей, передам.

Глеб Максимилианович вспоминал, что он приходил к Ленину обычно вечером и находил его или в кабинете, или в кремлевской квартире. Там в маленькой кухне Владимир Ильич сам разогревал чай, подкладывал в чашку Глебу Максимилиановичу два кусочка сахара, сам пил вирикүску — экономил, — зорко следил за тем, чтобы Кржижановский, или Суслик по старой партийной кличке, все клал на место, особенно крышку от сахарницы, которую тот обычно куда-нибудь засовывал.

Приглашение к чаю становилось для Глеба Максимилиановича сигналом, что Ленин устал и с удовольствием отвлекся бы от «проклятых» вопросов. Зная, что Старик обожает технику, он обычно рассказывал ему о новостях технического мира.

Однажды Глеб Максимилианович принес карту намечаемых к постройке по плану ГОЭЛРО станций. Вокруг каждой станции была в масштабе проведена окружность радиусом около сотни верст, обозначавшая возможный район обслуживания потребителей. Ленин долго и внимательно изучал карту и вдруг сказал:

«¹⁰ Кольца не получается.

Глеб Максимилианович поразился. Действительно, намечаемые к постройке станции иногда были далеко друг от друга и их круги в некоторых местах не пересекались. Объективно это означало, что преимущества всеобщей электрификации не будут использованы полностью — не было кольцевания станций в энергетическую систему, сулившего большие выгоды. Ленин тут же это заметил и предложил увеличить радиус окружностей (это зависит как будто от напряжения?) или наметить в промежутках между окружностями дополнительные станции.

В окончательном варианте плана идея кольцевания была использована в возможно более полной мере ⁶.

Чувствуя недостаток электротехнического образования, Владимир Ильич как-то попросил Кржижановского дать почитать ему какой-нибудь учебник электротехники. Тот принес два тома, принадлежащих перу весьма известного автора. Ленин углубился в них. Через некоторое время, однако, с негодованием вернул, да еще прочел Глебу Максимилиановичу длинную цитату из этого труда, где автор, пытаясь быть понятным, сравнивал движение электронов с переселением народов. Это показалось Ленину страшно неуместным.

Сам он не очень жаловал киловатт и справедливо считал, что для популяризации электрификации среди российского населения нужно заменить термин каким-нибудь другим, более доступным.

— Посудите сами, Глеб Максимилианович, как сможет полудикий крестьянин где-нибудь в российской глубинке представить себе мощность в один миллион семьсот пятьдесят тысяч киловатт, которую вы наметили для российских электростанций? Много это или мало? Какой с этих киловатт крестьянину прок? А вы подсчитайте хотя бы грубо, ориентировочно, в порядке первого приближения, — эти слова он снова выделал, выразительно поглядывая на Глеба Максимилиановича, — сколько это будет, к примеру, машинных рабов или работников, еще чего-нибудь ясного, понятного...

Глеб Максимилианович призадумался, начал ходить по кухне.

— Вообще-то, — сказал он, — в сопоставлениях киловатта с человеческой силой много условного... Впрочем... если все-таки на это решиться, то, взяв карандаш, — тут он вытащил из внутреннего кармана и карандаш, и бумагу, и логарифмическую линейку, чем привел Владимира Ильича в восторг, — можно подсчитать, — он задвигал бегунком, — что мотор мощностью в киловатт может совершить ту же работу, что и двадцать рабочих. Кстати, для некоторых видов труда более уместна цифра тридцать. Но не будем жадничать и возьмем двадцать. Следовательно, — быстро подсчитал на линейке Глеб Максимилианович, — общую мощность электростанций ГОЭЛРО можно сравнить с физическими усилиями тридцати пяти миллионов человек ⁷. Это, конечно, очень грубо и ориентировочно. Скорее всего эта величина преуменьшена.

Ленин был поражен результатом. Он взял листок с цифрами и тоже стал ходить, что-то обдумывая.

— Выходит, что в результате постройки намечаемых станций число работающих в нашей стране как будто бы сразу возрастет на тридцать пять миллионов! Вы не ошиблись, Глеб Максимилианович?..

Ленин считал необходимым вынести результаты работы комиссии ГОЭЛРО на обсуждение VIII Всероссийского съезда Советов, который должен был состояться в декабре. Как-то он признался Глебу Максимилиановичу, что не так-то легко было поставить на съезде вопрос об электрификации: была серьезная оппозиция.

Чего только не было в итоговых документах работы ГОЭЛРО, в этих папках, которые Глеб Максимилианович ласково поглаживал по зеленым переплетам!

Вот Север. Здесь все о нем. О мощности рек, о возможности производства алюминия, списки и характеристики лесов, болот. Соображения о рациональной эксплуатации зеленых массивов, с тем чтобы не были в претензии друзья русского леса, о нефтеносном районе в Ухте, еще недостаточно обследованном, но необычайно перспективном, о возобновлении чугуноплавильного производства в Олонецкой губернии, о будущем мурманского порта и электрификации Мурманской железной дороги...

А это центр России. Общее описание, карты, схемы топливоснабжения, определе-

⁶ Идея кольцевания станций получила свое развитие в концепции Единой энергетической системы СССР. Сегодня создание такой системы уже завершено. Единые энергетические системы европейской части СССР, Средней Азии и Казахстана, Сибири, Кавказа замыкаются между собой мощными линиями электропередач. В близком будущем можно ожидать и создания Единой энергосистемы стран социализма.

⁷ Интересно сопоставить наметки ГОЭЛРО с сегодняшней мощностью электростанций СССР. В 1979 году она составляла около 100 миллионов киловатт. В строю действующих такие энергетические гиганты, как Красноярская и Вратская ГЭС, крупнейшие в мире тепловые и атомные станции, каждая из которых по своей мощности превосходит все станции плана ГОЭЛРО — 1,75 миллиона киловатт. Мощность одной Красноярской гидроэлектростанции почти втрое больше. А Саяно-Шушенская ГЭС, строящаяся вблизи бывших селений Шушенское и Теси, где отбывали сибирскую ссылку В. И. Ленин и Г. М. Кржижановский, будет еще более мощной.

вие потребностей мощности станций, использование существующего станционного хозяйства. И еще соображения о будущем развитии Москвы. Написаны инженерами Полиновым и Класоном. Читаются как фантастический роман Жюль Верна...

Юг. Здесь, конечно, все затмевает гигантская плотина на Днестре, превращающая Александровск в морской порт и весь юг Украины в цветущий край. Плотина дерзка до умопомрачения. Выдюжим ли, российские техники? Рядом для сравнения проект электростанции Юга, выдвинутый до революции российским акционерным обществом «Углеток», — убожество...

Урал. Кавказ. Сибирь. Туркестан.

Для того чтобы наполнить эти картонные папки, 200 лучших ученых и инженеров России должны были представить себе социализм...

Владимир Ильич просмотрел все материалы, дал свои замечания и предложения к докладу. Члены комиссии сразу же засели за исправления. Кржижановский не спал двое суток. Круг тридцать часов не отходил от стола. Да и другим пришлось немало потрудиться.

22 декабря на VIII Всероссийском съезде Советов выступал Ленин. Многие видели его впервые — портреты были редки. Ловкачи продавали снимки его в профиль, видимо размноженные с тюремной фотографии, сделанной когда-то, еще в «предварилке», там он получился с большой черной бородой, мало похожим на себя.

Внимательно вглядываясь в лица людей, заполнивших театр, Глеб Максимилианович внезапно понял, чем привлекали они его: молодостью. Потом в стенографическом отчете съезда это подтвердилось статистикой: среди делегатов было 16 человек моложе двадцати лет, более тысячи — в возрасте от двадцати до тридцати, столько же примерно — от тридцати до сорока, всего 260 — от сорока до пятидесяти. Владимир Ильич был одним из самых старших!

Ленин говорил:

— Мы здесь присутствуем при весьма крупном переломе, который, во всяком случае, свидетельствует о начале больших успехов Советской власти. На трибуне Всероссийских съездов будут впредь появляться не только политики и администраторы, но и инженеры, и агрономы. Это начало самой счастливой эпохи, когда политики будут становиться все меньше и меньше, о политике будут говорить реже и не так длительно, а больше будут говорить инженеры и агрономы...

Неожиданно он поднял над собой и залом книгу — труды ГОЭЛРО. Увесистый том в 672 страницы, с колоссальным числом схем и графиков был издан в срок. Страна привыкала к новым темпам. К книге прилагалась «Схематическая карта электрификации России», напечатанная в несколько цветов. Ленин продолжал:

— Мы имеем перед собой результаты работ Государственной комиссии по электрификации России в виде этого томика, который всем вам сегодня или завтра будет роздан. Я надеюсь, что вы этого томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого томика. На мой взгляд, это — наша вторая программа партии...

...До Кржижановского должны были еще выступить несколько человек: продолжались прения по докладу Ленина. Когда один из выступающих проходил прямо перед президиумом к кафедре, Глеб Максимилианович вдруг узнал его... Это же Дан! Боже мой, сколько лет прошло с тех памятных — весьма памятных! — встреч в Женеве! Неприятных встреч времен раскола партии. Дан погрузнел, погрубел, постарел. Это уже не тот денди, которого звал Кржижановский. Сейчас на нем китель военного врача. Выступает от меньшевиков.

— Полоса новых войн... Господство принуждения и насилия — это такие вопросы, по которым агрономы и инженеры не могут сказать решающего слова. Разве важно — много или мало у нас электрических ламп? Агрономам и инженерам рано на подыгивать трибуну...

Все это было так естественно для Дана, что Глеб Максимилианович даже не разозлился. Съезд великодушно добавил Дану время, но отношение к нему было явно недоброжелательным. За предложенную им резолюцию голосовал всего один человек — он сам. За Даном выступил эсер Вольский, за ним беспартийный питерский рабочий Юхневич. Вот с заключительным словом выступает Владимир Ильич.

26 декабря должно было стать для Глеба Максимилиановича и для всех, стоявших за ним, великим днем — триумфом или провалом. Он чувствовал необычайный прилив

сил. Перехватив его за кулисами перед заседанием, Владимир Ильич заговорщически подмигнул, и Глебу Максимилиановичу откуда-то принесли чашечку прекрасного, ароматнейшего кофе с коньяком...

И вот Михаил Иванович Калинин обратился в сторону Кржижановского. Глеб¹ Максимилианович внезапно потерялся от волнения. Он знал лишь, что надо двигаться к кафедре. Поднялся, под взглядами тысяч настороженных глаз прошел позади президиума. Он понял вдруг, что забыл продумать форму обращения к залу. Товарищи? Граждане? Решил сразу приступить к тексту:

— Передо мной стоит чрезвычайно трудная задача — в краткий предоставленный мне срок развить громадную тему электрификации нашей страны... Я отмечу лишь самое существенное. Нам приходится спешно заняться основными вопросами хозяйства великой страны в очень трудное и очень сложное по переплетающимся в нем событиям время...

Позже участники съезда вспоминали, что Глеб Максимилианович выглядел неважно: у него был усталый вид, глаза и щеки ввалились, резко обозначились на бледном лице морщины. В зале было темно, сыровато и холодно. Делегаты выдыхали пар, сквозь который призрачным красным светом нерезко светили люстры (чтобы осветить театр, был выключен центр Москвы, даже в Кремле осталось лишь несколько шестнадцатисвечевок). Зал был насторожен и внимателен.

Стоя на кафедре, Кржижановский понял, сколь слаб его голос. Он заговорил громче, но тускло-золотое пространство зала никак не заполнялось.

— Тише, тише! — доносилось из зала, и Глеб Максимилианович увидел, как в дальних рядах партера, на ярусах во множестве появляются «звукоуловители» — свернутые рупором газеты, приставленные к ушам.

Он продолжал:

— Переходя к конкретному плану электрификации РСФСР, я предлагаю вам обратить внимание на ту карту, которая находится перед вашими глазами. Здесь отмечены те 27 основных районных электрических станций, сооружение которых в течение ближайшего десятилетия мы считаем совершенно необходимым для проведения плана электрификации страны...

Он взял в руки кий, только вчера добытый для него в бильярдном зале бывшего «Метрополя», и почувствовал, как в зале началось движение, свидетельствующее об обостренном внимании. Он поднес кий к большой карте России, свешивающейся с колосников, и в этот момент карта осветилась, а свет в зале сделался совсем слабым (инженер Смирнов орудовал за сценой).

— Вот станция № 1, в Штеровке. Вы видите, как вспыхнула лампочка, отмечающая пункт расположения этой станции. Вот станция № 2, в Лисичанске. Световой сигнал отмечает перед нами эту станцию № 2...

Указка Глеба Максимилиановича скользила по карте, и на ней последовательно зажигались цветные огни. Казалось, что его указка сейчас управляет и залом: поднося ее к определенным участкам карты, а на самом деле к городам, селам, целым губерниям, он сеял волнение в различных группах людей, сидевших в зале, для которых произносимые им географические названия были именами родных мест.

Полумрак, удивительная, нереальная обстановка театра, уютная теплота рядов, загорающиеся на сцене цветные огоньки будущей счастливой жизни завораживали. Была тишина, и Глебу Максимилиановичу уже почти не приходилось напрягать голос. Делегаты забыли о холоде и голоде. Зал наполнился мечтой. Временами Глеб Максимилианович слышал, как стучал механизм его серебряного «мозера». Это был момент познания истины, самый счастливый час его жизни. Он не представлял себе раньше, что возможен столь глубокий контакт с тысячами людей.

Глеб Максимилианович выхватывал из зала лица друзей. Вот Александров, Графтио, Богданов, Винтер. Где-то на верхотуре, на ярусах — его бессменный секретарь и машинистка Маша Чашникова. К трибуне повернулся президиум — ближе всех к нему сидел Ленин, взгляд внимательный, ободряющий, испытующий, рука с блокнотом на спинке плюшевого кресла, за ним Калинин, забывший про регламент, про председательский колокольчик.

— Нам не вернуть наших погибших братьев, и им не придется воспользоваться благами электрической энергии. Но их дело не пропало. Мы живем в такое великое время, когда люди проходят, как тени, а дела их остаются, как скалы.

Так он закончил.

Зал сначала молчал, а затем взорвался громом рукоплесканий. Делегаты благодарили инженера Кржижановского за подаренные им три часа мечты.

В зале было по-прежнему темно, и только светилась на сцене большая карта России с ее будущими электрическими линиями.

Весь мир насилья мы разрушим, —

пел неумелый, но мощный хор, —

...а затем

Мы наш, мы новый мир построим... —

и эти строки приобретали сейчас вполне осязаемый, реальный, легко охватываемый разумом и сердцем смысл.

Был объявлен перерыв.

Делегаты разбрелись по фойе, где висели лозунги: «Здоровый паровоз — гвоздь революции!», «Молот впереди, винтовка позади!», «Да здравствует труд и разум!». Всех очень смущал «Диаграмм: падение прогулов на Кольчугинском металлообрабатывающем заводе».

В комнату президиума непрерывным потоком входили старые (десятки лет не виделся с ними) друзья и незнакомые доброжелатели. Принесли ворох записок, и Глеб Максимилианович с нетерпением разворачивал их: «Сообщите о литературе по электрификации...», «Имеет ли теория Эйнштейна отношение к электрификации? Если да, то какое?..», «В какой степени эксплуатируется Ниагара?..», «Каковы запасы торфа и подмосковного угля? Оправдают ли себя такие постройки, как Шатурка или Каширка, при имеющихся залежах?..», «Почему так мало обращено внимания на азиатскую Россию в смысле электрификации?..».

Были записки и скептические и полные неверия. То, что недоброжелатели не переменились, было ясно из реплик некоторых делегатов, говоривших о «пролезших на съезды спецах», «утопиях», «рождественских елках».

...Воскресным утром члены рабочей комиссии для выработки резолюции по докладу об электрификации России (их было 7 человек) собрались у Калинина в Кремле. Глеб Максимилианович приветствовал их радостный и возбужденный:

— Ну, товарищи, работать нам, видимо, придется немного. Я привез проект резолюции, написанный Владимиром Ильичем.

Прочли вслух. Помолчали. Решили принять за основу. Проголосовали — единогласно. Посидели еще, почесали затылки, поразмыслили, потом разом все рассмеялись.

— Что можно тут добавить? Здесь все есть. Владимир Ильич обо всем подумал.

Съезд Советов принял программу строительства социалистического будущего на основе самой передовой в мире техники. И тот же съезд поручил Наркомату внешней торговли на золото приобрести за границей косы, топоры, серпы... Кругом расстилалась громадная, разоренная, голодающая, раздетая и разутая Россия. Но делегаты съезда разъезжались в приподнятом настроении.

Рабочие Питера собрали оборудование для депо и кузницы в Волкове, паровозостроители дали 9 только что отремонтированных паровозов, путейцы проложили 40 верст рельсов, матросы-речники пригнали 24 баржи, строители помогли наладить жилье, лесопилку. Были заказаны генераторы — 4 в Швеции, а 4 дома (сложнейшие машины, невиданные в Европе), этого заказа с прекрасным упорством добилась для себя еще слабая, неопытная «Электросила». На Волховстрой прибыла новая техника. Приехав туда осенью двадцать третьего года, Алексей Толстой написал: «У каменного откоса работает странная машина. Туловище ее — вагон с трубой, из которой валят клубы дыма, внутри пылтит машина, трещат шестерни. Из вагона высовывается длинный железный нос на цепях. Поперек носа ходит палец вверх, вниз, в стороны. На конце пальца — зубастый ковш величиной с комод. Вся эта штука называется экскаватор. Я думаю, что она может даже писать стихи».

...В то время стихи писал почти каждый. Они сами выливались на бумагу. Кржижановский завел себе особую «стихотворную тетрадь». Но времени писать стихи не хватало; постепенно в этой тетради появились эскизы, заметки, расчеты, черновики резолюций, постановлений, докладов, протоколов — требовала места высокая проза.



В МИРЕ НАУКИ

АНДРЕЙ НИКИТИН



ВОСХОЖДЕНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ

I

Еще недавно с точки зрения «традиционной» археологии остальные науки, соприкасавшиеся с нею, казались всего лишь вспомогательными. Так относились к этому не только археологи, но и представители самих этих наук, для которых каждое вторжение в область археологии было частным случаем, лежащим за пределами их основных интересов. Определение цветочной пыльцы из археологических слоев носило для палеоботаника такой же элемент случайности, как для геохимика — вычисление возраста образца по содержанию в нем радиоуглерода, для геофизика — направление и напряженность магнитного поля в обожженной глине из древней печи, для дендролога — место бревна или сваи на дендрохронологической шкале. Между тем время показало, что это совсем не так.

Подобно тому как современный ученый охватывает своим сознанием соприкасающиеся области различных наук, определяя не узковедомственный, а комплексный подход к проблеме, прошлое человека оказалось областью, в которой сходились все направления науки, исследующие биосферу нашей планеты. Это был отнюдь не частный случай. Наоборот, можно сказать, что исследование прошлого человека становится частным случаем при исследовании той «сферы жизни», которая породила человека и сформировала его. Вероятно, поэтому все большее количество исследователей сейчас приходят к мысли, что разных наук со многими целями нет — существуют лишь разные аспекты единой науки, цель которой познать мир и человека в их единстве.

Это предвидел еще академик В. И. Вернадский, писавший почти полвека назад: «В наше время рамки отдельной науки, на которые распадается научное знание, не могут точно определять область научной мысли исследователя, точно охарактеризовать его научную работу. Проблемы, которые его занимают, все чаще не укладываются в рамки отдельной, определенной, сложившейся науки. Мы специализируемся не по наукам, а по проблемам. Научная мысль ученого нашего времени с небывалым прежде успехом и силой углубляется в новые области огромного значения, не существовавшие раньше или бывшие исключительно уделом философии или религии...» И он пояснял: «Человек впервые реально понял, что он житель планеты и может — должен — мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но и в планетном аспекте. Он, как и все живое, может мыслить и действовать в планетном аспекте только в области жизни — в биосфере, в определенной земной оболочке, с которой он неразрывно, закономерно связан и уйти из которой он не может. Его существование есть ее функция».

Человек и его история, с точки зрения Вернадского, не просто объясняли биосферу. Следуя Демокриту, человека можно было рассматривать в качестве своеобразного микрокосмоса, отражающего космос большой. Человек согласно Протагору был «мерой всех вещей», ибо с его появлением на планете геологические процессы обрели измеримую длительность, их стало возможно рассматривать не в целом, как в предшествующие эпохи, а по фазам, периодам, отрезкам, которые человек намечает и датирует остатками своей деятельности.

Значение человека для изучения прошлого первыми понял естествоиспытатель и геолог в середине XIX века. Не случайно в руководствах по четвертичной геологии

каменные орудия и черепки выступают до сих пор в качестве «руководящих ископаемых» наравне с костями вымерших животных, раковинами морских и наземных моллюсков. Следом за геологами к этому выводу пришли некоторые почвоведы и болотоведы, для которых человеческие остатки и их возраст стали отправными пунктами в исследовании развития почв и торфяных болот. Но все это еще не было слиянием исследований. Каждый раз обращение к другой области знаний было потребителем, подобно тому как археологи обращались к представителям этих наук, чтобы получить справку о распространенности определенного вида почвы в прошлом, связанной с нею растительности, определении степени заболоченности водоема для определенного отрезка времени или причины возникновения современного рельефа.

Перелом намечился совсем недавно. Остатки жилищ, погребения, орудия труда, произведения искусства и ремесла, экономика древнего общества, представшая в раскопках семенами, зернами, плодами, костями животных, требовали к себе иного, чем прежде, подхода. Надо было не только точно определить, чьи именно кости собраны в раскопе археологом, от каких рыб осталась чешуя, кому принадлежат раковины, какие виды злаков росли на окрестных полях, из каких животных состояло стадо, но и указать их пол, возраст, видовые особенности, требования, предъявляемые к месту обитания, и прочее. Сделать это мог только соответствующий специалист, которого не мог заменить в этом археолог. Делом археолога было понять значение каждой такой находки и не просто передать ее специалисту, но и сформулировать вопросы, ответы на которые определяли дальнейшее направление исследований.

Путь к прошлому и будущему проходил через человека. Это кажется парадоксальным. Казалось бы, какое дело биологу или зоологу, изучающему животный мир Земли, его изменения в прошлом, сложение современных видов животных, до остатков древних поселений? Если бы дело касалось домашних животных, это можно было понять, поскольку своим возникновением и существованием они обязаны человеку. Но где еще может зоолог найти материал для своих исследований? Только в культурном слое. Обгоревшая, вываренная, отшлифованная кость способна храниться при благоприятных условиях много дольше, чем кость павшего или убитого животного. Человек был всеяден. Он приносил в свой дом все, что мог убить, поймать, изловить. На множестве поселений, относящихся к одному времени, перед зоологом открывается исчерпывающий материал по этому периоду, который — опять-таки благодаря человеку — может быть предельно точно датирован. Ботаник, климатолог, палеогеограф находятся в таком же положении. Да, они могут воспользоваться пыльцевыми спектрами слоев торфяника, но чтобы найти пыльцу и семена злаков, пыльцу сорняков, косточки съедобных плодов, выяснить климатические условия узкого отрезка времени, они должны обратиться к помощи археолога, к слоям поселений, где все эти материалы представлены достаточно полно, ограниченные требуемыми хронологическими рамками.

Биологи и геофизики совместными усилиями смогли обнаружить в биосфере ритмику явлений с короткой периодичностью, управляющей жизнедеятельностью организмов. Но длительные, много больше протяженности человеческой жизни ритмы были открыты исключительно благодаря археологическому материалу, и человек, такой хрупкий и недолговечный, подверженный всем превратностям судьбы, стал и в этом случае воистину мерою веков и тысячелетий.

Но было и другое.

Как показали исследования последних десятилетий, в системе отношений «природа — человек» природа выступала отнюдь не пассивным, тем более страдательным партнером. Человеку только казалось временами, что он берет над природой верх, что не природа ему, а он диктует природе свои законы, которым она начинает послушно следовать. Чем дальше развивалась наука, тем глубже она постигала систему Вселенной, в которой человеку отведено не малое, но и не столь уж большое место, тем чаще склонялась к выводу, что путь прогресса определяется отнюдь не навязыванием природе своих желаний. Этот путь требует вдумчивого и неторопливого постижения законов и закономерностей природы, умения ими пользоваться, поскольку человек в своей биологической сути остается частью природы, подчиняется законам биосферы.

Терпеливая, гибкая, самовосстанавливающаяся природа отступала перед натиском человека все последние столетия, когда человек овладевал силами пара, электричества, атома, развивал металлургию, химическую промышленность, используя природные ресурсы, уничтожая и перерабатывая для своих нужд огромные количества биомассы. Человеку богатства биосферы казались неисчерпаемыми. Он вырубал леса, распахи-
вал

степи, создавал огромные водохранилища, собирался растопить ледники в горах и направлял в обратную сторону воды рек. Но внезапно все изменилось.

После сотен лет победоносной войны с природой за какие-то полтора-два десятилетия выяснилось, что все это не так просто и не так хорошо. Что, беря у природы, ей обязательно нужно давать соответствующую компенсацию. Что при концентрации промышленных предприятий необходимо создавать вокруг них обширные леса и парки, создавать искусственные водоемы и очищать воду. Что вырубленные леса не восстанавливаются сами, а их исчезновение резко меняет климат в худшую сторону. Что огромные водохранилища на месте бывших лугов и полей катастрофически нарушают сложившееся за тысячелетия экологическое равновесие. И если человек заинтересован в собственном будущем, он должен со вниманием относиться к своему настоящему, в первую очередь к природе, которую получил в наследство от предшествующих поколений.

«Венец природы», каким привык было считать себя человек, внезапно обнаружил, что существование его как вида зависит от существования природной среды — и не вообще какой-нибудь, а именно той, в которой он возник, сформировался, вместе с которой развивался на протяжении сотен тысяч и миллионов лет. Человеку нужен воздух — но лишь того химического состава, которым он дышал на протяжении всех тысяч поколений; ему нужна вода — но вода с теми примесями, к которым приспособился его организм, а не с какими-либо еще; ему нужна пища — но именно такого химического состава, который удовлетворяет потребности его организма, и так — до бесконечности. В конце концов ему нужна вся биосфера Земли — такая, в какой он вырос, а не измененная промышленными выбросами и радиоактивными отходами.

Эта биосфера, состоящая из бесчисленного количества составляющих ее компонентов, часть которых потреблялась в пищу, часть сжигалась и уничтожалась, часть видоизменялась, при ближайшем рассмотрении оказалась единой. Из нее ничего нельзя было изъять безнаказанно. Каждый мельчайший биологический вид, каждый кусок территории со своей фауной и флорой, каждый кубометр воды, участвующий во всеобщем круговороте, являлся необходимым звеном в единой цепи жизни.

Рано или поздно разрыв каждой такой цепи приводил к необратимым изменениям.

Примеры нарушения экологического равновесия в природе хорошо известны. Среди них расселение кроликов в Австралии, которые, не встретив конкуренции, принялись размножаться с катастрофической быстротой, уничтожая посевы и растительность; привоз в Европу из Америки филлоксеры, которая стала грозой виноградников Старого Света; появление в Черном море рапаны, уничтожившей устриц, которыми лакомились не только древние греки, но и люди, еще живущие среди нас. Но то были объекты изучения прежней экологии, ограничивающей поле своего наблюдения биологическим видом.

Современная «большая» экология оперирует не только всеми био- и геологическими объектами, но еще использует материал истории, социологии, экономики, гео- и биофизики, химии, физики, астрономии и других столь же далеких, казалось бы, дисциплин. Она определяет не просто условия, необходимые для продуктивного существования какого-либо биологического вида, но условия, необходимые для наиболее успешного существования совокупности видов — биомы — той или иной географической зоны, полосы, сообщества. При этом выясняются иногда любопытные вещи.

Так, отсутствием лесов по берегам Средиземного моря и в степях северо-западного Крыма мы обязаны отнюдь не климату, не почвам, а хозяйству древних греков и римлян. Они усиленно разводили коз, поедавших молодую поросль, в то время как взрослые деревья переводили на дрова и постройки. Возникновение ряда эпидемических заболеваний, оказалось, зависит не только от вспышек на Солнце и усиления потока космической радиации, но происходит в результате вымывания некоторых необходимых для человеческого организма микроэлементов из почвы, истощенной непрерывной пахотой и не получающей естественных органических удобрений, с которыми эти микроэлементы возвращаются в нужной дозировке. Массовая гибель рыб в водоемах может быть следствием не только загрязнения их промышленными отходами, но результатом развития сине-зеленых водорослей, бурно размножающихся после появления запруд и плотин на ранее проточных озерах и реках. Казалось бы, как могут быть связаны такие явления, как использование химических удобрений и появление вспышек туляремии, которую разносят грызуны? Однако небрежность в обраще-

нии с химикатами привела одно время к полному уничтожению лисиц, охотившихся на зайцев и мышей, а это уже вызвало неконтролируемое размножение грызунов...

Истоки настоящего всегда оказывались в прошлом — все равно, далеком или близком. Там, в его глубинах, лежали причины, некогда разорвавшие единство человека и природы. Кто был в этом виноват? Большинство социологов полагают, что такое положение вещей вовсе не было предопределено прогрессом как таковым. Чтобы увидеть разорванные цепочки неиспользованных возможностей, понять цепи причин и следствий, которые лежали сейчас тяжелым бременем на цивилизацию, надо попытаться проследить две линии развития — природы и человеческого общества, — чтобы понять возникшее между ними противоречие.

2

Несколько лет назад мне довелось совершить одно из самых необычных путешествий. Необычным я называю его потому, что оно еще раз напомнило старую истину: действительно важное, существенное, как правило, находится у нас под боком и только собственная наша слепота мешает увидеть мир таким, какой он есть. Но рано или поздно наступает момент, когда очевидное оказывается необязательно достоверным. Начинаешь понимать, что истина не любит широких, удобных дорог, покрытых асфальтом, и добираться к ней часто приходится окольными тропами, через бурелом, кустарник, даже через болота. Болота и были целью той экспедиции.

После майских дождей и гроз с июня установилось сухое и жаркое лето, сопровождавшее нас от Москвы до побережья Белого моря. Большая часть пути была мне известна — с лесами, каменистыми северными реками, синими до густоты ультрамарина озерами, то зажатými среди крутобоких холмов, где в густых душистых травах затаились серые, испятнанные лишайниками валуны, то застывшими в неподвижной оправе темного хвойного леса, с проселком вдоль косых изгородей, серебрившихся в белую северную ночь.

Словно шарики четок, скользящие между пальцев, вставали перед нами и отходили назад, в небытие, старые русские деревни, монастыри, покосившиеся часовни, дома с расписными ставнями и очельями — мир, который был мне знаком и близок по предыдущим странствиям. Но рядом с ним параллельно дороге теперь мне открывался совершенно иной мир — мир огромных пустынных болот, налитый всклань, как влагой в извилинах мочажин, ненарушаемой тишиной, в которой разве что со звуком рвущегося шелка пролетит стрекоза да из солнечного синего зенита донесется крик парящего где-то коршуна.

Работая достаточно долго в краю переславских болот, не раз отшагивая нелегкие километры по пружинящим бурным торфяным полям торфоразработок, осматривая заброшенные карьеры, где добыча велась когда-то вручную, я не был совсем уж новичком и потому мог представлять, что именно скрыто от нашего взгляда под обманчивой ярко-зеленой оболочкой мхов, тонких сосенок, елочек и берез.

Между этим и тем было такое же соотношение, как между жизнью и ее результатом. Не смертью, нет. Именно результат жизни тех биологических сообществ, которые мы могли наблюдать на поверхности болота и в самом верхнем его слое, оказывался перед нами, когда мы извлекали на поверхность трубку торфяного бура, уходившего иногда на восемь, девять и даже на двенадцать метров. В рыжей или темно-оливковой полужидкой массе осоки, сфагновых мхов, веточек кустарников, почти целиком сохранившейся пупщицы, белыми султанчиками качавшейся на грядках среди мочажин, ощущалось нечто изначальное — не грязь, не отбросы, не трупы, много большее, чем холодные пласты глины, выстилающие дно болот. Быть может — иное состояние жизни.

Еще недавно мы привыкли смотреть на болота в лучшем случае как на пусто-пораженные, «бесполезные» пространства, которые необходимо осушить, выкорчевать, разработать. Правота такой точки зрения казалась столь очевидной, что человек с присущим ему пылом принялся за уничтожение болот и преобразование природы по своему усмотрению. Результаты не замедлили сказаться. Причем совершенно не те, на которые человек рассчитывал. Вместе с болотами стали исчезать реки, леса, пересыхать поля. Там, где еще недавно зеленели луга и сочные поймы, пронеслись первые черные бури, разрушавшие, уносящие за мгновения всю ту плодородную почву, которая накапливалась тысячелетиями... Так оказалось, что болота — огромные резервы воды, приготовленные природой на аварийный случай, резервации растительной жизни на случай засухи и пожаров, которые останавливаются у его края или опаляют болото

только поверху. Как человек запасает на случай пожара огнетушители, бочки с водой и ящики с песком, так предусмотрительная природа, создавая жизнь, во множестве запасла болота, где не только человек, но и все живое в критический момент может найти убежище и поддержку.

Целью экспедиции было получить, пробуравив полтора-два десятка болот, своего рода меридиональный разрез протяженностью в тысячу с лишним километров — от Верхней Волги до Белого моря. Его должны были составить не столько слои торфа, сколько заключенная в них пыльца деревьев и растений.

Известно, что при благоприятных условиях зерна пыльцы способны сохраняться не десятки, не тысячи, а сотни миллионов лет. Споры лишайников и мхов, пыльцевые зерна растений можно найти во всех осадочных породах — песках, глинах, известняках, каменном угле, сланцах, мраморе. Лучшее всего они сохраняются в торфе: в кубическом сантиметре торфа содержится несколько тысяч пыльцевых зерен. С редкой расточительностью обычно скупая природа каждое лето во время цветения рассыпает миллиарды пыльцевых зерен и спор с цветений деревьев близлежащего леса, с цветов и трав окружающих лугов — из лета в лето, из года в год. Количество пыльцевых зерен у каждого вида растений не одинаково, но в целом оно оказывается пропорционально реальному соотношению видов растений в данной округе. Если состав всей пыльцы, отложившейся на поверхности какого-либо болота в течение одних весны и лета, зависит от состава (структуры) окружающих это болото лесов и полей, то, в свою очередь, видовой состав пыльцы в том или ином слое торфяника должен соответствовать составу окрестных лесов и лугов, окружающих болото в момент отложения данного слоя торфа.

На основе пыльцевых диаграмм была построена схема изменения растительности и, стало быть, климата в продолжение всего голоцена, последующего времени. Выглядела она следующим образом.

Около двенадцати тысяч лет назад, когда шапки последнего оледенения еще лежали на скалах Скандинавии и в каменных тундрах Хибин, в нашей средней полосе темнели неприглядные еловые леса северного типа — с холодными сырыми зимами, открытыми пространствами холмов, где среди тундрового разнотравья выделялась горькая серобристая полынь, царица степей и пустырей. Но всему приходит конец. Общее потепление Арктики, возможно связанное с потоком Гольфстрима, окончательно растопило ледники. Растаяли ледяные «мертвого» льда в котловинах между холмов, закрытые от прямых солнечных лучей сдвоями песчано-глинистых наносов. Все чаще над Европой проносились теплые сухие ветры, изгонявшие лишнюю влагу из этих арктических степей, и в следующем, бореальном периоде, десять — восемь тысяч лет назад, преобладающее положение среди растительности заняли береза и сосна, в то время как еловые леса шагнули дальше на север. Бывшие луга и степи, похоже, начали зарастать смешанными лесами, и в конце этого периода, когда повышение среднегодовых температур стало ощутимым, среди сосново-березового леса все чаще появляются дубы, липы, вязы и орешник — широколиственные породы, наступающие с юга на холодолюбивую растительность.

Бореальный период послужил своеобразной подготовкой к наиболее важному для истории человека атлантическому периоду, продолжавшемуся от восьми до четырех с половиной тысяч лет назад. Это наиболее теплое и влажное время с мягкими зимами, обильными и теплыми летними дождями. Многоярусные широколиственные леса покрывали Европу от Средиземноморья до Скандинавии, сочная густая растительность степей накапливала гумус для черноземов. Атлантический период, по единодушному признанию ученых разных специальностей, был поворотным в развитии биосферы и окончательной ликвидации последствий оледенения. Его высокие среднегодовые температуры как бы подстегнули развитие водорослей и водных растений, превративших ряд водоемов в торфяники.

Следующий период, суббореальный, сухой и теплый, длившийся со второй половины III до середины I тысячелетия до нашей эры, сухостью своей как бы подчеркнул наметившийся сдвиг к северу климатических зон и вызвал на большей части болот образование так называемого пограничного горизонта.

Четкий черный слой сильно разложившегося торфа, заключающий в себе остатки пней, расположенных иногда в два и три яруса, свидетельствует о достаточно продолжительном периоде в жизни торфяников, когда болота настолько пересыхали, что на их поверхности вместо угнетенного редколесья из чахлых березок, тонких сосенок

образовался первосортный строевой лес, насчитывающий по годовым кольцам иногда более сотни лет. Существование «пограничного горизонта» было отмечено очень рано. Довольно точную его картину, включая археологические остатки, еще в XVIII веке дал великий естествоиспытатель Ж. Л. А. Бюффон, который писал в своей «Всеобщей и частной естественной истории»: «В земле находится превеликое множество больших и малых деревьев разного рода, а именно сосна, дуб, береза, бук, тис, боярышник, ива, ясень и прочее. В Линкольских болотах вдоль реки Узы и в Йоркской области в округе Гатфилдсхаской деревья сии стоят прямо подобно как в лесу. Дубы весьма крепки, их употребляют на строение, в котором они весьма прочны; ясень же и ива мягки и гнилы; находят также деревья, кои тесаны, другие пилены, иные проверчены, притом изломанные топоры и секиры. похожие на жертвенные ножи, сверх сего великое множество орехов, желудей и сосновых шишек; многие другие болотистые места в Англии и Ирландии наполнены пнями деревьев, подобно как и болота во Франции, в Швейцарии, в Савойском герцогстве и в Италии».

Исследование состава и структуры слоя, пней, сравнение самих «горизонтов» друг с другом приводило к заключению, что на огромных пространствах земного шара на биосферу, в первую очередь на гидросферу — болота и водоемы, — действовали **какие-то** гигантские силы. «Пограничный горизонт» явился зримым проявлением климатического непостоянства голоцена и той четкой отметкой «раньше — позже», по которой можно было сравнивать толщи торфяных залежей в различных местах, не прибегая всякий раз к пылевому анализу. «Пограничный горизонт» содержал максимальное количество пылицы широколиственных пород — свидетельство высоких среднегодовых температур в период, совпадающий с резким падением общей увлажненности. Такой вывод подтверждали и археологи: все известные слои поселений на торфяниках были приурочены именно к «пограничному горизонту».

Начиная с конца атлантического периода по пылевым диаграммам можно **видеть**, как на огромных пространствах Западной, а отчасти и Восточной Европы под воздействием человека меняется картина растительности. Под давлением земледелия и пастбищного животноводства в эпоху бронзы была почти полностью уничтожена средиземноморская зона вечнозеленых лесов, превратившихся в заросли кустарников. В то же время остатки леса вырубались на меловых холмах Британских островов. Как **показали** исследования Д. Иверсена, сокращение пылицы широколиственных пород на **пылевых** диаграммах датских торфяников точно соответствует прослойкам угля в земле и торфе, оставшимся от первобытного земледелия еще неолитических обитателей этих мест. При этом каждый раз можно видеть увеличение **пылицы** сорняков, сопутствующих человеку, и **пылицы** культурных злаков, указывающих истинных виновников подобных изменений.

На пылевых диаграммах можно наблюдать и обратный процесс зарастания ранее очищенных площадей. Здесь есть свои особенности, свои сложности, но он совершается и на наших глазах, почему всегда можно проверить его последовательность. Если вокруг заброшенной пашни сохраняются остатки широколиственного леса, например дубняка, то, казалось бы, именно дуб будет занимать освобожденное человеком пространство. Но вмешательство человека в природу почти всегда необратимо. На распаханных участках поднимается сначала береза, ольха, иногда сосна и ель, и только спустя довольно длительный промежуток времени кое-где начинают укореняться первые ростки дуба...

Став на какое-то время основой палеогеографических реконструкций, палинология приводила к выводу о непрерывных изменениях природной среды в голоцене. Менялась растительность — менялись биологические сообщества. Изменившийся состав леса с неизбежностью предполагал изменение состава и его обитателей, начиная с насекомых, птиц и кончая млекопитающими, травоядными и хищными, — менялась биота. Все вместе должно было заставить меняться и человека с его орудиями труда и охоты, местами поселений, образом жизни, экономикой. Сдвиг климатических зон на север с неизбежностью должен был вести человека по новым охотничьим тропам. Смена климатических зон требовала смены хозяйства. Вот почему каждый исследователь первобытности стремился использовать характеристики палеоклиматической периодизации, чтобы в соответствии с полученными рядами радиоуглеродных датировок и уровнями **пылевых** диаграмм наметить смену форм хозяйства для той или иной территории, перемещение древних племен, возникновение и распад археологических культур.

Между тем факты свидетельствовали о другом.

Ни археологические культуры, ни переход от одних форм хозяйства к другим, ни великие **открытия** на территории Восточной Европы не подчинялись рисунку пыле-

вых диаграмм и последовательности климатических изменений. Изучение костей животных и рыб, собранных при раскопках, не позволяло говорить о каких-либо явных изменениях в составе животного мира по зонам. Резкая смена фауны произошла вместе с изменением растительности лишь однажды — при переходе от ледникового к послеледниковому времени — практически одновременно на пространстве всей Европы. Больше того. Изменения растительности далеко не всегда совпадали с намеченными ботаниками рубежами голоцена.

Детальные исследования почвоведов в последние годы привели к парадоксальному заключению: в эпоху голоцена происходит не сдвиг, а как бы восстановление климатических зон, нарушенных последним оледенением. При этом на характер и распределение растительности решающее влияние оказывает не столько климат, сколько состав и строение подстилающих почву пород, причем и здесь определяющим фактором являются гидрогеологические условия — обилие, состав и уровень стояния грунтовых вод.

Карта растительных биом находилась в полном соответствии с почвенно-геологической картой. Подобно тому как древние рудокопы и рудознатцы в поисках рудных жил следовали известным им растениям, с помощью растительности можно было составить геологическую карту района, не пробуравив скважин и не закладывая глубоких шурфов. Так, все без исключения сосновые леса расположены на песчаных отложениях позднего и послеледникового времени, и только на них. Если под песками на небольшой глубине залегают суглинки и глины, в сосновых лесах появляется ель; если слой песка очень тонок, не больше метра, на этом месте возникает сосново-еловый лес смешанного типа, с кустарниками и растениями, характерными для широколиственных лесов. Наоборот, на моренных глинах растут почти исключительно елово-широколиственные леса, не выходящие за пределы отложений. Заключение это в равной мере касалось влажных речных и озерных пойм, болот и низин, холмистых равнин, степей и предгорий. Всякий раз то или иное определенное растительное сообщество соответствовало столь же определенному типу почвы, которая, в свою очередь, оказывалась продуктом лежащих под ней пород, на которых она и сформировалась.

Вывод напрашивался сам: поскольку геологические характеристики поверхности Земли за послеледниковое время не менялись, как не менялись требования, предъявляемые к почве породами деревьев и трав, то не могло произойти и существенных изменений в растительности. Следовательно, причиной изменений было нечто другое — человек, какие-то еще неизвестные нам силы природы или же то и другое вместе.

3

«Человек не сотворен таким уж могучим, чтобы ему не требовалось сузить окружающий его мир и соорудить себе какое-то укрытие... Адам и Ева согласно преданию обзавелись лиственным кровом раньше, чем одеждой. Человеку был нужен дом и тепло — сначала тепло физическое, потом тепло привязанностей». Этими словами американский философ и писатель Генри Дэвид Торо начинает свое размышление о доме.

Первый шаг в природу человек делал, устанавливая на избранном месте свое жилище или расчищая от кустов и зарослей сорняков место сезонного стойбища, от которого шли, затухая, во все стороны волны его влияния. Следом за непосредственной территорией стойбища наступала очередь окружающего пространства по меньшей мере на сто — двести метров. Расчистка нужна была для защиты от гнуса, от диких зверей, порой из-за военной опасности, при заготовке дров, строительного материала и т. п. Дальше от селения разбегались тропинки, из поколения в поколение прокладываемые к ягодникам, на болота, к грибным местам, на соседние речки, озера, к боровым поселениям, а позднее и к огородам, если они не располагались рядом с жилищами. Тропы эти начинались от стойбища, пересекали звериные тропы, но ни одна из них, как правило, не уходила далее пяти километров — предельный радиус ежедневно контролируемой человеком территории, в пределах которой происходило активное потребление всего необходимого для жизни коллектива.

С экологической точки зрения, с которой мы и пытаемся рассматривать проблему взаимоотношения человека и природы, историю этих отношений, противопоставляя человека «вообще» природе «вообще», как отношение самого человека к понятиям «я» и «не я», наиболее четкой характеристикой «дома» будет используемое и преобразуемое для повседневной жизни пространство, подпадающее под его воздействие,

влияние, отмеченное для прошлых эпох следами его деятельности. Уже в этом заключается принципиальная разница в подходе археолога, который ограничивает свои исследования непосредственным жилищем человека и сопровождающими жилище отходами деятельности, и палеоэколога, для которого объектом изучения оказывается все жизненное пространство человека, в том числе и окружающая жилище природа, а отправной точкой — не столько само жилище, сколько место, на котором оно расположено.

На выбор этого места поселения могло влиять множество причин: рельеф, состав растительности, почвы, наличие или отсутствие водоема, решение проблемы питьевой воды, характер охотничьих угодий, сезонные особенности климата, характер хозяйственной деятельности; позднее все большее влияние оказывали источники сырья, возможность заготовки кормов с появлением животноводства, трассы торговых путей, переход к земледелию, меняющаяся структура общества, наличие плодородных земель и т. п. Наноса на карту такие точки, различая эпохи по отложившемуся в земле археологическому материалу, мы можем рассматривать их в качестве ключевых позиций существовавших некогда экологических систем, помогающих нам получить экологические же характеристики окружающей местности.

Если пользоваться аналогиями, не обращая внимания на масштаб явлений, между территорией современного города с его жилыми кварталами, заводами, фабриками, зоной городских свалок и территорией сезонного стойбища охотников на северного оленя времени последнего оледенения принципиальной разницы нет. «Дом» человека всегда остается его «домом», ориентированным по отношению к окружающей среде в зависимости от структуры общества, его экологии, содержания культуры и уровня цивилизации. Это правило распространяется и на сферу потребления природных ресурсов, которые всегда будут ограничивающим фактором для человека, касается ли это продуктов питания, технического сырья или используемой территории.

Менялся не сам человек — менялось его представление о мире. Вместе с тем менялись его орудия труда, менялась его вооруженность и направленность этой вооруженности. Одновременно менялось отношение человека к окружающему его пространству. Именно здесь проходит грань, отделяющая охотника и собирателя, следующего в своих скитаниях сезонным изменениям природной среды, как бы носящего вместе со своим скарбом свое жизненное пространство на манер римского легионера, от земледельца, животновода, металлурга, перестроивших систему своих экологических связей так, чтобы сами сезонные изменения работали в нужном направлении.

Для современного человека вопрос о степени его активности решается легко и однозначно. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы увидеть, как общество перестраивает окружающий мир: сводит леса, распахивает поля, нарушая сложившийся кругооборот микроэлементов в биосфере внесением в почву искусственных химических веществ, создает искусственные же водохранилища, меняет лицо земли обширными горными выработками, осушает болотистые пространства и перебрасывает огромное количество драгоценной воли в пески пустынь. Здесь на каждом квадратном метре можно наблюдать ежеминутные столкновения объединенных усилий цивилизованного человека с силами природы. Стоит спуститься хотя бы на тысячу лет в прошлое — и картина разительно изменится. Воздействие человека на окружающую среду сократится в тысячи раз, но тем не менее воздействие это было все же велико. Облетая земной шар, возможные космонавты уже без специальных наблюдений отметили бы мощные ирригационные сооружения в пустынной зоне, достаточно обширные пространства окультуренных земель, освобожденных от леса, дороги, связывающие отдельные пункты в глубине материков и на побережьях... Но когда все это началось и что считать началом?

Рационально использовали пространство уже охотники на мамонтов и северных оленей, подчинившие свою жизнь, свои передвижения по лицу земли строгому сезонному календарю, который мне довелось вживе наблюдать в хозяйстве саамов и поморов Кольского полуострова. Собственно говоря, с сезонного членения жизни или сезонного использования пространства, в котором постоянные места стойбищ приобретали значение опорных пунктов для эксплуатации окружающих территорий, можно вести отсчет активного освоения человеком окружающей его среды. Сезонные странствия за стадами дичи открывали перед человеком пространства земли; возникновение постоянных сезонных поселений, которые мы обнаруживаем на берегах рек и озер, закрепляло отдельные территории за коллективами охотников и рыболовов, задерживая их на

пути, способствуя усиленной эксплуатации окружающей среды. Теперь следовало сделать еще один шаг — к ее изменению и преобразованию, который был связан с общей вооруженностью человека.

4

О том, как, почему и где человек впервые стал приручать и разводить животных, существует множество предположений и гипотез. Древнейшие остатки одомашненных животных археологи находят на морских побережьях Европы уже в слоях мезолитических стоянок и в столь же древних слоях Передней Азии. И всякий раз, рассматривая новые, переосмысливая прежние находки, исследователи пытаются понять тот первоначальный импульс, который заставил наших предков, многих или одного, сделать этот решающий шаг.

Как можно судить по опыту различных народов, человек приручал или пытался приручить почти всех без исключения окружающих его животных, включая птиц и хищников. Не все они вошли в хозяйство человека, не все имели одинаковое значение — важно, что всех их человек пытался, не без успеха, приблизить к себе, включить в круг своей жизни. Еще двести—триста лет назад лоси в Швеции использовались в качестве тягловой силы, а в начале XVIII века Петр I вынужден был издать указ о запрещении езды на лосях по улицам городов. Человек приручал медведей, волков, лис, охотничьих соколов, орлов, различных мелких зверей, морских млекопитающих, слонов, змей, только что не рыб... Замечательный географ и естествоиспытатель И. С. Поляков, изучая в конце прошлого века неолитические поселения в долине Оки, выдвинул интересную мысль о возможности симбиоза бобров и человека, где человек выступал в роли хищника-охранителя. Впрочем, если верить оленеводам, нечто подобное существует и в природе: в Восточной Сибири россомахи отбивают часть оленьего стада, отгоняют его в горную долину и поочередно пасут, забывая по надобности необходимое число оленей, — совсем так, как дельфины в Черном море пасут косяки кефали... Так каким же путем человек стал селекционером и охранителем?

История хозяйства первобытного человека не дает ответа на этот вопрос. Стремление создать постоянный запас пищи, искусственное регулирование ее объема, выделение из окружающей среды наиболее продуктивных видов, направленное воздействие для развития в них необходимых задатков показывают процесс, называют причины, но не объясняют качественных изменений сознания человека, которые послужили толчком такой целенаправленной деятельности. Ни потребности желудка, ни условия существования не могут спонтанно, просто так, сделать из Разрушителя Созидателя, превратить Преследователя в Охранителя.

Между тем именно это произошло с человеком. И объяснение, мне кажется, следует искать в дружбе человека с собакой.

В легендах и мифах различных народов о собаке часто говорится, что она была создана богами раньше человека: сначала друг и слуга, потом уже господин. Действительно, древность происхождения собаки теряется во мгле тысячелетий. Уже на поселениях охотников верхнего палеолита археологи находят кости по крайней мере двух видов собак, прямых предков знаменитых северных лаек — охотничьих, ездовых, оленегонных, — без помощи которых невозможна жизнь в высоких широтах и которых настоящие охотники по праву считают аристократией собачьего мира.

Нет, совсем не одинок был человек в холодных пространствах прошлого! Даже если встреча предка собаки и человека произошла случайно, если человек сначала прикармливал собаку как возможный запас резервной пищи, если не духовным, а земным, утилитарным и жадным взглядом человек сначала поглядывал на своего четвероногого друга, помощника и спутника в странствиях за стадами северных оленей и мамонтами, и тогда, на мой взгляд, метаморфоза, происшедшая в сознании человека, столь поразительна, что сравнить ее можно разве что с открытием топора. По существу, именно союз собаки и человека определил дальнейшее отношение человека к природе. И если в мифах первобытных народов заложены идеи большие, чем обозримая взглядом фабула, то скрытое в них уважение перед собакой-другом, собакой-помощником свидетельствует об интуитивном проникновении их создателей и сказителей в такие глубины сущего, к которым современная наука подходит разве только сейчас.

Я позволю себе высказать мысль достаточно парадоксальную, чтобы не оскорбить читателя, но все же достаточно дерзкую: Человека с большой буквы сотворил не толь-

ко труд, но и собака вместе со всеми бесчисленными животными и растениями, которые он приучал к себе, приучал и пересоздавал.

Потребитель — всегда только разрушитель, пусть даже потенциальный. Чтобы стать создателем, надо научиться сохранять существующее. Наука эта настолько сложна, что и сейчас, через два с половиной миллиона лет, как исчислят порой родословное древо человечества, далеко не каждый из нас оказывается Охранителем. Не охранником, нет (для этого нужно не сознание, подготовленное жизнью и бытом многих поколений, а всего лишь приказ и дубинка), а Охранителем — по любви и пониманию, по способности к самоотречению, — чтобы в охраняемое вложить всего себя не для сегодняшнего, а для завтрашнего дня, для других поколений, ради которых и твоя жизнь согрета огнем далекого костра предков.

Тот дочеловек, вооруженный топором, копьем, но отграниченный пламенем костра от окружающей его природы, которая, казалось ему, тонет в беспросветном мраке, еще не был человеком. Он не мог претендовать на это высокое звание потому, что его глаза слепили голод, желание и костер, который не столько освещал мир, сколько превратно толковал его, утверждая свет, жизнь, истину только в освещаемом им круге. На самом же деле все это лежало вне его пределов. Дочеловек именно боролся с природой, уничтожая ее, разрушая, сокрушая ударами топора, навязывая ей свое собственное сопротивление, надевая ее собственными яростью и страхом, как то происходит в романе Г. Гаррисона «Неукротимая планета», где эмоции, излучаемые человеком, обращаются на него же, удесятеренные мощью стихийных сил.

У древнего человека было достаточно сил и жизнестойкости, чтобы выжить в этой борьбе, понять кое-какие идеи, воплотить их в орудия из дерева, камня, кости, защититься от первого натиска стихий. Но к созиданию и преобразению природы он мог прийти только через понимание и наблюдение. Для этого требовалось не противостояние. Человек должен был почувствовать себя заодно с природой, увидеть в ней не противника, а союзника, во всяком случае партнера.

Впустив в шалаш, в чум, в пещеру первую собаку и дав ей из своей руки кость с мясом (а может быть, отогрев под локтем, выкормив первого, еще беспомощного щенка лесного волка), человек не просто приучил ее: он как бы впустил в свой дом, в свое жилое пространство «дикую» природу, впервые став охранителем чужой, еще минуту назад чуждой и, казалось ему, враждебной жизни. Тот человек был способен изучать природу бесцельно. Выслеживая, сидя в засаде, с открывавшегося его взгляду он считывал лишь ту информацию, которая была ему непосредственно нужна: для возможно скорого завершения акта охоты или, наоборот, для собственного спасения от охотящихся за ним хищников. Но на территории своего жилища, где разрушитель уступал место охранителю, наблюдение над частью природы, впущенной в его дом и, следовательно, подпадающей под его заботу и охрану, невольно заставляло его снова и снова размышлять о чувствах, желаниях, мыслях окружающих его существ, о той иерархии природы, в которой и он, человек, по-видимому, занимал не случайное место, определяющее не только его права, но и обязанности по отношению к целому, в первую очередь к тому, что оказывалось в прямой зависимости от его поступков.

Само понятие «домашние животные», составленное как бы из двух противоположных определений, оказывалось первым шагом к постижению, а потом и к сохранению всего, что вмещал в себя оком горизонта.

Мне кажется, мысль о содружестве человека и природы, о союзе стихийного и разумного начал, превращающих биосферу в ноосферу, сферу разума, по определению В. И. Вернадского, волнует сейчас все большее число людей. Это не только прошлое — это будущее, которое должно строиться на опыте прошлого. Не потому ли даже в условиях современного города, искусственно оторванного от природной среды, человек старается как можно шире открыть природе вход — растениям, рыбам, птицам, домашним животным, среди которых первое место по-прежнему занимает его верный четвероногий друг.

Собака приводила к человеку других зверей. Собака-охотник разыскивала птенцов, из которых вырастали взрослые птицы, ловила козлят, поросят, телят, которые постепенно формировали будущее стадо. Собака воспитывала детей человека-охотника, одинаково принимая от них ласку и мучения. Собака-пастух охраняла и воспитывала порученных ей человеком животных, начиная от северного оленя и кончая теми стадами коз, которые в эпоху бронзы буквально съели всю растительность на берегах Средиземного моря. Охрана животных, защита их в лесу раскрывала перед человеком

свойства растений, удостоверяя, что пища, пригодная для животных, вполне может быть пригодна и для самого человека.

Так в содружестве с природой в сознании человека разрушались раз за разом барьеры, суживавшие его поле зрения, сковывавшие консерватизмом привычек и традиций. Одновременно шел и другой процесс. По мере того как увеличивалось количество «подопечных» человека, следовавших за ним по пятам или, наоборот, впереди его собственного кочевья, вчерашний странник начинал чувствовать узость прежних троп, тесноту сезонных стойбищ. Да и весь его живой «инвентарь» требовал сочетания самых разнообразных условий для своего существования.

Взяв на себя заботу о других, человек вынужден был заняться переоценкой окружающего его мира. И не только переоценить его — приступить к его переустройству.

До тех пор, пока человек был потребителем — собирателем, охотником, рыболовом, — включенным в сезонный цикл природы, черпающим себе пищу то из одного, то из другого источника, он не противопоставлял себя окружающей среде. Его задачей было как можно незаметнее войти в природную среду, стать одним из ее компонентов, не нарушая устойчивые связи и равновесие систем. Сезонное животноводство вроде одомашненной свиньи, содержащейся на вольном или полувольном выпасе, сколько-нибудь серьезно не влияло на окружающую природу, хотя резко изменяло быт и экономическую обеспеченность человека, заставив его по-новому взглянуть на окружающие его природные ресурсы. Любопытно, что еще в древних английских документах, предшествующих норманнскому завоеванию, земельные угодья, в первую очередь лесные, определяются количеством свиней, способных прокормиться в том или ином районе. Но лишь только человек берет в свои руки охрану животных, их воспитание, формируя нужные ему черты и признаки, когда он сталкивается с необходимостью обеспечить не только безопасность животных, но и корм для них — все меняется.

Основным кормом на зимний период для овец, коз и коров в то время служили веники из веток вяза, липы, березы. Их и сейчас запасают хозяева для коз и овец в средней полосе России, в Сибири и на Урале. Сколько-нибудь значительные заготовки сена стали возможны только в железном веке, когда появилась коса. До этого человек, взявший на себя заботу о животных, должен был не расставаться с топором — сначала каменным, потом бронзовым, — заготавливая впрок горы веток с листьями. По вычислениям шведского исследователя М. Съёбека, в доисторический период корова средних размеров, весом не более 150 килограммов или около того, должна была съедать за зиму приблизительно тысячу лиственных веников весом по килограмму. Если представить, как быстро такое стадо истребляло кустарник и молодую поросль — в перелесках, на опушках леса, — придется признать, что с возникновением животноводства активное воздействие человека на окружающую среду по сравнению с прежним охотничьим существованием увеличилось в сотни раз, если не больше. Теперь человек действительно противостоял природе, создавая вокруг себя как бы «вторую природу», предвестницу грядущей цивилизации. И дело здесь не только в заготовке кормов, избирательном воздействии на растительность и наступлении на лес.

«Каждое новое достижение в области культуры, — писал по этому поводу известный английский исследователь Г. Кларк, — усиливало экологическое господство человека: чем больше результатов приносило его вмешательство в естественные процессы, тем чаще нарушал он своей же собственной деятельностью равновесие между собственной культурой и окружающей природой, и тем чаще вследствие этого он был вынужден видоизменять свою экономику, приспособляя ее к новым условиям, созданным его же усилиями. Лучшим примером этого может, пожалуй, служить вырубка лесов, которая способна не только изменить на больших пространствах характер растительной и животной жизни, но и послужить причиной эрозии почв и образования заболоченных, изобилующих комарами дельт и даже оказать влияние на местный климат. Кем бы ни был человек, охотником или земледельцем, деятельность его неизменно приводила к одному результату — он вносил изменения в окружающую природу и устанавливал новые отношения между нею и человеческим обществом».

Потребности животноводства, подобно джину, выпущенному из бутылки багдадским вором, в короткое время изменили не только экологические связи общества, но и облик природы.

Обитателей лесной зоны Восточной Европы с металлом впервые познакомили представители культуры «боевых топоров». Но это было уже заключительным этапом

сложного процесса, начало которому положил растущий спрос на рабочие топоры. Реальные потребности животноводства — строительство загонов, постоянных жилищ, заготовка кормов — вызвали своего рода «промышленную революцию». Объем добывающих работ, хрупкость исходного материала, известная сложность обработки кремня и потребность в высококачественном сырье привели к специализации кремнедобывающей индустрии, развитию горного дела и как следствие развитию торговли во всех ее видах.

Высококачественный, пластичный кремень требовался во все возрастающем объеме. Он нужен был для изготовления ножей, кинжалов, наконечников стрел, серпов, но самое главное — для массового производства топоров, долот и тесел. Валунный камень, разбросанный на поверхности, встречающийся в обрывах у ручьев, по берегам рек и озер, для этой цели не годился. За кремнем следовало отправляться в глубь земли, в копи или каменоломни, что предполагало не только слаженную хозяйственную организацию труда, но и высокую степень его специализации и разделения.

В том, что это оказалось возможным, убеждают нас множество обнаруженных за последнее время специализированных районов по добыче кремня: в Швеции, Дании, Англии, Франции, Польше, Германии, у нас — на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Зауралье, на Каме, Северной Двине, Оке и в Верхнем Поволжье. Иногда это были открытые выработки, по большей части настоящие горные разработки с тысячами вертикальных шахтных стволов и сложной системой отходящих от них горизонтальных штолен, распространяющихся по пласту, содержащему кремневые желваки. Главным оружием добычи кремня по всей Европе служили кирки из рога благородного оленя. Их находят при раскопках шахт во множестве вместе с молотками из этого же материала, клиньями и лопатками из костей животных. Там, где вмещающая кремень порода была особенно твердой, применяли кремневые кирки.

Размах горного дела в неолите поразителен. Кремень не просто добывался и выносился на поверхность. По-видимому, существовала четкая специализация и разделение труда. Добытый кремень тут же на поверхности обрабатывали мастера, изготавливая из него топоры, которые в обитом виде совершали путешествия к покупателю за сотни километров и уже только на месте шлифовались. Потребности экономики, удовлетворение спроса приводили в неолите не только к развитию знаний о мире, накоплению опыта, развитию добывающей и обрабатывающей промышленности, выделению специализированных торговцев, но и к профессиональному расслоению общества, к возникновению сложной социальной структуры, разрушавшей пресловутую монолитность рода. Как полагают исследователи, общины людей, специализировавшиеся на горном деле, жили исключительно за счет сбыта своей продукции, поскольку большая часть времени и сил уходила у них на разработку штолен и обработку кремневых заготовок для топоров. Опыт горного дела по добыче кремня, а потом и соляных разработок, развивавшихся параллельно с земледелием, поскольку растительная пища вызвала острое соляное голодание, очень быстро привел к разработкам медных, мышьяковистых и сурьмяных руд, хотя вплоть до начала массового производства железа первобытные металлурги не могли удовлетворить спрос на металл. Добыча кремня существовала на протяжении всего бронзового века, восполняя этот недостаток.

5

Рассматривая пути специализированной торговли в доисторической Европе, угадываемые по распространению каменных топоров из различных месторождений, медных и бронзовых слитков, янтаря, парадной посуды и драгоценного оружия из центров крито-микенского мира или нефритовых колец и бронзовых кинжалов из Забайкалья, да, наконец, пути самой меди, попадавшей в наши леса то с Кавказа, то из-за Урала, то с Балканского полуострова, можно лишь поражаться дружной и слаженной работе древних европейцев, с которой они возводили здание общего будущего. По нитям этих торговых путей расходились не просто предметы, сырье и материалы. По ним расходились идеи — затрагивая воображение, трансформируясь, оседая, готовя сознание к следующему шагу, к новой порции импульсов, пересекающих континент от одного океана до другого.

Одним из таких импульсов стало земледелие.

Как полагают большинство историков, древнейший очаг земледелия возник в Передней и Средней Азии, отдаленной от лесной зоны пространством степей, на кото-

ром складывалось кочевое скотоводство, проходило одомашнивание лошади и впервые появилось на свет колесо. Через степь с востока на запад и с юга на север на протяжении тысячелетий шло движение идей, предметов, семян культурных растений, металлов, оседавших как пена в полосе лесостепи, куда с началом зимы стягивались основные массы охотничьих животных, потому что здесь не так были страшны морозы и бураны, было больше кормов, зима протекала мягче, была короче, чем на севере, и менее опасной, чем в степи на юге. Следом за животными, за стадами с юга и севера в лесостепь тянулись охотники и животноводы, где между различными племенами происходил наиболее интенсивный обмен предметами и идеями. Другой, более важный для Средней и Западной Европы очаг земледельческих культур, связанный с Малой Азией, возник довольно рано на Балканском полуострове, распространился на лесовые почвы Подунавья, захватил междуречье Днестра и Днепра, шагнул даже на днепровское левобережье, и его влияние археологи ощущают во всей степной и лесостепной зоне вплоть до Балтийского моря.

Кто первым из древних обитателей Восточной Европы положил начало в наших лесах возделыванию культурных растений? Достоверный ответ на этот вопрос мы получим не скоро. Здесь требуются специальные исследования состава ископаемой пыльцы, изучение остатков семян в слоях поселений, наблюдения над окружающей территорией и анализы прилегающих почв. Сложность проблемы заключается хотя бы в том, что даже на летних сезонных стоянках охотники и рыболовы уже могли заниматься возделыванием таких технических видов растений, как лен и конопля, что доставляло наряду с крапивой волокна для тканей, циновок и сетей, отпечатки которых иногда встречаются на глиняных сосудах, а их остатки находят при раскопках свайных и болотных поселений. Еще более вероятно предположить у них сезонное огородничество, объектом которого могли быть бобовые — горох, бобы, чечевица, корнеплоды, — репа, морковь и, вероятно, лук. Самые древние и многочисленные факты выращивания льна нам известны из раскопок свайных поселений Швейцарии, Дании, Англии и наших болотных стоянок, где, как на Модлоне, встречены подвески из балтийского янтаря.

Проследить историю развития земледелия трудно еще и потому, что в распоряжении исследователя, как правило, оказываются только вторичные орудия, связанные с расчисткой леса (топоры, косы, уборкой урожая (жатвенные ножи, серпы), обработкой зерна (ручные мельницы, зернотерки, песты) или с использованием технических культур (ступы, пряслица, грузики от ткацкого стана). Что касается орудий непосредственной обработки земли, сколько-нибудь уверенно о них можно говорить с появлением изображений плуга и рала на наскальных рисунках, их моделей среди культовых статуэток или, как то было в Дании, при находке самих орудий в слоях торфа.

Между севером и югом, как я уже упоминал, лежали причерноморские степи, где возникали промежуточные земледельческие оазисы. Вот почему именно здесь, в лесостепи, формируется первая земледельческо-скотоводческая культура, называемая археологами по своим подкурганым сооружениям срубной, — культура, для которой характерны постоянные поселки, развитая металлургия, многообразие медных и бронзовых орудий, связанных с земледелием, обширные торговые связи. Влияние этой культуры на обитателей леса можно сравнить разве что с влиянием культуры Рима на варварские племена Европы: и там и здесь это выразилось в повторении форм быта — посуды, украшений, технических и технологических заимствований, — насколько возможно, образа жизни. На смену шаровидным сосудам, рассчитанным на ремennую или берестяную оплетку для подвешивания на стены хижин, круглодонным мискам и остроносым сосудам, предполагавшим земляной пол, теперь пришли различные горшки с плоским дном и расширяющимися закраинами — горшки всех видов и размеров, рассчитанные на ровный струганный стол, стоящий посредине бревенчатой рубленой хижины. Эти горшки предполагали существование плоских досок пола, плоского глинобитного пода печи, плоского пола, на котором стояли ткацкие станы, грузики от которых стали частой находкой при раскопках поселений этого времени.

Все находки подтверждали, что земледелие приходит не одно. Вместе с отпечатками зерен злаков на черепках глиняных сосудов появляются следы ткачества, прядения, явственные остатки животноводства, появляется колесный транспорт. И вместе с тем, как это было прослежено для центральной Ютландии, еще в предшествующую земледелию эпоху появляются беслесные пространства, первоначально связанные с то-

щами почвами, поскольку леса начинают утрачивать способность самовосстановления. Очень вероятно, что и пространства наших среднерусских полей, достаточно истощенных, ведут свое происхождение с эпохи бронзы, а плодородие их поддерживалось усиленным внесением естественных органических удобрений.

Окружив себя искусственно созданной средой — полями, защищенными изгородью от лесных зверей и скота, хозяйственными постройками и стенами жилища, — человек начал планомерное наступление на лес. Теперь он рубил уже не ветки. Человек врубался в чащу, валил деревья и сжигал их, чтобы на этом месте, очищенном и удобренном огнем, заложить новую пашню. Леса отступали перед топором и огнем, и поселки земледельцев и животноводов оказывались открыты солнцу, снегу и ливням в широком кольце полей. Собственно, с этого момента и начинается исторический период в жизни людей, почти на три тысячелетия забывших о той соединительной пуповине, которая определяет их место в биосфере нашей планеты.

«Срубники» принесли в наши леса не просто идею земледелия и скотоводства, а технику и методы, уже приспособленные для этих и сходных условий. И сам факт восприятия этих идей, рецептов, условий быта, кардинально меняющих весь привычный образ жизни, указывал на то, что к этому времени самым решительным образом меняется мировоззрение обитателей Восточной Европы, меняется их психология, отношение к миру. Переход от охоты и собирательства к животноводству тоже влечет за собой определенные изменения в психике человека, однако не настолько кардинальные, как при переходе от охоты и животноводства к земледелию.

Подвижный, еще не бросивший якорь скотовод и охотник, наблюдая менявшиеся вокруг картины мира, выхватывал из этой череды лишь отдельные явления, важные для его сиюминутной жизни, не пытаясь их закрепить в памяти и передать другим. Даже свое бытие он ощущал не как что-то самостоятельное, самоценное, а лишь как следствие движения мира, в котором и он оказывался одной из многих движущихся частиц. Он чувствовал себя зверем, по следу которого шел, перевоплощался в рыбу, которую подстерегал возле порогов, ощущал себя деревом и кружащимся осенним листом, ложившимся на стылую волглую землю. Человек жил лишь постольку, поскольку жил окружающий его мир. Собственной цены жизни как таковой для него не существовало. Множество примеров, приводимых этнографами, доказывают нам, с какой легкостью — под влиянием настроения, болезни, голода, из нежелания совершать ту или иную работу, по множеству других столь же малосущественных причин — добровольно прерывали свою жизнь подобные «дети природы», для которых будущее не имело объективной реальности и цены. Оно всегда ограничивалось настоящим, причем не общим, а сугубо личным, которым каждый мог распорядиться по своему произволу в любое время.

Наоборот, земледелец мог жить только будущим и во имя будущего. Внешние изменения, дальше которых не простиралось внимание охотника, оказывались для него лишь сигналами об изменениях внутренних, существенных. Ничто не ускользало от его внимания, западая глубоко в память: состояние неба, мерцание звезд, предвещающих заморозки, свойства почвы, характер растительности, форма и цвет плодов, сроки цветения, привычки и время появления различных видов насекомых, гусениц, время движения соков, сезоны дождей и засух, наконец, само время, которое с этого момента требовало особенно внимательного к себе отношения... Он должен был стать философом и естествоиспытателем, проникающим в таинства природы.

В цвете листвы, форме цветка, золотистом тяжелом зерне, перекатываемом на загубелой, мозолистой от работы руке, так не похожей на маленькие изящные руки лесных охотников, человек открывал для себя то, что через несколько тысяч лет по цепочке поколений войдет в основной запас человеческих знаний. Текущий, меняющийся мир, волнующий впечатлительную душу лесного жителя в крепко сложенной хижине земледельца, стоящей на земле в окружении освобожденных от лесов пространств, на земле вспаханной, удобренной и засеянной, обеспечивающей будущее не только его собственное, но и будущее всех поколений, которые возьмут от него свое начало, — этот мир предстает перед ним столь же постоянным, вечным и мудрым, как труд, которому отныне человек посвящает большую часть своей жизни и сил. На первый взгляд этот мир ограничен, как ограничивает его линия горизонта. Но именно эта внешняя ограниченность сообщает взгляду человека проникаемость и глубину, и, проникая в суть вещей, он обретает восхитительную воз-

можность предугадывать сцепление — пусть пока еще неподвластных ему — причин и следствий.

Осев на землю, человек как бы отказывался от движения во имя будущего — будущего своей семьи, своих детей, их потомства. В известной степени он жертвовал собой во имя общества и рода. Постоянная смена впечатлений, предполагавшая до этого лишь пространственное восприятие времени, как переход из одного места в другое, сменилась неподвижностью наблюдателя, для которого время стало измеряться состоянием окружающего его пространства.

Молодость человечества продолжалась долго. Человек успел исходить землю вдоль и поперек, заглянуть в самые глухие ее уголки, поохотиться на всех зверей, с некоторыми из них подружиться, других взять с собою в странствия. Но вот пришло время зрелости, время ощущения собственных сил. И человек почувствовал, что спешить некуда, некуда торопиться, бежать. Надо подумать о дальнейшем. Не легкая, спорящая с ветром лошадь, а грузные, сильные, медлительные быки, одинаково способные поднимать девственную, оплетенную корнями целину тяжелым плугом и везти еще более тяжелую повозку с массивными, цельнодеревянными колесами, оказались помощниками человека. И сам он стал таким же, как эти быки, — медлительным, оценивающим, с крепкой спиной, прочно стоящими на земле ногами и большими мускулистыми руками, опутанными сеткой набухающих при работе вен.

Вот тогда, оглянувшись вокруг себя, видя возделанные поля, преобразенную землю, хранящую память не только о его собственном труде, но и о труде его предков, человек с нежностью и благоговением впервые произнес слово «родина», соединив в нем, завязав единым узлом настоящее, прошлое и будущее...

6

Путь, пройденный в древности человеком от приспособления к окружающей среде, использования экологических «ниш», до создания основ цивилизации, «второй природы», отнюдь не прям, как может показаться на первый взгляд. Всматриваясь в отношения человека и природы, отмечая появление изобретений, кардинально меняющих жизнь общества, возникновение новых культурных регионов, крупные передвижения народов, археолог обнаруживает прерывистость, скачкообразность процессов. При переходе из одной экологической зоны в другую идеи, движущие общество, наталкиваются как бы на невидимый барьер. Ситуацию можно сравнить разве что с конденсатором, где накапливающийся электрический заряд проявляет себя, лишь достигнув определенного предела. Разряжаясь мгновенно, он перестраивает молекулы окружающей среды, приводя их в новое, устойчивое состояние. Точно так же и переход к новым формам хозяйства, к новой структуре общества, насколько можно судить по археологическому материалу, происходил всякий раз не постепенно, а внезапно, охватывая сразу огромные пространства. В чем здесь секрет?

Еще недавно большинство исследователей полагали, что скачкообразность в развитии общества в значительной мере объясняется колебаниями климата в последнеледниковое время. Одной из наиболее явных причин обычно называли сухой и жаркий ксеротермический период, помещаемый в начале II тысячелетия до нашей эры. С ним связывали иссыхание болот, образование «пограничного горизонта» в торфяниках, распространение широколиственных пород на север, сдвиг к северу границы леса и степи. Последнее, по мысли этих исследователей, привело к вторжению в лесную зону степных народов с их животноводством и земледелием. Действительно, «пограничный горизонт» совпадает по времени с наиболее широким распространением широколиственных пород. В южной части лесной зоны можно видеть следы степных и лесостепных культур, пыльца дуба в это время встречается около Полярного круга, но за всем тем нарисованная картина требовала серьезных поправок. Причину странных явлений следовало искать в другом. Если одним из решающих факторов развития растительности служит почва и подстилающие ее породы, то другим столь же важным оказался температурный режим последнеледникового с его общим нарастанием потепления вплоть до атлантического периода, после которого наступило как бы общее похолодание, что дало основания палеогеографам ожидать через четыре—восемь тысяч лет приближения нового ледникового периода. С помощью этих двух величин можно представить развитие растительности лесной зоны в голоцене, причем время заполнения экологической «ниши» для каждого вида будет определяться необходимым количеством влаги и бла-

поприятствующей среднегодовой температурой. Ситуация сравнима с наступлением на фронте, когда в образовавшийся прорыв линии обороны противника втягиваются все новые эшелоны, новые части и подразделения, чтобы закрепиться на конечных рубежах. Вместе с изменением растительных сообществ, столь же плавно «насыщаясь», должен был меняться и животный мир.

Пыльцевые диаграммы восточноевропейских лесов такую модель подтверждали лишь отчасти. Даже представив конец атлантического периода вершиной потепления, можно видеть, что и до этого момента биосфера испытывала потрясения. Развитие то замедлялось, то, наоборот, его подстегивали какие-то силы. Похоже, что эти или подобные им силы отражались и на человеке. Периоды относительного покоя в развитии обществ сменялись внезапными приливами энергии, приводящей к возникновению новых культур, переориентации торговых связей, переселению огромных человеческих коллективов на большие расстояния. Но эти периоды человеческой активности и покоя не совпадали с климатическими периодами схемы голоцена. Вместе с тем изучение почв, их распространения, происходящих в них геохимических процессов заставляло многих исследователей усомниться в возможности серьезных сдвигов растительных сообществ в прошлом. Четкая зависимость между растительностью, почвой и подстилающими породами, связанными с циркуляцией химических веществ, заставляла предполагать, что менялись не границы климатических зон, а состав — или структура — растительных сообществ, притом не вообще, а в определенном направлении: от большей засухоустойчивости к меньшей и обратно.

Следствием такого возмущения природной среды и являлись «пограничные горизонты» в толще торфяников. Черные слои разложившегося торфа с пнями и стволами деревьев, в основании которых лежали остатки поселений человека, свидетельствовали о времени, когда резко понизились уровни водоемов, грунтовых вод, лес с моренных холмов и песчаных равнин шагнул на болота, а впереди, отмечая начало этих изменений, шел человек. Он первым приходил к отступившей воде, вбивая сваи в пружинящий покров торфа, поднимая пол жилища на искусственную подсыпку, покрытую слоями бересты. И, насколько мы можем судить, он первым же покидал эти места, когда снова повышался уровень вод, а выросший лес медленно умирал на корню, погружаясь в зеленую топь...

В 1932 году Е. Гранлунд в Швеции выделил пять таких прослоек в качестве регрессивных уровней, или поверхностей обратного развития, поскольку они указывают на периоды, в которых происходит не накопление торфа, а его разложение и разрушение. В каждом таком случае на черном разложившемся торфе лежал светлый торф, свидетельствующий об очередном обводнении торфяника, трансгрессии водоема. Разница в возрасте между слоями колебалась от шестисот до тысячи лет. Точно датировать можно было только начало очередного накопления торфа, отмечающего время наступления очередной трансгрессивной фазы.

Работы Е. Гранлунда послужили толчком к возникновению нового взгляда на процесс образования торфяников и их хронологию. Первыми это наблюдение оценили археологи, работавшие на торфяных стоянках Дании, Швеции, Англии и Германии. Они обнаружили, что слои археологических памятников по большей части связаны именно с этими регрессивными уровнями. Подобный подход к изучению торфяников у нас не получил широкого распространения. И не потому только, что болотоведы и палеоботаники обычно работали в отрыве от археологов. Согласно установившейся традиции воссоздание истории растительности в голоцене строилось на изучении болот верхового типа, питающихся за счет грунтовых вод и подземных источников, в противоположность болотам низинного типа, образовавшихся на месте древних водоемов, питающихся атмосферными осадками и водой протекающих через них рек. Болота первого типа меньше зависят от колебаний количества атмосферных осадков, чем болота второго типа, разделяющие общую участь с реками и озерами, чей уровень определяется обилием выпадающих дождей, снегопадами и расходом весенних паводков, целиком остающихся в котловинах торфяников верхового типа. Была и еще одна, так сказать, субъективная причина. Работая с большими разрезами на болотах низинного типа, палеоботаники могли хорошо видеть основной «пограничный горизонт», отмеченный пнями, но не замечали другие, гораздо слабее выраженные слои регрессивных уровней, теряющиеся на общем темном фоне торфяной залежи.

Насколько существенно было последнее обстоятельство, я мог наблюдать в тот день, когда вместе с группой палеогеографов мы разбирали и описывали разрез у

стоянки, получившей название «Ивановская III», под каким этот памятник известен теперь в научной литературе. Если бы не черепки и свежий срез, на котором тонкие прослойки регрессивных уровней проступали достаточно отчетливо, иной раз я и сам мог бы усомниться в их существовании. Но они были замерены, описаны, и последующий анализ лаборатории подтвердил, что мы действительно имеем дело с разновидностью «пограничного горизонта».

Самым интересным открытием в тот день нам казался факт, что археологические комплексы, перемешанные на суходоле, здесь залегали каждый по отдельности, разделенные прослойками чистого, без находок, торфа.

Иначе быть не могло. Человек забирался на эти маленькие островки только в те периоды, когда водоем зарастал, болото высыхало, поверхность торфяника слеживалась и разрушалась. И на эту поверхность обратного развития попадали черепки сосудов и каменные орудия только тех людей, которые в это время обитали на суходоле. Стоило начаться очередной трансгрессии, подняться уровню вод, как сырость делала островок непригодным для жилья, а нарастающий торф надежно укрывал все следы человеческой деятельности от перемешивания с более поздними предметами.

Как показали черепки, это происходило одновременно на достаточно больших территориях, на не сообщавшихся друг с другом водоемах — многократные ритмические колебания уровня рек, озер, грунтовых вод, определявшие уровень поселений человека в древности до тех пор, пока, освоив земледелие, он не шагнул разом на высокие берега, разорвав невидимые нити, привязывавшие его до того к берегам пресноводных водоемов. Весь голоцен представлял чередованием осушений и обводнений, регрессивных и трансгрессивных фаз, наступавших поочередно и, по-видимому, с отменным постоянством. Каждое такое изменение на разрезе сопровождалось изменением состава торфа и степенью его разложения.

Одновременно с изменением состава торфа происходило изменение в составе окружающих болота лесов. На пыльцевой диаграмме разреза можно видеть, как с наступлением очередной трансгрессии засухолюбивые виды вынуждены потесниться, чтобы дать место влаголюбивым, и наоборот. Позднее, рассматривая эту пыльцевую диаграмму как бы вновь, я обнаружил поразительный факт, пропущенный в те годы нами: наступление очередной регрессии водоема каждый раз предварялось появлением и последующим возрастанием пыльцевых зерен полыни. При этом оказалось, что пыльца полыни лежит далеко не во всех слоях торфа. Ее очень много в самых нижних образцах, относящихся к послеледниковому времени, затем она скоро исчезает, а в дальнейшем появляется всякий раз, когда учащаются симптомы засухи, указывая на наличие среди лесов обширных открытых пространств. Наоборот, как только начинает нарастать новый слой торфа, свидетельствуя о поднятии уровня вод и увеличении общей влажности, пыльца полыни сокращается и вскоре совершенно исчезает.

Пиков полыни было ровно столько, сколько отмечалось на разрезе регрессивных уровней независимо от их толщины. Просматривая пыльцевые диаграммы по другим торфяникам, где пыльца полыни точно так же была показана на отдельном графике, я всякий раз обнаруживал примерно одинаковое количество полынных всплесков, хотя бы регрессивные уровни на самом разрезе и не были отмечены. Возникла заманчивая перспектива: выявить на пыльцевых диаграммах болот и водоемов лесной зоны регрессивные, засушливые фазы голоцена по возрастанию и исчезновению в спектрах пыльцы полыни, а вместе с тем и по ряду других таких же засухолюбивых видов растений.

Метод оказывался абсолютно надежным. Он не зависел от индивидуальных особенностей водоема, позволявших безболезненно перенести засушливый период (наличие подземных ключей, обширные бобровые колонии, поддерживающие искусственно высокий уровень), и отмечал изменения окружающей растительности появлением или исчезновением наиболее чувствительных ее компонентов.

7

Разрез ивановского торфяника с его пыльцевой диаграммой, прослойками регрессивных уровней и разложенными в них как на полочках археологическими комплексами дополнял и завершал картину, полученную когда-то мною во время раскопок на берегах Плещеева озера. Разные факты, собиравшиеся по крохам в течение многих лет, теперь сходились воедино, завязывались крепким узлом единой системы, в кото-

рой на первый план выступали уже не остатки человеческой деятельности, а силы, управляющие развитием биосферы. Человек оказывался лишь своеобразным индикатором происходивших процессов, вроде пыльца поныни, сигнализирующей о сменах засушливых и влажных фаз голоцена.

В целом это выглядело следующим образом.

Первое серьезное падение уровня водоемов в древности приходится на первую половину VII тысячелетия до нашей эры, когда мезолитические охотники и рыболовы выходят на острова, суходолы, а на берегах озер их стойбища оказываются на уровне современного зеркала воды. Это время сосновых и березовых лесов, открытых лесостепных пространств. Меньше чем через тысячу лет все меняется. Теперь мезолитические слои занимают на озерных террасах наивысшее положение из возможных, куда оттесняет человека поднявшийся уровень водоема, а на болотах повсеместно откладывается тростниково-древесный торф. Во второй половине VI тысячелетия уровень вод начинает спадать, и в первой половине V тысячелетия стойбища охотников спускаются, по-видимому, даже ниже, чем во время предыдущей регрессии. Перелом в конце того же тысячелетия привел к новому резкому обводнению, положившему начало слоям ольхового торфа и размыту остатков мезолитических стойбищ, занимавших современную прибрежную полосу водоемов. Это одно из вероятных объяснений, почему археологи, работающие в средней полосе, не находят памятников этого периода ни на дюнах, ни на первой террасе озер и рек, ни в отложениях торфяников.

В начале IV тысячелетия вода стояла еще сравнительно высоко. Поэтому древнейшие слои сезонных стойбищ охотников, изготовлявших горшки с ямочно-гребенчатым узором, расположены не ниже второй озерной террасы, в трех метрах над современным уровнем озера. Однако очередной перелом, как можно видеть по пыльцевым диаграммам, уже наступил. Прорвав невидимый заслон, широколиственные породы занимают моренные холмы, тесня березу и сосну, ширятся пространства лугов, падает уровень водоемов, а вместе с ним на первых террасах озер и на суходолах болот возникают поселения пришельцев: охотников, рыболовов и огородников. Вскоре на открытых солнцу холмах появляются со своими стадами первые животноводы. Происходит все это в самом начале III тысячелетия до нашей эры и охватывает около шестисот—семисот лет — время наиболее оживленного движения племен не только в лесной зоне, но на всем пространстве Старого Света. Это время сложения новых культур, повсеместного распространения животноводства от Испании до Скандинавии и Урала, распространения земледелия в южных областях. На это время падает расцвет древнейших цивилизаций Востока в долинах великих рек — Инда, Тигра и Евфрата, Нила.

Однако вместе с тем можно наблюдать движение народов, как будто бы не находящее себе объяснения. Обычно крупные миграционные потоки текут или по просторам южных степей, или следуют направлению границ растительных и климатических зон, геологических районов, экологических провинций. В это же время археологи отмечают другое движение: от побережий в глубь континента. Для Западной Европы это переселение с берегов Северного моря и Атлантического побережья; для Восточной Прибалтики — движение племен с янтарными украшениями на восток и северо-восток; для Месопотамии — от побережья Персидского залива в горные области.

Резкое изменение условий наступает во второй половине III тысячелетия до нашей эры. Остатки поселений предшествующего времени, предстающие глазам археологов в результате раскопок, несут на себе следы каких-то внезапных катастроф — наводнений, высоких, сокрушительных паводков, «всемирных потоков». Это одинаково относится к городам Месопотамии, швейцарским свайным поселениям, болотным поселениям в Ярославской области, остаткам стойбищ на берегу Вексы или свайным поселениям запада Псковской и Смоленской областей. Не эти ли наводнения, связанные с общим увлажнением, как можно видеть по исчезновению пыльца поныни, росту торфяных слоев, увеличению пыльца ели, задержали дальнейшее распространение животноводства и земледелия, потеснив новое население этих мест к югу, в лесостепь, и возвратив в наши леса с севера потомков бывших обитателей этих мест? Предположение не такое абсурдное, как может показаться на первый взгляд. На местах прежних сезонных стойбищ средней полосы в это время снова появляются черепки с ямочно-гребенчатым орнаментом.

Медленный обратный ход возникает только с первой четверти II тысячелетия. Исследования последних лет установили, что пресловутый ксеротерм, приходящийся на II тысячелетие, был отнюдь не жарким. Сухим — да, но холодным. За счет сухости и

происходит дальнейшее расширение луговых пространств в лесной зоне, столь необходимых древним животноводам. Теперь в течение почти целого тысячелетия идет непрерывное снижение уровня водоемов, и места поселений с первой террасы сползают в нынешнюю пойму и еще ниже. Резкая перемена наступает в середине I тысячелетия до нашей эры. Земледельцы и животноводы окончательно покидают озерные берега, водоемы заливают ранее осушенные пространства, наступают бурные весенние паводки, ели и березы поднимаются из лощин на холмы...

Строгая последовательность событий на этом месте обрывалась: кончался достоверный археологический материал, а верхние слои торфяников, в которых лежали необходимые свидетельства, обычно оказывались снесены при расчистке болота. Приходилось обращаться к другим источникам, письменным, обладавшим большим запасом достоверности, но требующим зато совершенно иного подхода. Подробное описание событий по годам, даже внутри года, разрушало общую картину выдвиганием на передний план множества несущественных деталей. Они не были «интегрированы» временем, как слои торфяников, в которых содержащаяся пыльца — итог столетий, усредненный самой природой вековой результат. Но кое о чем можно было догадаться и здесь.

Рассматривая систему водных дорог древней Руси, находки средневековых вещей на местах древних свайных поселений, размытые слои домонгольского времени на Рождественском острове перед Ростовом Великим, приходишь к заключению, что время X—XIII веков, а может быть, и несколько позже, сходно с регрессивными периодами предшествующих эпох. Наоборот, вспоминая описания России, составленные в середине XVII века Павлом Алеппским, где на каждом шагу перед автором предстают бесчисленные болота, озера и реки в степной и лесостепной зоне, весенние паводки застаиваются чуть ли не до осени, а зимы снежные и продолжительные, начинаешь думать: не описание ли это одного из трансгрессивных периодов? Что ж, в таком случае становилось понятным, как мог Петр I, построивший на Плещеевом озере потешный флот, спустить по Вексе во время половодья два самых больших корабля через Нерль в Волгу, чтобы ими положить начало Каспийской флотилии. Если допустить, что летний уровень Плещеева озера в то время достигал первой террасы, превышая современный почти на два метра, и еще на метр поднимал его паводок, то спустить средней величины корабль с половиной командой, без груза, с осадкой до полутора метров в сопровождении шлюпок, плотов и бурлаков по такой воде особого труда не составляло.

Так неожиданно получил разрешение вопрос, казалось бы, сторонний и все же занимавший меня многие годы. Вексу, берущую начало из Плещеева озера, я знал хорошо — ее берега, ее фарватер; знал ямы и мели, потому что большую часть реки исплавал с маской и подводным ружьем, охотясь на язей и щук, благо вода в те годы была идеально чистой и никому не приходило в голову надстраивать плотину в Усолье. Ямы на Вексе были глубокие, и сейчас я думаю, что они могли остаться от прежнего, более глубокого русла, подобно тому как яма Плещеева озера осталась от ложа когда-то бывшего здесь мощного и бурного ледникового потока. Но вместе с тем я видел, как на глазах река мелела, и меньше чем за четверть века паводки, поднимавшиеся до первой террасы, теперь редко-редко выплескиваются на пойму.

Со времени Петра I и его потешной флотилии прошло без малого триста лет. Могли те паводки превышать нынешние на два—два с половиной метра? Надеяться, что в те времена кто-либо исполнял должность работника бассейновой инспекции и измерял уровень воды в озере каждый день, не приходилось. И все же нужные сведения стоило поискать, в этом убеждал меня опыт историка.

Плещеево озеро занимает исключительное положение — и в отечественной науке и в нашей русской истории. Ни озеро Ильмень, ни ростовское озеро Неро, ни вышеволоцкие озера, ни даже озера Белое и Кубенское не пользовались столь пристальным вниманием московских властей на протяжении всей истории русского государства, как Плещеево озеро. Причин было много — политических, эстетических, торговых. Но главной была гастрономическая: в Плещеевом озере до последнего времени водился — сейчас он под угрозой гибели — особенный вид ряпушки, известный как переславская селедочка. Ряпушка принадлежит к семейству сиговых, и вкус ее, особенно переславской, ни с чем не сравним, все равно — в жареном, соленном, копченом или вяленом виде. Вот почему Плещеево озеро и Рыбачья слобода в Переславле-Залесском искони подлежали надзору Большого Кремлевского дворца. Пользуясь льготами и привилегия-

ми, закрепленными царскими грамотами и указами, переславские рыбаки поставляли в Кремль, сначала к великокняжескому, а потом к царскому столу, различную рыбу, но в первую очередь ряпушку. Лов ее был регламентирован не только сезоном, но и поштучным приемом для дворцовой кухни.

Справедливости ради следует отметить, что наряду со специальным отловом для Москвы, местного начальства, духовенства «к случаю» в те времена рыбакам разрешалось ловить определенное количество ряпушки и для собственных надобностей — для еды и продажи с торга.

За всем тем «царской рыбе» велся строгий учет. Потому и само озеро и тоневые участки у его берегов были точно обмерены и описаны в переписных книгах. Так благодаря работе царских землемеров и писцов, при содействии переславских краеведов, собиравших различные статистические данные о своем крае, я узнал, что в 1675—1676 годах площадь Плещеева озера оценивалась в 6680 десятин 1410 сажень. В пересчете на метрическую систему мер, которой мы пользуемся теперь, это составляет 72,986 квадратных километра. Через двести сорок пять лет основатель переславль-залесского музея М. И. Смирнов произвел новые обмеры озера и получил 4606 десятин, или 50,326 квадратных километра, обнаружив, что площадь озера сократилась в полтора раза по сравнению с серединой XVII века. Насколько мне известно, к началу 70-х годов нашего века площадь озера сократилась еще на одну пятую, составив всего около сорока квадратных километров. Вода отступала от берега все дальше и дальше, оставляя за собой новый уступ зарастающей поймы...

Так все сходилось — предположения и расчеты.

Судя по археологическим датировкам, смена регрессивных и трансгрессивных периодов на протяжении всего голоцена происходила с периодичностью от полутора до двух тысяч лет. Иными словами, здесь действовала не случайность, а закономерность. Вероятно, можно было получить более точные цифры, но для этого нужны были уже специальные, длительные и дорогостоящие исследования, в которых собственно археология отступала на второй план.

На этом я мог поставить точку. Мне удалось выяснить действительные причины, определившие скачкообразное развитие биосферы в голоцене, прийти к заключению, что каждый раз действовали одни и те же силы, а не случайные стечения обстоятельств, и, кроме того, обнаружить несколько полезных для археолога закономерностей.

Но тут снова на помощь пришел случай.

(Окончание следует)



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕРЕМЕЙ ПАРНОВ



ЗЕРНО ЛОТОСА

Судьбы йоги в XX веке

Поклоняющиеся Светозарным идут к Светозарным; поклоняющиеся предкам идут к предкам; те, которые поклоняются силам природы, идут к духам природы; но Мои поклонники идут ко Мне.

«Бхагаватгита».

В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков:
Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот зов.

Р. Киплинг.

Как многолика Индия! Страна «Махабхараты» и «Рамаяны», «Упанишад» и «Вед», страна атомной энергии и спутников. Эти спутники, созданные руками индийских ученых, были названы в честь древних математиков и мудрецов. На околоземную орбиту спутники выводили советские ракеты, запущенные с космодрома, расположенного на нашей земле. Знаменательный факт и отнюдь не случайный. «Трогательно наблюдать интерес Индии ко всему русскому... Тянется сердце Индии к Руси необъятной. Притягивает великий магнит индийский сердца русские» («Русь—Индия» Николая Рериха). Читая эти строки, я думаю об индийском гении, который устремился в космическую дверь, распахнутую мощью и дружбой нашей страны. Не это ли смутно грезилось мудрецу и художнику среди вечных снегов гималайских?

У Индии много проблем. Страна неудержимо рвется в современность. Она уверенно преодолевает тяжелое наследие британского владычества и долговременной феодальной раздробленности, религии, культивировавшей кастовое разделение, ритуальное нищенство и созерцательную пассивность.

Мрачной статистике, фиксирующей количество безработных и бездомных, новая Индия уверенно противопоставляет свои цифры. Среди них число объектов, сооруженных с помощью Советского Союза,— заводов и нефтепромыслов, электростанций и институтов, фабрик и ферм. Эти предприятия дают в настоящее время 20 процентов электроэнергии, 30 процентов стали, 50 процентов нефти, 60 процентов тяжелого электрооборудования, 80 процентов металлургического оборудования, производимых страной в целом. Это работа для миллионов высохших от нищеты рук. Традиционная дружба и сотрудничество наших стран получили новые могучие стимулы после исторических визитов А. И. Брежнева в 1973 году и А. Н. Косыгина в 1979 году.

Среди индийской интеллигенции появляется все больше людей, изучающих советский опыт. Особенно памятен мне делийский писатель Бхишам Сахни, который несколько лет прожил в Советском Союзе. Он не только говорит по-русски, но и постоянно подчеркивает роль, которую сыграла советская литература в его собственном творчестве. Я мысленно возвращаюсь к нашим встречам. Одна из них, в Дели, во многом помогла мне в подготовке к первой гималайской поездке.

Когда мы подъехали к типовому дому в одном из новых районов, я меньше всего мог ожидать, что увижу здесь саха (снежного леопарда), фрески храма «Тигровое логово», танец фантастических масок (цам), погруженных в медитацию аскетов.

Сюрпризы начались сразу, едва мы вошли в уютную квартиру Сахни. Пока длилась неизбежная церемония знакомств и взаимных представлений, в комнату незаметно

проскользнула удивительно красивая молодая женщина с подносом, уставленным бутылочками минеральной воды и тоника. Я смотрел на нее во все глаза, силясь вспомнить, где мы могли встретиться.

— Вы не узнаете меня? — спросила она на безукоризненном русском языке и, не выдержав, рассмеялась. — Мы же только вчера разговаривали с вами в Центре русских исследований!

— Ах да! — Я беспомощно махнул рукой и попытался достойно выйти из положения: — Нет, вас-то я узнал сразу. Просто смешался от неожиданности... Не знал, что вы знакомы с мистером Сахни.

— Вы уже познакомились с моей дочерью? — подошел к нам Бхишам. — Она в самом деле хорошо говорит по-русски?

— Мы с ней уже старые друзья. И у нас общее увлечение — Булгаков. (Я вспоминал вопросы, которые она задавала мне на встрече в университетском городке.) Что же касается языка, то он безупречен.

Вскоре мы уже говорили о московских общих знакомых, о Ренарде Григорьеве, который всегда помогал мне разрешать самые трудные загадки по части Индии и Непала. Незаметно разговор переключился на Гималаи, и я поведал о сокровенной мечте — увидеть тайные святыни Непала и сопредельных стран.

— Поразительное родство интересов! Вы любите Булгакова, как я, и бредите Гималаями, как мой муж. Сейчас я **вытащу** его из кабинета. У нас богатейшая коллекция слайдов. Муж объездил весь **Ладакх**, Сикким и Бутан и все заснял на цветную пленку. Даже подземные пещеры.

— Но там же темно. Неужели ему разрешали пользоваться вспышкой?

— О, это целая эпопея. Пусть лучше он сам расскажет, как расставлял зеркала из блестящей фольги и направлял солнечный свет в крошечную тьму. Это его конек, и мне не хочется отбивать чужой хлеб. Есть такая поговорка?

Зеркала из фольги, **которые** практически ничего не весят, которые ничего не стоит скатать в рулон. Где-то я уже читал об этом — о неистовом солнце Гималаев, чьи лучи заставляют раскрываться буйные краски росписей во мраке подземелий, о зеркалах, что в отличие от электрического освещения не нарушают покой тантрийских божеств... Читал. В книге «Гималайское искусство» **Мадаважата** Сингха.

— Мы близко знакомы с Сингхом и с удовольствием устроим вам встречу с ним, — сказала дочь **Сахни**. — А теперь займемся слайдами.

И померк свет, и **раздвинулись** стены, а в белом прямоугольнике экрана вспыхнуло небо — невероятное отрешенное небо без облаков.

Гималаи дохнули навстречу морозной хвоей. Мне слышится гул снежных обвалов. Напитанные светом **капли**, как глицериновые, тяжело переливаются на белых и розовых лепестках рододендронов. Олень тычется горячим замшевым носом в мою ладонь и жадно слизывает шершавым **языком** живую соль. Снежный барс, яростно морщина щеки, точит когти о кедр, и дерево гудит басовой струной. Сумасшедшая пляска теней, и не отличить уже настоящее солнце от двух ложных...

Многие горы похожи на Гималаи, **да** только сами Гималаи нельзя сравнить ни с чем на земле. Как верно это **знал** и чувствовал Николай Константинович Рерих:

«Чем-то зовущим, **неукротимо влекущим** наполняется дух человеческий, когда он, преодолевая трудности, всходит к этим вершинам. И сами трудности, порою очень опасные, становятся **лишь нужнейшими и желаннейшими** ступенями, делаются только преодолениями земных условностей. Все опасные бамбуковые переходы через **гремящие** горные потоки, все скользкие ступени вековых ледников над гибельными пропастями, все неизбежные спуски перед **следующими** подъемами, и вихрь, и голод, и холод, и жар преодолеваются там, где полна чаша находжений.

Не из спесивости и чванства столько путешественников, искателей устремлялись и вдохновлялись Гималаями».

«Когда вы смотрите на эти полотна, из которых многие отображают Гималаи, кажется, что вы **улавливаете** дух этих великих гор, которые, веками возвышаясь над равнинами Индии, были нашими стражами», — сказал Джавахарлал Неру о картинах великого художника.

Не случайно я опять вспомнил о Рерихе. Без сказок и легенд гималайских Рериха не понять. Вот сидит на берегу горной речки старец в позе медитации и грезит. О чем? Неизвестно. И название картины — «Сантана» — вряд ли что подскажет неискушенному зрителю. Что за «Сантана» такая? Может, название реки, может, имя из легенды?

Остается лишь интуитивно угадывать глубочайшую мысль мастера, что неизбежно сопряжено с ошибками. Нет ни реки такой, ни человека с таким именем. Это поток жизни в изощренной метафизике буддийского учения махаяны.

Или — горы на фоне жуткого алого заката и на крайней скале темная фигура с натянутым дуком в руках: «Весть Шамбалы». Страну с таким названием не найти на географических картах, а вместе с тем в нее верят и тянутся к ней овцеводы Ладакха, охотники за орхидеями Сиккима, покорители высот (шерпа), колдуны заповедного (королевства? княжества? округа?) с неожиданно знакомым именем Мустанг... «Знамя мира», «Тень учителя», «Гессэр-Хан», «Конь счастья (знаки Чинтамани)», «Капля жизни», «Жемчуг исканий» и десятки, сотни замечательнейших полотен Рериха раскрываются вдруг во всей удивительной своей полноте под ключом гималайских сказаний. Да и сами великие горы предстают в ином освещении, и загораются в них огни кочевий и следы народов, ушедших в ночь.

Но спустимся с гор и припомним еще одно полотно Рериха — «Огни на Ганге». Зачем эта женщина в сари пускает скорлупки с тлеющими фитильками, плавающими в кокосовом масле? Стоит лишь подсказать, что она молится о счастье Детей, — и в глубинном сумраке вспыхнет понимание. Священная Ганга, принимающая пепел сожжений и огни торжества. Новый лик твой, великая, прекрасная и непостижимая страна, и твоя медленно уходящая старина, твои древнейшие предания, твоя гордость и твоя боль...

Город Бенарес (точнее — Варанаси) встретил меня жарой и невиданным столпотворением. Казалось, вся Индия брела под убийственным солнцем на раскаленные, без тени набережные Ганги. Сотни тысяч паломников тянулись по разгороженному толстыми бамбуковыми стволами спуску к ступеням, застроенным всевозможными культовыми сооружениями, к бесчисленным лодочным пристаням. Над толпой текли ясно видимые волны горячего воздуха. Сновали фокусники, продавцы сладостей, водоносы, заклинатели змей, ловкие воришки, соблазнительно накрашенные танцовщицы, хироманты...

После Дели, после Бомбея с его атомными лабораториями и ажурными антеннами радиотелескопов я почувствовал себя заброшенным в далекое прошлое. Вокруг была совершенно другая Индия, знакомая по сказкам «Тысячи и одной ночи», по набившим оскомину байкам о факирах и волшебниках. Факиров, точнее бродячих садху (факиром, строго говоря, называется йог-мусульманин), вокруг было великое множество. Одни из них, прошив нижнюю губу и язык острым трезубцем, обрекли себя на вечное молчание. Другие, тяжело опираясь на посох, стучали по мостовой деревяшками, утыканными (остриями вверх) гвоздями.

— Можно взглянуть? — Я подошел к одному из таких подвижников и опустил в его нищенскую чашу рупию.

Он с готовностью показал стопу с привязанной веревками гвоздевой щеткой.

— Снимите, пожалуйста.

— Хотите купить, сэр? — «Мученик» с неожиданно лукавой улыбкой протянул мне свою «босоножку».

— Нет. У меня, кажется, другой размер. Но я хотел бы взглянуть на ваши подошвы.

Отвязав и другую деревяшку, садху опустился на ступеньку и принял классическую асану лотоса, сложив ноги пятками вверх. Следы от гвоздей были четкими и глубокими, но кожа выглядела совершенно целой, хотя и несколько воспаленной.

Еще две рупии я истратил на право сфотографировать другого садху, поразившего меня синим цветом абсолютно нагого тела. Именно синим, а не серым, как у сотен его единоверцев. Оказалось, что аскет ежедневно намазывается коровьим навозом, который уже потом принудительно кизячным пеплом. Эксцентричным такой туалет выглядит лишь для непосвященных. Профессиональные йоги предпочитают именно этот наряд, который искусно дополняют высокий шиньон и шнур касты через плечо. Недаром ведическая мудрость гласит, что «все из коровы — чистое и священное». Ибо пепел прекрасно защищает тело от солнечных ожогов. Оставалось лишь позавидовать йогу, который остался сидеть в тени, и вновь окунуться в зной и пестроту вечного города Индии. Кружилась голова. Во рту ощущался густой металлический привкус.

«Седобородый человек на берегу Ганги, сложив чашу (из) рук, приносил все свое достоинство восходящему солнцу, — писал Рерих. — Женщина, быстро отсчитывая ритм,

совершала на берегу утреннюю пранаяму. Вечером, может быть, она же послала по течению священной реки вереницу светочей». Но далеко еще было до вечера с его обманчивой прохладой...

Толпа неуклонно приближалась к реке. Навстречу шли женщины в белых покрывалах, несли в руках медные сверкающие кувшинчики с гангской водой. Многие из них совершили омовение, не снимая одежду, и теперь сари тяжело липло к ногам, а на раскаленную землю еще сбегали последние струйки. Прошла вереница суровых полицейских в красных тюрбанах и с палками в руках. Нищие хватали прохожих за ноги, требуя обязательную монетку. Деревенские красотки, украшенные ожерельями, серьгами и браслетами из белых живых цветов, угощали освященным рисом. Прокляженные, гремя сухими тыквами, красноречиво протягивали изуродованные конечности. А рядом в тени домов и храмов кипела простая, по-южному открытая жизнь. Уличные цирюльники наголо брили черных от солнца и пыли богомольцев. Расстелив на тротуаре плат, обедала многодетная семья. Под водоразборной колонкой освежался уса-тый молодой человек, поразительно похожий на молодого Раджа Капура. Старик в белом нараспех читал мальчику веды. Заклинатели змей безуспешно звали зрителей на sacramентальную «борьбу кобры с мангустой».

Увидев, что я отделился от толпы, заклинатель поднес к губам дудочку из двойной пустотелой тыквы и поднял плетеную крышку. Но ошалевшая от жары кобра только еще ниже таилась в своей корзине, а жирная, лысеющая от старости мангуста устало зажмурилась.

— Сейчас сахиб увидит потрясающее представление! — торопливо пообещал заклинатель, швыряя кобру на горячую замусоренную землю.

— Нет. — Я кивнул, что у индийцев и болгар означает отрицание, и, перешагнув через корзину, куда тут же юркнула замученная змея, приблизился еще к одному саху.

На лбу его желтели полосы, нарисованные в честь Шивы, а тело с ног до головы было утыкано крючками с грузиками. Словно тысячи рыболовов одновременно подсекали нежданную добычу и в досаде оборвали лески. «Обследование» обошлось в пять рупий. Крючки, очевидно за давностью, плотно вросли в тело, грузики были «пришиты» плотно, словно солдатские пуговицы. При желании их, однако, можно было вынуть, как вынимают из ушей серьги.

— Сахиб, я вижу, любит Восток, — польстил подвижник Шивы, с достоинством принимая плату. — За десять рупий я могу продемонстрировать ему непревзойденное чудо. — Он повернулся спиной, показывая вживленный в тело большой крюк с кольцом. — Во имя Шивы и только для вас я могу довести до самой Ганги колесницу.

Я глянул на тяжелую тележку, на которой стоял банди, персональный транспорт Шивы, и поехал. Сквозь пестрый флер «чудес» мелькнула жутковатая тень изуверства. А тут еще полицейские начали кричать вниз: «Выходите, ваше время кончилось!» Серdito стуча дубинками о камни, они выгоняли богомольцев из воды, и люди покорно уступали свои места напавшим толпам. Гомон, спешка, жара, нервное напряжение.

— Намаскар, гуру, — поблагодарил я, поспешив ввинтиться назад в толпу, бредущую к Ганге.

Высоко вознес над головами носилки, на которых пугающе отчетливо белел погребальный саван, пробежали к реке полуголые носильщики. Торопливо расталкивая локтями живых, они спешили к царству мертвых.

Когда показалась наконец зеленая непрозрачная вода и в лицо пахнуло гарью погребальных костров и влажным, застойным запахом тины, я заблудился. Передо мной, распахнулась широкая и длинная лестница. Но ни ступеней, ни каменных плит ее я не увидел. Плотность людская превосходила здесь все рекорды пингвиной стаи. Оттиснутый к самому бамбуковому стволу коровой, которая неведомо как очутилась среди этой фантазмагорической толчеи, я не знал, куда поставить ногу.

В тени храмов, украшенных многорукими фигурами индуистского пантеона, люди мирно переживали полуденный зной. Здесь спали, полоскали горло и обливались гангской водой, выкрикивали заклинания, пекли лепешки, кормили младенцев, показывали фокусы, даже занимались медитацией. Повернуть назад и пойти навстречу все прибывающему потоку было немыслимо. Оставалось только лавировать из стороны в сторону, медленно и неумолимо опускаясь все ниже. По крикам и выразительным жестам я заподозрил, что происходит неладное. Меня увлекало к воде, откуда хулился слад-

ковато-удушливый дым. Вопреки желанию я приближался к месту сожжения, запрещенному для посторонних. Лишь нырнув под бамбуковый ствол, можно было выбраться из стихийного водоворота на сравнительно спокойную площадку — там рядом со старцем, выкликавшим заклинания-мантры, сидел продавец ледяной фанты. Я нагнулся и перелез в другой отсек, преодолев кастовый барьер в его наиболее грубом и материальном воплощении. Следовало поскорее оглядеться и найти выход, не оскорбляя ничьих религиозных чувств, иначе все могло бы закончиться довольно печально.

Меня выручил крепкий седой старик в широких парусиновых брюках. Среди моря дхоти они показались мне вечерним костюмом, достойным Пикадилли.

— Господин хочет нанять лодку? — деловито осведомился нежданный спаситель.

— Да, пожалуйста...

Фасады прибрежных зданий хранили отметки недавних наводнений. Над витыми узорчатыми башенками храмов (шикхар) трепетали красные молитвенные флажки. Ниши, портики, беседки и балдахины набережной тоже были отмечены разноцветными флажками различных индуистских сект. Столько святых сразу я уже не встречал более нигде и никогда. На каждый квадратный метр приходилось минимум по одному садху. Были там и женатые отшельники, или, вернее, замужние отшельницы из ордена «Брахма Кумари», устав которого разрешает монахиням жить и бродяжничать вместе с семьями.

Стоя по колено в воде, люди совершали традиционное омовение. Приседали женщины в лиловых и оранжевых сари, погружаясь по грудь. Из особых сосудов промывали носоглотку йоги. Чуть дальше беззаботно плескалась в реке молодежь. Плавали наперегонки brassom и кролем, со смехом перебрасывались резиновым мячом. Для одних священное омовение, для других просто купание в жару. На соседней набережной стирали белье, купали ребятишек, бережно окунали в священную влагу больных и немощных, приехавших сюда на исцеление. Может быть, кто-то и вылечивался, но большей частью все-таки умирали. Не удивительно, что именно здесь, на Ганге, ежегодно вспыхивают самые разнообразные эпидемии, прежде всего холеры. Поражает лишь сравнительно низкий показатель смертности. При такой санитарии он мог бы быть раз в сто больше. Тут уже вступает в действие тайна священной реки, чья вода не портится даже в открытых сосудах при сорокаградусной жаре. Ученые заинтересовались этой загадкой и сразу же подумали о «серебряной воде», которую может с помощью батарейки изготовить любой школьник. И действительно, в водах Ганги нашли высокий процент серебра. Очевидно, на долгом своем пути с вершин Гималаев река проходит где-то через породы, содержащие бактерицидный металл. Если вспомнить всевозможные коллизии со святой водой, которые имели место в России еще в этом столетии, то куда как понятна великая и фанатичная вера индийцев в чудотворную силу Ганги.

Все приемлет великая река: болезни и надежды, пепел погребальных костров и просто мертвые тела тех, кому каста, а кому карма, судьба, уготовили вечный приют в водной стихии.

Ныне, как известно, над священными городами Варанаси и Хардвар нависла смертельная угроза. Места массового паломничества могут стать гибельными в любой день и час. Воду Ганги, которая, по поверью, способствует продлению жизни, контролируют с помощью счетчика Гейгера—Мюллера, измеряющего уровень радиации. Тысячи людей из Непала, Шри Ланки, Индонезии, которые ежегодно собираются сюда на религиозные праздники Ганга-дашера и Кумба-парва, даже не подозревают, что им угрожает. Паломники совершают традиционный обряд омовения, пригоршнями утоляют жажду, наполняют про запас священной водой кувшины, бутылки и едва ли понимают, что делают стоящие рядом люди в белых халатах, озабоченно следящие за передвижением стрелки, регистрирующей число импульсов. Тревога ученых вполне обоснована. Воды Ганги в любой момент могут стать радиоактивными в результате разгерметизации контейнеров с ядерным веществом. Портативная ядерная установка была доставлена в альпинистских рюкзаках на ледники горы Нанда-Дэви, откуда берет свое начало Ганга. Осенью 1963 года группа «альпинистов», подготовленных на секретной базе Центрального разведывательного управления США, тайно смонтировала установку, предназначенную для регистрации атомных испытаний. Питание ее обеспечивали специальные элементы, содержащие радиоактивный плутоний. Подобные станции на горных вершинах Гималаев близ индийско-китайской границы начали создаваться еще тогда, когда Китай только приступил к атомным испытаниям. Общественность о них, само собой разумеется, не знала, и все было шито-крыто. Но в 1966 году в горах

произошли снежные обвалы, и установка, содержащая изотопы плутония²³⁸, исчезла. Поиски ни к чему не привели. Недавно это стало достоянием газет, и разразился грандиозный скандал. Как пишет «Вашингтон пост», «источники ЦРУ полностью подтвердили это печальное сообщение».

Печать многих стран отмечает, что, если не отыскать и не обезопасить утонувшие в снегах Гималаев плутониевые батареи, опасность нависнет над жизнью миллионов индийцев. Ганга знаменита не только ритуальными омовениями. Вместе с отводными каналами она орошает поля, раскинувшиеся на доброй половине речной долины, давшей жизнь древнейшей цивилизации нашей планеты.

...Лодка выплыла на середину. Полузатопленные тела глухо стукались о борта. И дым заволакивал левый берег, а на правом, зеленом таком берегу дежурили стаи черных грифов. Когда, ловко орудуя длинными шестами, неприкасаемые из погребального братства сгружали дымящиеся недожженные останки в воду, траурные птицы тяжело взмывали в небо.

— Отвратительный запах! — пожаловался лодочник. — Раньше лучше было. Не жалели ни дров, ни благовоний. Теперь все подорожало. Особенно дрова. Из-за энергетического кризиса приходится брать вдвое, а то и четверо меньше, чем необходимо. Чего же вы хотите?

Я ничего не хотел. И дал знак править к берегу. Теперь я знал, куда идут вязанки розовых, превосходно высушенных дров, что продаются на вес за воротами городских базаров.

В тот же день я встретился за традиционной чашкой чая с профессором Бенаресского хинду (университета) Свами Чоудхури.

— Почему бы вам не побывать в Институте теософии? — поинтересовался Чоудхури, после того как мы закончили разговор о взаимовлиянии культур Индии и Непала. — К его работе была причастна, кстати, ваша соотечественница Елена Блаватская. Ее дело, как известно, продолжила Анни Безант. Улица, на которой расположен институт, названа ее именем. Там же находится и знаменитая миссия Рамакришны.

— Предпочитаю знакомиться с проблемами йоги по санскритским источникам, — отшутился я. — Поэтому и позволил себе злоупотребить вашим гостеприимством. Теософские же наслоения меня просто не интересуют.

— Я слышал, что в Европе Блаватскую считают шарлатанкой?

— В известной мере, профессор. — Зная, что индуисты Варанаси к деятельности Рада-Бай относились благосклонно, я прибег к обтекаемой формулировке. — Во всяком случае, в ее книге «Загадочные племена на „Голубых горах“» встречаются серьезные этнографические наблюдения. В этом я убедился, когда прочел работу нашей советской исследовательницы Людмилы Шапошниковой «Тайна племени Голубых гор». Она побывала в тех же местах, что и Блаватская, и подробно изучила быт племени тогда, тесно общалась с колдунами курумба.

— Вот видите! — с торжеством заметил Чоудхури.

— Да, но Шапошникова не обнаружила и следов тех чудес, о которых писала Рада-Бай. И вообще, положила руку на сердце, много ли чудес видели лично вы, профессор, даже в чудеснейшем из городов — Варанаси? Фокусы факиров? Поразительную практику йогов? Хождение по раскаленным углям? Все это, бесспорно, весьма любопытно, порой до конца не разгадано наукой, но в основе своей вполне рационально. Не так ли? Танцы на раскаленных углях я, кстати сказать, видел в Болгарии. Там героями дня были отнюдь не йоги, а простые парни — лодочники и официанты из уютного ресторанчика «Морской дракон».

— Интересно, — оживился Чоудхури. — Это лишний раз доказывает гипотезу о единой праоснове культур Индии, Шумера и Балкан. И женщины в Болгарии тоже принимают участие в огненных плясках?

— Конечно. В народе их зовут нестинарками.

— Крайне любопытно. Беспокойная кровь жриц огня все еще дает о себе знать.

— Подобные танцы в обычае и на Шри Ланке. А в горах Чиентмая в Таиланде и на севере Вьетнама, где обитают племена мео, я видел одежды и орнаменты, поразительно напоминающие балканские. Вот уж действительно загадка, достойная самого пристального исследования. Что же касается чудес... — Я сделал выжидательную паузу.

— В этом смысле вы правы, — поспешил согласиться Чоудхури. — Примеров сверхъестественного я не встречал даже в Варанаси. — Он вежливо улынулся. —

Истинное чудо — это сама жизнь, гармония, что устанавливается между душами супругов, и таинственная нить, несущая вечное пламя из поколения в поколение.

Мы дошли до крайней границы согласия. Мой собеседник, как и многие индийские интеллигенты, стоял на позициях метампсихоза, и ничего с этим поделать было нельзя. Оставалось вновь повернуть разговор в этнографическое русло. Здесь мой ученый друг проявил все качества, присущие настоящему исследователю. В том числе и скептицизм. Даже к ведическим богам он относился лишь как к объекту для изучения, хотя беседа наша протекала в непосредственной близости от святилища Ханумана и большого храма Сатьянараяна Тулси Манас, откуда доносился рев труб, уханье барабанов и смутный ропот многотысячных толп. Для нас обоих эти звуки были эхом далекого прошлого. Лишь самая малость сближала Чоудхури с паломниками на Ганге и подвижниками, истязавшими свою плоть в храме Дурги. И была эта самая малость верой в переселение душ. Но каким ощутимым препятствием неожиданно оборачивалась она, когда беседа затрагивала главную тему любого исследования — мир и человек.

Пять лет спустя я посетил знаменитый «Вишваятан йогашрам» в Дели. Его главный администратор и директор центрального совета по исследованию йоги и натуропатии Свами Мануварьяджи принял меня во дворе, где шли занятия для начинающих.

— Йога завоевала мир в бескровной битве, — пошутил он. — В ней нет чудес, а лишь ежечасный упорный труд. Взгляните, как неловки на первых порах «новобранцы».

Люди вокруг фонтана и впрямь захлебывались и кашляли, промывая из длиннотгорлых сосудов носоглотку. Да и на площадке, где тренер показывал асаны, дела шли не совсем гладко. Щуплый подросток никак не мог сцепить руки над правой лопаткой, а пожилый, страдающий одышкой человек обливался потом, безуспешно пытаясь надлежащим образом сплести ноги.

— Научатся, — равнодушно изрек наставник (гуру) Свами, точно проследив мой взгляд. — Все они научатся и обретут исцеление.

— Исцеление?

— Да. Мы успешно лечим астму, некоторые виды артритов, радикулит, желудочные болезни.

— Рак?

— Чудес не бывает. Процент смертности от рака среди йогов такой же, как и для всех... То, что вы видите, не йога. — Гуру говорил тихо, приветливо, четко артикулируя английские слова. — Лишь у одного из миллиона скрыта искра божественного огня. Это и есть йога, чудесный лотос Индии.

Как и все профессиональные йоги, Свами Мануварьяджи выглядел, что называется, человеком без возраста. Ему можно было дать и пятьдесят и семьдесят лет. Временами он и вовсе казался мне столетним старцем, но глаза, жаркие и совсем молодые, сбивали с толку. Я вспомнил своего собеседника из Варанаси. Как и профессор Чоудхури, гуру Свами отрицал расхожее понятие о чуде, но сохранял в душе веру в некий редко встречающийся феномен. И, судя по всему, не только верил, но и твердо знал, что существуют вещи, неведомые для простых смертных.

— Существуют феномены, — он почти мгновенно ответил на невысказанный вопрос, — которые не поддаются научному исследованию. Вам не приходилось видеть йога высокой ступени в момент глубочайшего размышления?

Я знал, какие феномены он имеет в виду, и знал также, что они вполне поддаются научному исследованию. Тибетский лама третьей степени посвящения даже раскрыл мне технологию высочайшего йогического искусства, которое носит название самадхи.

Это было недалеко от непальского города Покхары, затерянного в предгорьях великой Аннапурны — дарительницы жизни, названной так в честь Парвати, супруги грозного Шивы, покровителя йогической практики.

На галечном берегу мутно-зеленой клокочущей Сети мы оставили наш безотказный «джип», чтобы подняться в горы, где в узкой выгнутой седловине приютилась деревушка тибетского племени кхампа. Зеленое небо горело предзакатным пронзительным светом, в котором сочнее видятся краски, рельефнее — предметы. В центре большого майсового поля белел монастырь. Ухмыляющийся череп с трезубцем на темени охранял уединенную обитель от духов зла. Мелодично позвякивало при каждом обороте трехметровое колесо с молитвами, его денно и ночно крутил слабоумный немой

калека с блаженной улыбкой на черном от загара лице. Вокруг, осененные тенью банановых опахал, были разбросаны каменные хижины. В подсыхающей луже плескались утята. Овцы на горном откосе пощипывали волокнистые корешки. Обитатели этого мирного поселка старались наладить свою жизнь так, чтобы она почти не отличалась от той, какую вели их деды и прадеды. Чисто внешне все и выглядело так же, как на их родине, за перевалами Трансгималаев. Резкая перемена была незаметна, но глубока и необратима...

На новом месте тибетские беженцы организовали кооператив, где все было общим — доходы и траты. Они построили школу и монастырь, чтобы молодежь училась на тибетском языке, соблюдала заветы предков. Организовали столовую, в которой всегда есть пельмени и пиво — рисовый чанг. Открыли сообща магазин, чтобы каждая семья могла обзавестись предметами первой необходимости. Деньги на территории кооператива не в ходу. Каждое утро молодые парни с рюкзаками за спиной спускаются в долину. Возле альпийских гостиниц прямо на траве они раскладывают свои сокровища. словно приоткрывается окошко в призрачный мир: вспыхивает чешуйчатая бирюза на серебряных гау с образками, переливаются на солнце коралловые перстни, один за другим появляются предметы, об истинном предназначении которых знают только старые ламы и ученые-тибетологи. Далеко за океан в чьи-то частные коллекции утекает тибетская старина — ножи для заклятия демонов, янтарная перевязь из черепов, бесценная чаша гаданий... В белом монастыре уже ничего похожего не осталось. Зато беспрерывно звонит колесо с молитвами и фрески на стенах по богатству и красоте почти не уступают амдосским. Своя система ценностей. Кажется, что важна не суть, а лишь форма.

— Мы сделали все, как на далекой родине, — объяснил настоятель Дуп-Римпоче. — Теперь у нас одна забота: закончить крышу.

Он жил и учился в знаменитом монастыре Лабран. Третью степень по медитации получил после того, как два года провел в темной пещере. Возможно, высшее искусство сосредоточения одарило его и приветливым этим спокойствием, и этой удивительно бесстрастной доброжелательностью. С безучастной просветленной улыбкой он рассказывал о крушении привычного мира, о бегстве из Тибета, разоренного бесчинствами «культурной революции».

— Мы все живем надеждой. Жить трудно. Но жить всегда трудно. Я думаю о вечном и мечтаю закончить крышу, — рассказывал он охотно и деловито, с какой-то сдержанной радостью, которая осталась для меня непонятной.

Я расспрашивал его о годах, проведенных в пещере. Ему было двадцать пять лет, когда, согнувшись, пролез он вслед за своим наставником в черную дыру. Неровные, сглаженные временем ступени вели в темноту. Наставник спускался легко и уверенно. Видно, ходил сюда часто, а может быть, просто умел видеть в темноте. Ученик же шел, цепляясь за шероховатые стены. Осторожно нащупывая ногой ступень и только потом так же осторожно ставил другую ногу. Этот узкий слепой лаз в монастырской стене вел внутрь горы. Ступеньки были разной высоты, и порой казалось, что под ногой пропасть.

Все же он одолел этот спуск и медленно пошел вдоль узкого коридора. Идти приходилось пригнув голову и на полусогнутых ногах. Внезапно в затхлый мрак подземелья просочилось дуновение свежего воздуха. Он шел навстречу холодной струе, напряженно вслушиваясь в могильную тишину. Больше всего ему хотелось сейчас услышать шаги наставника. Но тот словно сквозь землю провалился. На секунду он потерял всякий контроль над собой. Что-то сорвалось в сердце, и полетело, и понеслось, как валун по отвесному склону. Слепой ужас, подобно начавшейся лавине, обрастал лихорадочными подкреплениями смятенного ума. Смятение отхлынуло, когда впереди заколыхался ржавый огонек. Очевидно, наставник запалил какую-то плошку. На голой, источающей слезы стене зияли небольшие черные дыры, куда можно было просунуть только руку. Немые кельи тех, кто избрал для себя полный отход от мира.

Когда душа покидала кого-нибудь из этих святых, монахи-служители узнавали о том лишь по нетронутой чашке с едой. И то не сразу, потому что созерцатели зачастую не притрагиваются к пище много дней подряд.

Лаз, через который новый отшельник протиснулся в келью, замуровали, и для Дуп-Римпоче настала вечная ночь. С детских лет его учили тому, как отрешиться от всяческих проявлений трех миров буддийской вселенной: мира вожделений, мира прославленных форм и мира невещественного. Он оставил друзей, заставил себя поза-

быть близких, а наставник помог ему избежать козней шимнусов — дужов, опутывающих страстями отшельников, избравших дорогу праведной веры.

Приняв надлежащую асану, он устремил взгляд туда, где должен был находиться большой палец правой ноги. Увидев его внутренним зрением, молодой созерцатель представил себе, как с пальца сходит кожа, отваливается гниющее мясо и обнажается белая кость. Так, последовательно освобождаясь от плоти, он из надзвездных бездн мог различать каждую косточку своего скелета.

Прежде чем узреть свет, ему предстояло пройти сквозь тьму собственной смерти. Таков был смысл испытания, к которому его никто не понуждал. Обратив себя в мертвеца, Дуп-Римпоче начал превращать в скелеты все существа, населяющие вселенную. Он ясно видел, как под влиянием его всемогущей воли громоздитесь гора костей. Они трещали, лопались, обращались в пыль, но гора продолжала расти, захватывая все видимое пространство. И тогда вдруг взметнулось пламя, мгновенно пожравшее отвратительный холм смерти.

Дуп-Римпоче потерял сознание. Вернее, впал в нескончаемый кошмар, из которого невозможно было вырваться. Смятенное сердце рвалось от боли и ужаса, а проснуться, одолеть наваждение не удавалось. Нельзя было пошевелить ни рукой, ни ногой. Казалось, что оцепеневшее тело превращается в глыбу льда.

Из мрачной бездны вывел наставник. Объяснил созерцателю, что тот не вполне освободился от вожделений и привязанностей мира, и предписал новый ряд видений. И тогда фантастические чудовища заполнили темную келью, отвратительные демоны с гнистым дыханием и гнойно сочащимися очами, клыкастые ведьмы, гребенчатые драконы и змеи окружили несчастного узника с разных сторон.

Но опять взметнулось очистительное пламя, и Дуп-Римпоче впал в то же бессознательное состояние, когда человек ощущает себя бесконечно несчастным и ничего более не сознает.

После этого он проболев несколько дней, мечтая о смерти.

Но настала минута, когда созерцатель увидел яркую звезду, вышывавшую из самых недр его собственного полусасыпанного песком скелета. За ней тянулся шлейф из нестерпимо ярких шариков. Дуп-Римпоче начал считать их и насчитал ровно сорок. Это было, как учил наставник, верным признаком совершенного освобождения.

Потом из его лба выкатилась светлая жемчужина и, упав вниз, пронзила землю и другие оболочки мироздания — воду, ветер и жаркий огонь. В тот же миг тело созерцателя сделалось невесомым и прозрачным, как вода. Исчезли кости и вся внешняя видимость. Но это продолжалось недолго. Достигнув пятой стихии — пустоты и края вселенной, — жемчужина, подобно хвостатой комете, описала исполинскую дугу и, полыхнув несказанным светом, вошла в пупок созерцателя.

Это было зерно лотоса. Из него вырастали побеги, распускаясь чудесный бутон, открывая спрятанное сокровище.

Видеть будд созерцателя научил тот же наставник. Множество раз заставлял он Дуп-Римпоче воображать себе образ Будды во всем его величии и красоте. И в урочный час будды начали выходить из надбровной точки, откуда прежде выкатилась жемчужина. Их было бесчисленное множество, и они заполнили собой все миры, стихии и землю, ставшую золотой и прозрачной, как стекло. Таким же сверкающим и чистым сделалось и тело самого Дуп-Римпоче, когда в него один за другим возвращались будды. Переполненный неизъяснимым счастьем, он почти не нуждался в еде и лишь изредка прикладывался к чашке, где всегда находилась свежая родниковая вода.

Устремляя мысль в область сердца, созерцатель научился извлекать будд и оттуда. Один за другим выходили они наружу с сапфировой ваджрой (знаком молнии) в руках, чтобы вскоре вернуться обратно. Венцом всего был сапфировый лотос с золотой чашечкой, выросший из пупка. На нем покоился будда созерцания, и из его пупка тоже выходил лотос, на котором сидел новый будда. И не было конца этой гирлянде лотосов и будд.

Пятицветное сияние окружило чело созерцателя, сверкавшее ярче драгоценных камней. Он узрел облако, на котором парил Амиабха, владыка рая, из чьих уст вылетали цветы, сыпались благодатным дождем.

Когда же земля и небо совершенно скрылись за ароматной завесой лепестков, из пупка вышли львы и пожрали магические цветки. Уничтожив последний лотос, львы скрылись в пупке Амиабхи, а сам он вошел в голову созерцателя. Это было состоя-

ние, называемое «прыжок льва», — начальная ступень крутой лестницы созерцания, по которой Дуп-Римпоче предстояло спуститься в бездну нирваны...

Я понял, что видения стали для него единственной реальностью, а окружающее он воспринимает как легкое облачко, заслонившее ненадолго солнце. Яркое, но не греющее солнце вымышленного мира, обманчивый светоч нирваны.

Само слово «нирвана» дословно означает утасание, успокоение. И не случайно ее уподобляют огоньку светильника, который гаснет, когда выгорает масло. Все проявления личности исчезают с последним дымком фитиля, и нет уже ни чувственных ощущений, ни сознания. По сути, это обычная смерть, но смерть, после которой прекращается действие неумолимого закона кармы, когда человек раз и навсегда покидает земную юдоль, чтобы уже никогда и ни в каком облике не возродиться. Буддийское «спасение» означало не какую-то вечную и блаженную жизнь, а избавление от всякой жизни. «Умирать подобно высыхающему дереву», как учат японские созерцатели, умирать навсегда.

На прощание Дуп-Римпоче преподнес мне белый хадак — длинный шарф, без которого в Гималаях не обходится ни одна встреча. Выйдя проводить нас на плоскую крышу, он поднял руку с четками, испрашивая у неба благополучную дорогу гостям. Его алое одеяние резко выделялось на белой стене рядом с красной лестницей, ведущей на верхнюю, пока недостроенную крышу, осененную символом буддийского колеса. Замкнув в себе прошлое и настоящее, оно сверкало в лазури, прочерченной белым расплывающимся следом реактивного лайнера.

Вновь соприкоснуться с йогической практикой мне довелось уже в Бомбее, самом богатом и современном городе Индии.

Вблизи двухэтажного особняка, занимаемого прославленным институтом «Кайваладхам», уличный шум почти неощутим. Только журчание воды и шелест листьев. Типично английский лаун с аккуратно подстриженной травкой, водяная вертушка, мокро блестящие листья веерной пальмы и радуга.

Ропот струй и плеск пролитой на пол воды слышится и за порогом. Как и в де-лийском «Вишваятан йогашраме», десятки обнаженных до пояса мужчин, прикинув к водопроводным кранам, с натужным фырканьем и кашлем занимались здесь промыванием носоглотки. Без этого не может быть правильного дыхания, лежащего в основе упражнений.

После многократного всасывания воды через ноздри — поочередно левой и правой — следует упражнение нети. Оно заключается в том, что йог с помощью пропущенного через рот и нос шнура тщательно протирает носовые каналы, сохраняя при этом четкий ритм: вдох, выдох, задержка — постоянные, отмеренные ударами пульса интервалы. Нети устраняет препятствия для притока праны (жизненной энергии), которую несут влага, свет, воздух и плоды земли, питающие всякое живое существо.

После водных процедур практиканты проследовали в двухсветный тренировочный зал. Один за другим взбегали по лестнице босоногие юноши и поджарые седые джентльмены и ложились на коврики, хаотически разбросанные на теплом, ослепительно чистом паркете. Йоги высшей квалификации, как и положено, делали свои упражнения на шкурах зверей — барсов, леопардов и прочих пятнистых кошек. Залитое солнцем, пронизанное морским ветром помещение излучало бодрость и оптимизм.

Не вдаваясь в перечисление характерных поз, носящих названия животных и растений, скажу, что некоторые я увидел впервые. Их явно не было в обычных руководствах и самоучителях, получивших в последнее время повсеместное распространение. Воистину лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Самые обыкновенные на вид люди, застывшие в невероятных, немислимых позах, молча демонстрировали беспредельную гибкость тела. Впрочем, они не демонстрировали. Каждый, не обращая внимания на соседей и случайных посетителей, занимался своим делом. Мне просто дано было увидеть мимолетную будничную сценку, сделать как бы моментальный снимок, подстеречь рядовой этап долгого неведомого пути.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы уверовать в безграничные возможности человеческого организма.

Я не заметил никаких тренеров, контролеров. Одни приходили и опускались на коврики, другие, закончив упражнения, вставали и уходили. В тишине, изредка нарушаемой потрескиванием суставов, не было слышно комада. Ничей посторонний шепот не вклинивался в слитный фон ритмичных вдохов и выдохов. Соответствующие асаны,

видимо, были показаны и объяснены накануне. Изредка сверяясь с листком, люди отменяли выполненные упражнения и приступали к следующим. Деловито, просто, серьезно. У каждого было свое, индивидуальное задание.

Одни пришли в «Кайвалядхаму», чтобы научиться правильно дышать и обрести власть над собственным телом, другие уповали на нечто большее, третьих привела сюда болезнь, с которой не могли совладать врачи. Таких было большинство. По-видимому, пациенты — индийцы и живущие в Бомбее европейцы — хорошо знали, чего можно, а чего нельзя ждать от йоги. Неизлечимо больных, готовых уверовать в любое чудо, здесь не встретишь. А если и забредет случайно такой горемыка, ему деликатно посоветуют не рисковать. (Только заведомый шарлатан, вроде пресловутых филиппинских хирургов, «проникающих» в брюшную полость без скальпеля, способен пообещать загананному в тупик, хватающемуся за любую соломинку человеку полное исцеление от злокачественной опухоли или мозговой травмы.) Институтом йоги руководят люди ответственные, доброжелательные и деловые.

К специалистам по йогической лечебной гимнастике в основном обращаются страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей, всевозможными нервными расстройствами. И тут, по единодушному мнению врачей, йога действительно помогает. Это тем более очевидно, что эксперимент, если можно так сказать, ставится в чистом виде, ибо йога отрицает любые медикаменты.

Изоцренная до мелочей, отработанная в течение пяти тысяч лет система, по-видимому, обладает многими преимуществами по сравнению с обычной лечебной гимнастикой, физиотерапией и прочими как бы вновь открытыми европейской наукой средствами внешнего воздействия на организм. Не удивительно, что рекомендации йоги вдумчиво и кропотливо изучают в научно-исследовательских учреждениях всего мира. В том числе и у нас. Такие работы ведутся в Москве и Ленинграде, Киеве и Алма-Ате, Баку и Кисловодске. Широкую известность снискала снятая на Киевской студии научно-популярных фильмов лента «Индийские йоги, кто они?». Название выбрано очень точное.

В самом деле, кто? Можем ли мы считать йогом генерального директора фирмы «Субраманья и сын», которого я застал в позе павлина, исцеляющей от язвы желудка? Или художника-модерниста Рамучавана, который посредством многократного повторения позы посчитаната наладил себе кровообращение ног? По всей видимости, нет. Да они и сами не претендуют на сей высокий титул со столь расплывчатым статусом. Ни генеральный директор, у которого еще все впереди, ни художник, уже вернувший себе здоровье, но пожелавший продолжить изучение йоги.

Конечная цель (самадхи) их не волнует, образ жизни и, главное, работу менять они не собираются, хоть и вынуждены были следовать обязательным предписаниям руководителей: вегетарианская пища, посты, отказ от алкоголя, табака, чая и кофе. Не так просто, конечно, для современного человека, но чего не сделаешь ради здоровья. Художник, правда, мог бы вернуться к старым привычкам. За исключением сигарет (он ежедневно выкуривал по три пачки) ему теперь все можно. Но он уже втянулся в йогу и не желает ее бросать. Проще окончательно отказаться от ликера, как именуют здесь горячительные напитки. Альтернатива жесткая: либо — либо. Его уже и не тянет к сомнительным допингам цивилизации. За год без малого тренировки он стал совершенно другим человеком.

— Физически? — попытался уточнить я.

— Может быть, и морально, — ответил он. — Хоть я и не ставил себе цель стать йогом.

Кого же тогда считать настоящим йогом? Мультимиллионера махариши (йог высокой ступени) Махеша или Махараджа Джи, у которого после скандального брака с американкой родители пытаются оттягать роскошную виллу в Гималаях с вертолетной площадкой и лотосовым бассейном? Или скромнейшего человека глубочайших знаний и необыкновенного благородства по имени Вентакарман, которого величают тем же высоким званием махариши? Несмотря на резкие различия, все они йоги.

Великому сыну Индии Свами Вивекананде и его учителю йогу Рамакришне посвятил яркие, хоть и не свободные от преувеличений книги благодарный Ромен Роллан. В его глазах йог — это прежде всего гуманист, наделенный мудростью и личным обаянием. Но к йогам причисляют себя, наверное, и впавший в идиотизм столпник, которого я видел на Элефанте, и встреченный в Бомбее абсолютно голый человек с марлевой повязкой на губах, и мусульманский дервиш из сурового ордена суфи. Бродячие

фокусники и обвешанные змеями заклинатели, глотатели огня, и танцоры на раскаленных углях, и одичавшие, пожирающие, подобно гиенам, падали и замурованные в глухих подземельях отшельники равно именуются йогами. И брахманисты — толкователи вед, и буддийские ламы третьей степени посвящения, знающие наизусть сто восемь томов «Ганьчжура», тоже по всем показателям могут быть отнесены к этой удивительно неопределенной людской категории. Впрочем, только людской ли? Всех без исключения индуистских богов также, безусловно, следует причислить к йогам. Время от времени каждый из них приносит обет аскетизма и, удалившись в пустынь, принимается накапливать духовную силу, что внушает ревнивое беспокойство другим небожителям. Не только Шива, но и остальные боги часто изображаются в характерной йогической асане со сложенными одна над другой ладонями, передающими состояние медитации. Буддийский, и ламаистский в частности, пантеон возводит этот принцип почти в абсолют. Поза лотоса (падмасана) — основополагающая для будд, бодхисаттв и их земных воплощений. Оно и понятно. Ведь и сам Гаутама, основатель буддизма, ушел из собственного дома и стал отшельником, йогом.

Что же представляет собой это многочисленное и поразительно разномасштабное сообщество, чья история уходит в непроглядную тьму тысячелетий? Ведь печати с изображением медитирующего йога были обнаружены среди остатков доисторической хараппской цивилизации, процветавшей в долине Инда в III и II тысячелетиях до н. э.

В еженедельнике «Иллюстриред уикли» сообщалось, что в 1970 году в Индии насчитывалось 8 миллионов садху, то есть профессиональных бродячих йогов — шиваитов с горизонтальными белыми полосками на лбу, вишнуитов с желтыми вертикальными. Сами индийцы относятся к этому институту довольно скептически. Нередко можно услышать и слова резкого осуждения. «Шафрановые тоги садху, — писал известный публицист Чандли Сингх, — служат удобным одеянием для мошенников. Эти «святые нищие» бродят по стране и живут припеваючи, прикрываясь именем божьим».

Подобные высказывания представляют собой, однако, крайнюю точку зрения. Вполне справедливые в оценке большинства нищенствующей братии, они не учитывают ее элиты. А именно в ней, в немногих незаурядных людях, подчинивших фанатической вере тело и дух, и заключается корень проблемы. Как и тысячи лет назад, бредут они, палимые солнцем, по деревенским тропам, собирая вокруг себя толпы последователей, уверовавших в сверхъестественные способности пришедшего гуру (учителя) и, следовательно, в его высокую миссию. Люди, достаточно долго прожившие в Индии, равно как и многие европейски образованные индийцы, далеки от того, чтобы стричь всех садху под одну гребенку.

— Среди них безусловно есть и настоящие йоги, — сказал в беседе со мной известный физик, читающий курс лекций по квантовой механике в Бомбейском университете.

— Вы можете сформулировать точные критерии, отличающие настоящего йога? — спросил я.

— Увы, нет, — несколько принужденно рассмеялся он. — Явления, о которых идет речь, лежат пока за гранью индуктивных наук, хотя и не представляют собой, по моему глубокому убеждению, ничего сверхъестественного. Просто это очень тонкая материя, может быть, сверхслабые электромагнитные поля, уловить которые способен лишь мозг. Транс, понимаете ли, заразителен, чувствительные люди улавливают чужие видения и тянутся к ним. Это как эпидемия.

Обсуждая ту же тему, видный индолог У. Н. Браун выразился с большей определенностью:

«Средний индиец может, конечно, иметь сомнения насчет того или иного садху, появившегося на территории общины; но в то же время он чувствует, что у него нет надежного критерия, чтобы отличить честного искателя истины от обманщика. Поэтому он не хочет, не смеет подвергать себя опасности, оскорбляя человека, который, возможно, повелевает сверхъестественными и разрушительными силами. Таково воздействие ореола, окружающего аскетизм и практику йоги; мифы, связанные с ними, входят составной частью в мифологию, концентрирующуюся вокруг величественной фигуры Шивы».

Воздействие ореола... Оно ощущается далеко за пределами Индии. Что же говорить тогда о правоверных индуистах? Для них обет санниасина (уход из мира ради благочестивых размышлений о смысле жизни и молитв) — высшая добродетель. Издавна было принято, что отец семейства передавал хозяйство в руки взрослого сына и, порвав

всякую связь с семьей, уходил в леса или примыкал к какому-нибудь ашраму — сообществу йогов. Это считалось наиболее достойным завершением жизни. Недаром отшельник стал центральным персонажем легенд и эпических сказаний.

В «Махабхарате», в «Океане сказаний» чудесного поэта Сомадёвы немало эпизодов, где верховные боги буквально дрожат от страха, прослышав про какого-нибудь аскета, копящего духовную мощь. Что же это за сила, перед которой трепещут боги, в которую и по сей день веруют сотни миллионов людей?

Теории и практике йоги посвящены соответствующие разделы ранних упанишад («Чхандогья» и «Шветашватара»). Но прошло более пятисот лет, прежде чем Патанджали систематизировал отрывочные сведения и рецепты и изложил их в изящных и лаконичных афоризмах, получивших название йога-сутры. Комментарии к ней и комментарии к комментариям, как это бывает в подобных случаях, в тысячи раз превысили объем канонического текста. Если же добавить сюда небылицы, сочиненные в Америке и Европе, то рекорд скромных диалогов Платона, породивших потоп атлантологической литературы, будет далеко перекрыт. Подобное изобилие отнюдь не способствовало прояснению вопроса. Не существует не только строгого определения самого понятия «йога»¹, но нет даже единой точки зрения насчет общего количества ее разновидностей. «Бхагаватгита» называет одно число, средневековые авторы — другое, современные ученые — третье. Все зависит от принятой систематики и общей точки зрения на проблему в целом.

Обычно выделяют 5 последовательных степеней: 1) хатха-йога (собрание физических упражнений), 2) карма-йога (собрание действия), 3) бхакти-йога (собрание приверженности), 4) раджа-йога (собрание мысли) и 5) джняна-йога (собрание знания). Однако здесь выпадают такие разделы, как мантра-йога, содержащая в себе искусство магических заклинаний; янтра-йога, нацеленная на созерцание мистических диаграмм; лайя-йога, помогающая «выскочить» из-под контроля сознания; кундалини-йога, высвобождающая скрытую в человеческом организме энергию; шакти-йога, основанная на примате женской творческой энергии космоса; дхьяна-йога, указывающая путь к высшим пределам созерцания.

Мистические разделы йоги почти целиком перешли в ламаизм и широко практиковались в Тибете и сопредельных с ним Бутане, Сиккиме и Монголии. Китайская секта «чань» и японская «дзэн» возвели созерцание на высшую ступень божественного постижения.

Невзирая на множество внешних различий, основной и единственной целью индобрддуйской медитации является состояние самадхи. Широко распространенный парадокс «йога — это самадхи» попадает в самое яблочко.

8 космических начал, 8 триграмм, 8 ступеней на пути к нирване, 8 лепестков лотоса... У йоги тоже 8 последовательных стадий: самоограничение, чистота тела и духа, асаны, правильное дыхание (пранаяма), отключение сознания от органов чувств, сосредоточение, концентрация и полет в самадхи подобно выпущенной из лука стреле.

Мысленно я определил самадхи как добровольное безумие. Психиатры именуют его галлюцинацией, временным умопомрачением. Это очень близко к истине, но, к сожалению, не охватывает всех сторон безусловно необычного и яркого явления. В самадхи можно войти по своей воле и вернуться затем назад. Галлюцинацию удастся вызвать как бы по заказу, чему предшествует постепенное и дотошное, вплоть до мелочей, ее изучение. Это безумие, которому можно научиться. Для более строгого определения я не нахожу слов. Собственно, не существует точной характеристики и таких понятий, как абсолют, брахман, нирвана, то есть той вселенской сущности, с которой якобы слышается йог, достигший самадхи.

О том, что состояние это нельзя описать словесно, предупреждают все канонические сочинения. Пытаясь передать его как «не то и не это» или «сравниться с пустотой», йогические авторы достигают немногого. Вполне естественно, напрашивается мысль о том, что явление, которое никак нельзя передать словами, не существует как объективная реальность. Ромен Роллан в одном из примечаний к «Жизни Рамакришны» писал: «Бесполезно стремиться, как учат буддисты, к постепенному завоеванию Абсолюта, ибо всякое движение индивидуального разума равно нулю».

Итак, в момент слияния индивидуальный разум не существует. Когда же, отъеди-

¹ Слово «йога» образовано, по-видимому, от санскритского «йуг», что значит связываться, соединяться, образовывать союз. На современном сфингальском языке, например, «йо» означает соединение, практика, аскетизм.

ненный, он вновь обретает себя, то для него исчезает, становится нереальным достигнутой только что абсолютом. Устами Рамакришны Ромен Роллан дает объяснение: «Даже святой, пробуждающийся от Самадхи (экстаза) к обыденной жизни, принужден снова вернуться к оболочке своего «отдельного я», правда, смятенного и очищенного».

Получается замкнутый круг. Иллюзорность такой сугубо идеалистической системы для нас очевидна.

Готовясь к поездке в Гималаи, я прочитал интереснейшую книгу Александры Дэвид Нейл «Магия и мистерии в Тибете». Знаток санскрита и тибетского языка профессор Нейл несколько лет провела в Тибете, где была удостоена высшего посвящения. Раскрывая сущность медитации, она говорит, что была свидетельницей удивительных психических явлений, в которых, однако, нет и тени сверхъестественного. Именно путем систематической, веками отшлифованной психологической тренировки достигается «заранее намеченный результат». Речь, таким образом, идет именно об искусственном вызывании определенных видений, о добровольном безумии.

Чрезвычайно интересен и вывод, к которому приходит исследовательница: «Сведения, собираемые о подобной тренировке, дают ценнейший материал, достойный исключительно пристального внимания, несмотря на то, что сами упражнения... основаны на теориях, с которыми далеко не всегда можно согласиться».

Ныне можно сказать с уверенностью, что мозг человека, пребывающего в омуте погружения, находится в своеобразном гипнотическом состоянии (не в трансе!), когда кора угнетена, а подкорка, напротив, переживает повышенную активность. При этом контроль сознания полностью не исчезает. Человек как бы со стороны следит за своими яркими, охватывающими все его существо видениями, различая, однако, и окружающую его обстановку. Внешние воздействия (направленный в глаза свет, прикосновения, шумы) совершенно не сказываются на характере энцефалограммы. Мозг словно отражается от них как от досадных помех. С известной натяжкой это можно сравнить с захватывающим творческим взрывом, когда художник, забыв обо всем на свете, отдается во власть вдохновения. Он, разумеется, не порывает связи с действительностью, которая до срока лишь отступает для него куда-то на задний план. В столь глубоких переживаниях таятся необычайная притягательность. Их хочется ощущать вновь и вновь с той же первозданной остротой. Творчество — это всегда величайшее напряжение и упоительное ощущение высоты. Созданное художником произведение долго живет независимой от творца жизнью, даруя радость многим и многим.

«В те дни, когда мой отец брался за кисть, — писал прославленный пейзажист Го Си, живший в XI веке, — он непременно садился у светлого окна за чистый стол, зажигал благовония, брал тонкую кисть и превосходную тушь, мыл руки, чистил тушечницу. Словно встречал большого гостя. Дух его был спокоен, мысли сосредоточены. Потом начинал работать». Это было сосредоточение ради творчества. Его «технология» была подробно разработана задолго до чань-буддизма. Наблюдение природы как один из путей постижения цзин (сущности) или ли (главного принципа мироздания) тоже требовало от художника полной отдачи, глубокого погружения, экстаза. Но целью такого сосредоточения духовных сил, «содружества с объектом», было не самадхи, а действительное постижение мира методами искусства. При всем сходстве внешних условий разница безмерная, ибо диаметрально противоположна конечная цель.

Видения созерцателя, как бы ярки они ни были, сродни мыльным пузырям или галлюцинациям наркомана. Расплата за них одна — постепенный отход от реального мира. Не приходится сомневаться в том, что все разделы йоги устремлены к высшему пределу, за которым уже нет возврата к привычному человеческому бытию. Они смыкаются друг с другом, как реки в океане, в полном соответствии с доктриной абсолюта.

По-прежнему бродят по древним караванным дорогам гадалки, продавцы приворотного зелья, специалисты по общению с потусторонним миром. По-прежнему не грозит безработица составителям гороскопов и ведическим знахарям. Но все больше индийцев предпочитают лечиться в современных больницах и учить своих детей грамоте в современных, а не монастырских школах. Поэтому трудно не усмотреть горькой иронии в том, что магические культы, теряющие мало-помалу свое значение на исконной почве, обретают вторую причудливую жизнь за океаном.

...Автомобили шли сплошным потоком, и широкая, затененная небоскребами авеню туманилась в сизом мареве отработанного бензина. На разделительной полосе отцветали опаленные зноем розы. Низкорослые пальмы с коренастыми, словно оберну-

тыми войлоком стволами казались тусклыми от копоти и пыли. Билдинги ультрасовременных моделей, где даже лифтом управляет ЭВМ третьего поколения, слепили зеркальной чернотой, словно отлитые из вулканического стекла или изваянные из полированного базальта. От их непроницаемой глади, разделенной невесомыми прямоугольниками металлических ячеек, веяло космической отрешенностью. Грохочущая автострада напомнила затерянный в глубоком ущелье поток. И я хоть и меньше всего ожидал увидеть в самом сердце Манхэттана буддийскую пагоду, все-таки не очень поразился, услышав здесь голос Гималаев — звенящую музыку, рев труб и раковин, ритмичное уханье барабана. Я попросил остановить машину у ближайшего перекрестка. В сумеречной теснине улицы предстала хорошо знакомая по многим азиатским поездкам картина. Вокруг храма, прилепившегося у подножья очередной многоэтажной призмы, вершился торжественный обход. В облаках душистого жертвенного дыма мелькали шафранные тоги бритоголовых монахов. Воздев руки — левое плечо согласно канону оставалось обнаженным, — они распевали священные мантры, призывая охранительное божество снизойти с горных высей и вселиться в уготованный храм.

Девушки в ярких сари, пританцовывая на ходу, размахивали молитвенными флагами, поднимали свитки с изображениями небесных божеств и жуликоватых земных гуру. Упитанные, с хорошо развитой мускулатурой бритоголовые парни выглядели в подавляющем большинстве типичными англосаксами, да и девицы, несмотря на красную точку над бровями, меньше всего напоминали переселенок с Индостана.

Я решительно окунулся в сандаловый дым и примкнул к процессии, где, разговаривавшись с одним весьма словоохотливым «монахом», узнал, что собравшаяся на освящение храма толпа почти целиком состоит из студентов.

— Это у вас серьезно? — спросил я собеседника, старательно выкрикивавшего савскритские слова очистительной мантры.

— Естественно, сэр, — скороговоркой бросил он в кратком перерыве. — У новой американской религии миллионы последователей.

Он так и сказал: «новая американская религия». Ни больше ни меньше... Новым была в ней чудовищная эклектика, объединившая махаяну тибетского толка с вишнуизмом; американским — урбанистический антураж и сладкий запах бензиновой гари, явственно вылетававшийся в мистический аромат сандаловых курений.

Позже я посетил американский храм в честь ласкового индуистского бога Кришны и разговаривал с его адептами. Тоже бритоголовые, но с косичкой на темени на манер индокитайской секты «хоа-хао», они носили белоснежные одежды, символизирующие чистоту и святость гималайских вершин, или желтые, как у буддистов, тоги. Лиц с «ярко выраженным азиатским генотипом» (по выражению статьи в «Нью-Йорк таймс», посвященной бунту молодежи и «контркультуре») в миссии Кришны я тоже различил очень немного. Разве что седобородый гуру с волосами до плеч, похожий на старого капитана Немо из телефильма «Таинственный остров», был несомненным индийцем. Кастовый шнур подчеркивал его высокое брахманское происхождение, а в горящих глазах пряталась далекая от фанатизма снисходительная усмешка. Он охотно прощал окружавшим его ученикам невольные отступления от вед, одинаково священных для любой индуистской секты.

— В чем существо вашего учения? — спросил я. — Чем отличается оно от традиционного вишнуизма?

— Те, которые, устремив свой ум на Меня, всегда благозвучные, исполненные высшей веры, поклоняются Мне, эти — по Мысли Моей — наиболее совершенны в единении, — многозначительно отвечал он словами Кришны из «Бхагаватгиты».

Тибетский буддизм тоже обрел в Америке второе существование. Ныне в Скалистых горах строится монастырь по образцу знаменитых амдосских обителей, разоренных в ходе «культурной революции» и прочих маоистских акций. Но едва ли ту разрушенную на наших глазах цивилизацию удастся возродить на почве чужой далекой страны, хоть ее горы, как и все горы на свете, чем-то напоминают легендарный Тибет.

Однако тибетский религиозный опыт, который, по утверждению авторов журнала «Америка», «хорошо соответствует складу мышления американских интеллектуалов», привлек к себе многих видных представителей творческой интеллигенции из поколения битников, баловавшихся в молодые годы дзэн-буддизмом. Таких, например, как своеобразный и яркий поэт Аллен Гинзберг, певец Боб Дилан или недавние кумиры молодежи — битлы. Более строгий, а своих философских канонах, чем завоевавшие такую

популярность эклектичные индуистские культы, тибетский ламаизм завоевал пальму первенства и среди все возрастающей армии любителей созерцания. Технике йогической ламаистской медитации охотно обучают и в Колорадо, где находится основанный ламой Чогьямом Трунпой институт Наропа, и в Беркли (Калифорния) в институте Найингма...

В эпоху «креста и меча» жители покоренных земель насильно обращались колонизаторами в христианство. Европейские и американские миссии буквально наводнили Восток. Миссионеры с ухватками матерых разведчиков проникали в Японию, Бирму, Китай, в недоступные ранее долины Гималаев и свято оберегаемый от иноземцев Тибет. После захвата португальцами Гоа католицизм начал бурно распространяться по запаведным дебрям Индостана, пока не встретился с протестантской волной, идущей из Бомбея и Калькутты — главных форпостов британской короны. Казалось, зародившееся в Западной Азии христианство овладеет всем миром, который кроили и перекраивали колониальные державы. Но древние боги Индостана, успевшие завоевать чуть ли не всю Центральную и Восточную Азию, устояли. Ныне, кажется, наступил черед своего рода рекоңквисты. При полном отсутствии какого бы то ни было противодействия великие религии Востока индуизм и буддизм начинают завоевывать Запад.

Было бы ошибкой утверждать, что мистический лотос Востока был сознательно пересажен чьей-то дальновидной рукой на погрязший в бездуховности Запад. Корни наблюдаемого ныне феномена много глубже и разветвленное, чем может показаться при поверхностном взгляде. Этот феномен едва ли удастся понять без всестороннего исследования современного общественного сознания, без глубокого осмысления сокровенной сущности самих восточных вероучений. Иначе не избежать примитивных, а потому и неверных выводов. Ни тяготение к экзотике, ни извращения и капризы моды, ни даже целенаправленная деятельность пропагандистских служб были бы не в состоянии совершить столь внезапный и резкий поворот в духовной жизни промышленно развитых стран. Понадобилось совпадение самых разнордных пиков сейсмических волн современности — экономический спад, позорная война во Вьетнаме, постоянно растущие в обществе отчужденность и стресс, — чтобы случайно или осознанно зароненные семена дали такие всходы. Разумеется, далеко не последнюю роль сыграла тут непреходящая общечеловеческая прелесть древнебуддийских и индуистских легенд. Они пришлись как нельзя более кстати в раздираемом противоречиями капиталистическом мире, где основные моральные ценности претерпели чудовищную девальвацию, куда большую, чем денежные знаки, бывшие в глазах прошлых поколений эталоном незыблемости.

Разумеется, нельзя недооценивать и личный магнетизм некоторых современных проповедников. В толпе наводнивших Запад шарлатанов попадаются и незаурядные личности, прошедшие высокую школу гипноза. Кроме кришнаитов, буддистов-тантриков и последователей буддийской секты «дзэн», действуют секты «черных мусульман», почитающих персидского пророка Бахулла, и буддистов японского толка. Десятки тысяч поклонников снискал себе культ иранской разновидности йоги Мехер-баба, не меньшее число молодых людей ищут ответа на все жизненные вопросы в древнекитайской «Ицзин» («Книге перемен») или исповедуют сайентологию — эклектичное «религиозное постижение», ничего общего со словом «сайенс», то есть наука, не имеющее, разработанное неким Роном Хаббардом, бывшим капитаном дальнего плавания и автором второразрядной научной фантастики.

В известном смысле люди последней четверти XX века добровольно обратились к средневековым формам сознания. Миллионы американцев, пользуясь тем или иным методом, занимаются теперь самосозерцанием. Проведенное Институтом Гэллага обследование показывает, что «удивительно высокий процент американцев проявляет интерес к внутренней и духовной жизни, очевидно ища в ней убежища от проблем и напряжений повседневного быта». Основывающиеся на выборочных опросах данные свидетельствуют о том, что миллионы американцев — около 12 процентов опрошенных — занимаются расширяющей сознание тренировкой, используя различные методы, о существовании которых мало кто имел понятие еще несколько лет назад. В некоторых учреждениях и на предприятиях вместо перерыва на кофе проводятся «медитационные сеансы». Другие группы следуют учению дзэн-буддизма, занимаются психосинтезом и прочими формами созерцания. Это, по выражению одного из теоретиков движения, «психонавты», в атмосфере тишины и самоутрабления уносящиеся на край сознания.

Очевидно, «новая американская религия» просто не может обойтись без авансов в сторону современной науки, чьи подлинно революционные свершения тут же перетолковываются как новое подтверждение старых чудес. В статье «Образцы методов самопознания» Нед Райли не без иронии отзывается о напумевшем Арике, чья назойливая реклама не сходит со страниц печати: «Арика-институт можно сравнить со столом, уставленным различными яствами. Яства эти — самые различные методы расширения самосознания (от древнейших эзотерических учений Востока до современных методов психотерапии). И сервирует их боливийский мистик Оскар Ичасо, который считает подобную «трапезу» действительно новым подходом к самопознанию».

Основанный в 1971 году Арика-институт успел за короткий срок подготовить более двух тысяч инструкторов, точнее коммивояжеров, которые разнесли его сомнительную стряпню во все концы света. На сегодняшний день курс Арики (главная квартира находится в Нью-Йорке) прошли почти 30 тысяч человек. Ныне филиалы института открыты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Бостоне, Сан-Диего и на Гавайских островах, в Гонолулу.

«Каждый человек, — считает Ичасо, — по существу своему совершенен, бесстрашен и находится в любовном (разрядка моя.—Е. П.) единении с космосом». «Боливийский мистик» далек от оригинальности, беззастенчиво заимствуя «сексо-космические идеи» из трактатов шактистов и Каббалы. Туманно намекая, что учение Арики уходит корнями в суфизм, буддизм и даосизм, он самонадеянно обещает своим последователям гармонию с миром и полное освобождение от притворства и иллюзий. На самом же деле замороженные экзотикой люди не замечают, что бегут от страхов и тревог окружающего их мира в усыпляющую иллюзию. Вот взятые наугад объявления, которые регулярно публикуются на рекламных страницах нью-йоркской прессы: «Школа мистических наук: Каббала и астрология», «Центр Гурджиев: открытие жизненной игры. 50 долларов в день. Кредитные карточки принимаются», «Духовное паломничество в горы Джетскилл и отдых в монастыре дзен Дай Босатжу», «Встречи с чувственным йогом», «Позвольте открыть ваше сердце и освободить любовь, которая там спрятана»...

Характерны и заголовки рекламируемых книг: «Секс и йога», «Гороскопные позы для сексуальной любви», «По пути к перевоплощению», «Трансцендентальное размышление для деловых людей», «Духовно развиваться с помощью своего духовного мотора», «75 трансцендентальных рецептов, чтобы хорошо жить и питаться», «Тантра и ваш сексуальный опыт», «Нирвана доступна для всех»...

«Тантра», «нирвана», «фаллос»... Сокровенные понятия индо-буддийской метафизики были низведены для пропаганды откровенной порнографии.

Но это, как говорится, еще полбеды. Приобщение современного человека к сектантскому модерну чревато куда более страшными последствиями. Примером тому кошмарные события в секте «Народный храм», основанной «преподобным» Джимом Джонсом, полуфюрером-полупророком. Свыше 900 трупов нашли американские солдаты, прочесавшие сельву Гайаны, куда укрылись от сомнительных даров буржуазной цивилизации «тамплиеры» Джона. Специалисты спорят теперь о том, было ли коллективное самоубийство добровольным или сектанты выпили прохладительный напиток, «кул эйд», щедро замешанный на цианистом калии, под принуждением. Разве в этом суть? Тем страшнее, если люди, доведенные до безумия «белыми ночами» (так именовались генеральные репетиции коллективного самоубийства в концлагере Джона) и прочими мистическими радениями, покорно пошли на смерть.

Даже выдавшую виды американскую прессу трагедия в сельве ввергла в состояние шока. Неужели с людьми можно делать такое? Очевидно, можно. На то и существует веками взлелеянная в тени культуры изощренная система подавления духа и умерщвления плоти. Точнее, системы, ибо, кроме практики христианских орденов, унаследованной от Вавилона и Передней Азии, мир знает более изощренные методы борьбы с человеческим в человеке. Поэтому едва ли уместен снисходительный юмор, с которым (до событий в Гайане) уважаемые газеты подавали пикантные сенсации по части «новой американской религии». Для одних восточная мистика — цекачущая нервы игра, для других — прыжок в омут, откуда нет возврата.

Практику индийских ашрамов, где к трансцендентальному знанию добиваются, так сказать, усилием коллектива, успешно заимствует, разумеется чисто поверхностно, основатель «Тренировочных семинаров Эрхарда». В недалеком прошлом торговец подержанными автомобилями, Вернер Эрхард с присущей бизнесмену энергией и сно-

ровкой распродает ныне плоды «духовного просветления», которое пережил, по собственному признанию, в пиковой ситуации на скоростной автостраде. За последние пять лет через его семинары прошло свыше 100 тысяч человек, а доход за один только 1975 год достиг почти 10 миллионов долларов. Просветление, которое пережил «гуру» за баранкой на калифорнийском шоссе, принесло золотые плоды.

Подобные дивиденды и не снились, скажем, Гарви Дженкинсу — профсоюзному боссу и математику по образованию, который разработал доктрину, известную как «переоценка негативного опыта». Вполне благопристойная гештальттерапия, соединившая в себе принципы экзистенциализма с прагматическим положением о примате свободной воли, не в силах тягаться с ичасо и эрхардами. Сказывается перенасыщенность научной терминологией и отсутствие видимой восточной изюминки. А без нее дело не движется.

Даже ЭВМ, специально приспособленную для астрологических предсказаний, приходится программировать с учетом устоявшегося стереотипа. Без мантр и янтр тибетского манера не помогают уже испытанные веками экскурсии в Древний Вавилон, откуда вместе с верой в звезды — распределители судеб пришли 12 знаков зодиака и семидневная неделя. Ныне не довольствуются вавилонским зодиаком, а перепевают на все лады древнекитайскую систему с ее анималистским набором, цветами стихий и знаками пола. «Год Синего Зайца, год Красного Тигра, год Черной Лошади, — передается из уст в уста символ очередного года. — Красное платье, зеленое платье, синее...» И очень мало кто знает, что китайский лунный цикл не совпадает с нашим календарем, и выбранная для новогоднего застолья расцветка платья оказывается явно преждевременной.

Но это лишь милые пустяки, далекие отголоски подлинного бума, где не знаешь, чему более изумляться — чудовищному апломбу новоявленных пророков или их совершенно дремучему невежеству. Не верится, что люди могут клевать на такую приманку. Но, однако, они клюют. Особенно если непонятный древний символ сочетается со столь же непонятным современным прибором. Не мудрено поэтому, что в поисках новых путей самоутруждения все чаще начинают использоваться тончайшие электронные аппараты, способные регистрировать и усиливать едва уловимые электрические импульсы, сопутствующие нервным процессам и мышечным сокращениям.

Познавая сокровенную электрическую деятельность собственного организма, человек учится управлять протекающими в нем процессами. Это безусловно имеет не только большое познавательное, но и чисто практическое значение. С помощью усилия воли можно сознательно контролировать давление крови, сердечный ритм, мышечное напряжение и даже характер мозговых биотоков. Такие опыты были поставлены и дали весьма обнадеживающие результаты. Подобный метод «обратной связи» ныне широко применяется и в клиниках для лечения головных болей, сердечной аритмии, лицевого нерва и всевозможных фобий. И это положительный пример синтеза древнего интуитивного знания и современной науки.

Но спрос, как известно, определяет предложение. Таковы, по крайней мере, законы рынка. Действуют они и в том случае, когда товаром, и, надо сказать, ходким, становятся идеи.

Созерцание и самогипноз, которые отшельники и монахи веками практиковали в темных пещерах и уединенных кельях, требовали долгой подготовки. Расплатой за этот сомнительный дар служила, по сути, вся жизнь. Видения, которые рождал мозг голого, обмазанного кизячным пеплом садху, были оплачены ценой многолетнего подвижничества. Грезящий учился дыханию и сложной науке асан, где в зависимости от принятой, часто невероятной для европейца, позы менялась функция органов и отправления тела. Он прибегал к аскетической диете и всевозможным очищениям организма, многие из которых способны вызвать, опять же у постороннего, лишь дрожь отвращения и страха. Оборвав все человеческие связи, как семейные, так и чисто дружественные, он покидал мир, чтобы в строгом уединении научиться странному искусству грезить наяву, когда жизнь становится как сон, а сон неотличим от жизни. Цель — постижение божества, полное мистическое слияние с ним.

Разумеется, в наш трезвый век здравомыслящий человек не может позволить себе подобной роскоши. Не только на индустриальном Западе, но и на давным-давно пробудившемся к новой жизни Востоке, где неуклонно уменьшается число истинных подвижников беры, но в соответствии со спросом жадных до экзотики туристов растут

ряды шарлатанов. Тем не менее миф о том, что гималайские пещеры сплошь набиты отшельниками, продолжает существовать, равно как и вера в творимые ими чудеса.

То, что «медлительный Восток» устремился навстречу ожиданиям жаждущего поиграть в мистическую жуть Запада, не составляет секрета. Когда-то поездка за океан была для истинного брахмана равносильна потере касты. Пусть временной, на период командировки, но от этого не менее реальной и грозной, потому что потеря касты была много страшнее смерти. Ведь смерть считалась лишь переходом в иное существование и подводила итог всего одному из множества проблесков — в теле человека ли, животного или мерзкого гада. Коварство смерти крылось не в бесконечных метаморфозах духа, а лишь во внезапности, ибо кончина могла подстеречь человека в тот самый опасный момент, когда он оставил свою касту. Последствия этого ужасного акта сказывались на всех последующих перевоплощениях. Вот почему просто умереть зачастую казалось легче, чем утратить некое качество, которое представлялось божественным и предвечным.

Ныне дух просвещения, скорость межконтинентальных перелетов и успехи медицины подточили и эту далеко не последнюю догму.

Среди гуру наивысшей касты и высокого посвящения, пожелавших протянуть руку помощи страждущим заокеанским братьям, пребывающим в темноте невежества, оказался и «великий святой» — махариши Махеш Йоги, шестидесятилетний монах из Уттар-Каши. Монашеский сан не помешал ему отнестись к делу сугубо практично. Понимая, очевидно, что притягательность восточной экзотики, как всякая, хоть и затянувшаяся изрядно, мода, преходяща, он взял курс на среднестатистического делового европейца. Система Махеша Йоги не требует перестройки сложившегося образа жизни.

Ныне в США действует около 400 учебных центров, где по меньшей мере миллион американцев прошли четырехдневный курс «трансцендентального созерцания» и теперь ежедневно — двадцать минут перед завтраком и столько же перед ужином — принимают уставную позу. Судя по отзывам, подобное времяпрепровождение приносит не столько духовную, сколько чисто житейскую пользу: повышает оптимизм, снижает кровяное давление, улучшает сон. Короче говоря, наблюдается тот же эффект, что и в любой другой системе аутотренинга. Во всяком случае, снятие хотя бы части того постоянного напряжения, в котором пребывает житель большого индустриального города, вполне оправдывает вступительный взнос в сто двадцать пять долларов.

Почему же программа махариши все же носит завлекательное название трансцендентальной? Сообщая перед окончанием курса очередному неопиту «тайную», «индивидуальную», лично для него предназначенную мантру, наставник как бы приобщает его к секте посвященных. На самом же деле не имеющие для американских ушей никакого смысла сочетания звуков — все эти «ом», «хум» и тому подобное — играют ту же роль, что и «пароли» аутотренинга. В равной мере это относится к упражнениям йоги. Но, оказывается, достаточно даже нескольких магически звучащих слов вроде «йога» и «мантра», чтобы самое элементарное действие обрело вид таинства, а люди уверовали в чудо, хоть и было оно достигнуто их же собственными усилиями.

Анализ явно беспрецедентного реванша, который взяла гонимые еще недавно вероучения Востока на Западе, неизбежно приводит к выводу, что дело здесь и в кризисе устоявшихся представлений, в крахе привычных духовных ценностей. Традиционные церкви едва ли столь безропотно уступили бы место загадочным индуистским и буддийским богам, если бы по-прежнему ощущали былую силу и власть. К идеологическому вакууму, который срочно требовалось хоть чем-то заполнить, привело прежде всего неуклонное падение авторитета христианства. И это, видимо, главное. Иначе невозможно объяснить хотя бы такую ставшую чуть ли не системой практику, как участие в службе под кровлей методистской либо универсалистской церкви «спороков» с Востока. Еще недавно такое не могло прижиться и в страшном сне, ныне сплошь и рядом с христианских амвонов проповедают бритоголовые ламы или заросшие, до предела одичавшие садху. И это не только специфически американское явление. В Старом Свете, особенно в Англии, наблюдается точно такая же картина. Та же нью-йоркская миссия Кришны, основанная лишь в 1965 году бенгальским гуру Прабхупадой, имеет ныне свои представительства в 35 городах США, Канады и Англии, крупные центры индуизма существуют ныне в Японии, ФРГ и Скандинавии.

Я был свидетелем того, как процессия «кришнаитов» несколько часов блокировала Оксфорд-стрит в самом центре Лондона. Число английских последователей Кришны, а также махариши Махеша неуклонно возрастает.

Еще в 1967 году французские исследователи установили, что в стране энциклопедистов половина взрослых мужчин и две трети женщин интересуются предсказаниями астрологов. В 1973 году в стране насчитывалось около 4 тысяч ясновидящих, в том числе и тибетского толка.

Кстати, гадание по «Книге перемен» особой популярностью пользуется на Уолл-стрите. Мелкие биржевые маклеры и крупные финансисты, служащие солидных банков и всяческого рода посредники посвящают свои вечера знакомству с «образом жизни нео-тао» и толкованию триграмм.

Не знаю, какую связь можно уловить между фигурами «Ицзин» и цифровыми индексами Доу-Джонса, но любителям биржевых спекуляций не мешало бы знать, что символы, которым они доверяют судьбу своего состояния, навешаны черточками на стебле тысячелетника и панцире черепахи. Именно по ним гадали предсказатели в Китае времен Инь и Чжоу, когда хотели получить ответ на вопросы жизненной важности. Едва ли миллионы американцев, пожелавших приобрести «Ицзин», снабженную обширным предисловием известного фрейдиста К. Юнга, смогут докопаться до изначального происхождения таинственных триграмм и прочих загадочных фигур. Да это, видимо, и не очень нужно. Вера не обращается к логике, и успех ее воздействия вовсе не связан с доходчивостью. Скорее напротив. Несмотря на то, что многие гуру вещают на своем языке, не пользуясь услугами переводчиков, религиозный экстаз ничуть не ослабевает.

Наконец, еще один факт, о котором почему-то редко вспоминают исследователи «эгокультурного феномена». Дорогу восточным культам подготовили поколения оккультистов, теософов и прочих пловцов в «море непознаваемого», которых щедро плодила предшествовавшая историческая эпоха. Эпоха, которую устами своего Заратустры, ничего общего с древнеиранским пророком не имеющего, возвестил Фридрих Ницше: «Бог умер». Именно тогда теософы всех мастей помогли ему воскреснуть в иной, многоглавой и многорукой ипостаси индуистских кумиров.

Вначале, как и положено, была разработана основа, якобы уходящая корнями в непостижимую древность.

«Традиция или предание оккультизма восходит к самой далекой древности,— писал маэстик С. Тухолка в «Оккультизме и магии».— Она представляет тайны, которые раньше хранились египетскими жрецами и индийскими браминами... Предания оккультизма разделяются на две ветви: западную (египетского происхождения) и восточную, индийскую, донные культивируемую в Индии».

Создавалась чудовищная мешанина из восточной мифологии и самых темных суеверий европейского средневековья. Но именно на ней как на питательном бульоне взросло теософское древо начала нашего века.

Теософ Х. Фильдинг Холл писал тогда в книге «Внутренний свет»: «В чем же заключается тот великий и жизненный принцип, на который опираются все верования Востока? Что это за истина, так разнообразно выражающаяся, но все же единая и в Индуизме, и Шинтоизме, и Буддизме, и во многих других религиозных верованиях, и в философии Лаотзе и Конфуция? В чем состоит это понимание мира, одинаково приемлемое и принцем, и земледельцем, и философом, и рабочим, и солдатом, и заключенным в темнице; в чем заключается основное положение этой истины? Запад в своих исканиях ее пришел к заключению, что с «Востока идет свет»...»

«...«Посвящайте себя Учителю», говорит нам религиозное чувство,— вторил ему индийский партнер Брамман Чаттерджи («Сокровенная религиозная философия Индии». Калуга. 1914).— И если мы знаем истинную суть нашего Учителя, будет ли его имя Будда, Кришна или Иисус, мы знаем, к у д а Он нас ведет, ибо — Тожественный с Богом под всеми своими видами, Он может привести нас только к Е д и н о м у».

Некто Г. Арнольд в своей книжке «Тайны индийских факиров: полное практическое руководство для развития в себе сверхъестественных магических сил, при помощи которых можно производить поразительные явления» невольно приоткрыл социальную подоплеку явления:

«Более всего поразило Макса Сальса приветствие индуса, где в 20 словах три раза упоминалось имя бога и в такой форме, которая сейчас же обнаруживала глубокую веру и благочестие, так что Макс Сальс в своем безбожии почувствовал себя неловко...»

Современные писания провозвестников идущего с Востока мистического озарения как две капли воды похожи на сказки Елены Блаватской, Анни Безант и прочих

теософских исследователей. С одной лишь разницей: адрес пресловутых махатм (бесмертных наставников) указывается теперь несколько более точно. Не Индия вообще, страна атомной энергии и металлургических гигантов, открытая страна массового туризма, — а «отдаленные районы Индостана», «недоступные долины Гималаев», «сокровенные уголки Непала», Бутана и прочих загадочных королевств.

Именно туда на поиски последних святынь отправляются толпы паломников — любителей сильных ощущений, очарованных простаков, наркоманов и одураченных хиппи. О «таинственном Тибете», разоренном великодержавным своеволием китайцев, новоиспеченные буддисты, как правило, уже не вспоминают. Более того, писания некоторых левацки настроенных мистиков отчетливо попахивают маоистским душком. Особенно в той их части, где идут дебаты касательно «света с Востока». Так и слышится набивший оскомину рефрен: «Ветер с Востока одолеет ветер с Запада...»

Трудно отделаться от впечатления, что такое уже было, и не раз, на протяжении человеческой истории. Аналогии, конечно, не могут служить доказательством, но вспоминать время от времени прошлое, даже отдаленное, никогда не вредно.

В западной прессе все чаще проскальзывают многозначительные сопоставления современной действительности с агонией, парализовавшей Рим периода упадка. Тогда тоже не было недостатка в проповедниках, пришедших с восточных пределов. Отшатнувшись от олимпийцев, римское общество спешно принялось воздвигать алтари в честь иноземных богов. В тайных капищах приносились обильные жертвы на алтари Митры и Великой Матери, Озириса-Сераписа и сирийской богини, египетской Изиды, ведического Варуны, иранского Ахуромазды. Все это уже было во времена оны, как горько заметил Экклезиаст, — восторг перед экзотическими кумирами, проповедь аскетизма и презрения к миру.

Жан Ревиль в своем капитальном труде «Религия в Риме при Северах» писал по этому поводу:

«Для удовлетворения многосложных религиозных потребностей, волновавших римское общество III в., недостаточно было богов Греции и Рима, культа божественных Августов, толпы гениев, демонов и обоготворенных абстракций. Исчерпав тем самым весь жизненный сок своих собственных религиозных и философских принципов, развив во всех возможных направлениях свою собственную религиозную традицию, это общество, жаждавшее душевных волнений и верований, страстно предалось многочисленным восточным культам, последовательно укоренявшимся в столице».

Как поразительно похоже! Словно клинический диагноз одной и той же болезни. Недаром в «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббон с присущим ему бесстрашием замечает: «Различные культы... верующими рассматривались как равно истинные, философами — как равно ложные, а властями — как равно полезные».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ



СВЕТ ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ

«С Лениным, по ленинскому пути!» — так называлась Всесоюзная творческая конференция писателей и критиков, посвященная 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и состоявшаяся в сентябре 1979 года в поселке Шушенское Красноярского края. В конференции приняли участие более 120 писателей — представительный, многонациональный форум литераторов из многих городов, областей и республик Советского Союза, из ряда социалистических стран. Наряду с писателями на трибуну совещания поднимались передовики производства, ученые, старые большевики, партийные работники.

Эта конференция была важным звеном в общей системе нашей подготовки к празднованию замечательного юбилея. Для конференции явилось характерным сочетание теоретической, литературоведческой разработки проблем Ленинизма с рассмотрением актуальных вопросов многообразной практики коммунистического строительства, преобразования современной Сибири по ленинским заветам и предначертаниям.

Последовавшие за конференцией Дни литературы в Красноярском крае, раскинувшимся на огромных сибирских просторах, — встречи с читателями, с героями десятой пятилетки — послужили еще большему приобщению писателей к истокам народной жизни, помогли яснее увидеть многие ведущие закономерности развития нашего общества, дали писателям заряд для новых творческих свершений.

В этой статье автор, участник конференции, поделится некоторыми мыслями, вызванными поездкой в Шушенское, стремясь в духе конференции соединять в ходе своих размышлений взгляд на книги, привлекавшие общее внимание, с тем, что удалось увидеть и прочувствовать, с впечатлениями от живого общения с людьми — ге-

роями современной, преображаемой Сибири.

Шушенское! Притягательную силу этого знаменитого ныне музея-заповедника «Сибирская ссылка В. И. Ленина» ощущаешь на дальних подступах к поселку — в промышленном городе Абакане, представляющем собою один из уголков бурно развивающейся Сибири, в старинном и неизменно изменившемся теперь Минусинске, на дороге, бегущей среди хакасских холмов, по которой один за другим катят автобусы с туристами со всех краев страны, со всего мира.

И вот первое памятное место — Думная гора, откуда Ленин не раз любовался чудесным видом Енисея, отрогами Саян, неоглядными далями суровой и красивой земли.

Наша писательская группа подъехала к Думной горе под вечер. Быстро смеркалось. На вершине горы, откуда в ясную погоду на горизонте можно разглядеть Шушенское, нас ожидали пионеры, молодежь. Первый хлеб-соль от тружеников района, по сибирским понятиям среднего, по европейским масштабам большого, занимающего площадь примерно в половину территории Московской области. Первые слова сердечных приветствий около белого четырехгранного столба с поперечным темным квадратом, на котором надпись: «До Санкт-Петербурга 5924 версты».

Восемьдесят один день добирался Владимир Ильич до Шушенского восемьдесят лет назад. Мы же проделали этот путь по воздуху за несколько часов. Вот одна из множества впечатляющих подробностей этой поездки, предоставляющая нам всем возможность воочию ощутить стремительный бег времени и шаги сажени современной Сибири, идущей с именем Ленина по ленинскому пути.

«Ты просишь, Маняша, описать село Шу-шу-шу... Гм, гм! Да ведь я, кажись, однажды уже описывал его. Село большое, в несколько улиц, довольно грязных, пыльных — все как быть следует. Стоит в степи — садов и вообще растительности нет. Окружено село... навозом, который здесь на поля не вывозят, а бросают прямо за селом, так что для того, чтобы выйти из села, надо всегда почти пройти через некоторое количество навоза. У самого села речонка Шушь, теперь совсем обмелевшая. Верстах в 1—1½ от села (точнее, от меня: село длинное) Шушь впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков, так что к главному руслу Енисея подхода нет...»¹.

Так в июле 1897 года, вскоре после приезда в Шушенское, писал Владимир Ильич своей сестре. Жители Шушенского сами говорили тогда о родном селе: «Нет места глуше Шуши, дальше Шуши — Саяны, дальше Саян — край света».

На кривых и грязных улочках окраины Шушенского лепились покосившиеся хибарки бедноты. На 257 дворов в 1382 жителями — ни врача, ни фельдшера. Начальная школа с тремя десятками учеников не имела своего помещения, скиталась по избам. Грамотный человек в селе был редкостью. Четыре кабака, два шинка, одна церковь и один учитель.

Современное Шушенское — в лесах новостроек. Шестизэтажные дома образуют улицы и кварталы, и хотя селение именуется еще поселком, но вот-вот выйдет в ранг города. Особенно впечатляюще выглядят центр с массивным зданием сельскохозяйственного техникума имени В. И. Ленина и Н. К. Крупской, внушительными Домом культуры и Домом Советов, а также расположенным недалеко речным вокзалом, от которого отходят летящие по енисейской волне крылатые «ракеты».

В Шушенском есть и аэродром, пока для легких самолетов, но недалек тот час, когда здесь будут садиться реактивные лайнеры, совершающие прямые рейсы Москва — Шушенское. Ведь только в 1978 году Шушенское посетили 232 тысячи туристов, среди них две тысячи иностранцев.

Ленинский мемориал занимает площадь в 6,6 гектара. Как обширный музей под открытым небом, он находится в центре поселка. Восстановлен облик села конца XIX века. Каждый дом здесь, каждая

вещь — экспонат. Впервые в СССР создан такой комплекс — историко-революционный, историко-бытовой и архитектурно-этнографический музей-заповедник.

«На половицы бережно ступая, по домику я тихо прохожу. Стоит в нем тишина святая, я ею, как бессмертием, дышу». Так выразил Степан Щипачев то чувство трепетного благоговения, которое охватывает на «главной улице» поселка. В начале ее находится первая квартира В. И. Ленина в доме крестьянина Зырянова. Большой бревенчатый дом с тесовой четырехскатной крышей и пятью окнами по фасаду. Кухней с двумя комнатами пользовался хозяин, а небольшую комнату, около 14 квадратных метров, он отдал ссыльному Ульянову.

Волнует простота обстановки: прямо против двери крестьянский стол, покрытый белой домотканой скатертью, за ним работал Владимир Ильич. На столе лежат газеты «Русские ведомости», «Сын отечества» за 1897 год, а также листки письма к родным. У правой от входа стены — книжная полка, на ней сочинения по экономике и статистике, тома толстых журналов «Русская мысль», «Русское обозрение» и книги Толстого, Некрасова, Тургенева, Чернышевского, Добролюбова.

Именно здесь, в доме Зырянова, и в дневные часы и поздно вечером при свете керосиновой лампы с зеленым абажуром работал Владимир Ильич над книгой «Развитие капитализма в России». Здесь им были написаны многие статьи, обобщившие опыт петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», обоснована политическая программа социал-демократии, необходимость создания революционной партии пролетариата.

С таким же волнением переступаешь и порог второй квартиры Ленина, в доме крестьянки Прасковьи Олимпьевны Петровой. Муж Петровой вел доходную торговлю зерном, позволившую ему иметь большой, городского типа дом с высокими окнами и двумя входами, с крыльцом, обрамленным деревянными колоннами. Во дворе, справа от ворот, особенно летом и осенью, обращает на себя внимание зеленая беседка из прутьев, обвитая хмелем. Это копия беседки, в которой Владимир Ильич и Надежда Константиновна любили работать и отдыхать.

Особый интерес, естественно, вызывает рабочая комната Ульяновых. В углу деревянная конторка, основанием которой был письменный стол. На конторке лампа с зеленым абажуром, рядом книжные полки.

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 47.

В. И. Ленин жил здесь под гласным надзором полиции (надзиратель мог в любое время войти и посмотреть, что делает ссыльный Ульянов). Постоянные обыски и дознания, мелочный полицейский контроль — такова была горькая и унижительная доля ссыльного. Ленин отвечал на это мужеством самообладания, стойкостью духа и ежедневным подвигом своей громадной творческой деятельности.

Есть одна особенность восприятия уже написанных книг о Шушенском, входящих в нашу Лениниану, когда о них думаешь здесь, на сибирской земле, в окружении наглядных и точных примет «среды обитания», своего рода житейской плоти событий и фактов. Эта особенность, я бы сказал, — укрупненное видение коренной сути явлений, углубленное постижение невыдуманных реалий жизни, которые во многом обретают значение символическое...

Зоя Воскресенская назвала свою повесть «Надежда». Надя Крупская и ее подруги окончили гимназию. Не прошло и месяца, как царь казнил группу молодых революционеров, и среди них Александра Ульянова. Но молодость немыслима без надежды. В повести Зои Воскресенской Надежда не только имя героини, не только своеобразный пароль юности. Надежда — это и пароль революции, которая вечно молода, она устремлена вперед, в завтрашний день.

Об удивительной силе партийного товарищества, которое связало соратников по борьбе в сибирской ссылке, об огромной организаторской деятельности Владимира Ильича в этих тяжелых условиях здесь думаешь постоянно, остро ощущаешь все это не только в Шушенском, но и в таежном селе Ермаковском, к которому, быть может, еще больше, чем к Шушенскому, относится ленинское определение юга Минусинского округа как «Сибирской Италии»².

«На горизонте — Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на них едва ли когда-либо стает. Значит, и по части художественности кое-что есть, и я недаром сочинял еще в Красноярске стихи: «В Шуше, у подножия Саян...», но «дальше первого стиха ничего, к сожалению, не сочинил!» — писал Ленин М. А. и М. И. Ульяновым³.

Если от Шушенского Саяны видны только на горизонте, то от Ермаковского, цент-

ра самого южного района Красноярского края, они в десяти километрах, совсем близко, хотя село лежит еще на равнине, покрытой прекрасными садами и рощами.

Ермаковское видело Ленина. Он приезжал сюда для обсуждения документа, вошедшего в историю под названием «Протест российских социал-демократов» и сыгравшего важную роль в борьбе против «экономизма», за создание революционной рабочей партии в России. Обсуждение этого документа происходило в августе 1899 года сначала на квартире П. Н. и О. Б. Лепешинских, затем само подписание состоялось в доме ссыльного Анатолия Александровича Ванеева, прикованного болезнью к постели.

И дом, где жили Ванеевы, и дом, в котором жили Лепешинские, и памятник А. А. Ванееву на кладбище в Ермаковском, заказанный Владимиром Ильичем, — все это ныне глубоко почитаемые и широко посещаемые туристами места, ибо, побывав в Шушенском, гости этого края обязательно едут и в ермаковский филиал музея-заповедника.

«Ермаковское — село историческое», — прочитал я большой транспарант при въезде в районный центр. А в изданном здесь для гостей специальным путеводителе сказано: «Товарищ! Ты держишь в руках путеводитель по ленинским местам села Ермаковского. Посети их. Ты унесешь в своем сердце частицу истории борьбы русской социал-демократии во главе с великим Лениным за счастье народа!» Сколько в этих словах благородной взволнованности и законной гордости ермаковцев за историческое прошлое своего села и за сегодняшние трудовые будни, достойные этого прошлого.

События лета 1899 года в селе Ермаковском привлекали и продолжают привлекать внимание писателей, справедливо усматривающих в разворачивании этих событий ярчайшее выражение ленинской заботы о теоретическом оснащении партии и в то же время о товарищах, которых Владимир Ильич в трудные годы и поддерживал и окрылял своим дружеским словом, теплом своего участия в будничных житейских делах.

В Ермаковское Ленин приехал не только потому, что здесь находилась тогда самая большая колония политических ссыльных, но еще и затем, чтобы дать возможность участвовать в обсуждении «Протеста...» Анатолию Ванееву, чье мнение, чью преданность революционному делу высоко ценил.

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 31.

³ Там же, стр. 35.

Посмотрите многочисленные письма Ленина шушенского периода родным — и вы увидите в них две главные заботы Владимира Ильича: о присылке книг и материалов для своей теоретической работы и о здоровье, самочувствии, душевном настроении своих товарищей по партии и ссылке.

В одном из старинных домов села Шушенского, на той самой улице, где находилось когда-то волостное управление (туда Ленин ходил отмечать каждый день, видя сзади управления острог на 30 человек — мрачное, обнесенное деревянным частоколом строение), размещена ныне музейная экспозиция, относящаяся уже ко времени подготовки Октябрьской революции и к первым годам советской власти. Здесь посетители могут прослушать граммофонную запись речи Ленина «Что такое Советская власть», произнесенной в марте 1919 года. Необычайно волнующе звучит в этой избе родной голос Ильича, произносящего знаменитые слова:

«Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации Советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Но зато она дает возможность... подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством.

Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому — верный и потому — непобедимый»⁴.

В повести Эм. Казакевича «Синяя тетрадь» есть впечатляющие страницы, рассказывающие о том, как Ленин летом 1917 года, скрываясь от царских ищек в шалаше, работал над книгой «Государство и революция». После разгрома июльской мирной демонстрации Временное правительство издало указ об аресте В. И. Ленина. Партия, перейдя на нелегальное положение, укрывала своего вождя в глубоком подполье. Однако и там, так же как и в сибирской ссылке, Ленин занят огромной теоретической работой, с июля по октябрь 1917 года им написано свыше 60 брошюр, статей, писем, завершена книга, определившая пути строительства социалистического государства после победоносной пролетарской революции.

Шалаш в сосновом бору на озере Перово, где Ленин в годы сибирской ссылки

любил размышлять и отдыхать, и внешне похож и невольно ассоциируется в нашем сознании с шалашом на озере вблизи Сестрорецка.

А слова Ленина о революции, о советской власти, звучащие с пластинки, и самая эта духоподъемная радость от соприкосновения с ленинским Шушенским, которую испытали все, естественно, обращали нас, участников конференции, к живым и насущным делам и заботам сегодняшнего дня, к осмыслению художественного опыта Ленинианы.

За день до начала Всесоюзной творческой конференции мне довелось побывать в совхозе «Новополтавский» Ермаковского района. Село Новополтавка — это как бы уголок Украины на сибирской земле, здесь всюду слышна певучая украинская речь, окрашенная типично сибирскими речениями и интонациями. В эти благодатные края, по климату своему напоминающие юг России, в давние времена переселились украинцы, прижились и укоренились. Ныне здесь процветает экономически сильный совхоз. Красивое село утопает в больших фруктовых садах, здесь растет почти все, что и на Украине, даже арбузы свои, сибирские.

Однако не одними производственными успехами широко известно это село. В годы войны сотни новополтавцев ушли на фронт, сражались начиная с сорок первого, когда сибирские дивизии вместе с другими частями заслонили собой Москву. Многие остались на полях сражений. 95 однополчан-новополтавцев сложили свои головы за победу. Об этом постоянно напоминает всем стоящий рядом с клубом обелиск, воздвигнутый в память о павших воинах. На гранях обелиска поименный список тех, кто ушел защищать родину и не вернулся.

Позади обелиска шумят молодые липы и клены, и мы, группа писателей, были удостоены чести посадить новые деревья в святом для сельчан месте — парке памяти о героях войны. Рядом со мной сажал клен один из ныне здравствующих участников войны, управляющий фермой в совхозе Николай Федорович Магда, человек здесь широко известный и очень уважаемый. Седоголовый, коренастый, физически еще очень крепкий и энергичный, Николай Федорович оказался бывшим солдатом знаменитой 150-й стрелковой дивизии, которая в апреле сорок пятого в Берлине штурмовала рейхстаг.

Я принимал участие в Берлинской битве

⁴ Там же, т. 38, стр. 239.

как военный корреспондент Всесоюзного радио, бывал и в 150-й, знал многих ее прославившихся воинов, тем более мне была приятна встреча через тридцать пять лет здесь, во глубине Сибири, с ветераном дивизии, человеком в полном здравии и силе, жизнерадостным, грудь которого укрывают и боевые и заслуженные на мирном трудовом поприще ордена.

Видно, крепка солдатская косточка! И об этом думаешь с радостью, ощущая на примере Николая Федоровича, как велик в селе нравственный престиж и мера народного уважения к людям, сумевшим подвиг ратный дополнить многолетним честным исполнением своего трудового долга перед родиной.

Владимир Ильич Ленин и большевики воспитывали в народе, если воспользоваться выражением Герцена, «новый крах людей», которые способны на великое самопожертвование во имя счастья народа.

Тема героической нравственности, столь успешно разрабатываемая в нашей литературе, и в особенности в литературе о Великой Отечественной войне, имеет своим истоком ленинские идеи и заветы. Как тут не вспомнить героев военных книг Василия Быкова или Юрия Бондарева, Константина Симонова, Александра Чаковского или Михаила Алексева, героев непоколебимо стойких, самоотверженных, в которых всегда находила свое высшее нравственное проявление духовная сущность современного советского человека.

И прав был докладчик Вадим Баранов, когда заметил, что есть «нечто символическое в том, что совершившая изумительный подвиг мужества и самоотречения единственная в годы второй мировой войны женщина-политкомиссар, о которой рассказал Даниил Гранин в своей повести «Клавдия Вилор», носила фамилию, которая расшифровывается так: Владимир Ильич Ленин Организатор Революции. Женщина-политкомиссар оправдала ее полнокровие в самых суровых испытаниях».

Конференция, открывшаяся вступительным словом Бориса Полевого, проходила в атмосфере торжественной приподнятости, я бы сказал еще — в атмосфере деловой праздничности, ибо сразу же соединила высокий эмоциональный настрой с серьезностью и глубиной обсуждаемых проблем.

Почти физически ощутимая грандиозность пуги, проделанного нашей партией и страной, придавала конференции не только торжественность, но и деловой, масштабно-конструктивный характер в обсуждении ленинской темы в литературе. А

многонациональный состав конференции, участие в ней писателей из 7 социалистических стран позволили с особой, яркой наглядностью проявиться пафосу ленинского интернационализма.

Хороший тон задал докладчик. В его историческом обзоре достижений советской Ленинианы и нерешенных еще проблем мне хочется выделить несколько, на мой взгляд, важных и конструктивных мыслей.

Шушенский период деятельности В. И. Ленина занимает в нашей Лениниане достойное место. Писатели немало сделали для того, чтобы осмыслить и отразить все, что было создано Владимиром Ильичем в годы сибирской ссылки. И здесь надо прежде всего вспомнить работу сибиряка Афанасия Коптелова с его трилогией «Большой зачин», «Возгорится пламя» и «Точка опоры», составляющей полнокровное эпическое повествование о жизни В. И. Ленина, которое целиком охватывает и шушенский период.

Скрупулезно изучив материалы, документы и факты, относящиеся к пребыванию Ленина в Сибири, Афанасий Коптелов проделал, несомненно, большую работу исследователя, продиктованную потребностью шаг за шагом, эпизод за эпизодом проследить подробности деятельности Владимира Ильича и в Минусинске, Шушенском, Ермаковском, Красноярске.

Романы Коптелова отличает достоверное знание сибирского быта, умение автора красочно воспроизвести своеобразие здешней природы, та коренная сибирская закваска, которую нельзя приобрести в кратковременной командировке или путем опроса свидетелей и очевидцев. Отсюда и то, что можно назвать кровным, сыновним отношением писателя к Сибири. Отсюда и ощущение неповторимой сибирской атмосферы, которой в романе «Возгорится пламя» пронизано все: и детали быта тех лет, и судьбы крестьян, и сцены охоты и отдыха Ленина. Фигура Ленина, если можно так выразиться, плотно вписана в Сибирь, и вместе с тем писатель стремится показать молодого Ленина во всей его широкой общественной активности политического деятеля, ученого, философа. Недавно Афанасий Коптелов был удостоен за свои романы о В. И. Ленине Государственной премии СССР.

Шушенскому периоду посвящены рассказы и повести о действительно «удивительном годе» (если воспользоваться названием повести Марии Прилежаевой) — 1899-м, о событиях в селах Шушенском и Ермаков-

ском, о которых в разных книгах для взрослого и детского читателя рассказали также и Зоя Воскресенская, и Виктор Тельцугов, и С. Ф. Антонов.

Образы Ленина и Крупской, их соратников по ссылке даются в повести М. Прилежаевой как бы через восприятие молодого рабочего паренька Прохора, печатника из петербургской типографии Лейферта. Прохор знаком с семьей Ульяновых и встречается с Лениным в красноярской ссылке.

Есть элемент случайности в том, что Прохор, которого пытались увлечь в свои сети «экономисты», был захвачен полицией с листовками. Но непреложна закономерность сближения молодого русского рабочего с Лениным, с ленинскими идеями революционной борьбы русского пролетариата, которые Прохор воспринимает всем сознанием, всем сердцем.

Образ Прохора удался М. Прилежаевой, многие страницы повести, особенно посвященные Ваневу, овеяны любовью писательницы к своим героям, оставляют ощущение естественности и простоты.

Мне думается, что на примере этой повести, да и многих других книг об интеллигентных рабочих, которые и в ту эпоху и в наши дни составляют авангард своего класса, мы можем видеть, как классовая сущность и мораль людей рабочего класса, их политические и нравственные черты, оказывая решительное влияние на развитие всей жизни, постепенно становятся достоянием и всего советского народа.

И поэтому нельзя не согласиться с мыслью докладчика о том, что при оценке Ленинианы последних лет нам необходимо учитывать общее состояние и генеральную нацеленность литературного процесса в целом. А следовательно, всегда помнить об опыте писателей, разрабатывающих внутренние родственные Лениниане темы, в первую очередь Отечественной войны, трудовых свершений рабочего класса, помнить об уровне реальных достижений и их раскрытии.

«Новые фундаментальные произведения о Ленине, которых мы ждем, смогут появиться только тогда, когда будут отброшены всякие скидки на важность темы, еще бытующие порою в работе иных критиков и издателей, а в качестве ориентира выступают высшие достижения литературы» — таково было мнение докладчика и участников конференции.

О Ленине нельзя писать скучно, маловыразительно. Ленинская тема в самом своем существе заключает представле-

ние о высоком качестве, о максимальной взыскательности и ответственности художника слова. Естественно, что эти требования распространяются на всю литературу. Изображая нашу действительность или обращаясь к недавнему прошлому, писатели в конечном счете повествуют о ленинском пути, которым идет наша страна.

Высшие достижения Ленинианы связаны прежде всего с нашим движением вперед по компасу бессмертного учения Ленина. Они были бы невозможны вне атмосферы ленинского интернационализма, без постоянной опоры на творческую инициативу масс, вне понимания высокой личной нравственной ответственности коммуниста за все, что происходит в жизни, в стране.

К высшим достижениям Ленинианы наших дней относятся получившие наибольшую известность книги старейшей советской писательницы М. Шагинян, драматургическая трилогия Н. Погодина и произведения участника конференции В. Катаева.

Валентин Петрович Катаев был знаком с Н. К. Крупской, и его речь на конференции, во многом основанная на личных воспоминаниях, о роли Ленина в организации культурной и литературной жизни начала 20-х годов произвела на всех большое впечатление. С трибуны звучал голос свидетеля и участника важнейших событий, одного из зачинателей советской литературы, выдающегося ее мастера.

Повесть В. Катаева «Маленькая железная дверь в стене» построена на лирико-ассоциативной основе и с большой пластической выразительностью воссоздает картины работы и жизни Ленина в Париже, Лонжюмо, Сорренто, у Горького на Капри.

Рисуя образ Ленина, воспроизводя ритм его рабочего дня, его привычки и пристрастия, писатель опирается не только на мемуарные свидетельства и подробности быта тех лет, но и на свое художническое видение характера живого Ленина. Прслеживая ход ленинских размышлений, Катаев нередко прибегает к форме предположения, что, на мой взгляд, сообщает повесть особую деликатность интонации, тонкий лиризм и в конечном счете силу впечатляющей убедительности.

Лирический герой повести В. Катаева, как и лирический герой книги М. Шагинян «Четыре урока у Ленина», воспринимается как наш современник, для которого Ленин — высший нравственный авторитет. Лирический герой В. Катаева и М. Шагинян нам интересен еще и тем, что он сам участвует в развитии, укреплении ленинского

дела, в осуществлении всего того, что было намечено гениальным вождем.

В поэтической структуре повести В. Катаева, как отмечал и докладчик, особое значение имеет образ Парижской коммуны. Отправляясь на велосипеде в парижскую библиотеку, Ленин в то же время совершает мысленное путешествие на четыре десятилетия назад, в 1871 год. Взрывы на баррикадах Парижской коммуны как бы сливаются с ружейными выстрелами на баррикадах Красной Пресни.

Слушая Катаева в Шушенском, я подумал и о том, что теперь сам автор повести получил возможность перенестись на восемьдесят лет вперед, увидеть сегодняшнее Шушенское, сопоставив его с тем, в котором жил и работал Ленин.

Валентин Петрович говорил нам о том, какое сильнейшее впечатление произвело на него мужество Ленина и его соратников и что только здесь, увидев эти беспредельные сибирские просторы, он, Катаев, представил себе те усилия, ту организаторскую энергию, какие были затрачены Лениным при составлении «Протеста российских социал-демократов», еще глубже понял Ленина как человека, сочетавшего в себе непреклонную целеустремленность с трогательной нежностью к своим товарищам по борьбе.

Значение основополагающих ленинских идей для нашей современной литературы, подчеркнутое в докладе, стало предметом многих писательских выступлений на конференции. Верна и важна, на мой взгляд, мысль В. Баранова и о том, что в ряде произведений последних лет собственно Лениниана, расширяясь и углубляясь, воздействует на историко-революционные произведения. И тут надо назвать такие значительные книги, как «Сибирь» Г. Маркова, «Комиссия» С. Залыгина, «А ты гори, звезда» С. Сартакова.

Наряду с этим художественный опыт Ленинианы прочно и органически связан с литературой современной тематики, с изображением действительности наших дней. Гигантское здание советской государственности основывается на том фундаменте, который заложил Ленин. Ленинские мысли о развитии народной инициативы, рассматриваемой в качестве одной из главных движущих сил общества, и поныне помогают писателям осмысливать нашу действительность, глубоко изучать ведущие тенденции времени.

Владимир Ильич писал:

«Строить новую дисциплину труда, строить новые формы общественной связи меж-

ду людьми, строить новые формы и приемы привлечения людей к труду, это — работа многих лет и десятилетий.

Это — благодарнейшая и благороднейшая работа.

Счастье наше, что, низвергнув буржуазию и подавив ее сопротивление, мы могли завоевать себе почву, на которой такая работа стала возможной»⁵.

И еще: «Не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности, на хозяйственном расчете потрудитесь построить сначала прочные мостки, ведущие в мелкокрестьянской стране через государственный капитализм к социализму; иначе вы не подойдете к коммунизму, иначе вы не подведете десятки и десятки миллионов людей к коммунизму...»⁶.

Как было не вспомнить на конференции эти слова Владимира Ильича, не поразмыслить совместно над ними сейчас, когда мы изучаем последние постановления партии и правительства о регулировании хозяйственного механизма. Мне думается, что это очень важные решения и для нашего писательского осмысления процессов, идущих сейчас в жизни, для той, я бы сказал, новой хозяйственной морали, которую они с собой несут.

Писателю очень важно глубоко ощущать последовательность экономической стратегии партии. Надо ясно представлять себе психологическую роль хозрасчета, существование новых экономических рычагов и стимулов. Чтобы написать роман, повесть, очерк о современном предприятии, надо учитывать и то, как новый хозяйственный механизм побуждает предприятие, фирму, объединение, каждую бригаду, в конечном счете каждого рабочего активно использовать интенсивные факторы роста, принимать и выполнять напряженные планы, беречь ресурсы, снижать себестоимость.

Одним словом, пришло время качественно нового подхода к, казалось бы, знакомым проблемам и для нас — писателей, публицистов. Надо видеть, как сейчас формируются заново и уточняются критерии оценки добра и зла в мире хозяйствования. Особенно, как мне представляется, это касается развития новых форм организации труда в первичном звене — в бригаде, в низовом коллективе рабочих, а надо помнить, что бригадная форма остается основной и в одиннадцатой пятилетке.

⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 316.

⁶ Там же, т. 44, стр. 151.

В ряде выступлений на конференции убедительно прозвучала мысль о том, что многое из того, о чем мы читаем сейчас в документах партии и правительства, подсказано самой жизнью и осуществляется на практике.

Так оно и есть на самом деле. Достаточно вспомнить широко распространяющийся по стране опыт бригадного подряда московского строителя Николая Злобина или эксперимент на Калужском турбинном заводе, где полностью ликвидировали индивидуальную сдельщину, создав подрядные бригады с оплатой по конечной продукции, вспомнить о других починах, ведущих к повышению заинтересованности и ответственности рабочих. Это чувство ответственности самой своей сутью противостоит обману, очковирательству, стяжательству, такие бригады изгоняют из своих рядов прогульщиков, пьяниц, бракоделов.

Особенность конференции в Шушенском, кроме всего прочего, состояла, мне думается, еще и в том, что теория здесь проверялась живой и непосредственной практикой жизни. Конференция ведь не закончилась за два дня заседаний. Она нашла свое продолжение и в последующие дни в знакомстве писателей с огромным и богатейшим Красноярским краем, во встречах с интереснейшими людьми, чей труд и творчество, как сказал в заключительном слове Виталий Озеров, дают нам яркие примеры того, как русская революционная инициатива здесь, на сибирской земле, соединяется с высокой культурой труда. А в этом один из важнейших ленинских заветов.

Перед тем как писатели, разбившись на группы, разъехались по городам и селам края, мы все совершили поездку на Саяно-Шушенскую ГЭС. Об этом хочется сказать особо. И не только потому, что поездка была интересна и поучительна, но еще и потому, что она носила характер во многом и символический.

Хорошо сказал об этом Борис Полевой, автор широко известного романа «На диком берегу», повествующего о героических буднях, о сложных деловых отношениях строителей первой на Енисее, Красноярской, ГЭС:

«Может быть, именно здесь, на берегах самой могучей из сибирских рек, которая текла по мало населенному тогда краю, здесь, в Шушенском, мы сможем с особой яркостью увидеть и почувствовать простотаки волшебное осуществление заветнейшей ленинской мечты об электрификации России...»

И в самом деле, огни Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС — это ленинский свет над Сибирью, над Красноярским краем с его, без всякого преувеличения, великим будущим.

Как бы напутствуя писателей в эту поездку и рассказывая о делах, проблемах и перспективах коллектива ГЭС, первый секретарь крайкома партии Павел Стефанович Федирко несколькими яркими штрихами убедительно нарисовал картину экономического, социального, культурного развития края. Разве не волнуют такие цифры: Красноярский край за годы советской власти увеличил объем производства в... 900 раз! Колоссальны здесь запасы природных богатств: по бурому углю они составляют 40 процентов запасов страны, столько же по каменному углю, 19 — по гидроэнергии, 20 — по лесу. Запасы железной руды — 70 процентов от всех запасов Сибири.

Канско-Ачинский энергетический комплекс предполагает бурное развитие энергетики, создание нового территориально-производственного региона, который будет осуществлять полную технологическую цепочку переработки сырья. Здесь намечено построить 8 ГРЭС, их общая мощность превысит 50 миллиардов киловатт. В крае уже работают, строятся и намечены к строительству крупнейшие предприятия союзного значения, достаточно назвать Красноярский экскаваторный завод, по мощности равный Уралмашу. За последние восемь лет в крае появилось 680 новых крупных предприятий, сейчас здесь трудятся 7400 научных работников, создается Сибирский филиал Академии наук СССР...

Четыре быстроходных «ракеты», поднявшись на подводные крылья, понеслись от Шушенского вверх по Енисею. Все ближе подступают, все круче обжимают реку с обеих сторон склоны Саянских гор с их хвойной шубой таежных лесов. И вот после нескольких часов пути — причалы Саяногорска, молодого сибирского города (средний возраст его жителей двадцать восемь лет).

Кто-то назвал строящийся Саяногорск городом солнца. Вспоминаются утопические, хотя и благородные фантазии Томмазо Кампанеллы, название его знаменитой книги. Нет, это не фантазия, это современная сибирская явь, которая вознесла в Саянах город, действительно полный простора и света. Три его жилых района обращены к Енисею, который здесь удивительно красив. Я долго любовался набережной, она уже почти вся одета в бетон,

и улицами, которые тянутся к огромному парку с магазинами, кафе, бассейнами.

Здесь нет и следа столь памятных всем нам строительных временок. 70 тысяч строителей разместились в хороших блочных домах, и саяногорцы рассчитывают, что сады, лесозащитные полосы погасят уличный шум, станут барьерами на пути ветров и в таежном городе смогут уютно жить, продуктивно работать, восстанавливать здоровье те, кто сейчас строит, как здесь говорят, «звезду первой величины» — Саяно-Шушенскую ГЭС с проектной мощностью в 6,4 миллиона киловатт.

В послевоенные годы я подолгу бывал на стройках, был знаком с героями многих выдающихся гидросооружений, которые в разные времена приковывали к себе внимание всей страны, всего мира. Куйбышевская у Жигулей. Ниже ее по течению — Волгоградская. Уникальная Пермская на Каме и Нурекская на Вахше. Сколько труда, поисков, дерзаний, сколько неповторимых человеческих характеров связано с этими трудовыми эпопеями созидания!

Быть может, по внешнему виду, своей гигантской железобетонной подковою связав две горы и перекрыв бурный поток реки, Саяно-Шушенская ГЭС более всего напоминает Нурекскую. И там и здесь величественная панорама станции, открывающаяся с верхнего бьефа плотины, и там и здесь ее высота огромна и особо впечатляющая именно в горах, в ущелье: в Саянах — 250 метров, в Нуреке — 300. И там и здесь уже работают и будут еще установлены мощные генераторы, силою которых смогут эффективно воспользоваться сооружаемые вблизи энергоемкие, главным образом металлургические, производства...

Но куда, мне думается, важнее внешних подобий те глубинные аналогии, которые связаны с современным характером строительства, с борьбой за его качество, с развитием новых форм массовой народной инициативы.

В Нуреке эта инициатива, называемая рабочей эстафетой, способствовала упрочению производственных связей коллектива стройки и заводов — изготовителей оборудования. В Саянах эта инициатива укрепляет содружество многих предприятий со стройкой и имеет целью всемерное ускорение темпов и повышение качества работ.

В этом примечательном научно-техническом содружестве, охватывающем важные проблемы и задачи и начатом по инициативе ленинградцев в декабре 1974 года, был предусмотрен новый, ускоренный график создания ГЭС. В рамки содружества вошло

28 предприятий. Сейчас в нем участвуют коллективы 170 заводов, проектных и научных организаций. Уже одно это говорит о многом.

Начальник строительства Саяно-Шушенской ГЭС Станислав Иванович Садовский, принимавший писателей в прекрасном Дворце культуры и показавший нам несколько впечатляющих фильмов-хроник о ходе стройки, рассказал мне и о знаменитом бригадире Валерии Позднякове, недавно удостоенном звания Героя Социалистического Труда. Бригада Позднякова соревнуется (читай — взаимодействует) с бригадой Владимира Чичерова, Героя Социалистического Труда из объединения «Ленинградский Металлический завод».

Валерий Поздняков строил раньше Красноярскую ГЭС, был там звеньевым в бригаде, почетным членом которой избрали тогда первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина. Осенью 1963 года Юрий Алексеевич приезжал в Дивногорск и поработал немного в бригаде, помог уложить первый кубометр бетона в одном из котлованов станции.

После окончания строительства Красноярской ГЭС Позднякова потянуло далеко на юг, в солнечный Нурек, он славно потрудился там, но потом его опять позвала Сибирь. И вот он снова на Енисее, уже во главе комплексной бригады плотников-бетонщиков укладывает в станционную часть плотины первый кубометр бетона, а затем вместе с бригадой добивается победы в соревновании за право участвовать в пуске первого агрегата Саяно-Шушенской ГЭС, уже третьей могучей станции в его биографии строителя.

Беседуя с Садовским, я, признаться, вначале немного удивился тому, что в прямые производственные контакты вступили столь разные бригады — сибиряков и ленинградцев, отдаленные друг от друга тысячами километров. Ведь заняты они совсем непохожими делами: одни делают турбины, другие создают плотины ГЭС. На чем же основано деловое содружество плотников-бетонщиков и металлургов?

— Да на общей ответственности за научно-технический прогресс, — сказал мне Садовский, — на объединяющей их большой заботе о ГЭС, о том, чтобы стройка шла быстро и качественно.

Есть ли в этой инициативе подлинная новизна деловых взаимоотношений коллективов? Да, безусловно есть. И природа ее такая же, как и в бригадном подряде Злобина, только это теперь как бы подряд, расширившийся до масштабов громадной

стройки и большого производственного объединения. И суть соревнования в той же все возрастающей, все углубляющейся активной деловой и нравственной позиции людей рабочего класса, которые живут ныне интересами доподлинно гражданственными, доподлинно государственными.

И конечно же, эти новые формы массовой инициативы нельзя отделить от духовного облика современного рабочего, от того его коллективного портрета, который обязана создавать советская литература.

«В повседневных заботах, в сутолоке наших будней мы не всегда успеваем обобщать отдельные факты и явления, окружающие нас. Образцов общественной деятельности советских людей в наши дни сотни и тысячи. Сегодня наш рабочий, советский колхозник, советский интеллигент — это человек, который не просто сознательно и инициативно относится к своему труду, но и, как правило, живет интересами более широкими — интересами своего предприятия, района, области, республики, всей своей родины.

В этом мы видим конкретные плоды той большой работы в области идейно-политического воспитания масс, которую постоянно проводит наша партия. В конечном счете решающей предпосылкой нашего продвижения вперед во всех направлениях является именно рост идейной убежденности, политической сознательности трудящихся»⁷, — говорил Леонид Ильич Брежнев.

Весною 1979 года, в период бурного паводка, волны Енисея начали перехлестывать через плотину. Сразу на стройке создавалась угрожающая, аварийная ситуация. В оперативных сводках тех дней появились тревожные сообщения: «Паводок захлестнул бетоновозную эстакаду», «Вода поступает в котлован здания ГЭС».

Вот тогда-то на пути разбушевавшейся стихии встали 15 здоровых и крепких ребята: рабочие, прорабы, начальники участков. Среди них Михаил Полторан, Юрий Плотников... Измученные бессонными ночами, промокшие насквозь, валявшиеся с ног от усталости, люди выполняли свой долг. Несколько суток под сплошным потоком воды, под постоянной угрозой быть смытыми в Енисей они возводили защитную бетонную стену. И победили. Через неделю котлован был осушен. А через месяц первый агрегат, уже введенный в строй на ГЭС, снова дал ток. «Подвиг в Карловом створе» — так была озаглавлена заметка,

рассказывающая об этом на страницах городской газеты «Огни Саян». «Герои живут рядом с нами, — писалось там. — Подвиги здесь совершаются постоянно».

Этот вывод саяногорской газеты я мог бы подкрепить и множеством личных впечатлений, вынесенных из поездок по Сибири, по Красноярскому и Тюменскому краям. В Сибири сейчас работают миллионы людей, чей труд давно уже приобрел черты массового героизма. И тут, безусловно, заложена важная публицистическая идея, которую наша литература должна ярче осваивать в прозе и документалистике.

Следуя ленинским предначертаниям, наша партия уделяет много внимания рождению новых форм народной инициативы, их массовому распространению, широкой пропаганде опыта именно таких рабочих коллективов, которые избрали для себя самые эффективные методы работы.

«С помощью газет, телевидения, радио широкое распространение получает, например, соревнование коллективов, применяющих львовскую систему управления качеством продукции, работающих по щекинскому, ипатовскому, ямпольскому методам, по методу бригады строителей Н. Злобина, а также опыт ленинградских и красноярских предприятий по комплексному решению вопросов, связанных с созданием Саяно-Шушенской ГЭС»⁸, — сказал в своем докладе на Всесоюзном совещании идеологических работников в октябре 1979 года М. А. Суслов.

Об этом вновь и вновь думаешь при посещении Саяно-Шушенской ГЭС, при знакомстве с летописью будничных дел и каждодневно решаемых проблем, со всем тем, что и не назовешь иначе как повседневной героикой созидания.

Когда читаешь книги, посвященные теме преобразования современной Сибири, — романы, повести, очерки о БАМе, о героях Гюменщины, о заполярных разведчиках нефти и газа (а таких книг, главным образом документальных, появилось уже немало), — то с удовлетворением замечаешь, что тема трудовой героики в них неотрывна от желания писателей выйти на страженье жизни, уловить в ней главное, типическое.

Я бы сказал, что в процессе художественного освоения темы новой Сибири, в разработке темы современного рабочего класса именно эта сторона жизни, героическая нравственность рабочих людей, тружеников, выражена, пожалуй, с наибольшей полнотой и убедительностью.

Но внимательное изучение действитель-

⁷ Брежнев Л. И. Актуальные вопросы идеологической работы. т. 2, стр. 58.

⁸ «Правда», 17 октября 1979 года.

ности, в том числе и сибирской нови, подводит к мысли о том, что одним только героическим аспектом не исчерпываются богатство и глубина современного рабочего характера. Не исчерпывается и существо самих деяний, которым ныне как никогда присущ стиль коллективности, творческих исканий и разделенной ответственности. Пример комплексного содружества на Саяно-Шушенской ГЭС, столь высоко оцененный нашей партией, разве не является одним из убедительнейших тому доказательств?

Но, к сожалению, пока невелик удельный вес таких ситуаций, характеров в современной прозе и даже в наиболее мобильном, оперативном жанре — художественной публицистике, рассказывающей о преображении современной Сибири, вообще о труде. Почему-то мало встречается у очеркистов таких характеров, которые напоминали бы нам того же Николая Злобина, или же Владислава Серикова из Мурманска, вслед за Злобиным осуществляющего бригадный подряд на строительстве промышленных сооружений, или хорошо мне известного лауреата Государственной премии Анатолия Коротенькова, сталевара из Подмоскovie, он вместе с инженером Игорем Пивоваровым прокладывает новые пути в технике сталеварения.

Я говорил об этом на конференции; поездка на Саяно-Шушенскую ГЭС заставила еще раз подумать о том, что духовный мир передовых рабочих интересен, сложен, творческие и нравственные их потенциалы высоки. И я убежден, что без таких характеров всегда будет неполон многомерный коллективный портрет рабочего героя наших дней.

Конференция в Шушенском, как уже говорилось, нашла свое логическое продолжение в Днях литературы. Давно замечено, что когда серьезный писатель едет в такие поездки, он, участвуя в выполнении общей программы встреч и бесед, всегда имеет еще и свою личную художническую задачу, свой творческий прицел.

Была такая задача и у меня, связанная с постановлением партии и правительства о регулировании хозяйственного механизма, с ролью народной инициативы и расширением демократической основы прав коллективов (советов) производственных бригад.

Дни литературы в городе Канске, встречи с читателями и особенно знакомство с выступавшей на конференции ткачихой из Канска Героем Социалистического Труда

Ниней Михайловной Веселковой помогли мне и, думаю, моим товарищам по нашей многонациональной писательской бригаде увидеть, понять, глубже оценить народную инициативу, жизненную необходимость новых решений.

Канск. Старинный сибирский городок, основанный в 1636 году. Теперь ему недалеко и до 350-летия. Бывший глухой сибирский острог, место ссылки революционеров. Здесь отбывала ссылку Елена Стасова, верный соратник Владимира Ильича.

В годы гражданской войны Канск прославилась Тасеевская республика — очаг партизанского движения вокруг села Тасеево, где сибиряки так и не покорились Колчаку, сохранили у себя советскую власть. События эти ярко описал Владимир Зазубрин в своем популярном в 20-е годы романе «Два мира». В городе чтят имя писателя.

Гордость Канска — крупный хлопчатобумажный комбинат, известный и за пределами родины. Средний возраст работающих здесь, главным образом женщин, тридцать три года, возраст зрелости и расцвета физических и духовных сил.

Выступая от имени ткачих своего поколения на конференции в Шушенском, невысокая изящная женщина с красиво взбитой волною светлых волос, с Золотой звездой Героя на груди, слегка волнуясь, говорила:

«Замечательна древняя профессия ткача. И я ее очень люблю. Любят и мои подруги-ровесницы, а вот молодежь сегодня на наши текстильные предприятия идет не очень охотно. Если будет так продолжаться, некому будет ткать через несколько лет. Чем могут, спросите, нам помочь писатели?»

А вот чем. Первое — помогите поднять престиж нашей профессии. Расскажите о ней так, как воспринимаем ее мы, текстильщики с большим стажем работы. Убедительно раскройте необходимость этой профессии людям. И второе — помогите, чтобы быстрее наша легкая промышленность становилась действительно легкой. Привлеките к ней внимание науки. Ведь в текстильной промышленности в большинстве работают женщины, труд которых в первую очередь нуждается в облегчении.

Нина Михайловна Веселкова сформулировала, по сути дела, свой требовательный и широкий социальный заказ не только журналистике, но и нашей литературе. Обоснованность его я готов поддержать всем своим опытом публициста.

Да и на конференции многие писатели, откликнувшись на взволнованное выступление ткачихи канского комбината, подчер-

кивали, что она затронула важную тему, если рассматривать ее с точки зрения ленинского отношения к труду, выработки истинной шкалы ценностей человеческого существования.

«Священное отношение к труду воспитывается с самого детства,— говорил Юрий Рытхэу.— Я помню, что в нашей семье, в чукотском селении Уэлен, никогда не относились к труду как к игре. Это было святое и важное дело, не терпящее легкомысленного отношения, не требующее специального облегчения. И так было со всяким трудом, уважение к любому работающему. Никаких престижных и непрестижных профессий не было — все зависело от того, как работает человек».

И высказанная далее писателем мысль о том, «что человеку труда принадлежит создание, выработка нравственных, моральных правил, составляющих золотую сердцевину личности человека», отвечает, на мой взгляд, прочным традициям советской литературы, которая всегда стремилась возвысить труд как основную жизненную ценность. Всем своим смыслом и внутренним пафосом она способствует возникновению жизненной потребности в труде, в выполнении рабочего долга, стремится поддерживать каждодневный подвиг сознательности правдивым повествованием о наших буднях, о людях, которые воплощают в себе высокое достоинство нашего времени.

Значительную часть этой нагрузки всегда брала и берет на себя художественная и деловая публицистика, выступающая во всеоружии знания жизни и ее проблем, с позиции активного участия в борьбе за пятилетку.

Я думаю, что Нина Михайловна Веселкова с полным правом и убежденностью ставит вопрос о нравственном престиже рабочей профессии, и не только ткачей, ибо рассматривает этот престиж как своего рода производственную силу в нашем обществе. Литература здесь действительно может сделать многое.

В Канске на комбинате я видел, как работает Веселкова. В большом и, к сожалению, еще весьма шумном цехе, где выстроились длинными рядами ткацкие станки, Нина Михайловна во главе своей маленькой бригады, состоящей из помощника мастера Владимира Ивановича Яблокова и обрывщицы Валентины Павловны Волковой, управляла... 80 станками! Норма — 19 станков. По сути дела, она одна осуществляла полновластный контроль за целым пролетом, одна двигалась вдоль рядов станков по разработанному ею же маршру-

там, точно рассчитывая, где и когда ей нужно появиться.

Мне рассказывали, что Веселкова недавно побывала на Кубе, работала две недели на одной из фабрик и, как говорят на комбинате, «тоже показала там класс». Теперь ее опытом интересуются и на других предприятиях, просят приехать во многие города страны.

«Расцветает любимая отчизна, которая начинается с дома, где ты живешь, с цеха, где ты работаешь,— говорила Н. М. Веселкова на конференции.— Меня часто спрашивают: трудно ли работать на восьмидесяти станках? Конечно, трудно. Но я коммунист, а кому как не коммунисту первому браться за трудное, но нужное для страны дело».

В чем секрет мастерства Веселковой? Да, видимо, в той ловкости и сноровистости, которые даются не столько природной одаренностью, сколько вырастают из глубоко продуманных навыков и маленьких рабочих открытий, которые вдумчивому человеку дарит его опыт.

Я видел, как Веселкова устраняет обрыв нитей за восемнадцать секунд вместо обычных двадцати трех, как не спеша, но динамично движется вдоль станков, как планирует свои маршруты по пролету, держа в поле внимания все 80 ткацких машин.

Нина Михайловна работает уже в счет четырнадцатой пятилетки! Факт, сам по себе говорящий о многом. И на таком же, как здесь говорят, режиме уплотнения трудится рядом с нею ткачиха Людмила Борисовна Дюканова, которая тоже обслуживает 80 станков. Почин находит последователей.

Я встретил Нину Михайловну через несколько недель после присвоения ей в 1979 году звания лауреата Государственной премии СССР. Она прилетела в Москву на вечер, посвященный Дням литературы в Красноярском крае, прилетела из далекого Канска только затем, чтобы выступить перед писателями в нашем Центральном доме литераторов, вновь вспомнить о своем труде. Приятно было видеть и слышать на трибуне нашего писательского дома эту замечательную женщину, круто набирающую высоту в своих делах и замыслах, рабочего человека, сознающего всю меру своей государственной ответственности.

Бригадир Виталий Николаевич Патрушев не ткач, он слесарь-сборщик бумагоделательных машин и оборудования. Есть такой завод в Канске. Патрушев — фронтовик. Награжден орденом за труд. Его тоже вол-

вуют проблемы производительности, качества и, применительно к его профессии, уплотнения рабочего времени.

Недавно из бригады Патрушева, состоявшей из 15 человек, двое уволились, но новых людей на их место не взяли, решили, что справятся и меньшим числом.

Патрушев сказал, что есть у них и «спецы», как он выразился, которые противятся бригадному методу, ведь вне бригады на заводе еще 40 процентов рабочих-сдельщиков. Однако идея коллективно разделенной ответственности, принципы бригадного самоуправления все шире и основательнее пробивают себе дорогу и в сознании рабочих и в самой заводской практике.

Знакомясь с интересными людьми в Канске, я вновь мысленно обращался к произведениям о сегодняшней Сибири, главным образом документальным, написанным людьми одаренными. Я имею в виду книги Анатолия Приставкина об Ангаре, Валерия Поволыева о нефтяниках Тюмени, романы и очерки Константина Логунова, очерки Анатолия Зябрева (красноярца, его новую книгу «В степи под Абаканом»), очерки Виталия Гербачевского о БАМе, повесть молодого Юрия Калешука «Харасавей» о заполярных разведчиках нефти и газа, рассказы Валерия Осипова и Вячеслава Шугаева, книгу мансийца Ювана Шесталова «Сибирское ускорение» и другие.

Естественно, что у каждого из названных произведений свой художественный облик, свои достоинства, и вместе с тем мне как читателю недостает в них подлинной масштабности характеров. Большая должность — это ведь не всегда еще и большой характер. Крупная личность в любом деле независимо от должности, как это ярко видно на примере ткачихи Нины Михайловны Веселковой, вырастает на почве коммунистической нравственности, реальных государственных дел и поступков.

В иных произведениях чувствуется недостаточное знакомство авторов с новыми индустриальными регионами Сибири. Беглые зарисовки, случайные встречи с героями, разрозненные наблюдения, поверхностная описательность, общие места — все это не может уже удовлетворить читателя. Масштабы перемен — социальных, экономических, нравственных — в современной Сибири, во всей стране требуют и характеров такого же масштаба.

Мы сейчас с удовлетворением повсеместно наблюдаем, как в хозяйственную практику страны, в жизнь рабочего класса входят новые крупные экономические начинания. Крупномасштабные задачи в об-

ласти экономики прочно и долговременно сопрягаются с задачами коммунистического воспитания. Это естественно и закономерно. Успехи в этих двух важнейших сферах жизнедеятельности органически взаимосвязаны.

Претворение государственных решений в реальную практику наших дней — дело сложное, творческое и, видимо, многолетнее. Имеет ли все это отношение к нашей литературе, к нравственному облику рабочего наших дней, к нашим современникам, государственному складу их мышления, активной жизненной позиции? Имеет, безусловно, и самое прямое и непосредственное. И конечно же, наша литература, особенно боевая проблемная публицистика, не может пройти мимо этих перспективных ведущих тенденций жизни.

В прямой связи со сказанным выше встает проблема изображения в живых и полнокровных образах наших современников того эффективного сплава мысли и дела, соединения науки с практикой, которые стали знаменем нашего времени. Наша литература еще недостаточно разрабатывает социально-психологический аспект этой новаторской тенденции. А ведь, по сути дела, тенденция эта определяет ведущую черту передового социального, а значит, и художественного типа нашей эпохи. Великолепный пример синтеза теории и практики всегда давал Владимир Ильич Ленин.

Выступавший на конференции писатель А. В. Никулков вспомнил, что «к 100-летию В. И. Ленина «Комсомольская правда» опубликовала анкету с вопросом: «Какая из черт в облике Владимира Ильича Ленина — революционера, ученого, государственного деятеля, коммуниста вызывает в вас наибольший интерес?». Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий академик Глушков так ответил на этот вопрос: «Целеустремленность. Семнадцатилетним юношей Ленин сформулировал цель своей жизни и остался верен ей до конца». «В самом деле, — сказал далее писатель, — это едва ли не ведущая черта ленинского характера, тесно связанная с такой чертой, как слияние мысли и дела. А в современной литературе мало героев воистину целеустремленных».

Мне кажется, что с этим замечанием нельзя не согласиться. Ленинские черты, ленинские заветы стали неотъемлемым достоянием советского народа, его нравственной силой и духовным здоровьем. Ленин как человек и революционер служит примером нового героя в жизни и литературе,

служит идеальным примером коммунистической нравственности.

Нельзя не видеть, что наше время вырабатывает новый тип героя, чей жизненный подвиг не требует самопожертвования, а органически вытекает из его мироощущения, из представлений о цели жизни, ее подлинных ценностях и радостях. Таких людей мы все чаще встречаем повсеместно, и, быть может, особенно много в среде первопроходцев, разведчиков, среди тех, кто претворяет ленинские мечты о развитии Сибири в реальную практику.

Литература наших дней призвана изучать такие характеры, находить типическое в реалиях жизни, которая в главных своих направлениях дает художнику возможность широкого выхода на острую социальную проблематику, раскрытия в любом общественном поступке человека его гражданственной и нравственной позиции.

Говоря о теоретико-практическом характере конференции в Шушенском и об ее итогах, хочется коснуться широко прозвучавшей в выступлениях писателей темы народности и партийности современной советской литературы.

Через несколько лет после того, как Владимир Ильич покинул Шушенское, в 1905 году он сформулировал в своей известной всему миру статье «Партийная организация и партийная литература» принцип партийности литературы, утверждавший неразрывную связь литературы с борьбой рабочего класса за общественный прогресс.

Партийность произведения — об этом говорили многие писатели — определяется не темой, а идейным подходом, мировоззрением писателя.

Не раз подчеркивалось на конференции, что партийность не только не ограничивает литературные таланты и художнические индивидуальности, а, наоборот, духовно, эстетически обогащает художника, объективное звучание его произведения, если оно служит целям формирования социалистической личности, задачам строительства нового общества, верному взгляду в будущее.

Всем этим качествам, по единодушному мнению участников конференции, отвечает трилогия Леонида Ильича Брежнева, рисующая широкую картину народного подвига в годы войны и в послевоенное время. Книги эти быстро завоевали широчайшую популярность в народе, оценившем

эти произведения как глубокое и яркое изображение ленинизма сегодня, ленинизма в творческом развитии.

Со страниц книг Л. И. Брежнева встает обобщенный образ партийного руководителя, который учит литераторов партийному искусству человековедения, умению соединять творческую индивидуальность с высотой точки политического обзора и жизненных обобщений. Эта замечательная трилогия ориентирует на развитие всего лучшего в человеке, выражая тем самым гуманистическую сущность зрелого социализма.

Работы Леонида Ильича Брежнева вооружают писателей точностью, ясностью и богатством нравственных и деловых оценок людей. Они призывают искать в многообразии жизненного материала события значительные, личности деятели, сильные, целеустремленные в своей творческой активности и показывать их в динамике, в развитии, в совокупности нравственных и этических проблем. Произведения Л. И. Брежнева помогают писателям в поисках и изображении наших современников, характеров, поистине типических для наших дней.

Последний год текущей пятилетки ознаменован 110-й годовщиной со дня рождения В. И. Ленина. Это придает нашим социальным будням, трудовым усилиям всего советского народа одухотворяющую энергию и особое значение.

«Центральный Комитет КПСС призывает коммунистов, комсомольцев, всех советских людей встретить юбилей Владимира Ильича Ленина новыми успехами в борьбе за коммунизм, превратить завершающий год десятой пятилетки в год ударной ленинской работы», — сказано в постановлении ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Мы идем к XXVI съезду нашей партии, к одиннадцатой пятилетке. Самое время снова и снова подумать «об уроках Ленина», как сами писатели определили главное содержание своего большого творческого форума в Сибири, пристально взглянуть в живой образ коммуниста — героя нашего времени великих свершений, показать громадную, разностороннюю работу партии сегодня, творческий ленинизм в действии. В этом, как мне представляется, один из самых важных деловых итогов конференции в Шушенском.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Косолапов. Герои эпохи — **Владимир Амлинский.** Грани единого опыта.— **Владимир Кочетов.** Беспокойство.— **А. Зись.** Актуальные проблемы искусствознания.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Тимур Гайдар. Взгляд сквозь годы.— **Владимир Красильщиков.** Творческая отдача содружества.— **Ю. Каграманов.** «Групповой портрет» буржуазии Франции.— **Георгий Степанидин.** Книга о «красном директоре».— **В. Ильин.** Страницы космической летописи.

Литература и искусство

ГЕРОИ ЭПОХИ

В. Пискунов. Знаменосцы. Образ коммуниста в советской литературе. М. «Просвещение». 1979. 256 стр.

Хорошо, что литературоведческие работы стали издаваться у нас весьма солидными тиражами — до 100 тысяч экземпляров. Еще отраднее, что они пользуются сегодня все более широким читательским спросом и не залеживаются на прилавках книжных магазинов. К числу таких изданий принадлежит и исследование В. Пискунова, посвященное образу коммуниста в советской литературе.

Проследивая открытие и художественное освоение литературой образа коммуниста от созданных М. Горьким образов машиниста Нила, Павла Власова, профессионального революционера Синцова до героев произведений 60—70-х годов, В. Пискунов рассматривает тему партии, тему «человека партии» прежде всего в ее нравственном аспекте. С первых шагов советского искусства, подчеркивает он, образ коммуниста был поднят как знамя всего «чистейшего в эпохе». Коммунисты, постоянно сверяющие себя, свои действия и поступки с идеалами революции, — это люди, наделенные «высшей зоркостью человеческого сердца», это они дают окружающим «линию жизни».

Такова одна из центральных мыслей автора. Он последовательно проводит ее через все главы своей книги. Говоря о той

философской нагрузке, какую несут образы коммунистов в общей концепции «Тихого Дона», рассматривая эти образы как одну из существеннейших граней художественного мира М. Шолохова, исследователь замечает: «Большинство коммунистов «Тихого Дона» гибнут, но каждый раз гибель оборачивается их нравственным превосходством над противником, служит уроком идейной убежденности и героизма». Обращаясь к роману Н. Островского «Как закалялась сталь», он видит важнейшую особенность этой книги в том, что она стала своеобразным кодексом новой морали, свидетельством духовного и нравственного богатства большевистской природы. Характеризуя произведения о подвиге народа в Великой Отечественной войне, В. Пискунов пишет, что лучшие из этих книг правдиво и ярко запечатлели духовный облик коммунистов, неодолимую силу их нравственного примера в годы тяжелейших испытаний.

Укрупнение личности «человека партии», расширение его духовного мира, обогащение круга его нравственных представлений и понятий — одна из примечательных особенностей литературы наших дней. Она делает сознательную ставку на героев, которые служат нравственным ориентиром для

окружающих, на «людей с чистой совестью», которые ни при каких обстоятельствах не поступятся собственными убеждениями и принципами, сохраняют неуступчивую верность революционным традициям. Герои современных книг преемственно воспринимают, творчески усваивают черты героев предыдущих поколений, осознают свое кровное родство, духовное единство с участниками революции, строителями пятилеток, бойцами Великой Отечественной войны. Но они обладают и немалыми отличиями; они, в частности, много и серьезно размышляют о той роли, какую играют сегодня в их собственной жизни и в жизни общества нравственные, этические категории. «Литература 60—70-х годов,— заключает автор,— одержима поисками героя, который воплощал бы в своем духовном опыте черты зрелого социализма, утверждал бы своим нравственным обликом и поведением моральный кодекс строителя коммунизма».

Тема партии, образ коммуниста неотрывны в советской литературе от образа Ленина — высшего человеческого воплощения идеалов революции, идеалов партии большевиков. Вспоминая произведения 20—30-х годов, когда все энергичнее утверждается в искусстве реалистическая трактовка характера человека революции, В. Пискунов отмечает одну из знаменательных особенностей развития литературы: показ этого человека начинался с образа Ленина. В дальнейшем на каждом этапе своего развития многонациональная наша литература вновь и вновь возвращается к этому образу. Можно с уверенностью сказать, пишет исследователь, что каждое поколение советских писателей шло в поисках героя от постижения ленинского характера.

Эта общая закономерность с особой силой дала себя знать в последние два де-

сятилетия, заметно обогатившие художественную Лениниану. Автор останавливается на вершинных ее произведениях в поэзии, прозе, драматургии, произведениях, утверждающих живую причастность Ленина современности. Эти страницы еще и еще раз убеждают в том, какое огромное, непреходящее значение имеет для эстетики социалистического реализма личность создателя и вождя нашей партии, его удивительный в своей цельности характер. «Образ Ленина, запечатленный советской литературой,— обобщает автор свои размышления,— самое яркое, самое весомое подтверждение мысли о партии как уме, чести, совести нашей эпохи».

На нынешнем этапе развития советского общества — общества зрелого социализма, когда партия уделяет первостепенное внимание нравственному воспитанию, в задачи которого входит выработка активной жизненной, гражданской позиции, сознательного отношения каждого к общественному долгу,— избранный исследователем угол зрения очень современен и важен. Итоговый вывод автора: «Советская литература все отчетливее осознает себя крупной общественной силой, призванной служить нравственному обеспечению коммунизма» — закономерно вытекает из всего содержания книги.

Выпущенная издательством «Просвещение» новая работа В. Пискунова адресована прежде всего учителям-словесникам. Но я убежден, что эта книга, содержащая интересные наблюдения, сжатые, но выразительные характеристики наиболее значительных, этапных произведений советской литературы, представляет интерес и для несомненно более широкого круга наших читателей.

В. КОСОЛАПОВ.



ГРАНИ ЕДИНОГО ОПЫТА

Юрий Бондарев. Мгновения. М. «Современник». 1979. 189 стр.

Итак, что же это? Какова жанровая природа этого произведения? Может быть, все-таки рассказы? Конечно, и рассказы тоже, хотя во многих из них вы не найдете определенного сюжета, выписанного подробно характера. А может быть, стихотворения в прозе? Жанр, столь блистательно представленный в нашей литературе Тургеневым.

Да, в известной мере это и стихотворения в прозе, где главным становится об-

раз, первозданность ощущения, настроения, которое не всегда возможно и определить, нечто зыбко-музыкальное, то возникающее, то ускользающее: «Ночь светлела за окном, исчезали обыденные закономерности движения земли, созвездий, переставал падать снег над безмолвными рассветными переулками Замоскворечья, хотя он падал и падал, будто в белой пустыне вселенной, заваливая мостовые; переставала существовать сама жизнь, и не было

смерти, потому что мы не думали ни о жизни, ни о смерти».

И все же масштаб здесь иной, чем в стихотворении в прозе. И пронзительный лирический тон тоже обманчив. Уже внутри темы слово обретет плотность, остроту, перспективу, предполагаемые именно прозой. И потому не будем, наверное, втискивать эту необычную работу в строгие жанровые рамки; сам писатель определил ее как «мозаику человеческой жизни».

Есть дальняя переключка бондаревских миниатюр с некоторыми рассказами Бунина последнего периода, в которых так сильна и пронзительна печаль, а ностальгия рождает необыкновенно целостное и яркое ощущение ушедшего, уходящего как средоточия наивысшего счастья, удивительной гармонии. Мы входим в повествование как бы не с самого начала, отсюда и первая же строка, без местоимения словно бы продолжает что-то знакомое автору, нам неизвестное: «Весенней парижской ночью шел по бульвару в сумраке от густой свежей зелени» (у Бунина).

Бондарев тоже любит подобные начала, как бы вырванные из длинной цепи ощущений: «Лежал при синеватом свете ночника, никак не мог заснуть...»; вначале состояние обыденное, привычное, но уже в нем скрыто ожидание чего-то, причем не внешнего, а происходящего внутри человека, внутри его памяти, оживляющей, приближающей прошлое.

И память эта, и обостренное внимание к тому, что было, к «утекающим срокам» бытия, есть нечто большее, чем печаль по юности, это обостренное желание художника понять удивительные, столь не похожие друг на друга и вместе с тем столь близкие закономерности собственной судьбы, закономерности человеческой жизни вообще, соединившие «войну, беду, мечту и юность» и всю дальнейшую многотрудную, напряженную жизнь.

И потому всякий раз Бондарев рвет рамки настроенческого этюда, лирического стихотворения в прозе. Он ищет иного, большего, и потому его пойманные мгновения не воспринимаются как осколки чего-то, что должно быть целостно воссоздано, но разбилось в памяти. Или, наоборот, как ростки еще не написанного, своего рода лаборатория художника, как дневниковые записи,— нет, это именно сложнейшая разнообразная мозаика жизни, каждый из элементов которой, каждое мгновение являет собой кристаллически законченную форму. Даже вырванные из книги, из общей конструкции, они могут

существовать самостоятельно, отдельно. Так они, собственно, и рождались, самостоятельно, маленькие новеллы, эссе, размышления. Их незаконченность, обрывистость лишь кажущаяся.

Связанные друг с другом внутренней темой, они несут отнюдь не только лирическую нагрузку. Социальный слух писателя так же чуток, как и в крупных его произведениях. Не только настроение, состояние в тот или иной момент жизни интересуют Бондарева, а глубинные возможности человека в разных социальных, психологических обстоятельствах перед ликом грозного времени.

У Юрия Бондарева в этой книге я вижу, узнаю мотивы, излюбленные им с первых книг до нынешних. Кстати, именно у больших художников мы видим эту повторяемость мотивов, их взаимосвязь, переключку. Здесь узнаю я мотив «крика в ночи» — чужой беды, чужого горя на фоне спокойно дремлющего, якобы счастливого мира; узнаю мысль о противоестественности красоты, убивающей живое, о своего рода антикрасоте жестокости. И наконец, самое главное — тему вечной сыновности, первородной любви к земле своей, родине, матери, к отцу своему... Здесь эти мотивы укрупнены, подчеркнуты, существуют часто вне сюжета, образуя как бы систему замедленных кадров, обнажающих вдруг и самую природу движения, его длительность, угасание и порывы.

Крупный план подчас беспощаден. Вот в рассказе «Схимник» писатель видит идущего по монастырскому двору старого схимника, уже второй раз постриженного в монахи. Писатель обнаруживает вдруг поразительную остроту «бокового зрения»; он замечает своего рода игру схимника, позу, бессознательную, может быть, принятую ради горького продления любопытства к себе чужих, посторонних людей.

Высокий и мудрый в толковании человеческих судеб, в спокойномприятии собственной судьбы, он вдруг оказывается и просто маленьким человеком с самыми обыкновенными слабостями, с одной из самых мучительных, жгущих душу — тоской. Драма его именно в том, что он подавляет, обязан подавлять в себе человеческое, а точнее — в его понимании — сиюминутное, суетное, ради вечного. И оттого, что подавить этого он не сумел, особенно обнажен и беззащитен перед грядущим концом, к которому столь долго готовился.

В мгновенном приближении к человеку, в крупном плане писатель открывает суть,

сердцевину характера, судьбы, которая кажется исследованной столь подробно и тщательно, будто читаем не малый рассказ, а роман.

Интересно, что в «Мгновениях» возникает особый образ войны, выстраданной художником, который сказал о ней с такой силой правды, столь многообразно ее отразил — от «Батальонов...» и «Последних залпов» до «Берега».

В повестях и романах Бондарева она прежде всего реальность, быт, повседневность, на глазах становящаяся историей. Она цепь событий, выявляющих характеры людей. И наконец, она открывает нам людей, творящих эти самые события.

В «Мгновениях» возникает образ постоянно повторяющегося сна. Это трагический сон, он навсегда врубился в жизнь, разорвал привычные связи. Впрочем, не сон это, благо был бы сон... Это явь еще недавняя, но уже знакомая нескольким поколениям лишь по фильмам, книгам. В историческом плане лишь миг, в человеческом — целая трагическая эпоха.

Ю. Бондарев видит войну, будто она была только что, вчера, а иногда словно бы из космической дали, с неожиданными и страшными прорывами к тому, что случилось с миллионами людей, а значит, и с одним человеком, с его единственной жизнью:

«Нас было много, и мы шли туда, молодые, веселые, не ощущая угрозы вечного одиночества.

Но какая безысходность одинокой песчинки охватывает меня, когда я думаю, сколько кануло нас в никуда, за той далекой щелью заката, которая в кошмарных снах представляется мне все чаще».

В новелле «В окружении» писатель рассказывает о предательстве женщины, вступивших в связь с оккупантами. Лейтенанту, живущему по законам вечной человеческой этики, справедливости, не по себе оттого, что покарал он пусть предательниц, но женщин. Прорываясь из окружения, отстреливаясь, он плачет и думает все одну и ту же мучительную думу: «До нас, чертей, миллионы людей умирали. Не мы первые, не мы последние. Только кто же там был? Силой или прятником их немцы заставили? Или как? Может, не виноваты они?»

В минуту схватки человек не знает ни тени жалости к врагу и не важно ему, почему это враг, что сделало его таким. Но вот опасность миновала, и жестокость, вызванная неслышанной жестокостью врага, столь несвойственная нашему национальному характеру, сменяет-

ся столь свойственным этому же характеру поиском истины, подлинной справедливости...

В причудливом импрессионистическом рисунке, мозаике, в снах, ощущениях, видениях возникает нечто постоянное и глубинное, с теми же вечными вопросами: почему и во имя чего?

В определенные моменты человеческого бытия вечные эти вопросы звучат не церковным звоном, не звуком колокола, который звонит по кому-то и по всем, вместе взятым, и величественно плывет над людьми. Нет, в некоторые минуты рвутся они хриплым криком боли, страдания.

Писатель наводит нас на мысль о том, что любой шаг и в любых обстоятельствах, подсказанный ли ситуацией, представлением о долге или, наконец, самим долгом, потом отзовется в человеческой судьбе и прежде всего должен быть продиктован и утвержден такой инстанцией, как простая человеческая совесть.

В книге Бондарева есть очень интересные наблюдения и размышления о городах, странах, где в разное время бывал писатель. В этюдах о загранице нет развернутого анализа общественной, политической, эстетической жизни той или иной страны. Впрочем, вспомним, что Стендаль назвал свою книгу «Прогулки по Риму». Именно прогулки, не претендуя на историзм и объективную всеохватность. И мне кажется, что нет другой книги, где характер и образ города были бы переданы с такой живой точностью, яркостью, силой движения, как у Стендаля. У нас же иные очерки о загранице при всей их насыщенности фактами, цифрами, наблюдениями говорят больше об эрудиции авторов, чем о глубине подлинного постижения.

Не в пример таким авторам Бондарев умеет соотнести неведомое, новое с ведомым, своим — не только для того, чтобы сравнить, а для того, чтобы попытаться понять черты общности в этом многомильном, таком разнообразном мире: «Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются».

В рассказе «Венеция» Бондарев пишет: «Если бы люди не отчуждались, соблюдали высоту чувств, влюблены были в прекрасное и уважали художников, то Венеция стала бы городом поэтов, писателей, живописцев, уютным центром кипящего искусства: здесь писались бы романы, поэмы, создавались драмы, выходили разного направления газеты и журналы, в маленьких ресторанчиках на набережных собирались бы литераторы, и за бокалом легкого мар-

тини велись бы споры о судьбах слова, о последнем романе Моравиа или Леонова, о пьесе Беккета или фресках Микеланджело».

В этом рассказе и в рассказе о Париже я вижу образы городов одновременно и вечных, с величайшими культурными ценностями, и будничных, с окунувшимися в свои заботы и, может быть, не замечающими эти вечные ценности людьми. Образы этих городов неповторимы.

И вместе с тем пестрота жизни чужого многомиллионного города, какие-то отдельные черты и штрихи этой жизни напоминают свое, знакомое и возвращают писателя в его детство, двory Замоскворечья, так мало похожие на парижские дворики.

В рассказах о Венеции, Париже сквозь удивление, восхищение увиденным проступает все время воспоминание о своей стране, любовь к России, к ее неповторимой культуре. Эта любовь столь высока, органична, естественна, что великолепно сочетается с пониманием традиций другого народа, способностью очаровываться и по-детски радоваться достижениям человеческого духа, таланта. Так возникает перекличка культур, сближение конкретных человеческих ценностей, столь легко разрушаемых, столь уязвимых.

Русская интеллигенция, и это всем известно, об этом история говорит, умела понять и чужие боли, бедь, обиды, хотя и своих было предостаточно. Сама поднималась в защиту тех, кто попран, унижен. Она всегда была внимательна к творениям европейской культуры, живо отзывалась на них. Вместе с тем для подлинного русского интеллигента всегда неприемлемы любые формы растрения: культуры. В свое время это растрение культуры уловил Горький, позднее Есенин. Горькому джаз казался «музыкой толстых». Сегодня мы не думаем так. Джаз сумел себя отстоять, но ощущение Горького, уловившего некую бездуховность, попытку разрушить гармонию, грохот, заглушающий все человеческое, в «музыке толстых», тоже можно понять. Ведь не восставал же он против неаполитанских народных песен, наоборот, бесконечно любил их. Повторяю, взгляд его на джаз начала века ни для кого не закон, может быть, даже наивен сегодня, но тревога за целостность искусства, за его вышший этический смысл понятна и вызывает уважение.

Как же примириться русскому писателю сегодня с самыми изощренными приемами растрения культуры, процветающими на Западе, от порнофильмов скандинавского

производства до фильмов ужасов, где убийство — предмет развлечения и щекотания нервов?

И Ю. Бондарев с горечью пишет о том, как в так называемом секс-шопе молчаливые люди разных возрастов, не подымая глаз, неторопливо просматривают книги, посвященные вариантам и вариациям любви. Как непохоже, как далеко это от той культурной и нравственной атмосферы, от того художественного климата, которым столько веков пленял нас Париж, город, помнящий шаги стольких замечательных русских писателей, воспетый, понятый, принятый ими.

В одном из рассказов этого цикла — о городе Арнхеме, что в ста километрах от Амстердама, — писатель ловит себя на состоянии тжкого умиротворения, вызванного успокаивающей утренней тишиной. И вдруг у него возникает чувство непокая, мир застилается серым туманом, проступает глухая тоска, как бы отзвук далекой чужой боли, чужого неуютя. Это и есть, наверное, ощущение человеческой и художнической ответственности за то, что происходит в быстро меняющемся мире. Писатель утверждает, что литература обязана обращаться к болевым точкам сегодняшнего мира.

«В сфере литературы мы, в общем-то, еще не перестали надевать на персонаж чистые лики безупречного душевного покоя, на которых не возникает морщинок раздумья даже тогда, когда персонаж этот узнает, что отравленные отбросами промышленности реки и водоемы планеты, предельные децибелы могут поставить человечество на конвейер вымирания как биологический вид. Он еще не обеспокоен судьбами земли, он еще решает задачи сегодняшнего значения (ему некогда), строя, «воюя» с природой, мало думая о будущем, а оно, будущее, не за семью печатями».

Чувство высочайшей ответственности за слово, свойственное русской литературной традиции, в глазах иных людей на Западе, в том числе даже самых расположенных к нам, казалось и кажется преувеличенным. Однако всегда была разница между теми, кто утверждал и подымал изящную словесность, но именно только словесность, где слово и начало и конец, и теми, кто собственной судьбой выстрадал признание, подобное тому, что «строчки с кровью — убивают, нахлынут горлом и убьют!». Бондарев, выстрадавший такой взгляд на литературу, справедливо пишет, размышляя о романе, что он концентрирует в себе мир,

где сходятся и перекрещиваются кардинальные проблемы современности, человечество в истории и история в человечестве. Художественно воссозданная писателем жизнь обретает свои законы, обязана вызывать отклик в людях и воспитывать их умы и души, хотя само слово «воспитание» в чьих-то безответственных устах, бывает, приобретает чрезмерно пресный и назидательный вкус.

Писателя тревожат симптомы перерождения литературы на Западе. Буржуазные коммерсанты от литературы предлагают публике чтиво, своего рода понюшку табака, щекочущего ноздри, вызывающего приятное чихание. Чихнул и забыл.

Ничем не заменимый элемент, духовный,— вот что, по Ю. Бондареву, определяет суть явлений искусства.

Обобщая свой художественный и человеческий опыт, сопоставляя с опытом других, идя от конкретных наблюдений к серьезным выводам, он вновь и вновь возвращается к теме, возможно главной в книге, а может быть, наиболее обнаженной,— к теме своего поколения.

В написанном с необыкновенной страстью эссе «Мое поколение» писатель говорит о подвиге Сталинграда, говорит со сдержанной гордостью, редко употребляя само слово «подвиг», как будто боясь, что высокая, чуть более торжественная нота сделает это понятие далеким, горным, почти абстрактным. А рождался подвиг в крови, и оплачена победа кровью.

О страданиях и бедах той поры он пишет с пронзительной силой мужества. Никто из них, двадцатилетних, даже внутренне готовых ко всему, но полных еще довоенного света, добра, не мог представить, что «зеленая трава может быть фио-

летовой, потом аспидно-черной и закручиваться спиралью, вяннуть от разрывов танковых снарядов». Весь мир был солнечно-белым и масляно-черным, без середины. Но было еще то, о чем не говорилось в эти дни, короткие и бессчетные, было понятие — во имя чего.

Именно поэтому жесточайшее испытание войны не вытравило истинно человеческое в этом поколении, таком, казалось бы, незащищенном. И обернулось потом памятью и опытом и новым пониманием этой жизни и ее цены.

В книге «Мгновения» есть тема войны, размышления о культуре, об искусстве, воспоминания о деревне.

Так кто же он, автор? Военный писатель, городской писатель, «деревенщик», интеллектуальный писатель? Эта его книга, как, впрочем, и весь его творческий путь, показывает ограниченность, приблизительность таких подразделений, к которым столь часто еще прибегают.

Я познакомился с ним, когда ему еще не было сорока, только что вышли его «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Критики считали его военным писателем. Потом он написал «Тишину». И вновь стало неясно, к какой рубрике причислить: никуда не укладывается. С «Горячим снегом» в этом смысле было проще. А потом он написал «Берег».

Всегда неожиданный и самобытный художник, он не вмещается в готовые критические рубрики. Раздвигает их. Так произошло и здесь, в книге столь необычной по жанру, столь цельной и разнообразной, поражающей удивительной искренностью и той неожиданной мудростью прозрений, что дается настоящим художникам.

Владимир АМЛИНСКИЙ.



БЕСПОКОЙСТВО

Арон Вергелис. Избранное. Авторизованный перевод с еврейского. М. «Художественная литература». 1978. 334 стр.

Арон Вергелис. 16 стран, включая Монако. Авторизованный перевод с еврейского Евгении Катаевой. М. «Советский писатель». 1979. 415 стр.

Две новые книги Арона Вергелиса и похожи и не похожи друг на друга. Не похожи прежде всего по жанру. В книге «16 стран, включая Монако» поэт обратился к путевому очерку, стремясь полнее, детальнее выразить те впечатления от многочисленных зарубежных поездок, что не нашли (или нашли, но частично) свое отражение в стихах. А похожи книги... Впрочем, разговор об этом особый.

Если искать наиболее выразительную черту творчества А. Вергелиса, то, пожалуй, точнее всего определить ее можно словом «беспокойство». В одном из стихотворений, обращаясь к морю, поэт говорит: «Век за веком проходит. Сменяются ночи и дни. Но твоё беспокойство не знает ни ночи, ни дня. Впрочем, сам я такой же: твоё беспокойство сродни беспокойству, которое в сердце гудит у меня» (перевод Ю. Левитая).

ского). Автохарактеристики подобного рода можно встретить и в прозаической книге, например в очерке «20 дней в Америке»: «Довольно отдыхать! Вчерашний день — без дела, без волнений был мне в тягость». В этом активном отношении к жизни и надо, на мой взгляд, искать то общее, что объединяет обе книги, более того, делает их как бы органически спаянными.

Арон Вергелис родился «за Барабой», в бибриджанской тайге, на дальних рубежах нашей родины, в краю голубого Амура, там, где «ходят шорохи и шумы и пахнут хвоей родники». Вероятно, отсюда в его поэзии чувство необычайного простора, не исчезающее даже тогда, когда речь, к примеру, идет всего лишь о роднике (стихотворение «Здесь родника коснулся я губами» в переводе Вл. Соколова) или о тропе (стихотворение «Я первую тропу пробил вчера» в переводе И. Френкеля).

Уже ранние стихи А. Вергелиса, написанные накануне Великой Отечественной войны, просвечены беспокойством, стремлением постигнуть извечный смысл бытия, утвердить свое творческое, жизненное кредо: человек может обрести настоящее счастье только в борьбе, только в преодолении — стихий, жизненных обстоятельств, самого себя.

Великая Отечественная война оставила на сердце поэта глубокий, неизгладимый рубец. Именно тогда, в годы суровых испытаний, А. Вергелис окончательно сформировался как поэт и лирика его обрела гражданское наполнение:

Я с пехотой шел высокими хлебами,
Коваными я топтал их сапогами.
Где ж тут смысл? Ведь эту рожь я сам
посеял!

Шел красивыми лесами, шел я с боем,
Только пепел оставляя за собою.
Где ж тут смысл? Леса я так в душе
лелеял!

А однажды бой возник в моем селе —
И взорвал я дом родной без сожаленья.
Где ж тут смысл? Я дом родной, как дым,
развевал!

Эй, хлеба, леса и дом! Я — ваш ответчик.
Все отдам сполна и клятвы не нарушу;
Если в душу мне проник бы враг-разведчик,
Я взорвал бы с ним и собственную душу!

(Перевел Г. Абрамов)

Пафос таких стихов обеспечен тяжелым фронтовым опытом, военной работой, невзгодами, лишениями и потерями, которые коснулись миллионов советских людей.

Тема родины, тема минувшей войны и борьбы за мир, пожалуй, основные в

«Избранном» А. Вергелиса. Они же составляют и суть книги «16 стран, включая Монако». Причем авторская позиция в путевых очерках обнажена резко, что вполне естественно, так как к этому побуждает сама публицистическая направленность записок, их конкретика, открытый спор двух идеологий.

«Лично я отправляюсь в зарубежную поездку лишь тогда, когда испытываю потребность не только увидеть, как живут люди в другой стране, но и рассказать о моей родине. Причем во время таких путешествий я, может быть, сильнее, чем дома, сознаю и чувствую, кто я есть, и кое-что из моего характера здесь проступает острее.

Во всяком случае я, находясь за рубежом, особенно отчетливо ощущаю, что я еврейский поэт и что я один из двух с половиной миллионов евреев, которые живут в Советском Союзе. Это обстоятельство безусловно придает свой особый смысл многим встречам и контактам в той стране, где временно нахожусь».

В этих словах писателя сформулировано не только его отношение к такого рода поездкам, но и к своей миссии за рубежом, а значит, в большой степени и к самой книге как к активному идеологическому оружию. В книге «16 стран, включая Монако» туристские описания, неизбежные в такого рода литературе, почти полностью вытеснены столкновениями и спорами людей двух разных идеологий — на пресс-конференциях, различного рода вечерах и встречах, официальных приемах и обедах. Не случайно в капиталистических странах, например в Англии, кое-кто воспринимает поэта как высадившийся на остров десант — Вергелис говорит об этом с гордостью, и одно из написанных им в Англии стихотворений так и называется: «У вас высадился десант». Для буржуазного мира советский поэт — реальная сила, способная противостоять натиску оголтелой пропаганды советологов, бороться за души и сознание тысяч людей.

Буржуазная пропаганда, если речь идет о Советском Союзе, не стесняется не только передергивания фактов, но и прямой, грубой клеветы. В частности, на национальную политику Советского государства. На одной из пресс-конференций в Нью-Йорке наши недруги, лицемерно выступавшие «в защиту» советских граждан еврейского происхождения, услышали в ответ взволнованную речь поэта: «Просто уму непостижимо, как в определенных кругах не желают прислушаться к фактам. А факты тако-

вы, что в Советском Союзе евреи играют большую роль в экономике, в науке, в литературе и искусстве, в медицине. Посудите сами: возможно ли это в стране, где официальная политика—антисемитизм? Возможно ли в таком государстве, чтобы евреи, занимающие одиннадцатое место по численности среди других народов, были на третьем месте по количеству студентов в высших учебных заведениях, на третьем месте среди ученых, чтобы из них вышло такое большое количество генералов и офицеров, чтобы, наконец, вице-премьер в правительстве был евреем? Возможно ли было бы, чтобы евреи, составляющие немногим более одного процента населения страны, составили четырнадцать процентов врачей и писателей, двадцать три процента музыкантов и так далее?» В большой, многомиллионной аудитории (пресс-конференция транслировалась по радио и телевидению) такие убедительные ответы, естественно, не могут пройти незамеченными, им трудно что-нибудь противопоставить: точные факты убеждают лучше самых красноречивых рассуждений. Конечно, наши оппоненты не легко уступают свои позиции, но очевидно, что поэтический «десант» уже расширил плацдарм, подорвал доверие миллионов американцев к затасканным штампам антисоветской пропаганды.

Книга «16 стран, включая Монако», как и поэтический одностомик А. Вергелиса, в своем роде итоговая. Собранные в ней очерки создавались писателем на протяжении ряда лет. Все они не утрачивают значения и по сей день. Нельзя без волнения читать очерк «Переедем Вислу, переедем Варту...», повествующий об открытии мемориала жертвам фашизма в бывшем гитлеровском лагере смерти Освенциме. Гневом

проникнуты «Письма из Европы», разоблачающие на убедительных примерах ложь сионистской пропаганды.

За рубежом Арон Вергелис по праву чувствует себя полномочным представителем советского народа, советского искусства. Свидетельство тому не только его публицистические очерки. Достаточно вспомнить такие стихотворения, как «Хам в Карнеги-Холл», «Гангстеры», «На обратном пути из Америки», «Камни Трешлинка», «Реабилитация», «Пресс-конференция на Еврейской улице», чтобы еще раз убедиться в этом. И не случайно в книгу путевых очерков на равных правах входят и стихи, написанные за рубежом.

Увидеть, понять, прочувствовать — и сказать свое неповторимое слово! Поэтому каждый день поэта — это день напряженного труда, напряженных раздумий.

Нет-нет, он не истек и не промчался мимо.
Мой день! Мой Целый День! И в нем я
прожил день!
Отшвыривая лень, я шел неутомимо,
Взбираясь без перил на каждую ступень.

Я вышел, как зерно из мельницы. Я вышел
В серебряной муке, в свежайшей сечине.
И в постоянстве дней такой мотив услышал,
В котором мой мотив тонул, как медь
на дне.

Но день был полон мной, равно как я им
полон.
И взял он мой мотив, и свой оставил мне.

(Перевела Ю. Морич)

Да, действительно эти мотивы так тесно переплелись, что слились в один — мотив беспокойной жизни, пронизывающий обе книги А. Вергелиса.

Владимир КОЧЕТОВ.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

Юрий Барабаш. Вопросы эстетики и поэтики. Издание третье. М. «Советская Россия». 1978. 384 стр.

Духовная жизнь современного общества примечательна возрастанием роли теоретического сознания, что обусловлено как усилением идеологического содержания в различных сферах человеческой деятельности, так и, в частности, проникновением теоретически-концептуального начала в область художественного творчества. Весьма

характерно, что многие современные художники занимаются теоретическим осмыслением, интерпретацией и анализом собственных произведений.

В современном западном искусстве это дает о себе знать в различных областях художественного творчества: в литературе (Элиот), кино (Бергман), театре (Брук), му-

зыке (Штокхаузен) и т. д. Существует и такое мнение, что теоретическая интерпретация произведения имеет не менее важное значение, чем само произведение. Подобного рода воззрения опираются на суждения ряда буржуазных ученых, таких, например, как А. Ричарде, который полагает, что литература и искусство создают лишь своеобразные духовные полуфабрикаты и что они должны быть доведены до соответствующей кондиции усилиями теории и критики. Подобное понимание роли интерпретации открывает широкий простор субъективизму в литературно-художественной критике, в анализе и истолковании конкретных произведений.

Субъективизму и произволу в теории и критике противостоят марксистско-ленинское литературоведение и вся область искусствознания в целом, важнейшими особенностями которых являются объективность суждений и научный конкретно-исторический, социально-классовый анализ художественных явлений. Поэтому появление каждого серьезного исследования, посвященного современному литературно-художественному процессу, представляет не только теоретический интерес, но имеет и актуальное идеологическое значение. В ряду таких исследований заметное место занимает книга Ю. Барабаша «Вопросы эстетики и поэтики», вышедшая уже третьим изданием.

Главы, составившие книгу, были ранее опубликованы в виде статей в периодической печати. Однако собранные воедино, они в концептуальном и содержательном отношении оказались более емкими, чем представленные в отдельности. Содержание этой книги нетождественно простой сумме составивших ее частей: перед нами не обычный сборник статей, а целостное монографическое исследование. На это вполне справедливо обращает внимание и сам автор: «Предлагаемую... книгу я рассматриваю как цельную работу — и по замыслу, и по проблематике, и по авторскому взгляду на предмет».

Авторский замысел нашел в книге свое удачное воплощение. И объясняется это, по нашему мнению, не просто тем, что статьи, составившие книгу, дополняют друг друга. Конечно, и это существенно. Но главное состоит в том, что в книге Ю. Барабаша фундаментально рассматриваются проблемы, стоящие в центре современного литературоведения и искусствознания. Более того — в центре современной художественной культуры. Книга насыщена богатым конкретным материалом — от антич-

ности до наших дней, — автор обращается к разнообразным вопросам истории и теории литературы и искусства. Но какие бы вопросы его ни интересовали, в монографии есть проблемы, анализу которых подчинено все ее содержание. Речь идет, во-первых, об идеологической направленности художественной культуры, в том числе литературного процесса, и, во-вторых, о методологических аспектах современного литературоведения и искусствознания. Иными словами, идеологическая и методологическая проблематика образует два смысловых центра, определяющих как концептуальное содержание, так и композиционную структуру монографии Ю. Барабаша.

Книга включает в себя шесть очерков. Первые три — «Искусство, идеология, политика», «Альфа и омега», «„Прост, как правда“» — в основном посвящены анализу идеологических аспектов литературы и искусства; очерки, следующие за ними — «Этот неотступный Сальери...», «О повторяющемся и неповторимом», «Наука об искусстве: поиски синтеза (К методологии комплексного изучения)», — проблемам методологическим. Но такое разграничение весьма условно. Прежде всего потому, что в главах, посвященных идеологической проблематике, содержится немало методологических положений, а главы методологические сплошь и рядом обращаются к постулатам идеологическим. Важно, что между этими группами глав или очерков существует связь более глубокая, внутренняя, органичная. Эти органичные взаимотяготения обусловлены как предметом исследования, так и последовательно выраженной позицией автора. Достоинство и актуальное звучание книги как раз и состоит в том, что в ней убедительно и аргументированно показано: для плодотворного анализа идеологической проблематики необходимы такие методологические подходы, которые соответствуют характеру современного научного знания; и методологическая проблематика — вопреки распространенным в буржуазном литературоведении утверждениям — отнюдь не подлежит деидеологизации, а, напротив, включает в себя существенные идеологические аспекты, в ней прямо или косвенно, непосредственно или опосредствованно отражаются идейные конфликты и борения времени. Автору хорошо удалось показать, что вопросы методологии литературоведения и искусствознания не только не возвышаются «над схваткой», но и сами относятся к существенным объектам идеологического противостояния. «...Вопросы методологии, — отмечает автор, —

а подчас и методики научных исследований выступают в тесной связи с проблемами мировоззренческими, идеологическими, и это нагляднейшим образом опровергает ходячий миф о якобы существующем жестком водоразделе между идеологией и так называемой «чистой» методологией. Такой водораздел оказывается иллюзией.

Круг вопросов, исследуемых в рассматриваемой книге, необычайно широк: соотношение идеологии и художественного творчества, взаимопроникновение творческого метода и поэтики, проблема художественной правды и эстетического идеала, вопросы народности в эстетике революционных демократов и ленинский принцип партийности искусства, художественно-образная природа искусства и «моделирование» художественной мысли, системный подход и комплексное изучение искусства, историзм как ведущий принцип марксистской методологии, социально-классовый подход к анализу явлений искусства, критический анализ методологических концепций буржуазного литературоведения и формирование методологических идей в их историческом развитии и т. д. В краткой рецензии нет ни возможности, ни необходимости показать, как рассматриваются все эти вопросы в книге. Нас всего больше занимает общая концепция книги, ее системообразующие факторы, метод, которому следует автор, анализируя поставленные им вопросы. Однако представляется целесообразным на некоторых вопросах остановиться. Хотя бы и не системно. И даже бегло.

Сложный вопрос о соотношении идеологии и искусства автор исследует тонко, опираясь на громадный историко-литературный материал. Он далек от упрощенного отождествления литературы и искусства с идеологией, убедительно показывает, что литература и искусство, будучи носителями определенного идеологического содержания, шире идеологии и обладают многогранной природой. Искусство выступает в книге Ю. Барабаша как сложная система духовных ценностей, как отражение действительности и средство ее преобразования, как социально-классовый феномен. И при этом — как мир красоты и эстетического наслаждения, как информативная система и т. д. Но выявляя отдельные стороны и функции искусства, раскрывая относительно самостоятельный характер художественного творчества, автор вместе с тем отстаивает идею активного взаимоотношения искусства со всеми другими сферами социальной и духовной жизни и, что

особенно важно для проблематики книги, идею целостности самого искусства. «Искусство,— пишет Ю. Барабаш,— это и относительно автономная, «самодвижущаяся» система, функционирующая по своим специфическим внутренним законам, и в то же время это система, которая постоянно испытывает воздействие внешних, внеэстетических факторов...» И далее автор справедливо заключает, что ни одно из выше-названных определений или функций искусства «не может претендовать на то, чтобы, взятые отдельно, изолированно, они могли дать не только исчерпывающее, но и сколько-нибудь полное представление об искусстве».

Книга, названная «Вопросы эстетики и поэтики», убедительно доносит до своего читателя, что эстетика и поэтика не идентичны, что у каждой свои компетенции и смешение их непозволительно. Однако представляется важным не только развести эти понятия, но и установить особенности взаимоотношений, характер их взаимосвязей, что и сделано очень точно в рассматриваемой книге. По мысли автора, «усиление внимания к поэтике, к вопросам мастерства сопровождается заметной активизацией литературоведческой мысли в области теоретических проблем социалистического реализма». Это наблюдение весьма существенно. Подвергая аргументированной и корректной критике представления противников социалистического реализма, будто творческий метод советской литературы — это лишь политическая доктрина, лишенная якобы эстетического содержания, Ю. Барабаш интересно и свежо выявляет именно его эстетическую сущность. Масса недоразумений, на наш взгляд, нередко возникает как раз из-за смешения творческого метода и его поэтики, и книга Ю. Барабаша интересна тем, что обосновывает диалектику их взаимоотношений. Большое место занимают в книге вопросы художественного мастерства, взятые в самом широком смысле (а не только в плане технического), проблемы художественного многообразия и, чтоб не перечислять и не дробить идей автора, скажем обобщенно — идейно-эстетического богатства метода социалистического реализма.

Особый интерес представляют главы, посвященные проблематике методологической. Сквозным для них мотивом является обоснование историзма и системного подхода к исследованию литературы. Раскрывая сущность такого подхода, автор верно предостерегает против отождествления его с попытками систематизации художествен-

ных явлений, имевших место и в прошлом на различных этапах истории литературоведения. И даже тогда, когда автор в тексте не касается непосредственно принципа системности, принцип этот все равно наличествует там в качестве исходной методологической позиции.

В книге много внимания уделено структурализму в литературоведении. И это естественно. В анализе методологических проблем современного литературоведения без исследования и оценки — позитивной или негативной — структуральных подходов не обойтись. Предметом анализа здесь выступают и концепции «формальной школы» 20-х годов, и работы пражского кружка, в частности исследования Р. Якобсона, и воззрения французских структуралистов Леви-Стросса, Р. Барта и других. Общая критика структуральных теорий не мешает автору увидеть и некоторые их позитивные элементы и учесть возможность использования структуральных приемов в качестве вспомогательных, и притом в ограниченных рамках. Однако он глубоко прав, когда отказывается оценивать структурализм в литературоведении по принципу: просто отделить позитивное от негативного. Он прав, когда исходит из того, что важен концептуальный анализ структурализма как методологической концепции антиисторической и негуманистической. Ссылаясь на то, что некоторые буржуазные структуралисты называют себя марксистами, автор

четко выявляет принципиальные различия между марксистским пониманием структуры, основанным на историзме, и концепциями современного структурализма. Глава, посвященная анализу структурализма, метафорически названа «Этот неотступный Сальери...». А написана она вся так, что у читателя возникает желание сказать — «но все же Моцарт!». Мы имеем в виду этим сказать, что «сальеризму» в подходе к анализу искусства противопоставляется другой принцип — учет целостной сущности художественного произведения.

Книга Ю. Барабаша — серьезное марксистско-ленинское исследование существенных проблем современного литературоведения и искусствознания — вносит свой вклад в науку о литературе и искусстве. Насыщенность конкретными фактами, емкая информативность, живой литературный язык, сочетание теоретического анализа со страстностью публициста — несомненные достоинства рецензируемой работы. Строки эти не столько рецензия, сколько непосредственный читательский отклик. Книга Ю. Барабаша хорошо известна специалистам. Наша цель — привлечь к этой интересной и содержательной книге внимание как можно более широкого круга читателей, интересующихся теоретическими проблемами литературы и искусства.

А. ЗИСЬ,

доктор философских наук.



Политика и наука

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Егор Яковлев. Портрет и время. М. Политиздат. 1979. 352 стр.

В публицистической, раздумчивой книге Егора Яковлева читатель, казалось бы, не находит внешних примет сегодняшнего дня. Но острое чувство актуальности возникает почти с первой страницы и не покидает до последней.

Актуальность книги — в последовательно сегодняшнем взгляде писателя на страницы жизни Ленина. Каждому поколению время диктует свою точку отсчета, свой угол зрения для оценки величия ленинских дел, притягательной силы его личности. «Чем больше проходит времени, тем ближе нам об-

лик Ленина-человека, — пишет автор. — Наше развитие движется от веры к знаниям, от аксиом — к теоремам, от преклонения перед Лениным — к осознанию значения совершенного им». В рассказе о Ленине, в рассмотрении его поступков, дел, нравственных идеалов мы находим ответы на вопросы, которые заботят и волнуют нас сегодня.

Автора занимает больше всего облик Ленина-человека. А книгу между тем можно было бы назвать руководством по ленинскому стилю работы — само собой разуме-

ется, не в смысле свода нравил, а того душевного настроя, когда и без инструкций человек действует так, как требуют этого партийная мораль и этика. Дело в том, что жизнь Ленина нерасторжима с борьбой революционера. Мы стремимся как можно основательней постичь индивидуальность Владимира Ильича, но в ленинской индивидуальности как раз и заключено общее: поступки, нормы отношений с людьми, образ мыслей — во всем этом воплощены нравственные идеалы созданной им партии. Говоря словами Луначарского, «биографическое в нем, интимное в нем тоже имеет огромную, общечеловеческую ценность».

Эти соображения и определяют суть работы автора, о которой он пишет: «Еще раз обратиться к первоисточнику ленинской мысли и слова, услышать голоса тех, кто находился рядом с Владимиром Ильичем, был свидетелем его решений и участником действий, — желание это естественно. Оно продиктовано и стремлением глубже осмыслить облик Ленина и скромной надеждой хоть в какой-то мере приблизить свое бытие к идеалам и принципам того, кто, по словам Ромена Роллана, еще при жизни „вылил свою моральную фигуру в бронзу, которая переживет века“».

Подзаголовок книги — «В. И. Ленин — штрихи биографии, рассказы в документах, репортаж из года восемнадцатого» — определяет своеобразие ее построения. Рассказ ведется в трех жанровых тональностях, по трем линиям, которые, соединяясь, дополняя друг друга, делают картину объемнее и полнее. Из трех, и несхожих, нитей рождается единое полотно.

Основа книги — публицистические раздумья автора о личности Владимира Ильича, о беззаветном служении революции и личном мужестве Ленина, о нормах во взаимоотношениях с товарищами по партии, о чувстве нового, отношении к так называемым мелочам, о скромности. Здесь нет временных рамок, автор строит свои размышления на фактах и эпизодах, почерпнутых из самых различных периодов жизни Ленина.

Эти главы — «Штрихи биографии» — особенно отличает свежесть взгляда, новизна выводов, умение перешагнуть за привычное. Казалось бы, сплошь и рядом речь идет об известных фактах. Однако обращение к ним отнюдь не превращается в повторение общеизвестного: соединились труд исследователя, мысль публициста — и перед нами открылся второй слой. Вспомним, например, историю, которую скорее всего можно называть хрестоматийной: в мае 1918 года Вла-

димир Ильич объявил выговор работникам Совнаркома за повышение зарплаты ему, Ленину. Мы вспоминаем об этом эпизоде всякий раз, когда говорим о ленинской скромности. Между тем автор утверждает, что история эта далеко не однозначна, и обращается к предшествующим ей событиям.

Секретарь Совнаркома Н. П. Горбунов докладывает Ленину о том, что в связи с ростом цен повышена заработная плата наркомов, и предлагает в связи с этим направить им запросы. Владимир Ильич не соглашается, он поступает иначе: объявляет выговор за самовольное повышение заработной платы Председателю Совнаркома, а наркомы сами должны сделать из этого выводы. «Так каждое решение, принимаемое Владимиром Ильичем, становилось школой государственности. Впрочем, почему становилось — остается и сегодня», — завершает этот эпизод автор.

Другая линия повествования — «Репортаж из года восемнадцатого». Она продиктована скорее всего стремлением показать черты характера Владимира Ильича в действии, когда они проходят проверку практикой. Конкретность исторических условий — труднейшее время революции, переезд правительства в Москву, начало гражданской войны и военной интервенции — дает возможность показать чрезвычайно ярко, например, исторический оптимизм Владимира Ильича. В свои первые московские дни он пишет основополагающую работу «Очередные задачи Советской власти», в которой детально разрабатывает план мирного наступления социализма.

С тем же оптимизмом подходил Владимир Ильич к празднованию 1 Мая 1918 года — первого праздника после победы Октября. В канун его руководитель американской миссии Красного Креста в России Раймонд Робинс старался уговорить Ленина не устраивать манифестаций и шествий — время тревожное. Владимир Ильич ответил: «Всегда в день Первого мая в течение многих лет мы выступали во имя грядущей революции. Теперь Советская республика в первый раз будет праздновать Первое мая во имя свершившейся революции. Мы должны праздновать и устроить шествие. Многие из нас, быть может, будут маршировать босиком, но все-таки мы будем маршировать...»

Характерно, что репортажи из прошлого чаще всего как бы проецируются в наше время. Автор, современный журналист, ведет беседу со своим литературным героем — репортером из года восемнадцатого. Беседуют коллеги, мы же невольно видим, как

велико стало с годами различие в их интересах, в самом подходе к одному и тому же событию. Осенью восемнадцатого, когда произошло покушение на жизнь Владимира Ильича, репортера прежде всего волновал ход болезни Ленина, репортер негодовал и был поражен тем, что нашлись люди, злодейски поднявшие руку на вожда революции. Нас же сегодня поражает кроме того и то, что было в порядке вещей: в квартире Ульяновых всю ночь после ранения сотрудница Совнаркома стирала бинты — свежих неоткуда было взять; на второй день болезни в комнату, где лежал Владимир Ильич, его пришли поприветствовать трое красноармейцев — и они не только не подумали надеть белые халаты, но даже винтовки не оставили в прихожей...

Наконец, третья, и последняя, линия повествования — «Рассказы в документах». Высказывания Владимира Ильича, решения партии и правительства, сообщения газет, воспоминания современников; в последовательном и, я бы сказал, драматургическом подборе этих документов раскрываются интереснейшие эпизоды жизни и деятельности Ленина. Мы узнаем, например, все подробности назначения наркомом земледелия сибирского крестьянина В. Г. Яковенко. История поучительная, раскрывающая великую веру Ленина в государственный разум людей труда. В другом рассказе читаем документы, посвященные пятидесятилетию Владимира Ильича, когда в полной мере сказалась политическая скромность Ленина.

Самостоятельное знакомство с документами ставит нас в положение исследователей, открывает возможность для собственных выводов, позволяет самим составить представление об особенностях характера Владимира Ильича. И это в полной мере отвечает всей направленности книги, можно сказать, творческой концепции автора. Уже в начале книги он утверждает: «Радость познания образа Ленина в бесчисленности открытий, которые доступны заинтересованному читателю».

Мы больше привыкли, пожалуй, к исследованию-поиску, когда публицист идет за документом, воспоминанием, биографией — всем, что связано с деятельностью Ленина. И в результате поиска, порой многолетнего, открываются новые факты, обогащающие наше знание истории. Не раз занимался таким поиском и Егор Яковлев: стремился узнать, как сложилась судьба карты ГОЭЛРО, той, что была вывешена на сцене Большого театра во время VIII съезда Советов; в доку-

ментальной повести «Взрыв» шел по следам ленинской телеграммы. А вот в книге «Портрет и время» автор стремится не столько пополнить наши знания, сколько раздвинуть наши представления, помочь сделать свои выводы и еще раз понять: тема Ленина безбрежна.

Автор задается вопросом: достаточно ли осмыслена нами та литература, которая доступна сегодня каждому читателю, — сборники воспоминаний, тома «Биографической хроники» В. И. Ленина? И здесь же доказывает, что каждая страница, буквально каждая строка из этих книг может стать основой для самостоятельных раздумий. А они необходимы не только автору, но и каждому из нас. Почему? Да потому что общеизвестное — это еще не твое. К прошлому нельзя подъехать с чужих слов. Только то, что завоевано твоим разумом, в результате твоих размышлений становится достоянием твоих убеждений. «Гениальность Владимира Ильича, его мужество, сила воли, принципиальность и скромность — все это подтверждено опытом старших поколений, стало выводами их жизни, — говорится в книге. — Но выводы, как известно, лишь венчают путь самостоятельных раздумий. Путь же этот должен пройти каждый, кто хочет располагать собственными убеждениями».

Исследовательский пафос работы придает особую взволнованность рассуждениям автора. При этом в книге только стройная логика фактов, приглашение к сопоставлению, раздумью. И даже когда, казалось бы, нет сомнений в правоте авторских предположений, следует оговорка: «Глубоко уверен — все было именно так, но ручаться, к сожалению, не могу...»

Путь самостоятельных раздумий обуславливает и сомнения автора, вопросы, которые он часто задает самому себе, а порой и спорит с самим собой. Один лишь пример: речь идет об отношении Владимира Ильича к упоминаниям его имени в печати, к публичным проявлениям восхищения в его адрес. «А почему, собственно говоря, я так тщательно перебираю факты, стараясь лишь раз убедиться сам и доказать другим, что при жизни Ленина вокруг его имени не существовало обстановки исключительности? — пишет автор. — Наверное, потому, что привычна мысль: исключительность в упоминании имени ведет к исключительности положения в партии, государстве: Но для Ленина такой взаимосвязи не существовало. Для нас служат примером принятые им нормы в работе, в обсуждении решений, в общении с людьми».

Думаю, что цитаты — их приведено уже немало — помогут составить представление о решающем, на мой взгляд, достоинстве новой книги о Ленине — необычайной ее достоверности.

Читая эту книгу, понимаешь, как много сделано, как велика Лениниана: автор приводит многочисленные и прекрасные строки из воспоминаний коммунистов ленинской гвардии. А вместе с этим возникает чувство неудовлетворения: отчего же нет сегодня

книги, написанной нашим современником, яркой, объемной, талантливой, которая рассказала бы о всем пути Владимира Ильича? Такая книга необходима для юношества. И не только для него. А ее нет пока в полубливающих народу библиотеках — «Жизнь замечательных людей» и «Пламенные революционеры». Думается, мы прошли уже достаточный путь, созрели, чтобы такую книгу создать.

Тимур ГАЙДАР.



ТВОРЧЕСКАЯ ОТДАЧА СОДРУЖЕСТВА

Обгоняя время. Рассказы писателей о друзьях — станкостроителях Москвы.
Составитель Лев Давыдов. М. «Московский рабочий». 1979. 288 стр.

В минувшей пятилетке писатели Москвы заключили социалистические договоры о содружестве с несколькими рабочими коллективами столицы. С тех пор сделано немало. Вначале нередко спорили, как лучше развивать содружество. Большинство, в том числе и автор этих строк, высказывало мнение, что самый верный путь — создание книг о героях труда, об истории, о морально-нравственной атмосфере и подвижничестве трудовых коллективов, активное, художнически углубленное проникновение в их повседневность, в их духовный мир.

Думается, плодотворность именно этого пути доказывает книга рассказов о москвичах-современниках, тружениках прославленного станкозавода имени Серго Орджоникидзе.

Писательские сборники, посвященные магистральному течению нашей жизни, ныне широко входят в творческую практику. «Герои рассказов, прежде чем попасть в книгу, стали личными друзьями-товарищами ее авторов, — справедливо отмечает первый секретарь правления Московской писательской организации Феликс Кузнецов, предвзято представляя его читателям. — А все авторы вопреки специфике литературного труда, сугубо индивидуального, так сказать, единоличного, стали соавторами, объединившись несколько лет назад в сплоченный творческий коллектив, в своеобразную комплексную бригаду».

Одни рассказы в книге посвящены менее значительному, другие — более важному, одни бесспорно удались, другие в меньшей степени. Но, будучи умело собраны вместе, они образуют как бы единое многоплановое и полнохровное произведение. Мы ча-

сто говорим: разделенная радость — двойная радость, разделенное горе — полгоря. Именно поэтому отдельные самостоятельные рассказы, как бы продолжая и дополняя друг друга, объединенными усилиями повышают и умножают гражданский пафос и художественную ценность сборника в целом. Парадоксально? Нет, закономерно. И в этом, представляется, еще один довод за, когда речь заходит, быть или не быть подобным книгам.

Характерная особенность рассказов, составляющих сборник, — основательное знание материала, добротная первичность изображения. Из гущи жизни взяты герои с их именами и судьбами, конфликтами и проблемами. Все герои — это деятели и двигатели истории, коммунисты и комсомольцы, те, чья жизнь от начала до конца проходит на передних рубежах. Все они, обрисованные предельно конкретными, запоминающимися, вместе с тем как бы слиты в единый образ. «Каждое утро десятки миллионов людей начинают свой очередной, самый обыкновенный рабочий день: становятся у станков, опускаются в шахты, выезжают в поле, склоняются над микроскопами, расчетами и графиками. Они, наверное, не думают о величии своих дел. Но они, именно они, выполняют предначертания партии, поднимают Советскую страну к новым и новым высотам прогресса» — эти слова Леонида Ильича Брежнева не случайно взяты эпиграфом к книге.

На мой взгляд, все рассказы вместе и каждый в отдельности снова и снова убеждают в непреложности истины: там, где писатель, не нарушая верности факту, поднимается над ним с помощью фантазии и ин-

туции, проникает за его рамки, постоянно осознает и утверждает себя художником, художнически действует своим воображением, там успех. И наоборот, фотографически раболопный подход к факту, бездушная фиксация, каким бы ярким, значительным ни был отправной оригинал, ничего не прибавляют ни уму, ни сердцу читателя. Словом, чем выше художественность, тем выше и социально-нравственное звучание, и эмоционально-эстетический эффект примера конкретной судьбы, тем выше ее достоверность — в полном соответствии с основным принципом реализма, который, скажем, Флобер формулировал примерно так: если в хорошо написанной книге есть страница, которая кажется сплошным вымыслом, то именно эта страница целиком списана с жизни.

По-моему, удачен рассказ Льва Давыдова «Ядро» — о Михаиле Сергеевиче Челушкине, начальнике одного из цехов. Рассказ построен на напряженном, интригующем, почти детективном сюжете: в связи с «чепейными» обстоятельствами рабочие ждут прихода следователя. В этот сюжет искусно вкраплены воспоминания, углубленные раздумья о времени и о себе. Автором раскрыта активная жизненная позиция героя. Чтобы собрать такой материал, думается, надо было с рабочими не один пуд соли съесть. Насыщен убедительными фактами, остро-публицистичен рассказ Григория Резниченко «Срочная командировка».

Елену Каплинскую привлекают судьба и труд Николая Максимовича Вороничева. Он начальник специального конструкторского бюро автоматических линий и агрегатных станков, и на протяжении рассказа «Партнеры» развертывается борьба фронтовика, вернувшегося к мирному труду, за победы НТР. Писательнице, много и успешно работающей в документальной прозе, удалось передать характерные черты нашего современника, его одержимость.

«— Так оно и должно быть, парни,— убирая очки в футляр, заключил Вдовин.— Помню, Берлин брали. Гранатами, дымовыми шашками, огнеметами выкуривали фрицев из подвалов. И сам словно обгораешь снаружи и изнутри. Бежим, оглядываемся, откуда опасность, куда пальнуть из автомата. О себе не думаешь, на товарищей, на своих ребят ориентир держишь. На них надеешься и сам их выручаешь. А они, разгоряченные, в грязь, в поту, в крови...— Он помолчал.— Потому и победили, что не о себе думали.

Я издали узнал моего героя. Вдовин такой же, как на фотографии в «Правде»: дород-

ный и доброжелательный, он в День Победы растерянно принимает гладиолусы от смеющихся девушек» — это начало рассказа Ильи Северцева «Потому и победили». Здесь поднята важнейшая тема, обрисован полнокровный художественный образ старшего мастера девятнадцатого цеха. Есть, как и на всех двадцати страницах, объемно-точная, с предельно меткими, хорошо «работающими» деталями, с цветом, вкусом, запахом проза.

Рассказ Юрия Ильинского «Упрямый человек», посвященный Петру Ивановичу Митюкову, мастеру, виртуозу-инструментальщику, написан, на мой взгляд, изящно и остроумно. Подчеркну, что характер и здесь раскрыт в действии. Это представляется чрезвычайно важной проблемой изображения вообще и конкретно существующего лица в особенности. По ходу повествования мы видим, что герой и наставник, и глава комиссии по охране труда, и депутат Моссовета. В прошлом он красногвардеец, изранен на двух войнах. Человек-коренник. За все горячо берется, всюду поспевает, за все считает себя в ответе. «Поздно вечером он выходит из проходной и направляется к дому. Идет к трамваю. Ехать всего одну остановку. Но он не решается идти пешком, устал. Все-таки ему семьдесят восьмой год...»

Показ героя в развитии, в движении души и судьбы — такой метод характерен и для Анатолия Полянского, посвятившего рассказ «Всего одна жизнь» Татьяне Степановне Евдокимовой, пришедшей к уникальному станку с огневых рубежей войны. Рассказ строго документален, писатель ни на йоту не отступает от фактов биографии героини, но тактично и свободно вторгается в глубины ее психологии, где, как известно, и скрыт ключик от художественности, секрет читательского пристрастного интереса:

«Девушка вдруг ощутила в себе знакомое внутреннее сопротивление. Так бывало всегда, когда она встречалась с неизведанным. Была возможность и отступить, но это означало поддаться слабости, признаться, что ты не осилишь того, на что способны другие. И она шла наперекор. Так было, когда комбат назначил ее командовать отделением разведки. Назначил... А вскоре признал: «Ну и характер у тебя!»

Повернувшись к мастеру, Таня сердито спросила:

— Как вы полагаете, Афанасий Васильевич, управлять зенитным орудием, если на тебя пикируют фашистские бомбардировщики, легко?

— Оно конечно, — смутился мастер, уважительно поглядывая на медаль «За оборону Москвы»...»

Разносторонне показывая судьбу героини, Анатолий Полянский своим рассказом как бы ставит перед нами еще одну проблему: судьба каждого человека — роман. Суть в том, сумеет ли писатель ощутить, пережить этот роман и заставить читателя ощутить, пережить так же то же.

О чем рассказ Александра Богучарова «Отцовское поле»? О судьбе сверловщицы станкозавода Валентины Павловны Чайки, избранной народным заседателем в суде? Да. А еще? О морально-нравственных исканиях и проблемах? О настоящем гуманизме? О советской демократии? Да, и все же... Как всякое определение, приложенное к художественному произведению, и наше ограничивает его, сильно сужает. Пусть лучше говорит сам автор:

«Защищая интересы подсудимого... Валентина Павловна защищала его будущее — будущее, где нет и не должно быть места недоверию и враждебности к доброму в людях, духовной пассивности, оборотная сторона которой — жестокость... Все люди у нас делятся на две категории: одни из

них верны долгу, другие живут сами по себе. Но одно из главных завоеваний нашей революции — молодой революции, понятной и близкой каждому труженику земли, в том и состоит, что люди долга — наша сила, наше сегодняшнее и будущее, а те, что «сами по себе», начинают тянуться к ним, пытаются порою не только понять их, но и — пока не поздно! — следовать им... Иначе грозит одиночество — что хуже этого?»

Не имея возможности остановиться на остальных рассказах, опубликованных в книге, отмечу лишь, что не вся она написана ровно. В ней встречается и поверхностность и неряшливость в языке. Кое-где авторы грешат внешним портретированием героев, иные страницы перегружены техницизмами.

В целом же, несомненно, коллективный сборник «Обгоняя время» — коллективная удача. Содружество писателей и рабочих Москвы, говоря словами Феликса Кузнецова, выдержало испытание временем. Оно принесло обоюдную пользу и заводам и писателям. Оно доказало свою жизнеспособность, с каждым днем ширится и углубляется.

Владимир КРАСИЛЬЩИКОВ.



«ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ» БУРЖУАЗИИ ФРАНЦИИ

И. М. Б у н и н. Буржуазия в современном французском обществе. Структура, психология, политические позиции. М. «Наука». 1978. 288 стр.

Стендалю принадлежит замечание, что в исторической перспективе даже крупные промышленники выглядят скорее смешными. Это было сказано полтора столетия назад, в пору, когда капитал, казалось, диктовал истории свои условия. В наше время отношения между историей и капиталом решительно иные, и все же и сегодня у капитализма, как известно, есть еще кое-какие резервы, а следовательно, буржуазию пока еще нельзя не принимать всерьез. Итак, «групповой портрет» современной французской буржуазии. Отметим, что книга И. Бунина представляет первое комплексное исследование класса капиталистов одной из ведущих капиталистических стран и, по-видимому, может послужить моделью аналогичным исследованиям по другим странам.

Работа эта тем более актуальна, что за последнюю четверть века облик правящего класса Франции очень существенно пе-

ременился. О существенности происшедших перемен можно было догадываться уже по результатам экономической деятельности. Примерно между 1870—1950 годами среди наиболее развитых стран Франция выделялась своим хроническим отставанием. Положение изменилось после того, как совершился перелив капиталов из традиционной сферы ростовщичества в промышленность. Монополии Франции сумели обновить свою экономическую стратегию. «Сегодня, — утверждает автор книги, — по своему динамизму они не уступают монополиям других стран, а порой и превосходят их».

Чем вызван был в прошлом экономический консерватизм французских буржуа? Говоря коротко, инерцией докапиталистических норм культуры. На определенном этапе французская буржуазия сделала, по выражению К. Маркса, «самой революционной на всем континенте»; того, что бы-

ло во Франции в 1789—1794 годах, не было нигде в Западной Европе. Революция нанесла жесточайшие удары по старому порядку, и все-таки в некоторых отношениях старый порядок потом одержал верх тайным или явным образом. Старый господствующий класс навязал молодому господствующему классу некоторые важные элементы своего кодекса. Идеологи побежденной аристократии нащупали уязвимое место победителей — их прагматизм — и противопоставили ему принцип «чести», что должен быть понят как идеализированная норма феодального общества (замечания автора по этому вопросу, ценные по существу, не всегда, как мне кажется, удачно сформулированы и потому утаивают место для претензий). Речь идет не об эмпирической этике аристократии (сколько помнится, первым, кто поднял знамя «чести» в 1814 или 1815 году, был... князь Талейран, наверное, самый бесчестный человек конца XVIII — начала XIX века), но о норме, выведенной из рамок сословности и сделавшейся универсально-абстрактной. Практически влияние «кодекса чести» сказалось в том, что он задал определенный тон и тонус официальной жизни. Помимо того аристократия пленила буржуазию своим образом жизни, «стилем потребления». С другой стороны, новый господствующий класс усвоил традиционные элементы мелкобуржуазной и крестьянской психологии: умеренность, бережливость, культ патриархальных добродетелей, семейных устоев. В производственной сфере сохраняла силу традиция ремесленничества, предписывавшая особое внимание к качеству изделия. Наконец, господствующий католицизм отнюдь не поощрял в отличие от протестантизма частную инициативу на поприще экономики.

Все эти факторы действовали в одном направлении: они сдерживали созревание «нормального», по выражению К. Маркса, типа капиталиста, целью которого является «производство ради производства», а образ действий предполагает стремление к получению максимальной прибыли, готовность к риску. «Производственная ситуация» до некоторой степени вступала в конфликт с «социокультурной ситуацией» (заметим, что постоянное сопоставление этих двух величин представляется главным достоинством рецензируемой книги); последняя в некоторой степени смягчала императивы, вытекающие из первой. Чересчур «пробивной» предприниматель типа американского «барона-разбойника» не пользовался престижем во Франции. В этом Франция отлича-

лась не только от США, но и от Англии, где, казалось бы, столь велика власть традиций и где тем не менее в лоне этих традиций достаточно рано одержали верх чисто буржуазные установки.

Так на протяжении первой половины XIX века складывался и к середине его окончательно сложился французский вариант предпринимательской психологии. Его доминантой были стабильность, гарантированный процент, респектабельность. Культ «порядка», установившийся во Франции, поражал внимательных путешественников (вспомним Достоевского и Щедрина), привыкших к мысли, что здесь именно располагается эпицентр всех европейских возмущений. Собирательный французский буржуа очень дорожил репутацией — своей и своей семьи, как и своего предприятия; в делах был осторожен, предпочитал твердый доход; на выскочек-нудовишней смотрел с завистью, но не одобрял их; был бережлив, но и умел пожить в свое удовольствие; в меру возможностей подражал аристократам; чтит ленточки Почетного легиона в петличках и прочие знаки отличия, равно как и мундиры всех сортов — от военного до академического (отметим специально престиж образования, высокой культуры, как один из моментов «социокультурной ситуации»); с рабочими был крут, держался в отношении их жестко патерналистской — патриархально-покровительственной — позиции (но и боялся их больше, чем его американские или английские коллеги). Великим французским писателям мы обязаны тем, что данный тип в его конкретных разновидностях знаком нам, пожалуй, лучше, или, во всяком случае, детальнее, чем его эквиваленты любой иной национальности.

Действие общего кризиса капитализма в XX столетии, пишет И. Бунин, положило конец этому довольно-таки статическому благоденствию. Экономический кризис начала 30-х годов, Народный фронт, вторая мировая война, затем утрата многих зарубежных инвестиций, начавшийся распад империи, инфляция, «вызов» международного капитала — все это вынуждало французских буржуа расстаться с таким «почтенным» занятием, как стрижка купонов, переключиться на более энергичные методы получения прибыли и прежде всего форсировать промышленное развитие. Экономическая переориентация поглотила за собой целый комплекс трансформаций: социальных, политических, идеологических, культурных.

Выражение «бегство вперед» появилось

на свет, кажется, только после «красного мая» 1968 года: имелся в виду ускоренный экономический рост и сопутствующая ему модернизация социально-экономических структур как средство уйти от социальных потрясений. Фактически же именно этот курс взят был уже в послевоенные годы. Буржуазии Франции необходимо было «бежать вперед», чтобы удержать свое экономическое и политическое господство, чтобы отстоять свои позиции в борьбе с иностранными конкурентами. Инициатива роста и модернизации исходила главным образом сверху, со стороны буржуазного государства, способного сравнительно с отдельными буржуа лучше видеть общие интересы класса. Государство всячески стремилось «расшевелить» нерасторопных (не в пример, скажем, энергичным западногерманским коллегам) французских предпринимателей, указало им твердые ориентиры: рациональность, производительность, эффективность, рентабельность, а также реконструкция, концентрация, интеграция. Правительства IV и особенно V республики представляли свои планы ускоренного экономического развития как отвечающие общенародным интересам, как вопрос национальной репутации; де Голль со свойственной ему высокостью слога называл их «пламенным долгом» Франции.

Модернизация экономики, представленная как дело в высшей степени патристическое, означало равнение на образец Соединенных Штатов, страны, где семена индустриализма, вывезенные из Европы, по выражению Жана Кокто, «принесли огромные и не имеющие запаха цветы». Теперь можно сказать, что французская буржуазия показала себя, в общем, достаточно гибкой и переимчивой; она овладела наукой современного менеджмента, вновь заняла достойное место в космополитической семье золотых тельцов, но в значительной мере утратила «лица необщее выражение». Совершенствование на американский манер методов управления экономикой сопровождается постепенной эрозией аристократических и ремесленнических ценностей французского предпринимательства; ориентация на «воспитание» рынка, навязывание ему определенного уровня продукции постепенно уступает место ориентации на приспособление к рыночной стихии (маркетинг), стремлению завоевать потребителя любой ценой. Хотя, как это подчеркивает автор книги, традиционные элементы «социокультурной ситуации» пока еще все-таки сохраняют известную силу (что сказывается, например, на рекламе,

несколько более честной — или менее бесчестной, — чем в США).

В свою очередь, усложнилась «производственная ситуация». Ее новая особенность — преобладание коллективных форм капиталистической собственности, государственной и акционерной. Роль государства в экономике несколько, правда, снизилась за последние годы: окрепшие французские монополии перестали бояться конкурентной борьбы и потому меньше нуждаются в поддержке сверху. В акционерных предприятиях по мере их роста функция управления все больше отделяется от собственности. Сохраняются и отстающие зоны в экономике. Соответственно усложнилась и структура класса капиталистов. Внутри него усилилось расслоение, выделилась монополистическая элита, тесно связанная с государством и оттесняющая от экономической и политической власти другие группы буржуазии. Появилась новая социальная группа крупных управляющих, занявшая особое и вместе с тем подчиненное место внутри буржуазного класса. Ослабли связи между крупным капиталом и мелкой буржуазией.

Современные французские буржуа являют собой пеструю картину. Здесь и «печтенные» плутократы вроде Ротшильдов, главы «семейных империй» с разветвленной генеалогией, сохраняющие чопорность, но мало-помалу уступающие свои позиции, вынужденные, например, превращать свои «вотчины» в акционерные общества; здесь энергичные менеджеры новейшей формации, воспитанные в духе корпоративности «коллективизма», похожие на менеджеров любой другой страны; здесь мастодонты эпохи раннего предпринимательства, действующие на свой страх и риск, нередко преуспевающие, но не гарантированные от случайностей конъюнктуры; здесь мелкие капиталисты, незнакомые с новейшими управленческими тонкостями, озабоченные тем, как бы выжить в конкурентной борьбе. Такая пестрота («экономическая, социальная и психологическая гетерогенность», как пишет автор) разъединяет господствующий класс и тем ослабляет его. С другой стороны, активизация рабочего класса побуждает буржуазию Франции к сплочению, к выработке какой-то единой социальной стратегии, общей идеологической платформы.

Лидеры патроната (организация французских предпринимателей) пытаются найти психологический модус вивенди, который бы обеспечил хотя бы лояльность рабочих в отношении предпринимателей; тол-

куют о некоем гуманизме нового типа, который бы как-то прикрыл разлизну процесс производства—потребление. Вынужденные отказаться от традиционного патернализма, французские капиталисты перенимают, с поправкой на местные условия, хитрую американскую инженерию «человеческих отношений», создающую видимость «товарищества» между предпринимателем и наемным работником. Вопрос, однако, ставится так, чтобы отыскать формулу классового мира не только в масштабе отдельных предприятий, но в национальном масштабе, — на это нацелен идеологический поиск французского капитализма.

Престиж предпринимателя остается низким в глазах тех французов, которые не попали в число 2—3 процентов населения, составляющих господствующий класс. Между тем сегодняшний капиталист уже не может не интересоваться тем, что выходит за рамки его дела, не может повторить вслед за Вандербильтсом: «Пошла она к черту, эта общественность!» Другие времена. Известная автономность экономической сферы осталась в прошлом; ныне руководители крупных (да и не только крупных) фирм чрезвычайно озабочены вопросом, как выглядит их предприятие в зеркале общественного мнения. (Характерно, что от крупного менеджера требуются не только чисто управленческие знания, но и общая культура. Хотя, разумеется, это не совсем та культура, что позволяла блистать цитатами из Горация, это скорее практически необходимый кругозор, позволяющий учитывать множество условий, влияющих на «ход игры».) Как убедить французов, что предприниматель — наипольнейший член

общества, что неокapитализм — наилучший вариант общественного устройства, что поэтому им, французам, надлежит «интегрироваться» елико возможно полнее и с открытым сердцем? Для капиталистов это вопрос жизни и смерти. «Мы, — говорит один из молодых лидеров патроната, — последнее поколение реформистов. Если мы не добьемся успеха, то справа и слева придут революционеры».

Но пока:

Ха, ха!
Импортируем, экспортируем,
производим и пакуем,
продаем и растем...

Это куплеты директора по «человеческим отношениям» фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» из романа Рене-Виктора Пия «Обличитель» («Иностранная литература», 1978, №№ 11, 12). Роман Пия — дурной сон с тяжким пробуждением (а не вещей ли?) — передает характерную двоякость атмосферы, царящей в подобных «транснациональных» крепостях неокapитализма: за деловитостью, энергией — растущее ощущение нестабильности. Это именно ощущение, интуиция нестабильности. Ее реальные причины, как нам показывает в своем содержательном исследовании И. Бунин, отнюдь не необъяснимы, не иррациональны, они объективны и поддаются учету. Главные из них — активизация классовой борьбы, сужение социальной базы, на которую опирается власть монополий, а также отсутствие окончательного решения в споре между силами модернизма и силами традиционализма.

Ю. КАГРАМАНОВ.



КНИГА О «КРАСНОМ ДИРЕКТОРЕ»

Тамара Леонтьева. Лихачев. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1979. 256 стр.

«Весь путь, пройденный вашим коллективом, достоин описания в хрестоматиях по истории отечественной промышленности», — сказал Леонид Ильич Брежнев на встрече с рабочими ЗИЛа.

...Директором АМО Лихачев стал в декабре 1926 года. Простота, демократичность Ивана Алексеевича сразу же пришлись по душе рабочим — и ветеранам и молодежи. Он быстро решал вопросы, умел потребовать строжайшей дисциплины труда, четко

сти, порядка, оперативности, всегда был справедлив, целыми сутками пропадал на заводе, где «каждую веревочку подбирал», не боялся запачкаться, если надо, «лез в машину». Его распорядок дня вмещал в себя несметное количество дел — с утра обходил цехи, «слушал, спрашивал, узнавал, записывал», после обеда «разгружал» очередь в свой кабинет: к нему всегда приходило множество людей по самым разнообразным вопросам.

Наладить поточное производство автомобилей и тем самым удешевить их стоимость — это стало для Лихачева главной задачей, «основным звеном» после XV съезда партии. И «красный директор» с присущей ему энергией дрался за увеличение выпуска грузовиков (в 1927—1928 годах на АМО изготовили уже 580 автомобилей вместо 100 в 1924—1925 годах); он дрался за новые кадры, смело выдвигал талантливых молодых инженеров, плачивая вокруг себя знаменитую впоследствии лихачевскую «железную гвардию», которой предстояло решать труднейшие задачи; он дрался за будущее завода, мечтая о том недалеком времени, когда при АМО будут свои ФЗУ, техникум — завод и его рабочих надо было доучивать. Он и сам не считал за грех поучиться — хотя бы у американского автомобильного короля Форда. Но «надо учиться у Америки, а не попадать в зависимость к Америке» — эту глубоко партийную точку зрения Лихачев всегда отстаивал непреклонно, не признавая никаких компромиссов.

Выдержки из решений съездов партии, партийных и правительственных постановлений, стенографические отчеты заседаний и совещаний на АМО, воспоминания людей, близко знавших И. А. Лихачева и много лет проработавших с ним бок о бок, придают книге Тамары Леонтьевой особую достоверность и убедительность.

1 октября 1931 года после реконструкции и расширения Московский автомобильный завод вступил в строй: наконец-то пошел конвейер, «поток, организующий и объединяющий своим существованием огромный рабочий коллектив». Девизом для всего коллектива стали слова «не останавливаться!». «Не останавливаться!» — ибо страна ждала автомобилей как можно больше и совершеннее. И конвейер не останавливался. Он не останавливался ни на минуту и

тогда, когда страна поставила перед рабочими и инженерами завода новые задачи: выпускать не 20 тысяч, а 70 тысяч грузовиков и одновременно освоить производство легковых автомобилей...

С началом Великой Отечественной войны необходимо было в кратчайший срок, без промедления перестроить весь заводской организм и поставить его на обслуживание нужд фронта. Именно в эти годы во всей полноте раскрылся организаторский талант Лихачева. Удивительная энергия Ивана Алексеевича «была необъятна, всегда действительна и необыкновенно заразительна».

Автор рассказывает о трудовых успехах автомобилестроителей в послевоенные годы. И. А. Лихачеву, главному инженеру завода Ф. С. Демьянюку и начальнику цеха В. П. Иванову тогда была присуждена Государственная премия за разработку метода перевода поточного производства автомобилей на выпуск новой модели без остановки завода. В 1948 году неугомонный Лихачев опубликовал в журнале «Плановое хозяйство» статью об опыте хозрасчета на заводе, о необходимости повышения рентабельности именно на основе хозрасчета, статью, многие положения которой звучат актуально и сегодня. До самых последних дней жизни (он скончался в 1956 году) все интересы Лихачева были связаны с заводом, «словно у них была общая кровеносная система».

«В центре нашей эпохи стоит рабочий класс, который постоянно выдвигает из своей среды талантливейших организаторов, командиров производства, инженеров и директоров крупнейших социалистических предприятий, таких, каким был Иван Алексеевич Лихачев — директор Московского автомобильного завода» — этими глубоко верными словами заканчивается книга.

Георгий СТЕПАНИДИН.



СТРАНИЦЫ КОСМИЧЕСКОЙ ЛЕТОПИСИ

Александр Романов. Космонавт-Два. М. Политиздат. 1979. 112 стр.

Среди тех, кто с первых же дней космической эры ведет летопись славных свершений советских людей в освоении космоса, по праву следует назвать специального корреспондента ТАСС Александра Романова. Перу его принадлежат также книги «Сыны голубой планеты», «Космодром. Кос-

монавты. Космос», «Ракетам покоряется пространство», в театрах идет его пьеса-репортаж о С. П. Королеве.

Новая книга Александра Романова «Космонавт-Два» повествует о нравственном и профессиональном становлении Германа Степановича Титова, в августе 1961 года со-

ветичинского суточный полет вокруг Земли. Читатель знакомится с волнующими подробностями самого полета, узнает о том, как сложилась послекосмическая жизнь прославленного космонавта, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта авиации Г. С. Титова.

Автор еще раз подчеркивает выдающуюся роль С. П. Королева, М. В. Келдыша, В. П. Глушко, Н. М. Сисакина, В. В. Парина и других советских ученых в развитии космонавтики. Мы знакомимся со свидетельствами мирового общественного мнения, высоко оценившего приоритет советской науки и техники, открывшей для человечества космическую эру.

Разумеется, пишет автор, полет космонавта-два имел и сугубо практические цели: нужно было выяснить возможности длительного пребывания и работы человека в космосе. Именно в этом его непреходящая ценность и значение для подготовки всех последующих многосуточных полетов. Сегодня, как известно, на околоземной орбите побывали 50 советских космонавтов, которые в общей сложности налетали более пяти лет, а продолжительность работы В. Ляхова и В. Рюмина достигла рекордной цифры в 175 суток...

В этом году отмечается двадцатилетие Звездного городка — центра подготовки космонавтов. А. Романов в своей книге приводит яркие, ранее неизвестные читателю детали жизни и подготовки будущих покорителей космоса. С интересом воспринимается, например, рассказ о том, как в 1960 году в результате коллективных усилий рождалась «Инструкция по пилотированию космического корабля». За составление инструкции будущие космонавты ввязались с азартом. Каждый писал один из разделов. Советовались, спорили друг с другом, потом сообща обсуждали каждое ее положение, каждый пункт. Г. Титову было поручено разрабатывать часть инструкции, относящуюся к действиям космонавта после возвращения корабля на Землю.

Вспоминая работу по созданию этого документа, летчик-космонавт инженер О. Макаров сказал:

— Инструкция действует и поныне, в ней как след от вклада в нее Германа Титова сохранилась фраза: «От аппаратуры не уходи до последней возможности, если уж ушел, тащи с собой максимально много. Лучше потей и иди медленно, но ничего не бросай» (по возвращении из космоса.— *Ред. J.*)

К достоинствам книги «Космонавт-Два» следует отнести стремление автора показать подготовку к полету не как путь, усыпанный розами, но как тяжелую будничную

работу, которая не каждому по плечу. После глубокой пробы космоса, говоря словами Генерального конструктора С. П. Королева, летчик-космонавт Герман Титов, щедро делясь опытом, помогал своим товарищам готовиться к новым полетам. В дни запусков космических кораблей и орбитальных станций его можно было видеть на космодроме Байконур, в Центре управления полетами. Он блестяще окончил в 1968 году Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского, получив специальность инженера. Помимо этого он освоил еще одну профессию — стал летчиком-испытателем. А. Романов приводит только один штрих из испытательских будней. «Летчик Титов совершал полет на истребителе-перехватчике. На высоте более 25 километров произошло самовыключение двигателя... Облачность покрывала Землю плотным толстым слоем от полутора до десяти километров. Полных пятнадцать километров безмолвно падал истребитель. Великолепное знание машины, уверенность в технике, самообладание и мужество решили судьбу полета. Летчик запустил двигатель, и самолет совершил благополучную посадку на родном аэродроме».

Парень из далекого алтайского села, воспитанник комсомола, прославленный на весь мир космонавт-два до сего дня сохранил неутомимость и азарт молодости. В 1972 году он с отличием оканчивает Военную академию Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова, а на вопрос, зачем это ему, отвечает: «Наш век таков, что не учишься, не повышаешь знаний хотя бы один день — и ты безнадежно отстанешь от жизни...»

Генерал-лейтенант авиации Г. С. Титов много сил отдает общественной работе. Его избрали депутатом Верховного Совета СССР, он был членом ЦК ВЛКСМ. Многие годы является председателем центрального правления Общества советско-вьетнамской дружбы, заместителем главного редактора журнала «Авиация и космонавтика». Он много читает, следит за новинками театров столицы.

Как разительно отличается полнокровная жизнь космонавта-два от судеб американских астронавтов, хотя бы той самой «великолепной тройки», побывавшей на Луне... Один из них нашел убежище «от перегрузок внимания» в маленьком провинциальном городке и всячески старается сохранить положение «добровольного изгнанника». Второй обиделся, что ему не присвоили очередное воинское звание, у него произошел нервный срыв, и он уволился из авиации. Третий стал директором музея возду-

хоплавания и космонавтики. На вопрос журналиста, хотел ли бы он повторить полет, решительно ответил: «Ни за что!.. Нет, я не хочу вновь пережить все это — и тревоги космического пути и даже его радости. Это не для меня!» Кстати сказать, после полета на Луну его участники не встречались на Земле...

Дерзновенный прорыв в космос имеет огромное научное и практическое значение. По словам философов, он пополнил наше мировоззрение новым, если можно так вы-

разиться, космическим содержанием. Околоземное пространство осваивается, обживает-ся человеком, и космические аппараты уже сегодня приносят огромную пользу народному хозяйству. Будущее человечества неразрывно связано с дальнейшим проникновением в глубины Вселенной. И земляне всегда будут с благодарностью помнить о первопроходцах космоса, в том числе и о космонавте-два, о котором поведал нам в своей книге Александр Романов.

В. ИЛЬИН.



КОРОТКО О КНИГАХ



ВОСПОМИНАНИЯ О Г. И. ПЕТРОВСКОМ.
М. Политиздат. 215 стр.

По мере отдаления в глубины истории событий, предшествовавших Октябрю, самих революционных дней и первых послеоктябрьских лет современный читатель испытывает потребность постичь духовный мир большевиков-ленинцев, понять побудительные мотивы прихода этих необыкновенных людей в революцию и истоки того огромного влияния, каким они пользовались у народных масс. Удовлетворить эту потребность могут те, кому посчастливилось близко общаться с М. И. Калининым, Г. К. Орджоникидзе, С. М. Кировым, Г. И. Петровским и другими соратниками В. И. Ленина в подполье, в работе.

Рецензируемый сборник, в котором собраны публикации более чем трех десятков авторов, посвящен Григорию Ивановичу Петровскому. О нем рассказывают товарищи по революционному подполью и ссылке, бывшие депутаты Государственной думы от большевиков и рабочие-избиратели, а также те, кто работал вместе с ним на заре его трудовой деятельности и в последние годы жизни.

Сборник воспоминаний воссоздает живой образ пламенного революционера, высветляя многие грани его незаурядной личности. Григорий Иванович предстает перед читателем и как революционер-подпольщик, и как оратор-пропагандист, и как товарищ, готовый прийти на помощь в нелегкую минуту, и как неутомимый труженик. Для читателя жизнь Г. И. Петровского становится образцом человеческого поведения, вдохновляющим примером.

Воспоминания А. В. Суханова озаглавлены «Доступен каждому». Рассказывая о событиях периода империалистической войны, автор, тогдашний ученик в Нижнеднепровских вагонных мастерских Екатеринослава, пишет: «Вряд ли был на Екатеринославщине такой рабочий, который не знал бы и не слышал в годы реакции, в годы IV Государственной думы имени Григория Ивановича». А. В. Суханов вспоминает: «Волна «патриотизма» выбила из голов многих рабочих их пролетарское самосознание. Многие... начали поддерживать лозунг «Все для войны»... Администрация надела погоны. И вот в та-

кое время прибыл к нам в Заднепровье... наш общий любимец — Григорий Иванович... В кучугурах, на песке, сидя или лежа, мы с огромным вниманием и напряжением слушали Григория Ивановича. Он тихо, не спеша, скрестивши руки, делал доклад, разъясняя отношение большевиков к вопросу о войне...» Эта встреча изменила отношение значительной части екатеринославских рабочих к империалистической войне.

Тот же А. В. Суханов рассказывает о посещении квартиры Г. И. Петровского в Киеве, «когда мы под натиском хорошо вооруженных и обученных денкинских банд отступали разными направлениями на север». Он пишет: «В Киеве в то время была обычная эвакуационная неразбериха... Казалось бы, ему не до нас, но Григорий Иванович принял нас радушно, угостив тогдашними «лакомствами». И тут опять на общем фоне неудач, поражений мы увидели, почувствовали в нем такую же бодрость, что и в 1914 году, такую же уверенность к победе». Автор воспоминаний обращает внимание на «особенную чуткость Григория Ивановича к пролетарским массам», на «умение настроить людей на нужный лад»...

Интересны и поучительны воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина о начале революционной деятельности Григория Ивановича. С ними перекликаются воспоминания Надежды Константиновны Крупской, в которых она рассказывает о теплом, доверительном отношении Владимира Ильича Ленина к Петровскому.

Образ неспящего профессионального революционера воссоздают в своих воспоминаниях Михаил Иванович Калинин, бывшие думские депутаты-большевики Ф. Н. Самойлов и А. Е. Бадаев, рабочие-избиратели Н. П. Богданов, Д. З. Лебедь и Р. Я. Терехов, товарищи Григория Ивановича по якутской ссылке Д. С. Жиркова, А. М. Емельянова, Г. И. Шергин, К. Н. Атласова-Юткевич.

Воспоминания товарищей, встречавшихся и работавших с ним в бытность его Председателем ВУЦИКа и заместителем Председателя ЦИКа СССР и в последние годы, когда он работал в Музее Революции СССР, дополняют новыми гранями облик человека, не знавшего усталости, сохранявшего на долгие годы чуткость к людям и верность сво-

им идеалам, который до последнего вздоха оставался нестигаемым революционером, большевиком-ленинцем.

Владимир Буданни.



А. М. ВЕЙН. Три трети жизни. М. «Знание». 1979. 143 стр.

Сами для себя мы, пожалуй, большая загадка, чем далекие равнины Марса. Нет? Треть всей жизни мы проводим во сне, но, как отмечает А. Вейн, нам доподлинно неизвестно, почему так, и вообще «в науке о сне не так уж много общепризнанных точек зрения». Допускаю, что такое можно сказать и о Марсе, только где Марс, а где мы, да и значит он для нас несравнимо меньше.

А. Вейн — доктор медицинских наук, видный исследователь природы сна. Книга его значительна тем, что это сведения из первых рук, и тем, что, кроме емкого обзора исследований, гипотез, загадок сна и сновидений, в ней немало интересных размышлений самого автора. Многие обыденные представления при столкновении с ней разлетаются вдребезги. Неверным оказывается бытующее мнение о сне как о состоянии глубокого покоя, полной отключенности мысли и освобождения человека от неких зловредных, в бодрствовании накапливающихся «ядов». Все это либо устарелые, либо крайне упрощенные представления, хотя еще недавно некоторые из них имели авторитет научной концепции. Лишнее свидетельство того, сколь мало мы знали об этом «втором состоянии» жизни и какие огромные, едва ли не революционные сдвиги происходят в осознании имеющихся тут проблем.

«Сон не менее активен, чем бодрствование», — заключает автор. Только это активность особого рода, внутрь обращенная деятельность организма и психики. Структура этого состояния сложна, многофазна, на редкость парадоксальна, во многом еще необъяснима. Примером тому могут быть сновидения. Многие убеждены, что им никогда ничего не снится. Наука лишь сравнительно недавно опровергла этот житейский вывод: сны видят все, только одни о них помнят, другие нет. В обыденном представлении сновидения давно стали едва ли не синонимом «ухода от действительности», чего-то заведомо бесполезного, расслабляющего, противоположного активной деятельности. И тут ошибка! Сновидения столь необходимы для нормальной работы психики, что их исключение из сна чревато нервным срывом. Этого мало. Вот далеко не полный перечень людей, которые отметили их особую роль в творчестве: Бетховен, Пушкин, Менделеев, Кекуле, Маяковский... Наверное, достаточно, чтобы перестать третировать сновидения и клеймить этим словом то, что не укладывается в привычный шаблон. В глубинах сна скрыт особый мир психической жизни, мир огромный, блестящий всеми красками и еще только ожидающий своих Ливингстонов, Пржевальских, Амундсенов, которые, надо думать, когда-нибудь вернут-

ся оттуда с поразительными известиями о новых полюсах психики, магнитных полях подсознания и тайных истоках творчества.

На размышления наталкивает любой раздел книги А. Вейна. «Веками люди думали, — пишет он, — что основная, даже единственная форма существования — бодрствование...» Теперь ясно, что сон вполне можно назвать вторым состоянием жизни. Не исключено даже, что в нем самом допустимо выделить и третье состояние, ибо кроме обычного, что ли, медленного сна есть еще недавно открытый быстрый сон, к которому и приурочены сновидения. Это не утверждение ученого, это его обращенный ко всем нам вопрос. А нет ли тогда, спросим мы, четвертого (гипноз) состояния? Может быть, еще и пятого, шестого?

Новый раздел — новые вопросы. «Бессонницы не существует», — констатирует автор, показывая, что люди, проворочавшиеся, по их утверждению, всю ночь, на деле спали не один час. Вообще А. Вейн склоняется к мысли, что бессонницы как таковой в природе нет, что спят, только по-разному, все сложно организованные существа. Тогда, возможно, это следствие какого-то общего, пока не очень нам ясного закона жизнедеятельности?

Автор старается избегать категоричных суждений, что весьма оправданно все еще слабой изученностью предмета. Не исключено, что даже сама эта изученность отчасти кажущаяся. Думать так заставляет один частный вывод А. Вейна. «Каким бы фантастическим ни был наш сон, во сне мы никогда не удивляемся никаким чудесам». Свидетельствую обратное: пишущему эти строки не раз доводилось удивляться во сне возникающим там чудесам. Беглый опрос близких показал, что не у меня одного так...

Спор, говорящий сам за себя. До истины нам еще далеко, но отрадноту, что в последнее время познание сна резко ускорилось. Немаловажно и то, что хороший специалист написал об этом нужную книгу.

Д. Билекин.



ПЕТР СЕМЫНИН. Разгадывая жизнь
смысл. Стихи. М. «Советский писатель»
1979. 271 стр.

Этот поэт запомнился мне со времени его первых (еще довоенных) публикаций — «Негр» и «Поэма о маларе». В дальнейшем я следил за всем, что появлялось из-под его пера. Поэт не баловал своего читателя количеством стихов и поэм. Зато от книги к книге все убедительней и шире раскрывался его поэтический мир. Признаться, мне всего ближе художники, жизнь которых прослеживается по их произведениям полней, чем в щедро рассказанных автобиографиях. Полней и произвольней.

Петр Семенин всегда брался за трудное и ответственное. Не просто вписать в поэтическую Ленину новые строки. В поэме П. Семенина «Звездный час» образ Ленина дан на подвижном и озаренном споло-

хами революции фоне, на фоне трудовой истории народа. В серии поэм, в своеобразной тетралогии (не вошедшей, к сожалению, в сборник), на многих страницах его произведений мы находим образ Ленина, портреты людей начальных лет революции, портреты лесорубов, сплавщиков, полярников. Большая жизнь!

В одном из стихотворений П. Семынина его героя, старого кузнеца, провожают на отдых. Цветы «в почернелых руках кузнеца-старика были, словно сияние снега, чисты». Так проза жизни под пером П. Семынина становится поэзией. Не принижать поэзию до уровня быта, а бытие поднимать до высот поэзии — таков едва ли не главный принцип этого художника.

Краска его (особенно в ранних стихах) интенсивна, порой избыточно пестра. Петух бежит «по лесенке ку-ка-реку», ударяет крылом не в изгородь, а «в край небес» и затем склевывает «все звезды над поселком». Конь, везущий мешки с мукой, ступает «как лошадиный Ахиллес». Запись голоса Толстого передается физически ощутимо: «...как мохом, обросшее шумами слово»...

Роскошество образа свободно соседствует у П. Семынина с однозначной голой речью: «Никто в свою не верит смерть, хоть каждый знает: так случится...»; или: «Перед пустым листом немею, как лопоухий первоклассник»...

Материал стиха у Петра Семынина с годами уплотняется. «Каждое стихотворение — это изобретение», — утверждает поэт. Не только в области словесной выразительности, но прежде всего в сути, смысле, содержании. «Копиист даже с божественным почерком в графе, где слово «артист», всегда останется с прочерком». В той «второй вселенной», которую создает поэт, «только труд, борьба, свобода до смысла возвышают бытие».

Для своего читателя П. Семынин — художник-собеседник, открывающий в мире новые, ранее тобой не замечавшиеся связи. Его оригинальность всегда производна от остроты и свежести мысли.

Иногда поэтов, напичканных школьной философской терминологией, у нас называют мыслителями. С легкостью необычайной и без каких бы то ни было оснований их «прислоняют» то к Баратынскому, то к Тютчеву. Я не последую примеру этих критиков, хотя в моих руках весомые доказательства близости П. Семынина именно к этой традиции. Стихотворные миниатюры Петра Семынина о жизни и смерти, любви и дружбе, природе труда и творчества не назовешь иначе как философскими. Просто скажу: среди современных поэтов мне удалось отыскать для себя интересного, умного, несуетного собеседника. Радостью этого давнего открытия я и делюсь с читателем. Мне кажется несправедливым, что Петра Семынина у нас знают мало, что он до сих пор не входит в круг высокого поэтического чтения.

Лев Озеров.



РИТМЫ. Африканская лирика XX века в переводах Михаила Курганцева. М. «Наука». Главная редакция восточной литературы. 1978. 380 стр.

Африканская поэзия уже не первый год сильно и многообразно звучит в переводах на русский язык. Это результат увлеченной работы целого отряда советских поэтов-переводчиков, открывающих нашему читателю поэтические богатства Африки. Среди них видное место занимает московский поэт Михаил Курганцев, который вот уже два десятка лет плодотворно работает над переводами из африканской поэзии.

Итогом его многолетнего труда явился выход в свет антологии современной африканской лирики «Ритмы». Эта книга представляет собой новый шаг в освоении нашим читателем поэтических ценностей, создаваемых на африканском континенте.

Перед нами и гражданско-патриотическая поэзия, и философская лирика, и «строки любви», и картины африканской природы — стихи современные и традиционные, созданные как на европейских, так и на некоторых коренных языках. Широко отражена в сборнике антиколониальная и антирацистская линия этой поэзии, поэзии справедливого гнева, протеста и сопротивления, борьбы за равноправие и человеческое достоинство. Органично вписываются в книгу стихи о ценности мира на земле, о солидарности народов разных рас, об интернациональном братстве людей труда.

Более 70 поэтов из 20 стран пробудившего материка, от Алжира до ЮАР, удачно соседствуют под общей обложкой. Михаилу Курганцеву удалось воссоздать на русском языке многообразие ритмических рисунков, стихотворную полифонию, изначально присущую поэзии Африки. Но за этой многоголосой поэтической музыкой стоит единство — и идейное и эстетическое.

В сердце народа набат раздается:
«Надежда!»
Певцы, пойте будущее,
живое и полное света! —

эти строки алжирского поэта Джамала Амрани можно было бы поставить эпиграфом ко всей антологии. Среди поэтов, представленных в книге, мы встречаем имена тех, чья жизнь неотделима от борьбы за освобождение континента. Патрис Лумумба, Агостиньо Нето, Ахмед Секу Туре, Леопольд Седар Сенгор... В сегодняшней Африке поэзия тоже оружие, подчас единственное возможное в условиях расистского беззакония и произвола, а там, где свобода уже завоевана, стихи участвуют в битве за обновление жизни.

Темпераментные строки любви и гнева, борьбы и протеста, боли и надежды, созданные признанными мастерами африканской поэзии, обрели второе рождение на русском языке. Боль и радость перемен, чаяния огромного континента стали нам понятнее, ближе. В этом нельзя не видеть заслугу переводчика книги «Ритмы» Михаила Курганцева, который несомненно наделен развитым даром поэтического перевоплощения, столь необходимым в переводческом искусстве. Поэт сумел, сохранив своеобразие пе-

реводимых стихов, воспроизвести их как свежую, яркую, естественно звучащую поэзию на русский язык, темпераментно передать раскованность и пластичность африканской поэтической стихии.

Многие из переводов, выполненные Михаилом Курганцевым, завоевали признание нашего читателя, обрели новую литературную жизнь на русском языке, не раз переводились (уже с русского) на языки других народов. Среди них «Алмазная звезда» малийского поэта Гауссу Диавары, посвященная Ленину, стихотворение южноафриканца, борца против расизма Леонарда Коса «Братьям», торжественный гимн «Сердце Африки», написанный Патрисом Лумумбой...

Новый большой сборник африканских стихов, удачно оформленный (художник Н. Абакумов) и добротно исполненный полиграфически, — хороший подарок отечественным любителям поэзии, ценящим любое вдохновенное слово, в каком бы отдаленном краю земли оно ни прозвучало.

Владимир Шленский.



НИКОЛАЙ ШУМАКОВ. Дальний гром. Стихи. М. «Советский писатель». 1978. 174 стр.

До этого у Николая Шумакова вышло две книжки стихов. Но мне представляется, что лишь с «Дальним громом» любители стиха смогут увидеть и по-настоящему оценить его дарование.

Биографическая линия, как и раньше, образует лирическую основу и в «Дальнем громе»: «Спрошу себя, забросив все дела: — Была ли у тебя когда-то юность?! — И сам отвечаю: — Трудная была...» За этими словами один из главных мотивов книги. Однако большинство ее страниц отмечено стремлением автора уже не столько к отражению самого факта судьбы, сколько к передаче его внутренней сути — в контексте жизни других людей, во времени, в судьбе страны и мира. Усилилась тяга к художественно-реалистическому обобщению. Иными словами, новая книга Н. Шумакова обладает более широкой, чем прежние, лирико-философской основой. «И жгут мое сердце полынь или соль. И правдой зовется души моей боль».

Две особенности этой книги, думаю, привлекут сочувственное внимание читателей. Во-первых, это жанровая ее сторона. Сегодня, и это знаменательно, в фаворе как у мастеров, так и у молодых оказался крупный, эпический жанр — поэма. Однако короткое лирическое стихотворение порой дается труднее, чем крупные вещи. Н. Шумаков предпочитает работать в малом жанре, стремясь к краткости выражения. Его небольшие стихотворения нередко радуют глубиной содержания. Тяга к обобщениям, о которой говорилось выше, находит соответствие в лаконизме формы. Вот одно из таких стихотворений — «Осенняя ночь»:

Вода в реке густа, темна, как тушь...
Застыло время, словно в невесомости.

Наверно, ночь вобрала темень душ.
А звезды в ней — крупинки совести.

Уроженец курского села, выросший среди крестьян, рано познавший нелегкий труд на поле, автор этой книги умеет создавать краткие и точные портреты своих земляков, людей с непростыми и порой суровыми судьбами. И, как правило, лирическим фоном таких стихов являются образы родной природы. Неброские, но светлые и зримые, они как бы оттеняют характеры людей, о которых пишет Шумаков. Недаром на многих страницах этой книги появляется слово «натура» — оно часто становится ядром метафоры, в которой пластично слита человеческая судьба с судьбой земли, на которой живет, трудится, сражается и любит человек. В стихах такого плана автор подчас достигает высокой степени драматизма. Однако это не означает, что в «Дальнем громе» преобладают темные тона. В основе натурфилософской лирики Шумакова заложено понимание многогранности мира и бытия, реалистический взгляд на жизнь как на сложный и неоднозначный процесс, где счастье и горе, радость и печаль часто идут бок о бок. Автор чувствует необходимость воплотить в стихе все оттенки жизни, показать ее глубину. «Да, жизнь у лириков короче на все страдания других», — пишет он в стихотворении «Лирики», посвященном одному из мастеров советской поэзии Николаю Ушакову. Влияние этого крупнейшего поэта сказывается в стремлении автора «Дальнего грома» к ясной и сжатой метафоре.

Поэтика многих стихов Шумакова близка к фольклору. В них присутствует гиперболизм сказки, легенды. Однако надо заметить, что некоторые из его стихотворений страдают однообразием ритмики, звучание их порой монотонно, «добрый старый ямб» не всегда соответствует возложенной на него эмоциональной нагрузке. Есть у автора отдельные короткие стихи, где проглядывает морализаторство, пристращение к тривиальным режюме: «Пусть буду я печален, одинок, пускай не одиноки будут люди». Подчас хорошие строки портит неточная рифмовка, в особенности когда рифмуются однокоренные слова типа «верная — наверное», «ходок — находок»... Однако в целом фактура большинства стихотворений «Дальнего грома» пластична и прочна. В лучших строках чувствуется художественный вкус автора, своеобразие его мироощущения.

Ст. Золотцев.



Н. АНАСТАСЬЕВ. Разочарования и надежды. Заметки о западной литературе сегодня. М. «Советский писатель». 1979. 182 стр.

Автор книги поставил перед собой задачу раскрыть наиболее существенные черты современного литературного процесса в странах Запада, определить, чем отличается ли-

тературное движение 70-х годов от предшествующего этапа развития — 50—60-х годов.

Жанр заметок позволяет автору прибегать преимущественно к обобщенным характеристикам, во всяком случае не углубляться в детальный анализ отдельных произведений. Пользуясь этой возможностью, Н. Анастасьев в то же время избегает априорности в суждениях. Устанавливая, к примеру, что в центре внимания западной прозы 50—60-х годов — «стандартизация личности, утрата душевных качеств, внутренняя пассивность» индивида, автор в соответствии с возможностями жанра заметок ведет речь о типологии популярных романов, исследуя общность и плодотворность эстетического интереса у различных писателей к социально-психологическим проблемам.

Вглядываясь в сегодня западных литератур, автор акцентирует свое внимание на перспективных художественных тенденциях. Так, в романах Дж. Уэйна «Зима в горах», Макса фон дер Грюна «Местами гололед», Дж. Болдуина «Если бы Бийл-стрит могла заговорить» критик обнаруживает глубину анализа, напряженный гуманистический пафос — то, что свидетельствует о прогрессе литературы.

Вместе с тем в работе отмечено, что у ряда западных прозаиков наблюдается как бы обмеление реализма, в частности документальное начало порой не углубляет, а заменяет исследование жизни; обнаруживаются изъяны типизации, состоящие в том, что вместо индивидуализации характеров художники отдают щедрую дань схеме, обозначению общих признаков персонажа.

В книге прослежено пагубное воздействие «массовой культуры» на духовную атмосферу Запада. В статье «Силуэты ложного мира» показано, что «массовая беллетристика», продуцируя миф об обществе потребления, паразитирует на реализме, весьма натурально воссоздавая «внешний облик жизни». Критиком убедительно нарисовано, как один из влиятельных потоков «массовой беллетристики» питается соками модернизма.

Если классики модернизма Дж. Джойс и В. Вулф, показывая отпадение личности от социальных связей, все же сосредоточивали внимание на трагической судьбе человека, то таким их последователям, как С. Беккет, «ненужным оказывается и сам человек». Искусство неизбежно становится бесчеловечным и перестает быть искусством.

Правда, сделав ряд интересных наблюдений над «технологией», применяемой производителями массового чтения, Н. Анастасьев неожиданно заявляет, что подступиться к этой форме буржуазного сознания «с привычными инструментами эстетического анализа бессмысленно и не нужно». Не ясно, что разуметь под «привычными инструментами» и чем их заменить. А ведь нам так важно объяснить, почему именно ядовитые цветы «массовой культуры» привлекают миллионы читателей, зрителей и слушателей.

Возможно, впрочем, что автор оговорился. Действительный пафос и единство книги Н. Анастасьева состоят именно в последовательном раскрытии сложных путей раз-

вития реализма, в доказательном анализе социальной и этической несостоятельности «массовой беллетристики».

И. Дубашиевский.

Деугавпилс.



Е. КУЗЬМИНА. О том, что помню. Книга вторая. М. «Искусство». 1979. 231 стр.

Вторая книга воспоминаний известной киноактрисы Елены Кузьминой начинается с рассказа о кинокартине, которую наше поколение кинозрителей прекрасно помнит. Это фильм «Тринадцать», снятый тогда еще совсем молодым Михаилом Роммом. Пустыня, отряд пограничников, сражения с басмачами, песчаная буря, жара, жажда, единственная женщина среди двенадцати мужчин... Фильм мужественный и романтический, долго владевший воображением зрителя, особенно юного. Фильмов с участием Е. Кузьминой до него я не видел, а из снятых после него особенно запомнилась она в классической «Мечте», в «Русском вопросе», где сыграла свою героиню совсем не так, как ее играли в театрах, в «Секретной миссии» — политическом детективе, в котором ей удалось создать образ, серьезно углубивший возможности жанра. Были и другие фильмы с ее участием: «Всадники», «Человек № 217», «Корабли штурмуют бастионы». Они запомнились меньше.

Мы знаем и любим Е. Кузьмину — актрису кино, прекрасную и своеобразную. А оказалось, что у нее есть и незаурядный литературный дар. Это показала первая часть ее воспоминаний и особенно убедительно подтвердила только что вышедшая вторая, которая как раз и начинается с фильма «Тринадцать». Точнее — начинается с того драматического момента в жизни актрисы, когда она потеряла веру в себя, готова была бросить свою профессию... Такие периоды знакомы многим, особенно людям творческих профессий. Начальные главы книги — рассказ о выходе из этого тупика. Об исцелении каторжно трудной, нередко опасной работой. Профессиональные и личные мотивы и в этих главах и далее слиты естественно и необходимо, высокая степень искренности и откровенности мемуаристики свидетельствует о большом доверии к читателю.

На съемках «Тринадцати» в книгу и в жизнь Е. Кузьминой входит Михаил Ромм как режиссер, снявший ее во многих картинах, как любимый человек, муж, друг. Эти страницы — бесценное свидетельство об одном из крупнейших наших мастеров кино и одной из ярких личностей эпохи. Они написаны той, которая знала его, наверное, лучше всех, написаны очень лично, с любовью, нежностью, с теплым юмором, незажившей болью от утраты и вместе с тем порой критически.

Жизнь кинорежиссера и киноактрисы предстает в книге как напряженнейший труд, полный неизбежных сомнений, падений, мук, деградации, усилий, веры. Стано-

вится видно, какой ценой дается достижение цели, успех.

В воспоминаниях много ярких, запоминающихся картин, примет времени в найденных и убедительно засвидетельствованных подробностях. Много действующих лиц — больше всего товарищей по кинопрофессии, но и театральных актеров, литераторов, военных, медиков. Люди эти под пером Е. Кузьминой живут. Автор воспоминаний не скрывает ни пристрастий, ни антипатий, опираясь на собственное видение, личное впечатление, даже если речь идет о тех, кто признан классиками. Глубоко трогает и запоминается портрет актрисы Одесского драматического театра Л. И. Буговой. Рассказано о ней, ее сценической жизни так, что жалеешь: а я ее никогда не видел! Очень удалась глава, посвященная адмиралу и писателю И. Исакову. У автора воспоминаний острый глаз, точная память, свободный и раскованный слог. В старом кино, в котором начинала Е. Кузьмина, на съемках горели дуговые фонари и ртутные лампы и, как после грозы, пахло озоном. Это бодрящий и освежающий запах. Им пахнут и страницы книги «О том, что помню».

Сергей Львов.



В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР. Путешествие. Дневник. Статьи. («Литературные памятники») Л. «Наука». 1979. 789 стр.

Казалось бы, судьба сделала все для того, чтобы навсегда закрыть произведениям, созданным декабристом после восстания, доступ к читателям. Однако, к счастью, этого не произошло. Как справедливо отмечают Н. В. Королева и В. Д. Рак, подготовившие издание, «к памяти Кюхельбекера долгое время потомки были равнодушны или несправедливы... В советские годы несправедливость исправлена... Настоящее издание заполняет, пожалуй, последний значительный пробел». В советское время печатались отдельные сборники его стихотворных и драматических произведений, были изданы роман «Последний Колонна» и «Дневник». Для популяризации Кюхельбекера-литератора неопеннимо много сделал блистательный филолог и писатель Ю. Тынянов.

Теперь перед нами первое почти полное собрание прозаических произведений Кюхельбекера. Книгу можно условно разделить на три части: «Путешествие», знакомящее с ранним периодом творчества декабриста; «Дневник» — своего рода литературно-критический журнал, который Кюхельбекер вел в тюрьме и ссылке, тут затронуты проблемы истории, морали, лингвистики, фольклора, эстетики; литературно-критические статьи, написанные до 1825 года. В дополнениях опубликованы прозаические части «Русского Декамерона 1831-го года» и роман «Последний Колонна», продолжающий тему «художник и общество», которую настойчиво разрабатывал Кюхельбекер-публицист. Главное в книге — литературно-критические суждения декаб-

риста. Собранные вместе, они по-своему раскрывают принцип того демократического направления в литературе 20-х годов XIX века, которое получило наименование младших архаистов, или романтиков-архаистов, или гражданских романтиков. Крупнейшим писателем этой школы был Грибоедов, талантливейшим критиком — Кюхельбекер.

Статьи Кюхельбекера обличают дарование огромной силы. На их страницах звучит страстный и честный голос критика, впечатляющий тем более, что повсюду страстность соединяется с логикой, с желанием дойти до сути вещей. Прекрасную характеристику Кюхельбекера-критика оставил А. С. Пушкин: «Статьи сии написаны целовеком ученым и умным. Правый или неправый, он везде предлагает и дает причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, дело довольно редкое в нашей литературе».

Нельзя признать композицию книги безупречной. Возможно, стоило после «Путешествия» дать литературно-критические статьи, а уж потом «Дневник» (он велся в 1831—1845 годы), где продолжают и развиваются мысли более ранних публицистических произведений.

В целом нужно отметить, что составители проделали колоссальную текстологическую работу. Сейчас архив Кюхельбекера, ставшим обладателем которого был Ю. Тынянов, частично утерян. Среди сохранившихся материалов нет автографов «Путешествия», «Дневника». Пришлось обратиться к неполным прижизненным изданиям, к цитатам в статьях Ю. Тынянова. Буквально по крупицам были восстановлены тексты книги. В настоящем издании впервые публикуются письма «Путешествия», все литературно-критические статьи, полный текст «Дневника».

Логическим продолжением книги являются комментарии и статья Н. В. Королевой и В. Д. Рака, написанная живо и интересно, помогающая разобраться в сложной литературной позиции Кюхельбекера.

Татьяна Кохмай.



ПОВЕСТЬ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ. Подготовка текстов и исследование Р. П. Дмитриевой. «Наука». 1979. 338 стр.

В этой книге встречаются живое древнерусское художественное слово с современной научной мыслью. И, заново читая тексты с симпатичными «еси», «убо», «зело», «быша», можешь не только поверять авторские рассуждения конкретикой «Повести...», но и выходить на тропу собственного творческого поиска. Изобилие фактологического материала в статьях Р. П. Дмитриевой этому еще и способствует.

Среди проблем, которые занимают внимание Р. П. Дмитриевой, на первое место выступает проблема формирования жанра. Учеными уже было доказано, что «Повести

о Петре и Февронии» имеет много общего со сказкой, былинным эпосом, житием. Отмечено было и жанровое взаимовлияние. Насколько плодотворен такой процесс? Вопрос этот принадлежит к вечно актуальным в литературной теории, но практическое решение его всякий раз единственно. Под пером Ермолая — Еразма (как показывает Р. П. Дмитриева, автора произведения) — история необыкновенной любви муромского князя Петра и рязанской деушки Февронии, наделенной особенной мудростью, становится образцом строгой и емкой прозы, простой сюжет которой включает в себя вечные начала человеческой жизни. Путь подвижничества Петра и Февронии есть реальность их участия в исторической действительности. Личное, никогда не отказываясь от себя, от своего сокровенного, охотно включается в напряженные ритмы социального бытия, смело входит в трагические коллизии времени, чтобы взять на себя их тяжесть и понести ее. В том именно внутреннем художественном принципе «Повести...»: в ней есть зерно, которое включает в себе будущий колос и вместе с тем как бы предощущает, что такое приумножение дается с великими усилиями. Отсюда и особый оптимизм этого уникального сочинения отечественной литературы, принципиально отличающийся от сказочного радостного итога. Во втором случае подвиг сразу отмечается наградой, в первом он требует еще и труда, который, впрочем, доставляет героям новое вдохновение жить. Зато если Иван из сказки получил бы только Февронию, Петр из «Повести...» обретает неисчерпаемый с южет Февронии. Жанровые особенности произведения выявляются постепенно. Во многом они определяются даром мудрой деви выводить любовь из тупиковых ситуаций. Как пишет Р. П. Дмитриева, героиня, теряя свое социально высокое положение, проявляет максимум сообразительности «и тем самым восстанавливает все свои завоевания». Повесть тем и необычна, что кризисные положения в ней преодолеваются свободой сердечного дружества двух, нарастающего по мере приближения их к смертной черте, за которой их никто не мог разлучить.

Жанр рождается из перемалывания канонов прошлого, и это признак пробуждения нового художественного мироощущения. У автора «Повести...» оно проявляется в стремлении к открытому диалогическому слову. Вот как произрастает тип слова, исторические следствия движения которого пронизательно уловил в творчестве Достоевского М. Бахтин. Эта проблема скрупулезно исследована Р. П. Дмитриевой. Рассматривая позднейшие попытки редактирования текста, она отмечает: «При отказе от диалога произведение утрачивало конкретное содержание». Даже малейшие сокращения прямой речи приводили к непоправимым повреждениям этой своеобразной — как бы дышащей в разговоре — прозы. Живой диалог героев ломает «этикетные формулы» стиля Возрождения конца XV — начала XVI века (Д. С. Лихачев). Феврония изъясняется остроумно, она легко вступает в беседу, не задерживается с ответным сердечным, умным словом.

«Повесть о Петре и Февронии», оставаясь произведением реалистическим, по-новому возрождает жанр сказки. В произведении ощущается движение самой жизни, та неподдельность чудесного, которая присуща ей и только ей. Все пережитое героями воспринимается как нечто совершенно достоверное. И это потому, что повесть сплетается с преданием, с формами изустного рассказывания, бытующими и сегодня в народе. В книге приводятся записи о Петре и Февронии, сделанные фольклористами в деревне Лысково Рязанской области. В одной из них говорится о том, как Феврония едет в Муром для венчания — на саях, хотя это Петров день. Снег вышал такой пышный! И это событие кажется естественным в контексте рассказа о двух сердцах, преодолевших отчаяние самой смерти.

Рецензируемую книгу можно было бы рассмотреть и в других аспектах. В частности, в плане текстологических изысканий автора. Многое тут, однако, будет интересно лишь специалистам. Мы же стремились подчеркнуть в исследовании то, что выводит его к живым проблемам современного литературоведения.

А. Автопольский.



Э. МЕДВЕДКИН. Звонок самому себе. Юмористические рассказы. Алма-Ата. «Жазушы». 1978. 127 стр.

Это третья книга казахстанского сатирика, хорошо знакомого читателям за пределами республики по публикациям в «Литературной газете» и журнале «Юность». Э. Медведкин остается верен излюбленному приему — он испытывает нравственные качества своих героев, придумывая для них нелепую бытовую ситуацию или делая их участниками совершенно невероятных, можно сказать, фантастических приключений. В его рассказах происходят удивительные вещи. Уютная городская квартира вдруг превращается в паровозное депо... В целях экономии металла создана разновидность цистерн с дыркой...

Писатель нарочно придумывает то, чего нарочно не придумаешь.

Как правило, почти все герои Медведкина по своим формальным признакам — интеллигенты. И писатель устраивает им экзамен на эту самую интеллигентность. Он моделирует условную обстановку, чтобы выяснить, насколько они вписываются или не вписываются в нее. И вот очкастый интеллект Кораблев, иронично оценивший пожилых пошляков, которые посещают «клуб встреч», вдруг перед сном ощущает потребность стать завсегдатаем этого клуба. А инженер Гусев, провалившийся сквозь землю и поочередно побывавший в подземных сказочных царствах «Любовь», «Изобилие» и «Успех», вынужден с позором вернуться на поверхность: жизнь, полная любви и благоденствия, — слишком

непосильное для него бремя, он еще не готов к такой жизни.

Писатель нигде не становится в позу обличителя своих персонажей. Наоборот, иногда кажется, что он вежливо извиняется за то, что вынужден оставить их в дураках. Такова одна из особенностей творческой манеры Э. Медведкина. Есть и другие.

Почти у каждого рассказа — «ударное» начало. Прочитав первую фразу, читатель уже не может остановиться. «Инженер Гусев провалился сквозь землю» — так начинается один рассказ. «Студент Борщ умер от любви» — начало другого рассказа. «Гаврилову пришла пора жениться» — так начинается третий рассказ. Лаконизм — заветное свойство любого сатирика. Э. Медведкин, порой создавая иллюзию безудерж-

ной болтливости, на самом деле предельно лаконичен. На двух-трех страничках он может запечатлеть очень серьезное и грустное явление. Сюжет у него — готовый сатирический образ. В одном рассказе некий «новенький» вынужден отчитываться перед сослуживцами в том, что он «не пьет, не курит, к бабам не цепляется, гараж не строит». Вот эта «перевернутость» взглядов и духовных качеств является главным объектом сатиры Э. Медведкина, составляет основу многих комических ситуаций.

И свою задачу возвращать предметам их истинный вес и значение, проводя резкую черту между нормой и аномалией, автор решает талантливо и весело.

Н. Шафер.

Павлодар, Казахская ССР.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗАТ

В. И. Ленин. О советской внешней политике. Сборник. 311 стр. Цена 70 к.

В. И. Ленин. Революционная армия и революционное правительство.— Задачи отрядов революционной армии. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. 208 стр. Цена 35 к.

Л. И. Брежнев. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС. 27 ноября 1979.— Постановление Пленума ЦК КПСС. 31 стр. Цена 10 к.

Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. В 5-ти тт. Изд. 2-е. Т. 5. Воспоминания зарубежных современников. 526 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Бежин. Метро «Тургеневская». Рассказы и повесть. 270 стр. Цена 80 к.

И. Гофф. Избранное. Рассказы и повести. Предисловие Е. Сидорова. 256 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Матусовский. Суть. Стихи и поэмы. 263 стр. Цена 80 к.

С. Наровчатов. Ширь. Стихи и поэма. 159 стр. Цена 55 к.

С. Соловьев. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского. Очерки. 352 стр. Цена 1 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. И. Ленин. О литературе и искусстве. Изд. 6-е. 827 стр. Цена 1 р. 70 к.

Е. Багряна. Стихи. Перевод с болгарского. 350 стр. Цена 85 к.

А. Кривицкий. Избранное. Повести, очерки и памфлеты. 757 стр. Цена 3 р.

Поэзия Африки. В 2-х тт. Т. 1. Народная, традиционная, классическая поэзия. Современная поэзия на национальных языках. Переводы. 287 стр. Цена 1 р. 30 к.

Современная португальская повесть. Сборник переводов. 608 стр. Цена 3 р. 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

С. Борзунов, Я. Ершов. Час доблести. Повесть. 270 стр. Цена 45 к.

В. Землян. Впереди фронта. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 256 стр. Цена 1 р. 10 к.

Подписаны Лениным. Документы, письма, воспоминания. Изд. 3-е, дополненное. («Молодогвардейская Лениниана») 207 стр. Цена 40 к.

Р. Рондественский. 210 шагов. Поэма. 79 стр. Цена 65 к.

В. Чикин. Круг на великом круге. Конспекты и размышления. («Молодогвардейская Лениниана») 287 стр. Цена 45 к.

«СОВРЕМЕНИК»

Н. Погодин. Шаги революции. Три пьесы о В. И. Ленине. Человек с ружьем. Кремлев-

ские куранты. Третья патетическая. («Лениниана», т. 7) 220 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Шукшин. Характеры. Рассказы. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Яшин. Журавли. Книга прозы. 336 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Блок. Стихотворения и поэмы. Составитель А. Турнов. Предисловие В. Орлова. 142 стр. Цена 40 к.

В. Вишневский. Дневники военных лет 1943, 1945 гг. Составление и вступительная статья Е. Янковской. (Серия «Подвиг») 432 стр. Цена 1 р. 70 к.

Н. Рерих. Избранное. Составление и вступительная статья В. Е. Сидорова. 382 стр. Цена 1 р. 90 к.

Русские поэтессы XIX века. Составление, вступительная статья и биографические очерки Н. В. Банникова. 252 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Сорокин. Лирика. Стихотворения и поэмы. Предисловие В. Примерова. 399 стр. Цена 1 р. 50 к.

«ПРОГРЕСС»

И. Во. Избранное. Мерзкая плоть. Возвращение в Брайлсхед. Романы.— Незабвенная. Повесть.— Рассказы. Перевод с английского. 651 стр. Цена 4 р. 10 к.

О. Давичо. Песня. Роман. Перевод с сербскохорватского. 620 стр. Цена 4 р. 10 к.

Х. Кортасар. Избранное. Перевод с испанского. 462 стр. Цена 3 р. 10 к.

Э. Монтале. Избранное. Стихи и рассказы. Перевод с итальянского. 235 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. Новотный. Некто по имени Робель. Романы и рассказы. Перевод с немецкого. 397 стр. Цена 2 р. 50 к.

«ИСКУССТВО»

Очерки истории русской театральной критики. Конец XIX—начало XX века. Под редакцией А. Я. Альшуллера. 327 стр. Цена 2 р.

Н. Сац. Новеллы моей жизни. 711 стр. Цена 3 р. 30 к.

И. Соловьева. Немирович-Данченко («Жизнь в искусстве») 408 стр. Цена 2 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Былых времен сказания. Башкирский национальный эпос. Перевод с башкирского. Уфа. Башкирнгоиздат. 127 стр. Цена 65 к.

В. Митыпов. Долина бессмертников. Роман. Улан-Удэ. Бурятнгоиздат. 240 стр. Цена 85 к.

П. Панченко. Где ночует жаворонок. Стихи. Перевод с белорусского. Минск. «Мастацкая літаратура». 174 стр. Цена 65 к.

С. Славич. Три ялтинских зимы. Симферополь. «Таврия». 271 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеляв**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 29/II 1980 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 21/III 1980 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,25 уч.-изд. л., 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.)
А 03356. Тираж 320.000 экз. Зак. 376.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.
Опечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радияська Украина», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 01477.

Цена 70 коп.

70636